IX МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЪЕЗД СЛАВИСТОВ

СЛАВЯНСКОЕ ЯЗЫКОЗНАНИЕ

ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»

АКАДЕМИЯ НАУК СССР
ОТДЕЛЕНИЕ ЛИТЕРАТУРЫ И ЯЗЫКА
СОВЕТСКИЙ КОМИТЕТ СЛАВИСТОВ

СЛАВЯНСКОЕ ЯЗЫКОЗНАНИЕ

IX
МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЪЕЗД СЛАВИСТОВ

Киев, сентябрь 1983 г.

ДОКЛАДЫ СОВЕТСКОЙ ДЕЛЕГАЦИИ

ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА» МОСКВА 1983

Сборник докладов хорошо известных советских языковедов, представляющих институты АН СССР, к очередному IX Международному съезду славистов имеет широкую тематику: славянский лингвоэтногенез, история праславянского языка, славянская историческая лексикология, лексикография и текстология, сопоставительное изучение разных уровней современных славянских языков. Статьи сборника обобщают проделанное авторитетными специалистами в предшествующие годы и намечают программу дальнейшего изучения основных проблем лингвистической славистики.

Редакционная коллегия:

доктор филологических наук
С. Б. БЕРНШТЕЙН (ответственный редактор)

академик
В. И. БОРКОВСКИЙ

доктор филологических наук
Н. И. ТОЛСТОЙ

член-корреспондент АН СССР
О. Н. ТРУБАЧЕВ

РУКОПИСЬ ПОДГОТОВИЛА К ПЕЧАТИ
кандидат филологических наук
Т. Н. МОЛОШНАЯ

С $\frac{4602000000-259}{042(02)-83}$ Без объявления

© Издательство «Наука», 1983 г.

С. Б. Бернштейн, Л. А. Гиндин, Г. П. Клепикова

«ОБЩЕКАРПАТСКИЙ ДИАЛЕКТОЛОГИЧЕСКИЙ АТЛАС» И НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЮЖНОСЛАВЯНСКОГО ЭТНОГЕНЕЗА

Все большее внимание исследователей в последнее десятилетие привлекают те аспекты этногенетического и языкового характера, которые в какой-то степени обособляют карпато-балканский ареал и противопоставляют его иным зонам Юго-Восточной Европы. Эти аспекты имеют самое непосредственное отношение к общей проблематике славянского этногенеза и одновременно затрагивают также вопросы этногенеза и ранней истории неславянских народов, населяющих ныне указанный регион. Вот почему так много усилий направлено в настоящее время на комплексное изучение зоны Карпат и Балкан в этнографическом, историческом, историко-культурном и лингвистическом планах. Все эти усилия координирует Международная комиссия по изучению народной культуры Карпат и Балкан [1].

Многочисленные и разноаспектные исследования последних лет, ведущиеся в различных странах, позволяют с уверенностью говорить о существовании самостоятельной области лингвистической науки — карпатского языкознания [2]. Последнее включает в себя диалектологические описания, изучение языка древних памятников письменности, историко-этимологические и топонимические исследования, разработку теоретических проблем интерференции языков данной зоны и т. д.

Центральное место в карпатском языкознании занимают диалектологические исследования, и это не случайно. Дело в том, что сейчас главная задача состоит, с одной стороны, в наиболее полном выявлении, инвентаризации тех общих черт, которые показывают своеобразие карпато-балканского языкового континуума, а с другой — в установлении их точных ареалов. Она может быть решена с помощью методов лингвистической географии при учете данных частных описаний отдельных диалектов и диалектных зон. Лишь после этого целесообразно приступить к углубленному изучению происхождения и истории указанных общих элементов.

Наиболее характерными общими элементами для языков карпато-балканской зоны являются лексико-семантические. Поэтому в настоящее время ведется интенсивное изучение именно этой сферы языка: прежде всего устанавливается география отдельных лексем и их значений; в известной мере учитываются и данные словообразовательного уровня. Пока за пределами исследований остаются факты грамматического строя и фонетики.

В послевоенный период ведется активная работа по изучению диалектов различных языков интересующего нас ареала. Среди подобных исследований важное место занимает работа над «Общекарпатским диалектологическом атласом» (ОКДА), начатая в 1973 г. В создании Атласа принимают участие диалектологи Польши, Чехословакии, Венгрии, СССР, Югославии, Болгарии. Основная цель ОКДА состоит в лингвогеографической характеристике тех общих лексико-семантических единиц, которые являются специфическими для всего карпато-балканского региона или отдельных его зон [3]. Все представленные в ОКДА языки (как славянские, так и неславянские) изучаются на равных основаниях, ибо каждый из них внес свой существенный вклад в формирование карпатской языковой общности. Однако славянский аспект несколько доминирует, что представляется вполне оправданным, если иметь в виду историко-географическое положение славян, а также число языков, обследованных для Атласа [4].

Учитывая лексико-семантический характер ОКДА, составители его с самого начала уделяли большое внимание проблеме соотношения лингвистического и этнографического аспектов. В результате совместных усилий всех членов коллектива ОКДА была выработана общая точка зрения по данному вопросу. Коллектив ОКДА не разделяет мнения о целесообразности подготовки комбинированных лингво-этнографических атласов. Хотя этнографы и диалектологи в равной степени имеют дело с явлениями народного быта и народной культуры, однако подход к их изучению в обеих науках — лингвистике и этнографии — нетождествен. Отсюда важные различия между этнографическими и лингвистическими трудами как в общетеоретическом, методическом планах, так и в области техники самого картографирования. Наиболее существенным в данном случае является различие в принципах выделения дифференциальных признаков семантики лексем, с одной стороны, и явлений народного быта — с другой [5].

В материалах ОКДА содержатся данные для решения многих вопросов не только языковой, но и этнической истории славян. Они позволят изучать историю формирования юго-западных украинских (карпатоукраинских), южномалопольских, словацких диалектов, моравских говоров чешского языка; ОКДА даст факты, важные для понимания истории румынского, молдавского и в какой-то степени венгерского языков.

Одним из существенных аспектов ОКДА является «южнославянский» аспект.

Данный доклад посвящен не всей проблематике, в решении которой ОКДА может сыграть заметную роль. Его тема сводится к роли данных Атласа в разработке некоторых проблем южнославянского этногенеза.

Связи южнославянского языкового мира с карпатским ареалом многогранны. Они прослеживаются, начиная с середины I тысячелетия н. э. На первом этапе это были связи тех праславянских диалектов, носители которых обитали в области Дакии и Паннонии и вступали в контакты с носителями других, древнеиндоевропейских языков. Какая-то часть славянских племен на данной территории впоследствии была ассимилирована восточными романцами и венграми. Следы славянских влияний богато представлены в наиболее древнем слое славянских языковых заимствований румынского, молдавского и венгерского языков. В VI—VII вв. н. э. значительная часть славянского населения мигрировала на Балканский п-ов [6], положив основание южнославянским народам. В дальнейшем (XV—XVII вв.) в результате различных причин политического и экономического характера значительные массы балканского населения (славянского и неславянского) продвигались в левобережье Дуная, распространяясь вплоть до северных отрогов Карпат. Эти процессы укрепляли, усиливали прежнюю близость южнославянских языков и языков (resp. диалектов) карпатской зоны за счет так называемых «балканизмов» славянского и иного происхождения. Славянские элементы в языках карпатского ареала в своей древнейшей части содержат многочисленные и чрезвычайно ценные данные для истории болгарского, македонского и сербского языков. С другой стороны, указанные «балканизмы» позволяют стратифицировать процессы семантической эволюции в языках и диалектах карпатского ареала. Привлечение южнославянского материала при создании ОКДА даст возможность осветить еще одну существенную сторону карпато-балканских языковых взаимодействий, в частности, славяно-романских. Одновременно на основе изучения изоглосс славянских заимствований в восточнороманских языках можно будет судить о связях северославянского языкового мира с южнославянским до ассимиляции славян на территории Дакии [7].

На наш взгляд, ОКДА позволит решать на новом материале следующие вопросы.

Атлас поможет воссоздать некоторые недостающие звенья ранних периодов истории южнославянских языков (как существенного компонента истории южнославянских народов); прежде всего, может быть выявлена древняя лексика, связанная с отдельными сторонами социально-экономических структур, установлены древние значения слов, утраченные южнославянскими языками [8].

До балканской колонизации предки южных славян не были отделены территориально от западных и восточных славян. Позднее славянское население на территории современной Румынии, Венгрии, Австрии было ассимилировано. Одной из важнейших задач этногенеза южных славян является реконструкция языка

этих славян. В данном направлении сделано немало (ср. труды, исследующие славянские элементы в румынском — Э. Петрович, Г. Михаилэ и др., венгерском — И. Кнежа, и под.). Однако до сих пор ученые занимались лишь выявлением корпуса славянских элементов. ОКДА покажет территорию распространения значительного числа лексем, существовавших в языке ассимилированных «дакийских» и «паннонских» славян. Существует немало опытов изучения на основе лингвистических данных границы между «дакийскими» и «паннонскими» славянами; основную роль в таких работах играли топонимические данные (ср. труды О. Ашбота, Э. Петровича и т. д.). ОКДА может дать ценный материал для установления древних этнических границ на базе апеллятивной лексики современных южнославянских говоров.

В формировании южных славян значительна роль древних индоевропейских народов, населявших карпато-балканский регион еще до прихода славян. Речь идет о фракийцах на территории Болгарии, о племенах иллирийского и фракийского происхождения на территории Югославии, о даках и гетах, живших на территории Румынии и Молдавии. Все эти народы были ассимилированы. Современные народы сохраняют лишь какие-то элементы в культуре и языке, унаследованные от них. Этнографы, историки, лингвисты проделали большую работу по выявлению этих элементов. ОКДА может способствовать углубленному изучению роли древних индоевропейских языков в становлении современных языков и диалектов карпато-балканского региона.

Лингвистические аспекты этногенеза южных славян решаются с помощью различных методов. Одним из них является лингвогеография, хотя следует сказать, что строгие и общепринятые приемы диахронической интерпретации современных ареалов и проецирования их в иные, более отдаленные временные срезы еще не выработаны окончательно. Один из важнейших принципов анализа изоглосс — учет историко-языковых и внешнеязыковых факторов при истолковании синхронных ареалов — не всегда соблюдается.

Не желая переоценивать значение лингвистической географии для ряда аспектов проблематики этногенеза, мы тем не менее должны подчеркнуть, что в работе над ОКДА уточняются такие вопросы, которые позволяют все же внести определенные дополнения и коррекции как в корпус лингвистических фактов, подлежащих этногенетической интерпретации, так и в самое методику подобной интерпретации.

1. Материал ОКДА с несомненностью свидетельствует, что полное освещение лингвистической проблематики южнославянского этногенеза требует непременного учета данных славянских (и неславянских) языков, распространенных на территории к северу от Дуная, в том числе на периферии карпатской области, а в ряде случаев — привлечения диалектных данных, фиксируемых и на более широкой севернославянской территории (именно поэтому ниже, при анализе примеров, мы опираемся помимо дан-

ных ОКДА также и на другие источники). Нельзя забывать, что истоки южнославянского этногенеза нужно искать в периоды, предшествовавшие миграции позднепраславянских племен через Карпаты на юг и колонизации Балканского п-ва.

2. Материалы ОКДА содержат данные для изучения сложных путей семантической эволюции большого числа лексем, детальное изучение которых может пролить свет на те или иные стороны южнославянского этногенеза.

3. Карты ОКДА, как показывают уже подготовленные к печати выпуски, содержат пространственную характеристику избранных лексико-семантических явлений с такой степенью детализации, что позволяют надежно выявлять ареалы отдельных явлений, пучки изоглосс, и, наконец, зоны активных иррадиационных процессов, определивших в конечном счете специфику и своеобразие карпато-балканской (resp. балкано-карпатской) общности и, следовательно, ее роль и место в формировании этносов на соответствующей территории.

Для обсуждения мы избираем вопросы, имеющие, как нам кажется, существенное значение для изучения этнолингвистических аспектов указанной выше проблематики:

— этимологический анализ апеллятивов субстратного происхождения в балканославянских языках на основании учета результатов реконструкции элементов древних реликтовых индоевропейских языков балкано-карпатского региона;

— изучение перекрещивающихся, многократных взаимодействий славянских и неславянских языков в балкано-карпатском пространстве;

— изучение сложных путей семантической эволюции общих для балкано-карпатского региона элементов.

В решении проблем этногенеза южных славян существенная роль отводится древнему балканскому этническому и языковому субстрату. Изучение субстрата в южнославянских языках имеет длительную историю. Не раз предпринимались попытки выявить, например, фракийские элементы в лексике современного болгарского языка. Здесь ожидались большие результаты, так как местное, довольно многочисленное фракийское население было ассимилировано целиком; поэтому считалось очевидным предположение, что славяне должны были сохранить значительный пласт фракийской лексики. Материальная и духовная культура автохтонного индоевропейского населения существенно отличалась от культуры пришедших с севера славян. Усваивая эти новые элементы культуры, славяне должны были как будто заимствовать и соответствующие термины. Однако ожидания исследователей не оправдались, хотя в словарном составе современных южнославянских языков, прежде всего болгарского, существует немало лексем, не имеющих надежной этимологии. Строго научными методами идентифицировать эту лексику как восходящую к древним утраченным индоевропейским языкам в большинстве случаев не представляется возможным. Ряд лексем, которые не так давно

считались фракийскими и под., на поверку оказались иного происхождения — иранизмами, германизмами, раннеалбанизмами и др.[9] Работы последних лет подтвердили целесообразность возврата к идее Г. Вейганда о том, что албанский в одном из его древних компонентов можно сближать генетически или, во всяком случае, ареально с фрако-дакийским[10].

Несмотря на трудности, стоящие перед исследователями, проблема субстрата в южнославянских языках сохраняет свою актуальность, так как без ее решения нельзя получить достаточно полную картину южнославянского этногенеза (и прежде всего глоттогенеза). Опыты в этом направлении продолжаются, публикуются статьи, в которых анализируется и этимологизируется лексика, причисляемая к субстратной, однако они не всегда могут быть корректными и убедительными. Очевидно, что наряду с более удачными попытками переинтерпретации известных уже фактов необходимо искать новые возможности в освещении этой трудной этнолингвистической проблематики. Как указывалось выше, одну из таких возможностей и дает лингвистическая география, и в частности ОКДА.

1. Этимологический анализ лексики субстратного происхождения, фиксируемой в балкано-карпатском ареале, может быть проиллюстрирован на примере таких лексем, как болг. *буза* 'щека, пащека' (Геров; РСБКЕ), макед. диал. *буза* 'губа' (РМJ), серб. диал. (вост.) *бӯза*, *бӯдза* 'рот, губа, поцелуй' (РСА), (кос.-метох.) *бӯза* 'горловина котла' (Елезовић); сюда же обычно относят польск. buzia 'ротик, личико, мордашка', buziak 'мордашка, поцелуй' (Варшавский словарь), укр. (детск.) *бузя* 'уста, рот, ротик, лицо' (Гринченко). Неславянские соответствия представлены алб. buzë 'губа; конец; край, берег; обломок скалы' (Fjalor), рум. buză 'губа; край (раны, сосуда); острие, кромка режущего инструмента; вершина горы, скалы' (DLR; DLRLC), арум. buză 'губа, край' (Papahagi), молд. *бузэ* то же (ДМР), сюда же венг. buza 'верхняя губа'[11] и нем. диал. (на территории Румынии) buze 'отвислые, толстые губы'[12].

Большинство исследователей считает перечисленные слова звукоподражательными и относит их к одному из двух индоевропейских дескриптивных корней *bu- или *bh(e)u (Pokorny)[13]. Попытки иных этимологий, исходя из албанского материала, принадлежат Н. Йоклю (< *bhr̥-diā)[14] и Э. Чабею (< *bh$_0$rdiā)[15], однако они маловероятны по фонетическим причинам. Нам представляется наиболее убедительной этимология алб. buzë, предложенная недавно И. А. Калужской[16], которая возводит алб. buzë 'губа; конец, край, берег; обломок скалы' и его производное buzëm 'толстый кусок дерева, сжигаемый в огне на рождество; камень (один из двух), лежащий на краю очага; край' к основе *budh-i̯- < и.-е. *bhudh-[17]. Отправной точкой этой этимологии служат два момента: реконструкция направления семантической эволюции алб. buzë 'дно' → 'край' → 'губа'[18] и гипотеза о принадлежности в широком мифо-культурном контексте к и.-е. *bhudh-, схрв. *бадњак* 'дубо-

вое полено, колода или ветки, сжигаемые в сочельник', упомянутого алб. buzëm и фракийского топонима Βυζάντιον.[19] и под.

В этой связи возникает возможность разграничения дескриптивных и знаменательных корней в приведенных выше славянских формах, основным критерием которого выступают семантические различия: в польском и украинском лексемы (часто с пометой «детское», «разговорное») имеют уменьшительно-ласкательные значения 'ротик, личико, мордашка, поцелуй', в то время как в южнославянских языках — 'щека', 'горловина котла', 'рот, губа'. Кроме того, западно- и восточнославянские формы характеризуются смягчением конечного согласного основы, чего нет в балканославянских фактах. Поэтому на наш взгляд правомерно первые отнести к звукоподражательному корню. В пользу предложенного разграничения свидетельствует и география польских форм, зафиксированных достаточно равномерно по всей территории Польши (данные о польских подкарпатских говорах см. и в материалах ОКДА, ответы на вопрос № 335 Вопросника). Украинские соответствия производят впечатление заимствований из польского.

В балканославянских языках наиболее интересной в общесемантическом плане является болг. *буза* 'щека'; к филиации значений 'край' ~ 'берег', ~ 'щека' ср. рус. диал. *щека* 'крутой берег реки, особенно каменистый; крутизна береговая' (Даль). Отражение рассматриваемого слова во фрак. Βυζάντιον и наличие его в качестве исконного слова в албанском, являющемся в известной мере наследником фракийского (resp. фрако-дакийского), позволяет признать за болг. *буза* статус субстратного слова. В пользу этого свидетельствует и его географическое распространение: обл. Странджи, рупско-родопская зона и примыкающие к ней с севера говоры вплоть до линии Троян—Ботевград—София [20]. То же самое можно сказать о происхождении в.-ром. buză и серб. диал. (кос.-метох.) *бӯза* (если последнее не является заимствованием из новоалбанского — Skok). Серб. диал. (Банат) *бӯдза*, *бӯза* заимствовано из румынского. Венгерские и немецкие диалектные формы также из румынского.

Таким образом, есть основания включить болг. *буза*, серб. (кос.) *бӯза* в лексический фонд позднепраславянского периода на правах региональной балканской лексемы, реконструируемой как *buza.

2. При изучении истории общих для балкано-карпатского пространства лексических элементов нельзя ограничиваться установлением происхождения (языка-источника) того или иного элемента; необходимо учитывать всю сложность путей его распространения и семантической эволюции. Сказанное может быть подтверждено анализом слова koliba, которое известно на обширной территории нашего региона.

Греческая этимология балкано-карпатского koliba вряд ли может вызвать серьезные возражения, поскольку оно имеет в качестве первоначального источника заимствования исконно гре-

ческое καλύβη 'хижина, в том числе тростниковая, шалаш, шатер' (начиная с Геродота) [21]. Последнее в свою очередь является девербативом от καλύπτω 'покрывать, закутывать и т. п.' в цепи других дериватов, распространенных варьирующимся губным суф. b : p : ph [22].

Объяснять балкано-карп. koliba непосредственно из греческого не представляется возможным, так как в этом случае пришлось бы допустить прямые контакты праславян с греками до II в. н. э., что, по нашему мнению, исключено; основанием для этого является хронология перехода греч. β в v [23]. Поэтому наиболее целесообразно признать мысль о посредничестве одного из древних языков карпато-балканского пространства. Таким языком мог оказаться, по всей вероятности, дакийский, в котором фонетический облик греческого заимствования сохранял b; греч. υ еще в эллинистическую эпоху произносилось как i. Славяне могли усвоить данное слово на севере территории, заселенной даками [24], в начальные периоды транскарпатской миграции. В дальнейшем, по мере продвижения славян на юг, слово *koliba от них стало известно восточным романцам (ср. рум. colibă, молд. *колибэ*, арум. colibă) и албанцам (kolibe). Вероятно, из языка-посредника славяне заимствовали лексему с семантикой 'небольшой домик, временная постройка, укрытие и под.', близкой к семантике исходного слова — греч. καλύβη. Следы первичного значения отмечены в некоторых микрозонах, ср., например, 'шалаш', 'палатка' (возможно, и 'укрытие, убежище в поле') — широко на румынской языковой территории (по данным румынских лингвистических атласов). Впоследствии наиболее важным семантическим процессом следует считать специализацию слова в связи с развитием особой формы хозяйствования в балкано-карпатском регионе — отгонного скотоводства. Таковы и более общие значения: 'постройка на горном пастбище', 'постройка для овец' (главным образом в румынских говорах), и более конкретные: 'жилище пастуха на горном пастбище', '~ в поле', 'навес, под которым спит пастух на горном пастбище' и под. (в других, севернокарпатских микрозонах). Эта группа значений широко отражена в материалах ОКДА и представлена на его карте № 28. Распространение в балкано-карпатском ареале слово получает через восточнороманское посредство, в результате так называемой валашской колонизации (начиная с XII—XIII вв.). Оно проникает в украинские, словацкие, польские, чешские (моравские) говоры. С течением времени наряду с существованием указанного терминологизованного круга значений происходила эволюция первичного значения и в иных направлениях. Так, развивались некоторые специализированные значения, не имеющие отношения к пастушеству, — 'жилище лесорубов', 'шалаш полевого сторожа'; естественно возникновение из первичного значения и пейоративных вариантов: 'старый, бедный дом' и под. (македонская, восточноболгарская зоны, некоторые сербские говоры, далее банатские и трансильванские говоры Румынии, северо-восточная

венгерская зона, также карпатоукраинские и севернословацкие говоры). Наконец, следует упомянуть и фиксацию локального значения 'хозяйственная постройка во дворе', возникшего, вероятно, довольно поздно (на севере Болгарии, украинско-молдавское пограничье).

Карта № 28 Атласа показывает, что наибольшая семантическая филиация наблюдается на территории македонских, восточнороманских, карпатоукраинских и севернословацких диалектов. В строго специализированных («пастушеских») значениях лексема отмечена лишь на периферии балкано-карпатского ареала: сербские, польские, моравские, западнословацкие говоры. Это можно интерпретировать как подтверждение достаточно раннего приобретения лексемой koliba статуса пастушеского термина и поразительной устойчивости подобного употребления на протяжении веков, в течение которых происходило интенсивное расширение ареала лексемы. Вместе с тем описанная ситуация может служить косвенным свидетельством в пользу предположения, что эпицентром, источником иррадиации лексемы (в ее наиболее старых значениях, содержавших в себе потенциальную возможность последующей семантической эволюции) должна быть признана поясная зона, охватывающая область по обоим берегам Дуная (юго-западная часть Трансильвании и прилегающие районы Баната, а также Поморавье и соседние области северо-западной части Болгарии).

3. Богатый материал для изучения общих лексико-семантических элементов в языках балкано-карпатского ареала дает и лексема strunga [25]. Она трактуется как наследие дако-фракийского (Rosetti, 106, 120; Reichenkron, 147; Russu, 204 и под.); дак. *strunga 'загон для дойки' видит И. Дуриданов в античном топониме Στρόγγες (р-н Ниша) [26]. При этом в качестве исходного значения лексемы указывается достаточно общее 'небольшое, узкое (стесненное) пространство, промежуток между чем-либо' (там же). Слово рано проникло в язык древнего восточнороманского и славянского населения Дакии; об автохтонном характере слова в (южно)славянских языках писали многие исследователи [27]. В дальнейшем в румынском (молдавском и т. д.) оно пережило сложную семантическую эволюцию, развив на базе первичного множество вторичных значений. Упомянем прежде всего круг значений, связанный с пастушеством. Именно как единица указанного терминологического разряда лексема strunga в процессе валашской колонизации получила распространение на большой территории карпатской (resp. севернокарпатской) зоны. Материалы ОКДА (карта № 30) фиксируют данный восточноромaнизм со значениями 'узкий проход, через который гонят овец на дойку', 'загон, где доят овец' и т. п. в украинских, словацких, моравских, польских говорах [28]. Остальные значения лексемы ('щель между зубами', 'ущелье, теснина' и под.) представлены главным образом на территории Румынии и Молдавии и реже в иных зонах. В венгерских говорах находим различные варианты (esztrenga, osztronga, isztringa, sztrunga, štronga и др.) лишь в терминологизи-

рованном значении ('загон', но и 'организационная форма выпаса скота, принадлежащего разным хозяевам'), которые определяются как разновременные заимствования из румынского (Kniezsa; MNyTESz).

В языке «дакийских» славян *strunga дало *stroga. В этом фонетическом облике оно было перенесено предками южных славян на Балканский п-ов, где в дальнейшем разделило судьбу с исконно славянскими словами, содержавшими *ǫ. Подтверждением этого может служить параллелизм стадий утраты ринезма вообще, описанных В. М. Иллич-Свитычем [29], и некоторых фонетических явлений, отраженных в макед. диал. *стрънга* (р-н Дебар); ср. также *стрънга* (р-н Костур) [30]. На южнославянской территории рефлексы *stroga наиболее широко представлены в болгаро-македонской зоне, менее — в восточносербской (ср. болг. *стръга*, *стърга*, *строга*, *страга*, макед. *страга*, *стрга*, серб. диал. *струга*); соответствующие лексемы отмечаются прежде всего как термины пастушества. Это позволяет сделать предположение, что к югу от Дуная лексема *stroga проникала именно в специализированном значении, как единица указанного разряда лексики.

Зафиксированные к югу от Дуная варианты типа болг. диал. *сру́нгъ* (в переселенческих говорах Бессарабии), серб. диал. *стронга*, *струнга* (Банат, Черногория и др.) в сходных с указанными выше значениях рассматриваются как поздние заимствования из восточнороманских языков; помимо румынского источника следует упомянуть также и арум. strungă 'загон' (Papahagi), мегленорум. strungă (Capidan, 270), ср. и истрорум. strungă (Puşcariu, 295); того же происхождения и н.-греч. strunga 'загон для доения' и под. Относительно алб. shtrungë 'отверстие, проход, через который козы идут на дойку' и т. д. (Mann; Fjalor) высказывается предположение об общем с рум. strungă источнике [31].

4. В решении проблем южнославянского этногенеза велика роль и лингвистических данных, зафиксированных на территории, образующей особую поясную зону, которая объединяет северо-западные болгарские и примыкающие к ним северо-восточные сербские говоры. На это в свое время обращали внимание некоторые исследователи. Так, С. Б. Бернштейн писал: «. . .Если говорить о болгарских говорах, то здесь особое значение приобретают северо-западные говоры Болгарии. Эти говоры имеют наибольшее число «карпатизмов». Близки к ним в этом отношении восточные, северо-восточные и центральные говоры штокавского диалекта сербохорватского языка. Именно центральный район северной границы южнославянского ареала в наибольшей степени связан с центральным районом южной границы севернославянского ареала. П. Ивич. . . указал, «что большое число южных особенностей в центре северной территории должно иметь свои глубокие причины». . . Ивич справедливо полагает, что после переселения славян на Балканский п-ов в течение длительного

времени не нарушался контакт между северными и южными группами. Барьер возник позже. . .» [32]. Указанная мысль подтверждается, с одной стороны, новейшими исследованиями, рассматривающими проблему славянизации Балкан [33], а с другой, — результатами работы над ОКДА. Уже подготовлен ряд карт, которые весьма наглядно выделяют обрисованную выше зону, выступающую как связующее звено между южнославянской и северно-славянской языковыми областями. В качестве примера может быть приведена карта № 22 Атласа, посвященная семантике слов с корнем *jat-, которые составляют группу локализмов исконно славянского происхождения [34]. Для обсуждаемых нами вопросов наибольший интерес представляет приставочное образование pojata, фиксируемое в нескольких тесно связанных между собой значениях: 'пристройка к дому, хлеву', 'легкая постройка для скота', также 'помещение для домашней птицы' и др. По данным Атласа и ряда специальных исследований, ареал pojata располагается южнее северной части Карпатской горной дуги и образует упоминавшийся выше «мост» — это западные и северо-западные румынские говоры (Трансильвания, Кришана, Банат, Марамуреш), северо-западные болгарские, северо-восточные сербские (и далее на запад — некоторые черногорские и герцеговинские) говоры, продолжающие зону на юг (до греческой языковой границы), македонские говоры. Приставочное образование с корнем *jat- может быть истолковано как восходящее к позднепраславянскому локальному деривату *pojata [35], возникшему в языке предков южных славян (в том числе и у «дакийских» славян) уже после начала их «карпатской» миграции. Единичная фиксация в восточнословацких говорах (обл. Земплин) pojata 'небольшое помещение для сена, половы' вряд ли может быть объяснена как непосредственно связанная (генетически, хронологически) с тождественными южнославянскими формами, которые являются прямыми континуантами *pojata. Учитывая характер миграций в средние века в зоне Карпат, можно скорее допустить, что указанный лексический элемент представляет собой реликт языка романизованного населения, составлявшего ядро пастушеской (валашской) колонизации в этом ареале [36]. На южнославянской территории известны и бесприставочные формы, ср. болг. *ято*, макед. *jato*, схрв. jato 'стадо, стая' [37].

На территории Венгрии распространена и лексема pajta — заимствование из слав. *pojata. Как «обратное» заимствование данный унгаризм достаточно поздно проникает во многие славянские диалекты карпатской зоны, ср. словац., морав., польск., укр. pajta (pojta), сюда же рум. диал. poáita — все как названия хозяйственной постройки (различного назначения) [38].

Следы приставочного образования *pojata отмечаются и на крайнем северо-западе славянской территории (словенские, хорватские диалекты) — наряду с бесприставочными; ср., например, словен. jata 'хижина' и под., но и 'стая, стадо'; таким образом, эта зона, где известны бесприставочные лексемы, корреспондирует

и с некоторыми западнославянскими диалектными зонами, в частности с южнопольско-моравско-словацкой. Вероятно, эти связи — наследие глубокой древности.

Рассмотренные нами конкретные языковые факты дают возможность высказать некоторые общие соображения. Они, естественно, носят предварительный характер, так как, хотя материал ОКДА уже полностью собран, однако подготовлено к печати немногим более 100 карт (114), составленных на основании ответов на вопросы 1—210 Вопросника (всего в последнем около 800 вопросов). Нет сомнений, что в дальнейшем, после завершения всей работы (предполагается составить 7 выпусков Атласа), можно будет значительно полнее и глубже осветить сформулированные в настоящем докладе положения.

Так, карты Атласа на большом числе примеров покажут характер взаимодействия предков южных славян и вступившего с ними в сложные этнические и лингвистические контакты автохтонного населения Балканского п-ва. При изучении балканской колонизации славян необходимо давать не только хронологию этого процесса, на что исследователи прежде обращали основное внимание, но и изучать пути этой колонизации. И в этом отношении сделано мало, высказываются лишь различные гипотезы. Завершение работы над ОКДА даст дополнительный материал, который, несомненно, позволит привести новые аргументы в пользу высказанной ранее идеи, что один из основных путей миграции предков южных славян на Балканы шел в направлении от центральных районов Северных Карпат (Лесистые Карпаты и примыкающие к ним с запада области), через западные районы Румынии, в междуречье Южной Моравы и Тимока и далее на юг.

Бесспорно, получат в дальнейшем освещение и некоторые новые аспекты, важные для этногенетической проблематики. Следует еще раз подчеркнуть, что данные «Общекарпатского диалектологического атласа» будут использованы не только для решения вопросов южнославянского этногенеза, но и для этногенеза других этнических образований данной макрозоны.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] *Бромлей Ю. В.* Современные проблемы этнографии. М., 1981, с. 239.

[2] *Бернштейн С. Б.* Проблемы карпатского языкознания. — В кн.: Карпатская диалектология и ономастика. М., 1972, с. 3 и след.; *Он же.* Лингвистические аспекты карпатистики. — В кн.: Общекарпатский диалектологический атлас. Лингвистические и этнографические аспекты. Кишинев, 1976, с. 7 и след.; *Он же.* О некоторых аспектах «Общекарпатского диалектологического атласа». — Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. DIV. Prace językoznawcze, z. 61. Kraków, 1979, s. 9.

[3] *Бернштейн С. Б., Клепикова Г. П.* Общекарпатский диалектологический атлас. Принципы. Предварительные итоги. — В кн.: Славянское языкознание. VIII Международный съезд славистов. Доклады советской делегации. М., 1978, с. 27 и след.; Общекарпатский диалектологический атлас. Вопросник. М., 1981, с. 5, 12 и след.

[4] *Бернштейн С. Б.* Проблемы интерференции языков Карпато-Дунайского ареала в свете данных сравнительной диалектологии. — В кн.: Славянское

языкознание. VII Международный съезд славистов. Доклады советской делегации. М., 1973, с. 36.

[5] *Бернштейн С. Б.* Итоги работы над «Общекарпатским диалектологическим атласом» и задачи VI Международной конференции по ОКДА. — В кн.: Справочно-информационные материалы по ОКДА. М., 1978, с. 4 и след.; *Бернштейн С. Б., Клепикова Г. П.* «Общекарпатский диалектологический атлас» и проблемы сотрудничества лингвистов и этнографов. — Carpatobalcanica, X, 2/1. Bratislava, 1980, s. 13; *Они же.* Общекарпатский. . ., с. 14.

[6] В славяноведении давно укрепилась мысль о том, что самые древние проникновения славян на Балканский п-ов начались в первой половине VI в. н. э. Лингво-филологический анализ письменных источников (Приск, Прокопий, Иордан), осуществленный одним из авторов настоящего доклада, показал с полной определенностью наличие славян в середине V в. н. э. в Южной Паннонии и Юго-Западной Дакии (р-н нижнего и, возможно, среднего течения рек Тисы и Тимеша) (подробнее: *Гиндин Л. А.* К хронологии и характеру славянизации карпато-балканского пространства по лингвофилологическим данным. — В кн.: Формирование раннеславянских феодальных народностей. М., 1981). Появление славян на прочей территории Дакии и даже на Балканах может быть датировано если не тем же самым временем, то несколько более поздним, благодаря тому, что удалось доказать славянский характер по крайней мере пяти топонимов, засвидетельствованных Прокопием в De aedificiis из р-на Наиссоса (Ниша) в междуречье Моравы и Тимока — *Гиндин Л. А.* Филолого-лингвистический аспект славянизации Балкан (по данным Прокопия Кесарийского). — В кн.: Материалы 1-го Международного конгресса по болгаристике. София, 1982.

[7] *Младенов М.* За мястото на южнославянските езици в Общокарпатския лингвистичен атлас. — Sborník Filozofickej Fakulty Univerzity Komenského. Philologica, r. XXVI. Celokarpatský dialektologický atlas. Bratislava, 1976, s. 47—48; *Бернштейн С. Б.* Итоги. . ., с. 7 и след.

[8] Пример реконструкции всей семантической цепи одной лексемы исконнославянского происхождения *gryzja рассмотрен в ст.: *Бернштейн С. Б.* Из «Карпатского диалектологического атласа». — In: Lingua viget. Helsinki, 1965, s. 19—24.

[9] Подробнее проблема заимствований из раннеалбанского (или через его посредство) в славянские языки изложена в работах В. Э. Орла: Состав и характеристика субстратного апеллятивного фонда балканославянских языков. Автореф. канд. дис. М., 1981; *Он же.* Балканские этимологии. 1—8. — В кн.: Античная балканистика. М., 1981; ОЛА. 1980, М., 1982; Славянское и балканское языкознание. М., 1982.

[10] См., в частности: *Гиндин Л. А., Калужская И. А., Орел В. Э.* К вопросу о составе субстратного лексического фонда языков балканского ареала. — В кн.: Балканские исследования. М., 1982; *Георгиев В.* Траките и техният език. София, 1977.

[11] *Russu I. I.* Elemente autohtone în limba română. București, 1970, p. 145 со ссылкой на: *Blédy G.* Influența limbii română asupra limbii maghiare. Sibiu, 1941.

[12] *Russu I. I.* Op. cit., p. 145, со ссылкой на: *Brenndörfer J.* Román (oláh) elemek az erdélyi szász nyelvben. Budapest, 1902.

[13] *Pokorny*, S. 103, 98; подобное рассмотрение севернославянских и южнославянских слов на базе указанной этимологии является обычным в славистике, ср. Sławski I, 52; БЕР II, 87; ЭССЯ, вып. 3, с. 103. Ср. однако отсутствие данной словарной статьи в: Słownik prasłowiański, I. Wrocław—Warszawa—Kraków—Gdańsk, 1974.

[14] *Jokl N.* Linguistisch-kulturhistorische Untersuchungen aus dem Bereiche des Albanischen. Berlin—Leipzig, 1923, S. 143, 278 (сравнивается с лит. burnà 'рот, глоток', болг. *бърна* 'губа' и пр.).

[15] *Çabej E.* Studime etimologjike në fushë të shqipes. — In: *Çabej E.* Studime gjuhësore. II. Prishtinë, 1976, f. 293—294, где албанское слово, с одной стороны, сопоставляется с нем. Borte 'край, кайма', англ. board 'доска; борт', а с другой — с фракийским топонимом Βυζάντιον 'город на берегу моря'.

[16] *Калужская И. А.* Из албано-восточнороманских лексических соответствий: алб. buzë ~ рум. buză. — В кн.: Славянское и балканское языкознание. М., 1983.

[17] *Pokorny*, S. 174: ср. др.-инд. budhna 'дно и под.', др.-греч. πυθμήν то же, лат. fundus то же и под.

[18] Эволюция значения алб. buzë 'край' → 'губа' обоснована Э. Чабеем (*Çabej E.* Mundartliches aus Italien. — Glotta, 1937, Bd. 25, Hf. 1—2, S. 53); он исходит из алб. диал. buza e gojs 'губа', т. е. 'край рта'. Развитие значения 'край' из 'дно' находит аналогию в алб. fund 'конец, край' < лат. fundus 'дно', см.: *Калужская И. А.* Указ. соч.

[19] *Топоров В. Н.* Πύθων Áhi Budhnya, *бȁдњак* и др. — Этимология. 1974. М., 1976, с. 3—31; *Он же.* Еще раз об и.-е. *budh- (:*bheudh-). Фрак. Βυζάντιον в индоевропейской перспективе. — Этимология. 1976. М., 1978, с. 135—150.

[20] Български диалектен атлас. I. София, 1964, карта № 244; II, 1968, карта № 248; III, 1978, карта № 274. Аналогичные выводы о географии слова могут быть сделаны и на основе ответов на вопрос № 335 Вопросника ОКДА.

[21] *Liddell—Scott*, p. 876.

[22] *Boisacq*[4], p. 400; *Hofmann*, S. 130; *Frisk* I, S. 768; к закономерному чередованию в суффиксальной части см.: *Schwyzer* I, S. 342, 705, 332 f.; *Chantraine*. Formation, p. 23. Все попытки приписать καλύβη негреческое происхождение и причислить данную лексему как исконную к иллирийскому (Х. Барич — цит. по: *Skok*,, s. 124; Krahe. Spr. Ill., S. 116; *Polák* s. 273; ЭССЯ, вып. 8, с. 14 и след.) или фрако-дакийскому (*Poghirc*, p. 329) восходят к не выдерживающей критики гипотезе А. Блюменталя (*Blumenthal A.* Messapisches. — Glotta, 1929, Bd. 17, Hf. 1—2, S. 146).

[23] *Schwyzer* I, S. 208, 233. Поздние заимствования из новогреческого в языки Балканского п-ва содержат именно v < β; применительно к анализируемому слову ср.: редкое ю.-слав. диал. *колиза* 'шалаш полевого сторожа' (р-н Костура — Арх. ИС), арум. călivă 'хижина' и под. (Papahagi), kălivă, kĭlivă, kęlivă 'пастушеский шалаш и под.', алб. kal'ive (kalive) 'Hütte, baracca, hut, cabin' (Meyer; Leotti; Mann; Fjalor) и 'cottage of shepherds' (Mann), при н.-греч. диал. kalív 'пастушеская хижина' (при варианте kalivja), также у каракачан (на территории Болгарии): *каливги*, *каливгя* '(большая) хижина' и т. д. (подробнее: *Клепикова Г. П.* Славянская пастушеская терминология. М., 1974, с. 216, 212).

[24] Можно предположить, что этими даками могло быть племя костобоков, жившее, согласно данным Птолемея, на северо-востоке Карпат (подробнее: *Гиндин Л. А.* Древняя этнонимика Прикарпатья. — Симпозиум по проблемам карпатского языкознания. Тезисы докладов и сообщений. М., 1973, с. 11—13; *Он же.* Из древней этнонимики Прикарпатья. Κοστοβῶκοι, Σαβῶκοι. — В кн.: Славянское и балканское языкознание. М., 1983).

[25] О географии и семантике лексемы см.: *Клепикова Г. П.* К вопросу об изучении балкано-карпатской терминологии горного пастушества (+strunga и родств.) — ОЛА. 1972. М., 1974, с. 182—201.

[26] *Duridanov I.* Thrakisch-Dakische Studien. I. Die thrakisch- und dakisch-baltischen Sprachbeziehungen. Sofia, 1969, S. 95.

[27] Ср., например: *Popović I.* Geschichte der serbokroatischen Sprache. Wiesbaden, 1960, S. 613; *Bernar R.* Causes de la disparition du domain balkanique d'un mot slave commun attesté en vieux bulgare строуга 'canal, chenal, tranchée remplie d'eau fosse'. — In: Actes du I Congrès international d'Études balkaniques et Sud-Est Européennes, v. VI. Sofia, 1970, p. 733.

[28] В последних нет оснований рассматривать единичные варианты типа st'reŋga, st'rynga как имеющие иной источник, чем более частотные st'runga, st'rǫnga и др. (ОКДА, I, комм.).

[29] *Иллич-Свитыч В. М.* О стадиях утраты ринезма в юго-западных македонских говорах. — ВСЯ, 1962, вып. 6, с. 80—81.

[30] *Клепикова Г. П.* К вопросу. . ., с. 193, 196.

[31] Там же, с. 197 и след.

[32] *Бернштейн С. Б.* Карпатский диалектологический атлас. — ВЯ, 1961, № 4, с. 81.
[33] *Гиндин Л. А.* К хронологии. . . .
[34] Возводится к *ja(t)- 'глагол движения' — ЭССЯ, вып. 8, с. 198; там же отрицается версия, предложенная В. Н. Топоровым, о наличии в jata, pojata корня *jat- 'собирать воедино', '~ в стаю, стадо' (*Топоров В. Н.* Из наблюдений над этимологией слов мифологического характера. — Этимология. 1967. М., 1969, с. 19—20).
[35] Мнение о романском источнике ю.-слав. pojata (ср., например, < рум. poiată и под. — *Simeonov B.* Pojata. — Балканско езикознание, XI. София, 1966, с. 117—118) не разделяется большинством исследователей, считающих (восточно)романские формы заимствованием из южнославянского (Sławski, Skok, Bezlaj и др.).
[36] *Клепикова Г. П.* Карпатская лексика в ее отношении к лексике иных зон славянского мира. 4. +pojata. — ОЛА. 1978. М., 1980, с. 136.
[37] ЭССЯ (вып. 8, с. 198) связывает оба круга значений ('хижина' и под. и 'стая, стадо') и предлагает следующее развитие семантики: 'вмещаемое' → 'вместилище'.
[38] *Клепикова Г. П.* Карпатская. . ., с. 135 и след.

ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ *

Арх. ИС — Архив Ин-та славяноведения и балканистики АН СССР.
БД — Българска диалектология. Проучвания и материали. София.
ДМР — Дикционарул молдовеноск-русеск. Кишинэу, 1961.
Елезовић — *Елезовић Г.* Речник косовско-метохијског дијалекта. 1.Београд, 1932.
Кочев — *Кочев И.* Гребенският говор в Силистренско. София, 1969.
ОЛА — Общеславянский лингвистический атлас. Материалы и исследования. М.
РМЈ — Речник на македонскиот јазик, I—III. Скопје, 1961—1966.
РСБКЕ — Речник на съвременния български книжовен език, I—III. София, 1953—1959.
ЭССЯ — Этимологический словарь славянских языков. Под ред. О. Н. Трубачева. Вып. 1—8. М., 1974—1981.
Capidan — *Capidan T.* Meglenoromânii, II. Bucureşti, 1929.
Chantraine. Formation — *Chantraine P.* La formation des noms en grec ancien. Paris, 1933.
DLR — Dicţionarul limbii române, I. Bucureşti, 1913.
DLRLC — Dicţionarul limbii române literare contemporane, I—IV. Bucureşti, 1955—1957.
Fjalor — Fjalor i gjuhës shqipe. Tiranë, 1954.
Kniezsa — *Kniezsa I.* A magyar nyelv szláv jövevényszavai, I. Budapest, 1955.
Krahe. Spr. Ill. — *Krahe H.* Die Sprache der Illyrier. Wiesbaden, 1955.
Leotti — *Leotti A.* Dizionario albanese-italiano. Roma, 1937.
Lidell—Scott — *Lidell H. G., Scott R. A.* Greek-English Lexicon. Oxford, 1968.
Mann — *Mann S.* An Historical Albanian-English Dictionary. London—New York—Toronto, 1948.
MNyETSz — A magyar nyelv történeti etimológiai szótár, I—III. Budapest, 1967—1976.
Papahagi — *Papahagi T.* Dicţionarul dialectului aromân. Bucureşti, 1963.
Poghirc C. — *Poghirc C.* Influenţa autohtonă. — In: Istoria limbii română. Bucureşti, 1969.
Polák — *Polák V.* Několik poznámek k problematice substrátových slov v jazycích západoslovanských. — Slavia, 1973, XLII, seš. 3.
Puşcariu — *Puşcariu S.* Studii istroromâne, II. Bucureşti, 1926.
Reichenkron — *Reichenkron G.* Das Dakisch. Heidelberg, 1966.
Rosetti — *Rosetti A.* Istoria limbii române, II. Bucureşti, 1964.
Russu — *Russu I. I.* Limba traco-dacilor. Bucureşti, 1958.
Schwyzer — *Schwyzer E.* Griechische Grammatik. München, 1939.

* Не включенные в данный список сокращения см. в издании Ин-та русского языка АН СССР «Этимология».

Г. А. Богатова, В. Я. Дерягин,
Г. Я. Романова

СЛАВЯНСКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ ЛЕКСИКОГРАФИЯ И ПРОБЛЕМЫ РЕГИОНАЛЬНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЛОВА*

Решение проблем этнической истории славянского мира связывается непосредственно с локализацией лексики. Практическая задача географической проекции слова стоит перед создателями Общеславянского лингвистического атласа, лингвистических атласов отдельных славянских языков, лингво-географическими исследованиями. Но ареальное изучение словарного состава славянских языков в значительной мере зависит сейчас от диахронических описаний и исследований, соединяющих временной и географический аспекты этой проекции [1]. Возрастание интереса к диахронии связано не только с преодолением противопоставления синхронии и диахронии, с осознанием «большей объяснительной силы последней» [2], но и с теми новыми данными, которые были введены в научный оборот славянской этимологической, диалектной и исторической лексикографией последних сорока лет. 50—60-е годы положили начало созданию многих славянских исторических картотек и лексикографических предприятий. Начали выходить старопольские словари: Słownik staropolski, t. 1—8 (zesz. 1—52) A — Stać. Wrocław—Warszawa—Kraków—Gdańsk, 1953—1980; Słownik polszczyzny XVI wieku, t. 1—12. A — Łżywy. Wrocław—Warszawa—Kraków, 1966—1979. Было продолжено издание Старочешского словаря (Staročeský slovník, 1—11. Na — Ortel. Praha, 1968—1980), начатое в 1903 г. Я. Гебауэром (т. I—II, A — N переизданы в 1970 г.), накоплен материал для исторического словаря словацкого языка (Slovenský historický slovník z predspisovného obdobia. Ukážkový zošit. Bratislava, 1973). В Болгарии за эти годы созданы картотеки для исторических словарей разных периодов, близок к изданию I том Древнеболгарского словаря. Завершена работа над Загребским историческим словарем, публикация которого заняла почти столетие (Rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika, I—XXIII. Zagreb, 1880—1976).

В Институте русского языка АН СССР хранится и продолжает пополняться старейшая из исторических картотек — Картотека ДРС, на базе которой с 1975 г. издается Словарь русского языка XI—XVII вв. (вып. 1—10, А—Н, 1975—1983). В Москве и Ленинграде в 1960 г. начали работу над созданием картотек для исторических словарей по отдельным периодам истории русского языка: для Древнерусского словаря XI—XIV вв. (словарь готовит к из-

данию издательство «Русский язык») и для Словаря русского языка XVIII в. (первый выпуск Словаря XVIII в. мы надеемся увидеть в 1983 г.).

Во Львове успешно завершено издание двухтомного Словника староукраїнської мови XIV—XV ст. (1977—1978). Идет накопление словарных материалов по XVI—XVII вв. во Львове и Киеве.

В Минске создана картотека по памятникам XV—XVIII вв., на ее базе началось издание Исторического словаря белорусского языка (вып. 1—2. Минск, 1982—1983). Создание картотек, к которым имеют доступ историки языка, явилось событием огромной важности. Введение в научный оборот новых материалов уже началось и через выпуски словарей, и через многочисленные исследования — монографии, статьи, подготовленные на базе картотек.

Ф. П. Филин предлагал, опираясь на новые данные словарей, уже теперь начинать обобщающую работу. «Сравнительный анализ указанных источников (пусть даже незавершенных), — писал он, — позволит очертить круг прарусской лексики, далеко не тождественной с праславянским лексическим фондом». В результате, по его мнению, «выявятся новообразования и заимствования (общевосточнославянские и диалектные), древние диалектные связи с другими славянскими языками, по своему распространению не совпадающие с исторически известными этноязыковыми границами, реликтовые локализмы и диалектизмы прарусской и раннедревнерусской эпох» [3]. Сравнительный анализ позволит также сопоставить лексику складывающегося литературного языка и лексику местных письменных источников, проследить за усилением роли отдельных русских регионов («земель») удельного периода и влиянием этого процесса на сложение и изменение границ диалектных зон, на формирование и состав русского народно-разговорного языка.

В каких же направлениях в связи с намеченной программой лексикологических работ надо совершенствовать лексикографическую практику?

Полнота словника и отражение в словарной статье региональных моментов в истории слова представляются сейчас наиболее важными аспектами лексикографической работы. Это и определило основную тему данного доклада.

Выявление новых слов, засвидетельствованных письменно, идет, во-первых, за счет привлечения новых источников: рукописей, публикаций документов, особенно из местных архивов, лексикологических и лексикографических работ на местных лексических материалах. В частности, расширение круга источников Словаря русского языка XI—XVII вв. (СлРЯ XI—XVII вв.) коснулось в основном регионов, слабее других представленных в Картотеке ДРС (далее: КДРС). В первую очередь это источники южновеликорусской зоны в публикациях сектора лингвистического источниковедения и издания памятников Института рус-

ского языка АН СССР: Отказные книги XVII в. (Белгородская, Брянская, Воронежская, Елецкая, Карачевская, Курская, Мценская, Новосильская, Орловская, Рыльская), по изданию, подготовленному С. И. Котковым и Н. С. Котковой в 1977 г.; рязанский актовый материал по Разрядным спискам поместных казаков Рязани (Археографический ежегодник. М., 1964) и по изданию, подготовленному С. И. Котковым и И. С. Филипповой «Памятники русской письменности XV—XVI вв. (Рязанский край)» (М., 1978); смоленские материалы по книге Е. Н. Борисовой «Лексика Смоленского края по памятникам письменности» (Смоленск, 1974), по Смоленской крестоприводной книге 1598 г., публикации 1976 г. С. П. Мордовиной и А. Л. Станиславского. Авторами многих новых словарных статей в СлРЯ XI—XVII вв. стали исследователи, работавшие с рукописями в архивах Воронежской (В. И. Хитрова), Владимирской (Л. Ю. Астахина), Архангельской (В. Я. Дерягин), Пермской (Е. Н. Полякова) и других областей [4].

Традиционно в сокращенных обозначениях новых источников по возможности сохраняются указания, локализующие памятник: *Пам. Ряз.*, *Пам. Смол.*, *Южновеликорус. нар.*, *Южновеликорус. письм.* В тех случаях, когда названия публикаций или исследований, из которых делаются выборки цитат, не содержат таких указаний, они могут вводиться в сокращенные обозначения источников: *Отп. моск. посла* — Белоброва О. А. Черты жанра хождений в некоторых древнерусских памятниках XVII в. — Тр. ОДРЛ, XXVII. Л., 1972; *Док. о холмог. домовлад.* — Дерягин В. Я. Лексико-семантический анализ группы деловых текстов. — В кн.: Памятники русского языка. Вопросы исследования и издания. М., 1974. Акцентирование внимания в сокращенном обозначении на жанре, месте создания памятника, авторе произведения обеспечивает информативность сокращения и возможность его прочтения без обращения к Указателю источников. В Словаре принята также форма уточнения характера документа, а иногда и его локализации в скобках перед сокращением: (*Кн. прих.-расх. мон. казн.*) *Арх. Он.*, (*Кн. расх. Болд. м.*) *РИБ II*. Как показала практика, этим приемом необходимо пользоваться шире для локализации памятников в таких сводных публикациях, как АЮБ, АИ, ДАИ, объединяющих разнородные в жанровом и региональном отношении документы, Берест. гр. I—VI, где издаются не только новгородские грамоты, но и находки из Смоленска и Старой Руссы, в публикациях типа АРГ, содержащих тверские, московские, дмитровские и другие документы и т. п. (Сокращенные обозначения источников и сокращения при цитатах см. по изд.: Словарь русского языка XI—XVII вв. Указатель источников. М., 1975, а также по Дополнениям к Указателю источников, опубликованным в вып. 5 и 10 СлРЯ XI—XVII вв.).

Выявление новых слов идет, во-первых, за счет расширения состава источников, способных дать информацию о наличии слова. Резервом являются: эпиграфика [5], славянские слова в иноязыч-

ных памятниках письменности [6], реконструкция апеллятивов по данным древнейших топонимов и антропонимов. Совершенствование СлРЯ XI—XVII вв. в процессе издания предполагает все более широкое использование всех этих резервов, в частности ономастического материала не только для семантической интерпретации, но и для локализации нарицательных слов или отдельных их значений. ***Найденъ***, м. *Найденыш*. У него найденъ Илейка. Яросл. п. кн., 108. XVII в. — *В сост. имени собств.* (*как прозвище*). (1509): Князь великии Василеи Ивановичь. . . прислал во Псков князя Ивана Михаиловича Наидена, а потому назвали Наиденомъ. . . нашли его псковичи на Загорьском дворѣ. Псков. лет., I, 92. ***Кундумы***, мн. ***Кундумъ***, м. *Название мучного кушанья*. «Кундюмы съ яйцы во ухи», «Ставець кундумовъ, а въ нихъ. . . 2 чюмича кислицы крошеные» с необозначенной локализацией из собраний ДАИ I, 1590 г. и АИ II, 1613 г. Введение локализованного материала из «Ономастикона» С. Б. Веселовского удревняет также фиксацию: — *В сост. личного имени вотчинников Волока Ламского*: Степан Пирог, 1518 г. . . . Андрей Каравай Оладьин, 1527 г., Матвей Кундум Пирогов, 1541 г.[7]

СлРЯ XI—XVII вв. все шире включает образованные от топонимов и помогающие локализовать основное слово группы терминологических сочетаний. Такие сочетания показывают культурно-исторический фон сложения денежной системы средневековой Руси (*московская*, *новгородская деньга*, а также *московка*, *новгородка*), системы мер сыпучих тел (*боровицкая*, *валдайская*, *елецкая*, *костромская*, *любимовская*, *московская*, *смоленская мѣра*; *можайская*, *ростовская кадь*) и т. п. Производные от топонимов сочетания в известной мере отражают и существовавшие культурные и торговые контакты: *кафинский*, *венецкий*, *итальянский аршинъ* 'меры длины для ввозимых тканей (до середины XVI в.)', *московский аршинъ* 'мера длины для всех тканей (с середины XVI в. и для ввозимых, и для отечественных)'; *Мешецкий шелкъ* 'шелк из г. Мешхеда в Персии'; *Лундское сукно* (также *лундышъ*) 'сорт английского сукна'.

Использование топонимов и антропонимов дало новый материал для семантической и региональной характеристик лексики и значительно обогатило Словник української мови XIV—XV вв. Ономастика, по мнению украинских лексикологов, является «цінним джерелом вивчення лексичного багатства мови, її історії, адже в її скарбниці законсервована глибока старовина, назви різних понять і предметів, що давно вже перестали вживатися» [8].

Итак, более широкое привлечение местных памятников письменности, использование вспомогательных резервов информации о слове (эпиграфики, славянских вкраплений, территориально маркированной ономастической лексики) актуализируют вопрос о региональной характеристике слова в исторической лексикографии.

Усилия исторической лексикографии в решении проблемы региональной характеристики лексики облегчат и усилят аргу-

ментацию в этимологической лексикографии. Г. Бирнбаум признает: «Для реконструкции даже относительно поздних периодов того или иного праязыка. . . данные, предоставляемые нам современными диалектами и говорами, должны быть, на наш взгляд, использованы с возможно большей осторожностью. . . Часто маловероятной является архаичность явлений, засвидетельствованных лишь немногочисленными примерами» [9].

Следует заметить, что до недавних пор лишь диалектная лексикография давала надежно локализованный массовый материал, чем в значительной степени объясняется то предпочтение, которое этимологи отдавали диалектным данным. Глагол gojiti(sę) (ЭССЯ, вып. 6) реконструируется на основании многочисленных сведений из русских диалектов, болгарских, польских, чешских, сербских и других материалов, что само по себе уже говорит об архаичности глагола. Возможно, однако, нужна была бы и некоторая опора на письменные данные, в частности на сочетание *гой еси* в СлРЯ XI—XVII вв. В целом же в совпадающих частях алфавита ЭССЯ уже учитывает новую по сравнению со Словарем Срезневского лексику, уточнения в датировках, новые значения.

Крайне важны регионально-диахронические характеристики слова и для решения многих вопросов диалектологии. Создание исторической диалектологии невозможно без хронологической корректировки лексических данных, накопленных к настоящему времени диалектной лексикографией. Создаваемый на основе дифференциального принципа сводный Словарь русских народных говоров (далее: СРНГ) включает огромное количество чисто региональных слов и значений слов, не свойственных всему русскому языку в целом.

СлРЯ XI—XVII вв., будучи общефилологическим словарем, построенным на материале памятников письменности, разнообразных в жанровом и территориальном отношении, регистрирует не только книжно-письменную лексику и народно-разговорные, просторечные (общерусские) слова и значения, но и местную (периферийную, областную, диалектную) лексику.

Примечательно, что Словарь русского языка XVIII в. также «включает всю особую местную лексику, встретившуюся в его источниках, независимо от степени ее употребительности в них и от ее позднейшей судьбы по отношению к литературно-языковой норме» [10].

В целом в отношении местных особенностей речи ситуация в Русском государстве складывалась весьма демократично: Гдѣ кто родился и по обыкностямъ своимъ говорить и писать извыкъ, того въ бесчестье не ставить и судовъ въ томъ не давать. (Указ ц. Алекс. Мих.) ПСЗ I, 1000. 1675 г.[11] В письменных источниках в пределах одного текста можно было встретить *идти* и *идтить*: Будет имъ берегомъ идтить нельзя, имъ идти распрося, куда пригоже. Баг. Мат., 6. 1600 г.; в псковских памятниках наряду с общерусским *засада* дается местное *подсада* [12], в документах Ярославского девичьего монастыря одно и то же строение регу-

лярно именуют то *баней* (московские писцы), то *мыльней* (местные), наряду с *конопля* в памятниках письменности (и в СлРЯ XI—XVII вв.) регистрируется *конопель*, *конопи*, *конопли* и т. д.

По наблюдениям исследователей, «наибольшее число местных слов приходится, естественно, на время большей изолированности, большей самостоятельности русских феодальных областей, т. е. на XIV—первую половину XVI в.» [13].

Значительные расхождения на разных территориях распространения русского языка обнаруживают, например, наименования мер сыпучих тел. Появление большого количества местных мер с их разнообразной номенклатурой связано с известной территориальной разобщенностью русских земель периода феодализма. Наряду с самым распространенным и древним термином для обозначения меры сыпучих тел (преимущественно зерна) *кадь*, местные документы XIV—XVI вв. отмечают *коробью* в Новгороде, *зобницу* в Пскове, *пузъ* на Двине, *куницу* на Вятке, *сапцу* в Соли Камской. В Устюге Великом зерно и мука измерялись *мѣрами*. В новгородской берестяной грамоте упомянута как мера зерна *дежа*, лексема в других документах в этом значении не зафиксированная: У Милъслава со Милонего 9 деже, овса десятая. Берест. гр. VI, № 320. XII—XIV вв.

Примером выразительности местных лексических различий может служить также вырабатываемая в течение длительного времени терминология фискального учета, очень часто опосредованно отражающая характер ведения хозяйства в каждом конкретном регионе. Так, например, в земледельческих районах Новгородской земли в XV—XVI вв. единица налогового обложения называлась *обжа* (название фискальной единицы связано с метрологическим значением слова *обжа* 'мера пахотной земли'). Фискальный термин *обжа* был неизвестен на других русских территориях. По летописному преданию, Иван III после присоединения Новгорода к Москве пожелал узнать размер новгородской сохи: Князь велики . . . велѣлъ въспросити, что ихъ [новгородцев] соха. И они сказали: три обжи соха, а обжа — одинъ человѣкъ на одной лошади оретъ, а кто на трехъ лошадехъ и сам третей оретъ, ино то и соха. Соф. II лет., 217.

Местная окладная единица в промысловых северных районах Новгородской земли носила название *лукъ*. На севере Новгородской Водской пятины (см. Кн. пер. Водск. пят. II) *луками* облагаются уже земледельческие хозяйства. Название окладной единицы *лукъ* восходит к значительной древности, когда хозяйство на этой территории было охотничьим и промысловым. Хозяйство эволюционировало, стало земледельческим, но название окладной единицы осталось прежним.

Безусловно, территориальная разобщенность русских земель была одной из причин появления некоторого числа местных лексических расхождений, прежде всего в области терминологий, отражающих социально-экономические условия жизни в том или ином регионе. Памятники письменности отмечают их поразительную

живучесть вплоть до XVII и даже XVIII в. Увеличение количества лексических диалектизмов отмечается исследователями русской диалектной лексики для всего периода XIV—XVII вв.[14] несмотря на возрастание центростремительных тенденций в русском языке начиная с середины XVI в.

Материалы СлРЯ XI—XVII вв. подтверждают архаичность многих слов и их семантических сближений, а в некоторых случаях проясняют то, что из-за отсутствия семантических связей с опорным словом дано в СРНГ или в Словаре В. И. Даля со знаком вопроса. Так, слова *кудель* и *кужель* с их производными семантически слились: 'кудель, пучок вычесанного льна, конопли, приготовленный для прядения'. Так было уже в XVI в., о чем свидетельствуют данные СлРЯ XI—XVII вв. Но первоначально это разные слова: *кудель* из *kǫdelь 'пучок волокна на прялке', *кужель* из *krǫželь (так могло быть названо что-л., имеющее отношение к вращению, имеющее вращающуюся деталь, например, колесная прялка) [15]. Реально же зафиксировано у Даля и в СРНГ *кужельня* 'ось, на которой вращается жернов (?)' с пометой *тул.* СлРЯ XI—XVII вв. имеет *кужельня* 1680 г.: У мел‹ь›ницы кужел‹ь›ни розбилис‹ь› и жерновы не кованы, а. . . мел‹ь›ник кужел‹ь›ней не делает. (Чел. приказчика) Р., № 43, 4. Производные же образования *кужевненый* и *кужевинный* (*кужевня* вторично при *кужельня*) в СлРЯ XI—XVII вв. указывают в качестве территории распространения также и на Соликамск.

В СлРЯ XI—XVII вв. подтверждаются единичные фиксации диалектных слов: *лаз* 'лесная тропа' — в недавней записи в вологодских говорах (СРНГ) и в двинском документе 1535 г. (СлРЯ XI—XVII вв.); *лесна* 'стенка солеваренного котла высотой до полуметра' — в записи 1930 г. на Урале (СРНГ) и *лесни* (*лясни*) 'стенки црена — большого плоского котла, металлического ящика для выварки соли' — в Якутских актах, 1646 г. (СлРЯ XI—XVII вв.); расширяется круг известных диалектных образований: *кадиль* 'кадка' — в воронежском документе 1677 г., *корья* 'тара и мера объема зерна, корнеплодов и мера площади, на которой высеивается корья зерна' — в переписных книгах Шелонской и Водской пятин 1498—1500 гг.; *лешнягъ* 'заросли орешника' по Воронежским межевым книгам, 1629 г. (в СРНГ эти слова отсутствуют). Более сложный случай: *лаксирь* 'название рыбы, предположительно густера (ср. диал. *ласкирь*)' — в рязанском памятнике 1687 г.

В СлРЯ XI—XVII вв. представлены как собственно лексические диалектизмы (лексемы), так и семантические (значения). Примеры последних у слов, имеющих повсеместное распространение: ***Камень***, м. . . . 4. . . . ‖ 'горный хребет' — в уральских и сибирских памятниках XVII в.; ***Кошель***, м. . . . 7. 'особая форма двускатной крыши (на русском Севере), в которой оба ската скошены под разным углом и имеют разную длину' — в сийской рукописи 1584 г.

Таким образом, для диалектных слов и значений региональная характеристика может быть включена в состав дефиниции разными способами, вплоть до использования ссылки на СРНГ.

Диалектизмы, фиксируемые в СлРЯ XI—XVII вв., принадлежат к различным тематическим группам лексики. Так, среди географических терминов выделяется группа местных северновеликорусских заимствований из финно-угорских языков: *каренька* 'мелкий, нестроевой лес' — в соловецком документе 1635 г., в архангельских, уральских и сибирских говорах, по СРНГ; *курья* 'речной залив, заводь. . .', *курейка*, *курейный* — в северных, уральских и сибирских памятниках XV—XVII вв., в северо-западных, северных, уральских и сибирских говорах; *ламба* 'зарастающее мохом небольшое озеро в лесу с топкими берегами' — в обонежской грамоте XVI в., в олонецких и архангельских говорах; *лахта* 'залив, бухта', 'низменное место, прилегающее к заливу (лахте)', *лахтица*, *лахотный* — в двинских памятниках XV—XVII вв., в олонецких, архангельских, усть-цилемских говорах и др. На юге и юго-востоке СлРЯ XI—XVII вв. отмечает среди географических терминов некоторые заимствования из тюркских языков: *бояракъ*, *баяракъ* 'буерак, овраг, рытвина' в южнорусских документах XVI—XVII вв., *буеракъ*, *буяракъ* 'буерак, овраг' в юго-восточных документах XVII в., *ерикъ*, *ерекъ* 'небольшой речной или озерный рукав' в воронежских актах XVII в. Географический термин *левада*, фиксируемый СлРЯ XI—XVII вв. в воронежских документах XVII в. и широко представленный в курских, орловских, тульских, ивановских, пензенских, донских, ростовских, кубанских, новороссийских говорах (по СРНГ), М. Фасмер сопоставляет с *ливада* (из греч. λιβάδι, λιβάδιον), а этот последний отмечен И. И. Срезневским в одном из прологов, также по И. И. Срезневскому в СлРЯ XI—XVII вв. дано прилагательное *ливадный* из Георгия Амартола, 1389 г.

Только в памятниках XVI—XVII вв. с южновеликорусских территорий зарегистрированы такие слова, как *колокъ* 'небольшая роща, перелесок', *колча* 'низкое заболоченное место (?)', *котлубань* (*катлубань*, *кутлубань*) 'яма, котловина с водой', *котлубанинка*, *котлубашина* (*кутлубашина*); кроме первого термина, во всех случаях обнаруживается совпадение географического распространения лексем в прошлом и в современных говорах. Несовпадение географических характеристик, содержащихся в СлРЯ XI—XVII вв., с современной географией слова во многих случаях может быть объяснено изменением границ распространения слова, вхождением слова в наддиалектные разновидности языка.

При сопоставлении данных СлРЯ XI—XVII вв. и СРНГ необходимо с осторожностью относиться к термину «диалектизм» применительно к лексике донационального периода развития языка. Как диалектизмы здесь были указаны в основном слова и значения, имевшие предположительную зону распространения и не вошедшие позднее в нормализованный русский литературный

язык, что вполне согласуется с известным определением этого понятия для современного языка [16]. Но уже в исторической диалектологии такое определение по двум признакам (наличию изоглоссы и отсутствию в литературном языке), по мнению О. С. Мжельской, может быть принято лишь «с некоторыми поправками» в связи с тем, что диалектизм в эпоху нашего средневековья «входил не только в систему местного говора, но и в систему местной разновидности письменного языка» [17].

В общей истории языка едва ли достаточно одного понятия — диалектизм. По справедливому замечанию Г. В. Степанова, «традиционная диалектология зачисляет в категорию диалектов неравнозначные социолингвистические объекты» [18].

Для обобщающих историко-лексикологических и историко-географических изысканий, основанных на сопоставлении данных исторической и диалектной лексикографии, значительные трудности представляет не только практическое выделение круга регионализмов в общефилологическом словаре. Очень важно и теоретическое определение самого понятия регионального явления в лексике применительно к истории словарного состава языка. (Отметим особую заинтересованность в решении этого вопроса, проявляемую в зарождающейся региональной исторической лексикографии.)

Материалы СлРЯ XI—XVII вв. содержат многочисленные примеры изменения не только географического распространения, но и социального статуса слов: перемещения их из диалектов в наддиалектные разновидности языка и наоборот — «затухания», перехода на положение диалектизмов слов, имевших в какие-то периоды своей жизни в языке повсеместное распространение.

Сосуществование унаследованных от общеславянского состояния лексем *лѣха* и *гряда* объяснялось их первоначальной отнесенностью к разному виду полосы земли (после обработки): *лѣха* 'полоса земли, пашни (при ручном севе)', *гряда* 'узкая в виде невысокой насыпи полоса земли, подготовленная для посадки овощей, цветов и т. п.' (грѧда | гр҃жда были близкими понятиями). Противопоставление слов по наличию или отсутствию возвышения на полосе обрабатываемой земли постепенно стиралось. *Лѣха* в ранних памятниках письменности уже обозначает и борозду (Усп. сб. XII—XIII вв.), и грядку: Споды (греч.) — лехи или гряды, иже во огороде. Алф.[1], 215. XVII в. *Гряда* же и *грядка*, как видно и по многочисленным производным, занимает более активные позиции. *Лѣха* по данным СлРЯ XI—XVII вв. уже не имеет производных и переходит на положение диалектизма.

Сравнительно простым примером изменения географического распространения и социального статуса слов может служить история некоторых названий одежды. В СлРЯ XI—XVII вв. слово *кабатъ* фиксируется в двух значениях 'род верхней одежды у иностранцев («немцев») (ср. греч. καβάδης)' — с XV в. и 'царская одежда рубашечного покроя с разрезами по бокам и с широкими рукавами' — в московских документах XVII в. По данным СРНГ,

ка́бат, *каба́т*, *коббáт*, *каба́та*, *кабатéйка*, *каба́тик*, *кабату́ха* и *кобату́ха*, *кабату́шка* и *кобату́шка* — названия разнообразных видов крестьянской одежды, преимущественно рабочей, в западных, северных и сибирских говорах. В разряд диалектизмов переходит лексема *азямъ*, *озямъ* (<Adžam 'Персия'), приводимая СлРЯ XI—XVII вв. со значением 'мужская верхняя одежда типа длинного кафтана' из московских документов XVI—XVII вв. СРНГ фиксирует слово *азям* в значении 'верхняя одежда крестьян, мужская или женская, разного покроя и сшитая из разного материала в зависимости от местности и обстоятельств' на самых разных территориях России.

Зоны распространения части слов, меняющих на протяжении истории свой языковой статус, могут не ограничиваться пределами одного языка. Так, памятники русской письменности сохранили три названия для обозначения части суши, острым углом или резко выдающейся в море, озеро, реку — *носъ*, *рогъ*, *мысъ*, первые два из которых регионально противопоставлены. Ранние севернорусские памятники используют для обозначения этого географического объекта слово *носъ* [19], сначала в свободном употреблении (XIV—XV вв.), а позднее в составе географических названий: За рѣкою на носу. . . полоса земли. АЮ, 433, ок. 1350 г.; Купи полоску земли на носу. Гр. Дв., 36. XV в.; Деревня за Белымъ носомъ у Ладожского озера. Кн. пер. Водск. пят. III, 50. 1500 г.; Ѣхати на Канинъ носъ. СГГД IV, 72. 1661 г.; Взято. . . денегъ. . . з жеребья деревни Орлеца на Орлецкомъ носу. Гр. Дв. II, 261. 1691 г. Сибирские документы и для XVII в. обнаруживают этот термин вне состава топонима: Межъ рѣкъ Нонаборы и Ковычи, протянулся въ море носъ каменной. Чертеж Сиб. з., 8. 1672 г.

Южные деловые документы фиксируют в значении 'мыс, изгиб, колено (реки)' термин *рогъ*: Сторожемъ на ней [реке Воргле] стояти из Дѣдилова. . . а беречи имъ на право до Робушкина лѣсу до верхнего рогу 10 верстъ. Д. сторож. службы, 9. 1571 г. Более поздние местные южные памятники отмечают термин *рогъ* уже в составе географического наименования: Как де он ѣхалъ на Терекъ. . . на рѣкѣ Кизларе. . . ево де не допущая до Терского рога на дороге взял астраханской Сююн мурза Янаев. Астрах. а. № 2310. 1651 г.; Отъ того лѣсу до Ольхового рогу по обѣ стороны той реки степь. Баг. Мат., 136. 1686 г.

Северные документы знают термин *рогъ* исключительно как название парного мыса — *Унские рога* 'два возвышенных, значительно выдающихся в Белое море мыса (Яренгский и Красноярский), образующих узкий проход из моря в Унскую губу'. Ср.: На лѣтней стороне у моря на Унских рогах монастырь Пертоминской. Гр. Дв. II, 142. 1684 г.; Отъ Двинскаго устья до Унскаго рога 80 верстъ. Косм. Арс., 16, к. XVII в.

Пережиточно сохраняющиеся в составе географических наименований термины *носъ* 'мыс' поздних памятников для северного региона и *рогъ* 'мыс, колено (реки)' для южного региона [20] пере-

крываются употреблением термина *мысъ* на всей территории распространения русского языка.

Первую фиксацию термина *мысъ* находим в летописном сообщении под 1434 г., относящемся к волжскому региону: [Кн. Василий] прииде на Кострому съ Вятчаны. Князь же великы то слышавъ, и собравъ воя, поиде на него и, пришедъ, ста у Елпатия святаго на мысѣ. Ерм. лет., 149, сп. XV — н. XVI в. Географический термин *мысъ* широко фиксируется в деловых документах центра, севера, северо-запада, юго-востока, Сибири: Придали есмя, господине, доры къ тѣмъ деревнямъ, къ Борку да къ Мысу. Арх. Стр. I, 87. 1490 г.; [Межа] по гранемъ и по рубежемъ на осиновой мызъ. Арх. Стр. I, 183. 1526 г.; Деревня Зады Гайновские съ мыса Гайновского да прямо к Бурдуковскому ручью. А. Юж., 119. 1511 г.; На мысу. Псков. п. кн., 427. 1587 г.; [Межа] болотомъ на мысу на виловатой дубъ. Ряз. п. кн., 754. 1629 г.; У лѣсного Воронежа подъ Лежайскимъ мысомъ деревня. АЮБ II, 321. 1637 г.; Отъ того столба черезъ рѣчку. . . на сосновый острый мысъ. Кн. стр. Синб.; 53. 1654 г.

Русское *мыс* имеет параллели в украинском (*мис*) и белорусском (*мыс*) языках. Однако, если слово *мис* на украинской почве представляется изолированным и его можно рассматривать как русизм нового времени, то белорусское *мыс* выглядит словом весьма старым: оно приобрело целую серию вторичных значений и даже претерпело контаминацию с другими словами [21]. Чешское и словацкое mys считаются заимствованием из русского языка [22].

Существительное *мыс* не имеет убедительной этимологии на индоевропейской почве (см. Фасмер II, с. 24). Первоначальная фиксация лексемы *мысъ* в Поволжье, отмечаемая СлРЯ XI—XVII вв., может свидетельствовать в пользу ее заимствования у юго-восточных соседей. Русско-белорусский географический термин *мыс* может быть возведен к лексеме типа древнетюркского müjüz 'рог' [23]. В пользу тюркской этимологии говорят также вариант *мызъ* с финальным звонким согласным, фиксируемый СлРЯ XI—XVII вв., и диалектные формы типа *мызье* 'мысы', *мызокъ* 'небольшой мыс, выступ берега', *мыз* 'косой затес от топора на конце бревна'.

Обращение к текстам XI—XVII вв. позволяет считать, что размежевание географических терминов *носъ* и *рогъ* (*нос* для северного, *рог* для южного региона) отражает сравнительно древнее состояние языка. Устранение этих метафорических по происхождению терминов, одинаково восходящих к полисемантичным анатомическим названиям, на этом участке географической терминологии происходило за счет вытеснения их новым заимствованным термином с его утраченной в момент заимствования внутренней формой, которая, впрочем, была в данном случае идентичной с внутренней формой географического термина *рог*. Исторический словарь для этого случая не только подтверждает современное распределение географических ареалов терминов *нос* и *рог*, пережиточно сохранившихся в современной топонимике в со-

ставе географических названий, но и достаточно подробно показывает процесс взаимодействия географических терминов *мыс*, *нос*, *рог*, в результате чего два последних термина из актуальных лексем регионального характера превратились в архаизмы, отойдя на периферию русского словаря.

Особенно много регионализмов, изначально не относящихся к диалектной лексике (в традиционном смысле этого слова), в терминологии общественно-политической, социально-экономической. Задача региональной их характеристики также стоит перед общефилологическим историческим словарем. Часть этой терминологии никогда не входила в общерусское употребление, но была характерной для официально-деловой, административной сферы общения на той или иной территории распространения русского языка.

В СлРЯ XI—XVII вв. представлены такие термины, как *лавничество* 'судебно-административный округ в составе уезда, волости (в юго-западной Руси)', *лавникъ* 'должностное лицо в округе (лавничестве)' — в смоленских актах XVII в.; полонизированная форма *лавнитство* 'то же, что лавничество' — в оброчных книгах Поречской волости 1669 г.; *курень* 'казачье военное поселение, станица' — в донских памятниках XVII в. и другие термины административного устройства казачества. Само слово *казакъ* 'легковооруженный воин, представитель низшего разряда татарского войска', 'представитель вольной военной общины с особым самоуправлением', 'служилый человек, несущий пограничную сторожевую службу по найму, на определенных условиях' — в широком круге московских, южновеликорусских памятников XV—XVII вв.; но 'вольный человек, свободный от тягла и работающий по найму, батрак' — преимущественно в документах Северо-Восточной Руси и Севера того же периода.

Особенности социально-экономической жизни русского Севера с его системой монастырского землевладения и арендного землепользования отражены в соответствующей терминологии, широко представленной в СлРЯ XI—XVII вв.: исконные термины *порядити*, *порядъ*, *зарядъ*, *вырядъ*, *вырядити*, *выряжати*, *прирядъ*, *прирядити* и др. Термины с корнем *-ряд-* были продуктивны в древнерусском праве, что подтверждают материалы Русской Правды и новгородские рядные — одна из древнейших разновидностей частных актов. Словарь фиксирует значительное число новообразований с этим корнем в северновеликорусских памятниках XVI—XVII вв. Вся эта терминология генерирована не народно-разговорной, а письменно-деловой местной речью. Ср. здесь же в северновеликорусских памятниках *кортомъ* и *кортома* 'откуп, наем, аренда', *кортомити*, *кортомленый*, *кортомный*, *кортомщикъ*.

Для южновеликорусских деловых документов XVI—XVII вв. можно указать терминологию отказа, вырабатывавшуюся в отказных книгах, для областей распространения поместного землевладения — соответствующую терминологию, лишь часть которой сохранилась в литературном языке национального периода. Ср. в вышедших выпусках СлРЯ XI—XVII вв. и КДРС: *помѣстити*

'наделять землей с поселениями на ней, поместьями', *испомѣстити*, *беспомѣстный*, *помѣстье*, *помѣстьице*, *помѣстейце*, *помѣстьишко*, *помѣстничество*, *помѣстный*, *помѣщикъ*, *помѣщица*, *помѣщиковъ*, *помѣщиковский*, *помѣщицкий*, *помѣщицынъ*, *помѣщичий* [24].

Выявление и региональная характеристика этих разрядов лексики в СлРЯ XI—XVII вв. поможет «определить диалектно-областные вклады в развитие русского литературного языка» [25].

В истории восточнославянской лексики наибольшую сложность представляет описание процессов, результатом которых было образование словарного состава трех самостоятельных восточнославянских языков — русского, украинского, белорусского. Описать эти процессы — значит не только выявить новообразованные и заимствованные после XIII—XIV вв. лексемы и значения, но и, что самое трудное, представить во всей конкретности, как на генетически общей основе постепенно нарастали локальные различия в лексической семантике [26]. При сопоставлении материалов из памятников XV—XVII вв. с территорий великорусской, украинской и белорусской эти различия, безусловно, выявятся, однако сводками таких материалов мы пока не располагаем — дело за завершением исторических словарей и обобщающими исследованиями по исторической лексикологии всех трех восточнославянских языков.

Составители СлРЯ XI—XVII вв. как словаря наиболее широкого по охвату памятников и хронологии стремятся показать локальные восточнославянские семантические инновации лексикографическими способами, внутри отдельных словарных статей.

Следует учитывать, что словарное определение всегда обобщает (а это таит в себе опасность нивелирования местных различий), но там, где это возможно, СлРЯ XI—XVII вв. кроме прямого указания на регион в дефиниции использует такие приемы, как детализация семантических рубрик, подбор цитат определенной территориальной приуроченности. Примером может служить 3-е значение слова **Мѣсто**. Основное определение *Населенное место*, *население вообще*; *поселение городского типа* иллюстрируется такими цитатами, отнесенность которых к собственно русскому региону ясна: (1237): И нѣс‹ть› мѣста ни вси, ни сѣлъ тацѣх рѣдко, идеже не воеваша на Суждальскои земли. Лавр. лет., 464; Сей же Батый злѣйши и губительнѣиши бысть оного Навуходоносора, грады испровергаа, села же и мѣста пожигаа. Пов. убиен. Батыя, 111. XVI в. ~ XV в. Историко-культурные условия и традиции формирования городов, их правовой статус были разными для северо-восточных и юго-западных земель, поэтому далее в словарной статье под этим значением выделены оттенки значения, в которых выявляется постепенное накопление семантических различий. Показательны хронология и география цитируемых памятников — южнорусской Ипатьевской летописи, «Истории» Курбского и др.: ‖ *Собственно город, по западнорусской и европейской средневековой традиции, формировавшийся вокруг*

торга, *торговой площади*, *а иногда вблизи замка*, *крепости* (*города*, *града*). (1287): Бывшу же ему в Луцки, Мьстиславу же не сущу ту, но близъ города нѣкоемь мѣстѣ именемь в Гаи: мѣсто же то красно вѣдѣниемь и устроено различными хоромы, цркви же бяше в немь предивна красотою сияющи. Ипат. лет., 908; И абие внезапу прииде буря великая и загорѣлося мѣсто такъ скоро, же за малыи часъ все мѣсто обьяло. Людие же немецкие всѣ отъ мѣста избѣгоша во градъ отъ огня великого. Курб. Ист., 231. XVII в. ~ XVI в.; На лѣвомъ берегу рѣки Дуная. . . Измаилъ мѣсто велико, сказываютъ 8 тысячь домовъ, а города нѣтъ, посадъ токмо. Арс. Сух. Проскинитарий, 7. 1653 г.; Въ Каменецъ войскъ къ бою 6000. Боятца, чтобъ на нихъ наши не напали и моста междъ замкомъ и мѣстомъ не разорили. ДАИ XI, 11. 1684 г. || *Территория*, *область*, *тяготевшая к такому поселению*, *городу*. Приходилъ на наши на Сѣверские мѣста къ Новугородку Сѣверскому ротмистръ твои князь Михаило Вишневетцкой съ литовскими людми. Польск. д. III, 152. 1563 г.; А какъ шатцкие и темниковские мѣста от воровских людей очиститца, и ты б. . . шол х Керенску. Разин. восст., 36. 1670 г.[27]

Небезынтересно также сопоставление семантических рубрик слов, общих для языка восточных славян, таких как *листъ*, *половица*. Они могут в исторических словарях отличаться набором значений, доминирующими значениями, набором устойчивых и просто типических сочетаний.

Слово *листъ* есть и в старорусских и в староукраинских памятниках. Однако значение 'письменный документ юридического характера, грамота' для семантической схемы русского слова периферийно (в СлРЯ XI—XVII вв. слово *листъ* включает лишь три сочетания: верющий листъ, проѣзжий и прохожий листъ, *грамота* с этим же значением — около 150). В семантической схеме украинского слова *листъ*, *листо* значение 'письменный документ юридического характера, грамота' будет доминирующим (в Сл. укр. мови только по периоду XIV—XV вв. дано 14 сочетаний: верны листъ, листъ глєитовныи, граничныи, дозволєныи, еднальныи, уздавалныи, судовыи и т. п.)[28].

Слово *половица*, по данным картотеки Старобелорусского словаря, имеет в старобелорусских памятниках те же значения, что и слово *половина*, употребляется наряду с ним: И присудили половицу земли Чабутовичю Ясуду, а половину Данилу. КСД, 1377, 1480 г.; Половицю тот члвкъ. . . имать платити готовыми грошми, а половину — статки домовыми. КСД, 39. 1510 г. В КДРС наиболее ранний случай употребления слова *половица* приходится на новгородскую территорию (Берест. гр. XIII в.). Остальные цитаты — из памятников переводных (литература жидовствующих, Космография, Назиратель и др.) или Алфавитов иностранных речей. В этих памятниках есть употребления слова, тяготеющие к польской семантической специфике слова, например выражение *половица души моей* (Рим. д., 344. 1688 г.) — 'о любимом, близком

человеке', и употребления, перспективные для русского слова *половица* 'доска, изготовляемая из наиболее широкой, срединной части дерева (используемая преимущественно для пола)' [29]: Древо. . . было бы до половицы расколотое так, чтобы и середка надкололася. Назиратель, 209. XVI в. Ср. более позднее: К сему срубу прилаживаютъ. . . дверь изъ половицъ, то есть половинчатыхъ бревенъ. Лепехин. Днев. зап. I. Языковую принадлежность и статус таких слов, как *половица*, определить однозначно нельзя (полонизм? освоенное заимствование? русский регионализм?), как нельзя отрицать факта фиксации слова в русской письменности: новгородские берестяные грамоты, Назиратель, «в котором богато представлена лексика русского языка XVI века и нашли яркое отражение межславянские лексические отношения» [30].

Так исторический словарь общефилологического типа, отмечая региональные моменты в истории словарного состава языка, дает материал для этимологических изысканий, исследований в таких областях, как теория языковых контактов, историческая диалектология, историческая лексикология и история литературных языков. Перед составителями исторических словарей стоит задача совершенствования лексикографических приемов региональной характеристики слова.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] См.: *Филин Ф. П.* Проблема локализации древнерусской лексики и историческая лексикография. — В кн.: Проблемы славянской исторической лексикологии и лексикографии. Тезисы конференции, вып. 3. М., 1975, с. 8—13; *Котков С. И.* Памятники русской письменности и историческая диалектография. — ВЯ, 1975, № 2, с. 12—21.

[2] *Гамкрелидзе Т. В.* Лингвистическая типология и индоевропейская реконструкция. — Изв. АН СССР. Сер. лит. и яз., 1977, т. 36, № 3, с. 195.

[3] *Филин Ф. П.* Проблемы исторической лексикологии русского языка (древний период). — Наст. изд.

[4] См. подробнее СлРЯ XI—XVII вв., вып. 5. М., 1978. Дополнения к Указателю источников, предисловия к вып. 5—9, а также: *Мордовина С. П., Романова Г. Я.* Картотека ДРС и перспективы ее пополнения. — В кн.: Вопросы практической лексикографии. Л., 1979.

[5] В практике составления СлРЯ XI—XVII вв. используются различные надписи на предметах: на сосуде *горуша* (*горуща*), на мече (*коваль*), на камне (Тьмутараканский камень: *ледъ*, *мѣрити*), надписи в рукописях при инициальных буквах (*курвинъ*) и т. п.

[6] Таких находок, относящихся к разным периодам, сделано на сегодняшний день уже довольно много. О. Н. Трубачев отмечает, что «личное имя короля антов rex Boz у Иордана. . . отражает ранневосточнославянское vožь или vožь, русск. нар. *вож* (калька rex — *вож*), книжное *вождь*, уже в IV веке». См. в данном издании: *Трубачев О. Н.* Языкознание и этногенез славян. Древние славяне по данным этимологии и ономастики. Л. П. Жуковская указывает на восточнославянскую форму имени наместника Юстиниана на Боспоре — *Гордъ*. Имя фиксируется в византийских источниках VI в. См.: *Жуковская Л. П.* О начальном этапе древнерусского литературного языка. — В кн.: Совещание по общим вопросам диалектологии и истории языка. М., 1973, с. 172. СлРЯ XI—XVII вв. в отдельных случаях для показа более ранней фиксации или редких сочетаний слов в соответствии с принципами, разработанными еще Б. А. Лариным, прибегает к иноязычным текстам, в которых имеется транслитерированное русское

слово или словосочетание. Так, ранняя фиксация слова *кистень* дается в Словаре по С. Герберштейну (*Herberstain S.* De rerum Moscoviticarum Commentarii. Basel, 1556, p. 49), два сочетания Mammatovoi kost и Adamovoi kost в словарной статье *кость* подтверждены текстом из Русской грамматики Лудольфа 1696 г. Большими информативными возможностями располагают двуязычные лексиконы XV—XVII вв. с левой или правой «словенской (русскоцерковнославянской) частью» (например, содержащие богатые материалы по средневековой лексике исследования и публикации средневековых лексиконов Л. С. Ковтун) и разговорники (типа Псковского разговорника Т. Фенне 1607 г.). В последнее десятилетие интенсивная работа по обследованию тематических групп лексики в русско-немецких, русско-шведских словарях-разговорниках XVII в. ведется проф. Сири Свердруп Люнден (см.: *Lunden S. S.* The Trondheim Russian-German MS. Vocabulary. Oslo, 1972, а также ряд публикаций С. С. Люнден совместно с У. Биргегорд в журнале «Scando-Slavica»).

7 Подробнее см.: *Богатова Г. А.* О возможностях использования ономастической лексики в словаре исторического жанра. — Учен. зап. Красноярского пед. ин-та (в печати).

8 З історії української лексикології. Київ, 1980, с. 4.

9 *Бирнбаум Г.* О степени доказательности диалектизмов- «архаизмов». — В кн.: Русское и славянское языкознание (к 70-летию чл.-корр. АН СССР Р. И. Аванесова). М., 1972, с. 43, 45.

10 Словарь русского языка XVIII века. Проект. Отв. редактор Ю. С. Сорокин. Л., 1977, с. 20.

11 Л. А. Булаховский отмечает свободное отношение к выбору диалектных вариантов у людей старшего поколения еще в XIX в. См.: *Булаховский Л. А.* Русский литературный язык первой половины XIX века. Лексика и общие замечания о слоге. Киев, 1957, с. 240.

12 *Сороколетов Ф. П.* Местные слова в составе военной лексики древнерусского языка. — В кн.: Диалектная лексика 1969. Л., 1971, с. 235.

13 Там же.

14 *Филин Ф. П.* Происхождение русского, украинского и белорусского языков. Историко-диалектологический очерк. Л., 1972, с. 615.

15 См.: *Трубачев О. Н.* Ремесленная терминология в славянских языках. М., 1966, с. 98—99.

16 *Филин Ф. П.* Проект «Словаря русских народных говоров». М.—Л., 1961, с. 13—38.

17 *Мжельская О. С.* Диалектизмы в языке памятников средневековой письменности. — В кн.: Из истории слов и словарей. Очерки по лексикологии и лексикографии. Л., 1963, с. 120—121. См. также раздел «К проблеме диалекта донационального периода» в кн.: *Бондарчук Н. С.* Проблемы исторической региональной лексикологии. Калинин, 1978.

18 *Степанов Г. В.* Вариативность языка как источник изучения его истории. — Совещание по общим вопросам диалектологии и истории языка. Тезисы докладов и сообщений. М., 1973, с. 38.

19 На эту особенность метафоричного употребления слова *нос* в значении 'мыс' обратил внимание С. Герберштейн: Noss, Ruthenis nasus dicitur, quo nomine promontoria ad nasi similitudinem in mare prominentia vulgo appellant (*Herberstain S.* Op. cit., p. 83).

20 Словарь староукраинского языка XIV—XV вв. не отмечает у слова *нісъ* значение 'мыс', слово же *рогъ* фиксируется там в значении 'край (леса)' и в географическом названии *Лычный рогъ*, во второй части которого можно видеть указание на значение 'мыс': За Пруто(м) на деренико(х). . . где Танко селитъ на Лычномъ рогу. (см.: Словник староукраїнської мови XIV—XV ст., т. I, с. 560; т. II, с. 294. Київ, 1977—1978).

21 См.: *Веренич В. Л.* — Материалы для обсуждения «Беларуска-рускія изалексы». Минск, 1973, с. 27—29.

22 *Machek V.* Etymologický slovník jazyka českého. Praha, 1971, s. 24.

23 Древнетюркский словарь. Л., 1969, с. 352. Ср. также половецкое müs 'por' (*Grønbeck K.* Komanisches Wörterbuch. Türkischer Wörtindex zu «Codex Cumanicus». Kopenhagen, 1942, S. 151).

[24] Подробнее см.: *Дерягин В. Я.* О местных вариантах русской деловой речи XV—XVII вв. — Изв. АН СССР. Сер. лит. и яз., 1980, т. 39, № 5.
[25] *Виноградов В. В.* Избранные труды. История русского литературного языка. М., 1978, с. 114.
[26] См.: *Филин Ф. П.* Происхождение русского, украинского и белорусского языков, с. 635.
[27] См.: *Гринчишин Д. Г.* Іменникова синоніміка в українських пам'ятках XIV—XV ст. — В кн.: Дослідження і матеріали з української мови, т. VI. Київ, 1964, с. 73—74; *Филин Ф. П.* Происхождение русского, украинского и белорусского языков, с. 623—624.
[28] Показательна и частотность употребления слов *листъ* и *грамота* в старорусских и западнорусских юридических документах (на ≈100 тыс. словоупотреблений) *листъ* в ст.-рус. — 5, в зап.-рус. — 667, *грамота* в ст.-рус. — 567, в зап.-рус. — 27. См.: *Санников В. З.* Очерк восточнославянской сравнительно-исторической лексикологии (лингвостатистический аспект). — В кн.: Институт русского языка АН СССР. Предварительные публикации, вып. 69. М., 1975, с. 8.
[29] В XVIII в., видимо, наименование доски по способу распила дерева на две половины окончательно заменилось наименованием такой доски по способу преимущественного использования (для пола).
[30] Назиратель. М., 1973, с. 4.

А. В. Бондарко

ПРОБЛЕМЫ И МЕТОДЫ СОПОСТАВИТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ ГРАММАТИЧЕСКИХ КАТЕГОРИЙ В СЛАВЯНСКИХ ЯЗЫКАХ

Одно из возможных направлений сопоставительного исследования грамматических категорий предполагает следующие аспекты анализа:

1) сопоставление грамматических категорий (ГК) вместе с взаимодействующими с ними языковыми средствами в составе более широких функционально-семантических единств (полей);

2) сопоставление закономерностей функционирования грамматических форм и конструкций;

3) сопоставительный анализ взаимодействия ГК.

Центральным в этой проблематике является понятие функционально-семантического поля (ФСП). Связанное с ним направление исследований охватывает все указанные выше аспекты сопоставительного изучения ГК, объединяя их в единое целое.

СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ГРАММАТИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ ПОЛЯ

Функционально-семантическое поле — это языковое единство, формируемое грамматическими (морфологическими и синтаксическими) средствами данного языка вместе с взаимодействующими

с ними лексическими, лексико-грамматическими и словообразовательными элементами, относящимися к той же семантической зоне (залоговости, компаративности, посессивности, локативности и т. п.[1]).

Понятие ФСП (или, при другом варианте термина, функционально-семантической категории) уже используется в сопоставительных исследованиях на материале славянских языков, а также славянских и неславянских [2]. Принципы и методы сопоставления на базе этого понятия требуют дальнейшей разработки.

О системе функционально-семантических полей. В славянских языках можно выделить следующие группировки ФСП:

1. Группировка полей с акциональным (предикативным) ядром, включающая следующие комплексы ФСП:

а) комплекс ФСП аспектуально-темпоральных отношений: аспектуальность, темпоральность, таксис (в отличие от поля темпоральности, охватывающего временные отношения, ориентированные на момент речи или какой-либо иной момент, принятый за основу временной ориентации, таксис, как известно, представляет собой выражение временных отношений между действиями);

б) комплекс ФСП модально-бытийных отношений: группировка модальных полей (объективная и субъективная модальность, включая пересказывательность, аффирмативность/негативность, повествовательность/вопросительность), бытийность (экзистенциальность), поле состояния (пересекающееся с аспектуальностью, но выходящее далеко за ее пределы);

в) комплекс ФСП акционально-субъектных и акционально-объектных отношений: залоговость (поле, включающее не только выражение активности/пассивности, но и выражение транзитивности/интранзитивности, рефлексивности, взаимности и т. д.), персональность; комплекс двух последних полей относится к области пересечения акциональных полей с предметными (субъектно-объектными).

2. Группировка полей с предметным (субъектно-объектным) ядром: субъектность/объектность (имеются в виду отношения, выражаемые сочетаниями с падежными и предложно-падежными формами во взаимодействии с залоговостью и персональностью, а также с одушевленностью/неодушевленностью), одушевленность/неодушевленность (данное поле включает не только соответствующие лексико-грамматические разряды имен существительных, но и явления сочетаемости прилагательных, а также глаголов либо с одушевленными и неодушевленными существительными, либо только с одним из этих разрядов), определенность/неопределенность (данное поле выходит далеко за пределы группировки ФСП с предметным ядром, будучи тесно связанным с полями качественности и количественности, относящимися к следующей группировке).

3. Группировка полей с квалитативно-квантитативным (преимущественно атрибутивным) ядром: качественность, количест-

венность (поле, охватывающее как признаки, так и субстанции, а также действия), компаративность, посессивность.

4. Группировка полей с обстоятельственным ядром: поля причины, цели, условия, уступки, следствия, поле сравнения, поле локативности; к данной группировке относится также обстоятельственный аспект темпоральности. Все обстоятельственные поля тесно связаны с предикативными отношениями.

Упомянутые выше ФСП не представляют их исчерпывающего перечня. Конечный список ФСП вообще невозможен, так как отсутствует резкая грань между отдельным полем и группировкой полей, а также между макро- и микрополем. Например, выделенное выше поле одушевленности/неодушевленности может рассматриваться и как одно из микрополей в составе более широкой сферы субъектности/объектности; поле компаративности включается в число единств, охватываемых широкими сферами количественности и качественности.

Локализованность/нелокализованность действия во времени (прикрепленность/неприкрепленность действия к определенному моменту или периоду в однонаправленном потоке времени, ср.: *Он сейчас/всегда волнуется*) как элемент характеристики протекания действия во времени представляет собой одно из микрополей в поле аспектуальности (в зоне пересечения аспектуальных и темпоральных отношений). Вместе с тем временная локализованность/нелокализованность ситуации, трактуемая в более широком смысле — как конкретность/абстрактность ситуации, которая может и не включать действие и, следовательно, может иметь как глагольное, так и неглагольное выражение, ср.: *Он сейчас/всегда спокоен*, — может рассматриваться как особое функционально-семантическое поле.

Вопрос о системе ФСП находится в начальной стадии его разработки. До сих пор изучались отдельные поля и отдельные их группировки (в частности, ФСП, связанные с грамматическими категориями глагола), но целостная система полей в грамматике не была предметом специального рассмотрения. Дальнейшая разработка этого вопроса может внести немало нового в представления о компонентах данной системы и связях между ними.

Подход к грамматическим явлениям с точки зрения системы ФСП дает возможность сосредоточить внимание на взаимных связях между грамматическими явлениями, которые обычно описываются в разных разделах грамматик без достаточно полного их соотнесения. Так, сфера субъектно-объектных отношений (включающая акционально-субъектные, а также акционально-объектные отношения) охватывает не только падежи и предлоги, но и те средства, которые относятся к полям персональности (ср., например, выражение обобщенно-личности, неопределенно-личности и безличности), залоговости и одушевленности/неодушевленности. По существу средства, обычно рассматриваемые в разных главах грамматических описаний, — субъектно-объектные элементы синтаксических структур, субъектно-объектное ядро категории па-

дежа, грамматические категории лица глагола и местоимения, категория залога, лексико-грамматические разряды переходности/непереходности, возвратности/невозвратности, одушевленности/неодушевленности, лица/не лица — представляют собой элементы единой системы субъектно-объектных отношений.

Аспектуальные явления издавна рассматривались (при разной терминологии) в их связях с явлениями, относящимися к области темпоральности и таксиса, а также модальности и (в меньшей мере) персональности и залоговости. Вместе с тем следует обратить внимание на связи аспектуальных функций с полями количественности (прежде всего в области количественной аспектуальности) и качественности; имеется в виду, в частности, потенциально-качественная разновидность неограниченно-кратной функ-функции несовершенного вида в случаях типа *Она хорошо играет на рояле; Дерево в воде не тонет* и т. п.; ср. также квалификативно-перфектную разновидность обобщенно-фактической функции несовершенного вида в случаях типа *Плохой человек не тот, кто не читал ни одной книги; плохой человек тот, кто прочитал всего одну книгу* (В. Тендряков).

Рассматриваемые поля — это единства разных типов. В частности, различаются, с одной стороны, поля, опирающиеся на единое категориальное морфологическое ядро (таково, например, в славянских языках поле аспектуальности), а с другой — поля с более сложной структурой, в которой центральное положение занимает целый комплекс грамматических средств. В качестве примера последнего типа можно привести поле локативности, в центре которого находятся предложно-падежные формы (или предложные конструкции, как в болгарском языке), в сочетании с глаголами (при возможном участии глагольных префиксов в выражении пространственных отношений), адвербиальные локативные компоненты, сложноподчиненные предложения с придаточным места.

Необходимо подчеркнуть роль грамматических средств как ядра, центра, формирующего данное поле. Наиболее четко такое ядро представлено в тех случаях, когда ФСП базируется на ГК. Ср. такие поля, как аспектуальность, темпоральность, персональность, залоговость, модальность (в данном случае имеется в виду сфера объективной модальности, центром которой является категория наклонения), компаративность. Однако в роли ядра ФСП могут выступать и другие грамматические средства, в частности синтаксические конструкции (ср., например, поле посессивности, а также поля причины, цели, условия, уступки, следствия). В составе ФСП могут выступать разнообразные «рассеянные» грамматические и лексико-грамматические средства (отдельные формы, синтаксические и лексико-синтаксические конструкции, служебные части речи, лексико-грамматические разряды), а также функционально приближающиеся к ним средства «строевой лексики» (по выражению Л. В. Щербы). При этом само понятие ядра,

центра ФСП выступает не столь четко. Ядро поля оказывается «слабым», размытым. Таковы слабо центрированные поля определенности/неопределенности и пересказывательности (в рамках модальности) в большинстве славянских языков (ср. соответствующие сильно центрированные поля в болгарском языке) [3].

В сопоставительных исследованиях необходимо учитывать реальное многообразие типов ФСП, включающее различия между сильно и слабо центрированными полями, моноцентрическими и полицентрическими (ср. поле персональности с его двумя центрами — глагольным и местоименным), между полями с морфологическим и синтаксическим ядром.

Область ФСП не отграничена резкой гранью от семантических единств, так или иначе связанных с грамматикой, но выходящих за ее традиционные пределы. Границы (особенно в области слабо центрированных единств) размыты. Необходимо обратить внимание на такие нетрадиционные (для славистики) предметы функционально-грамматического описания, как выражение вежливости [4]. Связи выражения вежливости с грамматическими категориями (в частности, лица, числа, наклонения) очевидны, хотя данное явление отличается от рассматриваемых ФСП прагматической природой изучаемых функций.

Разработка типологии семантико-функциональных единств может вызвать необходимость дифференциации в терминологии. Пока мы сохраняем общий термин «функционально-семантическое поле», подчеркивая вместе с тем различия между полями в зависимости от степени их грамматической центрированности, от морфологического, синтаксического, лексико-грамматического или смешанного характера центра поля, от моноцентричности/полицентричности и других структурных признаков.

Изучение ФСП не сводится к описанию инвентаря средств выражения определенного круга смыслов, хотя такое описание и представляет собой необходимый этап исследования. Специфической особенностью анализа ФСП, отличающей эту область системных исследований в грамматике от многих описаний типа «средства выражения того или иного значения», является специальное внимание к выявлению структуры поля, к иерархии его компонентов, к их взаимным связям (всякое поле создается взаимодействием его элементов). Речь идет о парадигматическом и синтагматическом взаимодействии. Примером взаимодействия первого типа может служить факт зависимости видовой соотносительности/несоотносительности глаголов в славянских языках от лексико-грамматических разрядов предельных/непредельных глаголов и от способов глагольного действия. В качестве примера синтагматического взаимодействия можно привести явления сочетаемости/несочетаемости видовых форм с наречиями типа *часто*, *долго* и т. п. Одной из центральных проблем функциональной грамматики является взаимодействие ГК [5], которое целесообразно рассматривать на фоне более широкого процесса взаимодействия соответ-

ствующих ФСП. Сопоставительный аспект этой проблематики заслуживает особого внимания.

О семантической доминанте поля. При анализе полей, характеризующихся сложной многопризнаковой семантической структурой, возникает необходимость определить семантическую доминанту поля — признак, наиболее полно отражающий качественную специфику данного ФСП и интегрирующий его семантические элементы. Приведем в качестве примера поле аспектуальности.

Семантика аспектуальных отношений обычно определяется (по А. М. Пешковскому) как характеристика протекания и распределения действия во времени. Это определение дает общее представление о семантической сфере аспектуальности, однако оно представляется довольно неопределенным. В частности, не вполне ясным оказывается отличие аспектуальной семантики от темпоральной. Необходимо дополнительное указание на то, какой именно признак в протекании действия во времени выступает как основной для данного поля. Таким признаком — семантической доминантой аспектуальности — является отношение действия к пределу [6]. Данное отношение выявляется в славянских языках: а) как противопоставление направленности/ненаправленности действия на достижение предела (ср. *гулять* и *разрабатывать*), б) как противопоставление направленности действия на предел/реального достижения предела (ср. *разрабатывать* и *разработать*), в) как ограниченность действия пределом (не только в случаях типа *написать* и т. п., но и *посидеть* — при ограниченности действия временным пределом, *зашевелиться* — при ограниченности начальным пределом и т. п.) [7].

Признак отношения действия к пределу является вершинным в иерархии семантических признаков качественной аспектуальности и существенным для части элементов количественной аспектуальности [8]. В рамках качественной аспектуальности он охватывает, в частности, противопоставление собственно действия (которое может быть как предельным, так и непредельным) и состояния или статического отношения, являющихся непредельными. Отношение к пределу распространяется также на «фазисную детерминацию действия». Таким образом, это отношение играет определяющую роль во всей области качественной аспектуальности. Рассматриваемый признак обнаруживает свое обусловливающее воздействие и по отношению к некоторым признакам в области количественной аспектуальности. Так, в русском языке один тип длительности (*долго гулял*, *работал* и т. п.) связан с непредельностью или недостигнутостью предела, а другой (*прогулял часа два; проработал всю ночь*) — с внешним (временным) пределом. Глаголы многократного (*хаживал*, *нашивал*), прерывисто-смягчительного (*покалывать*, *позвякивать*) и некоторых других способов действия непредельны, тогда как глаголы дистрибутивного (*побросать*, *переловить*, *повскакать* и т. п.) и ряда других способов действия связаны со значением предельности. Признак повышенной степени интенсивности действия имеет тенденцию

к исключительному или преимущественному обозначению достигнутого предела.

Диахронические аспекты теории поля. Понятие ФСП может быть использовано для сопоставления ГК и сопряженных с ними языковых явлений не только в синхроническом аспекте, но и в плане диахронии. Так, генезис и историческое развитие славянского глагольного вида можно рассматривать как процесс зарождения и формирования грамматического (морфологического) ядра в среде лексических и словообразовательных компонентов поля аспектуальности при взаимодействии с полями темпоральности и залоговости. Особенность данного процесса заключается в том, что глагольный вид, возникнув на базе способов действия и группировок предельных и непредельных глаголов, существует и функционирует в тесной связи с ними. Грамматическое ядро ФСП, возникнув в словообразовательной, лексико-грамматической и лексической среде, продолжает взаимодействовать с нею [9].

Как уже отмечалось в аспектологической литературе, становление славянского глагольного вида происходило во взаимодействии с аспектуально-темпоральными значениями форм аориста, имперфекта, а также причастий (включая причастия на -l-) [10]. Таким образом, развитие категории вида осуществлялось в таком поле, которое уже заключало в своем составе грамматические элементы — аспектуально-темпоральные. Система указанных видо-временных форм была частной, ограниченной, поскольку она в основном охватывала лишь сферу претерита. Кроме того, она не была чисто видовой системой, специализированной именно на выражении собственно аспектуальных функций. Аспектуальные функции совмещались с темпоральными. «Падение простых прошедших времен» в истории ряда славянских языков можно трактовать как процесс устранения из сферы «явной» (открытой) грамматики (и, соответственно, процесс перехода в область «скрытой» грамматики) одного из грамматических центров аспектуальности под воздействием другого (нового), более сильного центра — категории вида. Эта тенденция была, однако, не абсолютной. Так, в болгарском языке, как известно, формы аориста и имперфекта сохранились при развитой системе совершенного/несовершенного вида.

О возможной содержательной неэквивалентности сопоставляемых типов функционирования грамматических форм. При сопоставительном изучении функционирования грамматических форм существенно не только установление типовой эквивалентности [11], но и изучение возможной содержательной неэквивалентности (неадекватности). Имеются в виду как факты неуниверсальности значений сопоставляемых средств славянских и неславянских языков [12], так и проявления неуниверсальности языковых семантических функций, обнаруживаемые при внутриславянских сопоставлениях. Примечательно явление, которое можно назвать позиционной неэквивалентностью (неадекватностью). Речь идет о не-

совпадениях значений языковых единиц, употребляющихся в определенных позициях. Имеются в виду фиксированные условия употребления языковых средств при передаче определенных типов ситуаций (аспектуальных, темпоральных и т. п.). Так, в позиции «повторяющиеся и обычные действия в прошедшем времени» возникают расхождения в грамматических видовых значениях (при тождестве смыслового содержания) в случаях типа чеш. Po každé jsem k tomu pocítil prudkou a nepřekonatelnou nechuť (K. Čapek); рус. *Каждый раз я чувствовал резкое и непреодолимое нерасположение к этому*. В чешском языке в таких случаях выделяется (при помощи формы сов. вида) один из актов повторяющегося действия в его целостности и ограниченности пределом, в русском же языке, где употребление форм сов. вида в данных условиях невозможно, передается неограниченная повторяемость действия, не имеющего признаков целостности и ограниченности пределом. Позиционная неэквивалентность языковых семантических функций проявляется также в позиции «неповторяющиеся действия в плане настоящего исторического» в случаях типа чеш. Otevře dveře a vidí. . ., рус. *Открывает дверь и видит. . .*: налицо расхождение видовых значений при тождестве смысла высказываний; в чешском языке в данной позиции могут быть употреблены формы как сов., так и несов. вида (ср. otevře/otvírá), в русском же возможен лишь несов. вид [13]. Ср. также расхождения в позиции «повторяющееся действие в плане абстрактного настоящего времени» в случаях типа рус. *Почти каждый день появляются новые фильмы, новые книги*, чеш. Skoro každý den se objevují/objeví nové filmy, nové knihy [14]. При несов. виде глагола в чешском высказывании налицо содержательная эквивалентность с русским, при сов. виде — неэквивалентность аспектуальных значений в условиях тождества смысла высказывания.

Особый тип содержательной неадекватности, связанной с расхождением значений грамматических форм, употребляемых в сопоставляемых языках при передаче определенной ситуации, представлен в случаях типа Dobrá, půjdu, ale dřív jí povím své (V. Řezáč), рус. *Харошо, я пойду. . .*; . . . umínil si, že poběží natrhat květin (K. Čapek), рус. . . . *побежит нарвать цветов*; Je-li vám to milejší, pojedeme s tím do Francie. . . (K. Čapek), рус. . . . *поедем с этим во Францию*; Přistoupil jsem k ní. «Povezu vás» (B. Polách), рус. — *Повезу вас*. В чешском языке формы простого будущего глаголов движения типа pojedu, ponesu, poletím, povezu, povedu, půjdu и т. п., представляя собой редкое исключение из общей системы соотношения категорий вида и времени, имеют значение несов. вида [15]. В приведенных выше примерах чешским формам соответствуют русские формы со значением сов. вида и начинательного способа действия (в ряде случаев интрессивность сочетается с результативностью). Употребление форм сложного будущего в приведенных русских соответствиях невозможно. Таким образом, налицо непреодолимая неэквивалентность аспек-

туальных значений (что, однако, не препятствует передаче основного смысла высказывания при переводе с чешского языка на русский).

Сопоставительный анализ различий в языковых семантических функциях при совпадении смысла высказывания требует разграничения и соотнесения собственно языкового и мыслительного (смыслового, понятийного) содержания как разных аспектов мыслительно-языкового содержательного целого [16]. Представляется актуальной разработка этой теоретической проблематики в конкретных сопоставительных исследованиях.

О РОЛИ ОТНОШЕНИЙ ОППОЗИЦИИ И НЕОППОЗИТИВНОГО РАЗЛИЧИЯ В СТРУКТУРЕ ГРАММАТИЧЕСКИХ КАТЕГОРИЙ

К постановке вопроса. Метод оппозиционного анализа ГК, опирающийся на значительную традицию (прежде всего на известные работы Р. О. Якобсона), отражает существенные признаки широко распространенного оппозитивного типа системно-структурной организации ГК. Однако роль оппозиций в содержательной структуре ГК, на наш взгляд, нельзя абсолютизировать. Оппозиция представляет собой лишь один из типов отношений между граммемами — членами ГК. Наряду с этим типом, представляющим «жесткую» системно-структурную организацию, существуют другие типы, имеющие менее жесткий или нежесткий характер. Теория структуры поля, учитывающая многомерность грамматических явлений [17], создает общую ориентацию исследований на выявление многообразия категориальных структур. Возникает более сложная картина отношений, которая включает и оппозиции, но лишь как частный случай (хотя и широко распространенный).

В истории разработки вопроса о грамматических оппозициях (в конце 50-х—60-х годах и в более позднее время) уже был сделан шаг в сторону признания многообразия структурных типов ГК. В ряде работ было показано, что бинарные оппозиции (в трактовке Р. О. Якобсона) являются не единственно возможным и всеобщим принципом структурной организации ГК, а лишь одним из типов такой организации [18]. Было отмечено, что существуют грамматические оппозиции, во-первых, не только двучленные, но и многочленные, а во-вторых, не только привативные, но и эквиполентные, а также градуальные (что соответствует общей теории оппозиций Н. С. Трубецкого).

Мы постараемся сделать еще один шаг в данном направлении, стремясь показать относительность самого принципа оппозиции в грамматике, несводимость отношений между членами ГК к оппозитивным отношениям.

На наш взгляд, наиболее существенным принципом системно-структурной организации содержания ГК является объединение

ее компонентов (граммем) на основе обобщенного значения, свойственного данной категории. Объединение может осуществляться разными способами. Один из них — оппозиция, другой — отношение неоппозитивного различия [19].

О неоппозитивном различии. Данный тип различий связан с принципом естественной классификации [20], предполагающим (применительно к языковым явлениям) следующие признаки объективно существующих в данном языке членений: 1) возможность отклонений от полного единства основания данного членения (ср., например, лексико-грамматические разряды имен существительных конкретных, отвлеченных, вещественных и собирательных); 2) возможная неоднородность признаков, присущих компонентам целого; каждый из них может включать как соотносительные, так и несоотносительные признаки, не находящие соответствия в других компонентах; 3) связанная с этим возможность пересечения классов.

Так, не может быть сведена к единому основанию членения категория падежа. Разумеется, по тем или иным содержательным признакам между отдельными падежными формами и их комбинациями можно установить отношения оппозиции (см. известные работы Р. О. Якобсона), однако в целом система падежных форм в славянских языках (и не только в них) строится на отношении неоппозитивного различия между значениями, не подчиненными единому классификационному принципу.

В категории наклонения обособленное положение занимает семантика императива, связанная с особой коммуникативной направленностью высказывания, с волеизъявлением говорящего и ролью слушающего (или другого лица) как производителя действия. Признак побудительности не образует единого ряда с признаками реальности (изъявит. накл.) и ирреальности (сослагат. накл.). Хотя все эти значения относятся к области модальности, семантика повелительного наклонения, с одной стороны, и семантика изъявительного и сослагательного наклонений, с другой, представляют разные плоскости (аспекты) модальных отношений [21]. Полного единства основания членения здесь нет, оппозитивные отношения совмещаются в категории наклонения с неоппозитивными.

Хорошо известна процедура объединения повелительного и сослагательного наклонений по признаку ирреальности при противопоставлении косвенных наклонений изъявительному наклонению как немаркированному члену оппозиции. Подобные процедуры, однако, ничуть не меняют того факта, что реально, скажем, в русском языке противостоят друг другу одновременно три ряда форм наклонения, и их значения не укладываются в рамках единого основания членения.

В категории лица глагола собственно оппозитивные отношения форм 1-го, 2-го и 3-го лица осложняются безличной, неопределенно-личной и обобщенно-личной функциями, выходящими за пределы последовательной однородности.

Категория числа имен существительных, если она включает не только ед. и мн., но и двойственное число (например, в древних славянских языках), также может служить примером совмещения оппозитивных и неоппозитивных отношений. Двойственное число занимает в данной системе обособленное положение, поскольку эта форма характеризуется не только чисто количественным признаком, но и признаком парности, заключающим в себе элемент тесной связи между двумя лицами или предметами.

Элементом структуры ГК может быть не всякое различие, а лишь различие в пределах определенного (пусть в ряде случаев и весьма относительного) семантического единства — того родового понятия, по отношению к которому различающиеся значения граммем представляют собой понятия видовые. Оппозитивные отношения связаны с более полным единством, так как в этом случае налицо единое основание членения семантического пространства данной категории (ср., например, оппозицию значений сов. и несов. видов в славянских языках). Отношения неоппозитивного различия связаны лишь с относительным единством содержания, при отсутствии полной однородности значений. В данном случае значения, представляющие видовые понятия, размещаются в пределах некоторого родового понятия (например, модальности), но могут относиться к разным его аспектам, заключая в себе как соотносительные, так и несоотносительные признаки.

В принципе в некоторых языках синтетическо-агглютинативного типа, например в нивхском, при факультативности выражения оппозиции ед. и мн. числа, как отмечает В. З. Панфилов, форма с нулевым показателем является скорее формой общего, а не единственного числа; тем самым значение этой формы признается соизмеримым со значением категории числа в целом, т. е. с родовым понятием числа [22]. Таким образом, отношение «значения граммем как видовые понятия — значение ГК в целом как понятие родовое» нельзя признать универсальным, поскольку значение одной из граммем также может соответствовать родовому понятию. Однако по отношению к славянским языкам (как и к другим языкам флективно-синтетического типа), где ГК обладают признаком обязательности, остается действительным указанное выше соотношение значений ГК как родового понятия и значений отдельных граммем как понятий видовых. Значение немаркированного члена привативной оппозиции нельзя отождествлять с родовым понятием, так как в обычных условиях оно реализуется как значение, противоположное значению маркированного члена, а в условиях нейтрализации может представлять собой имплицитное соответствие значению маркированного члена оппозиции.

Неоппозитивное различие и принцип избирательности. Отношения неоппозитивного различия между граммемами, с нашей точки зрения, тесно связаны с «принципом избирательности» (в понимании Б. А. Серебренникова) [23]. Применительно к структуре ГК этот принцип может быть истолкован так. «Семантическое пространство», связанное с данной категорией (область модаль-

ных, персональных, квантитативных, субъектно-объектных значений и т. п.), не во всех случаях без остатка распределяется между компонентами данной категории. Не всегда их значения противопоставлены друг другу в одной и той же плоскости однородных значений. В пределах данного семантического пространства язык может «избирать» отдельные значения, оставляя выражение других возможных значений на долю лексики и контекста или вообще оставляя те или иные отношения невыраженными. Таким образом, «избранные значения» (в нашем случае — значения компонентов ГК) могут представлять собой лишь отдельные узлы и фрагменты в категориальном семантическом пространстве, не исчерпывая его без остатка, причем они не обязательно базируются на едином основании членения.

Грамматическая избирательность не всегда следует формально-логическим правилам, например, правилам деления объема понятия. Коммуникативная ориентация значений, избираемых для регулярного грамматического выражения (из числа семантических элементов, которые в принципе могли бы быть выражены), распределение содержаний, которые в принципе могли бы быть выражены грамматически, между морфологией, синтаксисом, лексикой, контекстом, различными сложными и комбинированными средствами выражения, включая «скрытограмматические», — все это нарушает «правильность» категориальных структур.

Сопоставление в рамках славянских языков позволяет выявить инвариантность того структурного типа морфологических категорий, который может быть определен как система рядов грамматических форм, объединенных обобщенным категориальным значением, представляющим собой родовое понятие по отношению к значениям граммем (компонентов данной категории) как понятиям видовым. Вместе с тем сопоставление славянских языков с языками иного строя свидетельствует о том, что данный структурный тип ГК не является универсальным.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] В настоящем докладе продолжается разработка проблемы поля в грамматике, рассматриваемой в ранее вышедших публикациях автора; см., в частности; *Бондарко А. В.* Грамматическая категория и контекст. Л., 1971, с. 3—75; *Он же.* Теория морфологических категорий. Л., 1976, с. 204—244. Здесь же приведена литература вопроса.

[2] См., например: *Маслов Ю. С.* К основаниям сопоставительной аспектологии. — В кн.: Вопросы сопоставительной аспектологии. Л., 1978, с. 10—21; *Иванчев Св.* Проблеми на аспектуалността в славянските езици. София, 1971; *Он же.* За някои основни сходства и разлики между славянските езици в областта на глаголния вид. — В кн.: Славянска филология, т. 12, София, с. 131—152; *Gladrow W.* Die Determination des Substantivs im Russischen und Deutschen. Eine konfrontative Studie. Leipzig, 1979.

[3] См.: *Куцаров И.* Преизказни модификатори в южните славянски езици. — Съпоставително езикознание, 1978, 4, с. 41—52; *Он же.* Преизказни модификатори в източните славянски езици. — Съпоставително езикознание, 1978, 5, с. 40—48; *Он же.* Преизказни модификатори в западните славянски езици. — Съпоставително езикознание. 1978, 6, с. 47—54.

[4] См.: *Лопатин В. В.* Формы вежливости как компонент внешней прагматики высказывания. — В кн.: Otázky slovanské syntaxe, IV/1. Brno, 1979, s. 127—128; *Храковский В. С.* О правилах выбора «вежливых» императивных форм. (Опыт формализации на материале русского языка). — Изв. АН СССР. Сер. лит. и яз., 1980, т. 39, № 3, с. 269—278.

[5] См. написанный нами раздел «Взаимные связи морфологических категорий глагола» в кн.: Русская грамматика, т. 1. М., 1980, с. 641—646.

[6] См.: *Шелякин М. А.* Приставочные способы глагольного действия и категория вида в современном русском языке (к теории функционально-семантической категории аспектуальности). Автореф. докт. дис. Л., 1971, с. 41—43. — Здесь отмечено, что противопоставление ограниченности/неограниченности действия пределом объединяет и связывает семантику а) вида, б) предельных и непредельных глаголов, в) способов действия.

[7] По мнению Н. Телина, наиболее существенным из аспектуальных признаков в славянских языках является семантический признак выражения действий, рассматриваемых в их связи с временной осью, либо вне этой оси (интерпретация этого противопоставления близка к нашему пониманию признака локализованности/нелокализованности действия во времени); см.: *Thelin Nils B.* Towards a theory of aspect, tense and actionality in Slavic. Uppsala, 1978, p. 13, 30—37). На наш взгляд, важно учесть, что противопоставление видовых значений, основанное на отношении действия к пределу, сохраняется и при выражении действий, находящихся вне временной оси, в частности действий обычных и типичных. С нашей точки зрения, это подтверждает доминирующую роль в поле аспектуальности именно признака отношения к пределу.

[8] Этот вывод вытекает из проведенного Ю. С. Масловым (на материале славянских и ряда других индоевропейских языков) анализа основных семантических признаков в сфере качественной и количественной аспектуальности (см.: *Маслов Ю. С.* Указ. соч., с. 10—21).

[9] Сказанное выше согласуется с существующими концепциями генезиса и исторического развития славянского глагольного вида (ср., в частности, концепции А. А. Потебни, Н. Ван-Вейка, В. В. Бородич, Ю. С. Маслова).

[10] См.: *Kølln H.* Die Entstehung des slavischen Verbalaspektes. — Skando-Slavica, 1958, IV, S. 308—313.

[11] См.: *Широкова А. Г.* Некоторые вопросы эквивалентики в связи с транспозицией форм наклонений. — Съпоставително езикознание, 1980, 3, с. 3—13.

[12] Таковы, например, проявления содержательной неадекватности дистрибутивного способа действия русского глагола (*перетравили всех зайцев*; *артисты понаехали* и т. п.) и возможных характеристик действия при переводе соответствующих высказываний на немецкий язык (см.: *Хартунг Ю.* Дистрибутивный и суммарно-дистрибутивный способы глагольного действия в современном русском языке. Автореф. канд. дис. Ростов н/Д, 1979, с. 20—22).

[13] См.: *Бондарко А. В.* Настоящее историческое (praesens historicum) глаголов несовершенного и совершенного видов в чешском языке. — Slavia, XXVII (1958), 4, с. 556—584; *Он же.* Настоящее историческое глаголов несовершенного и совершенного видов в современном литературном сербохорватском языке. — Учен. зап. ЛГУ, № 250. Сер. филол. наук, 1958, вып. 44, с. 141—157; *Он же.* Настоящее историческое в славянских языках с точки зрения глагольного вида. — В кн.: Славянское языкознание. М., 1959, с. 48—58.

[14] См.: *Петрухина Е. В.* Функционирование презентных форм глаголов совершенного и несовершенного вида в чешском языке в сравнении с русским. Автореф. канд. дис. М., 1978, с. 10.

[15] См.: *Horálek K.* Slovesné tvary typu ponesu, poletím. — Naše řeč, 1955, 38, s. 21—24; *Kopečný F.* Les fonctions de la préfixation verbale en tchèque moderne. — RÉS, 1956, XXXIII, p. 94—95; *Бондарко А. В.* К вопросу о глаголах движения в чешском языке (формы типа ponesu, poletím). — Slavia, XXX (1961), 4, с. 527—547.

[16] См.: *Бондарко А. В.* Грамматическое значение и смысл. Л., 1978, с. 3—129.

[17] См.: *Адмони В. Г.* Основы теории грамматики. М.—Л., 1964, с. 35—51.

[18] См., например: *Dokulil M.* K otázce morfologických protikladů. — Slovo a slovesnost, 1958, XIX, 2, s. 90—94; *Головин Б. Н.* Заметки о грамматическом значении. — ВЯ, 1962, № 3, с. 29—37; *Шендельс Е. И.* О грамматической полисемии. — ВЯ, 1962, № 3, с. 51—52; *Бондарко А. В.* Система глагольных времен в современном русском языке. — ВЯ, 1962, № 3, с. 32—33; *Křížková H.* Privativnie oppozicii i nekotorye problemy analiza mnogochlennykh kategorii. (Na materiale kategorii lica v russkom yazyke). — Travaux linguistiques de Prague, 1964, 1, p. 203—213.

[19] Оппозиция представляет собой особый тип различия (см.: *Булыгина Т. В.* Грамматические оппозиции. — В кн.: Исследования по общей теории грамматики. М., 1968, с. 179—189). Однако выделение этого типа различий и закрепление за ним специального термина «оппозиция» позволяет говорить об оппозициях и различиях, имея в виду различия за пределами оппозиций.

[20] Принцип естественной классификации раскрывается применительно к частям речи в известной статье Л. В. Щербы «О частях речи в русском языке». — В кн.: *Щерба Л. В.* Языковая система и речевая деятельность. Л., 1974, с. 78—79. См. также: *Жирмунский В. М.* О природе частей речи и их классификации. — В кн.: Вопросы теории частей речи на материале языков различных типов. Л., 1968, с. 8—9. Из работ последнего времени см.: Гипотеза в современной лингвистике. М., 1980, с. 319—357.

[21] Об особенностях структуры плана содержания императивных форм в отличие от структуры плана содержания форм других наклонений см.: *Володин А. П., Храковский В. С.* Функционально-типологическая характеристика императива (на материале агглютинативных языков). — Советская тюркология, 1977, № 5, с. 3—8.

[22] См.: *Панфилов В. З.* Философские проблемы языкознания. Гносеологические аспекты. М., 1977, с. 277—280.

[23] См.: *Серебренников Б. А.* К проблеме типов лексической и грамматической абстракции (о роли принципа избирательности в процессе создания отдельных слов, грамматических форм и выбора способов грамматического выражения). — В кн.: Вопросы грамматического строя. М., 1955, с. 54—73.

Р. В. Булатова, В. А. Дыбо, А. А. Зализняк

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРАСЛАВЯНСКОГО АКЦЕНТОЛОГИЧЕСКОГО СЛОВАРЯ

Этимологические словари отдельных славянских языков и обще- или праславянские этимологические словари не решали прежде и не ставят сейчас перед собой задачи реконструкции акцентологических характеристик праславянских лексем. Это связано прежде всего со спецификой славянских акцентных систем, требующих особых приемов реконструкции и своего материала, который часто оказывается избыточным при реконструкции сегментных единиц. В то же время славянская историческая акцентология не была подготовлена к тому, чтобы предложить этимологам готовые результаты. До последнего времени она оперировала лишь определенными фрагментами акцентных систем в архаических, реликтовых пластах славянских языков. И, следовательно, могла предложить реконструкцию акцентных характе-

ристик для небольшого числа праславянских лексем, причем нередко лишь для части их форм. Например, историческая акцентология располагала надежной реконструкцией определенных глагольных лексем лишь в некоторых глагольных категориях и имела весьма гипотетическое представление относительно акцентовки других глагольных категорий данной лексемы.

Классическая акцентология давала в сущности картину отдельных акцентных типов, но не реконструкцию их распределения в корпусе лексем праславянского языка. Естественно, что в связи с этим и сложилась определенная традиция, которой следуют все этимологические словари славянских языков, исключающая акцентологическую реконструкцию из своих задач.

К акцентологическим и просодическим явлениям этимологические словари прибегают лишь в тех случаях, когда это необходимо для решения чисто этимологических задач. Например, в «Этимологическом словаре славянских языков» под редакцией О. Н. Трубачева (вып. 1. М., 1974, с. 201) в статье *berza обращение к акцентологической характеристике данной лексемы продиктовано лишь заданием показать, что славянское акутовое ударение является отражением и.-е. сочетания -erə- и, следовательно, генетически тождественно др.-в.-нем. -iri- (где также предполагается сохранение следов -ə-) и (с учетом и.-е. аблаута) индоевропейскому bhr̥ĝ- (отраженному в др.-инд. bhūrjá- и лат. frāxinus). Такого же рода использование акцентологической информации можно встретить и в других частях данного словаря, как и в иных словарях. Безусловно, большинство этимологических словарей содержит определенную (бóльшую или меньшую) акцентологическую информацию при подаче примеров из отдельных славянских языков. Примеры подаются с акцентовкой исходной формы слова. Однако такая подача с точки зрения акцентологической не является корректной, так как исходная форма не несет акцентологической информации, достаточно полной для данной лексемы. Даже в лучших в этом отношении словарях, как правило, материал, содержащий такого рода информацию, оказывается совершенно недостаточным для акцентологической реконструкции данной лексемы. Например, в «Этимологическом словаре русского языка» М. Фасмера (т. I, М., 1964, с. 153) по имеющимся материалам в статье *берег* акцентолог может наметить праславянскую реконструкцию акцентологических характеристик данной лексемы (акцентная парадигма *c*: по полногласию с ударением на первом гласном в восточнославянских языках, по долгому нисходящему ударению в словен. brêg, поддержанным сокращенными рефлексами праславянских долгих в чеш. břeh и словац. breh), однако русская лексема подана с акцентологической точки зрения некорректно, так как приведена только начальная форма и отсутствие косвенных форм не дает возможности видеть подвижности ударения (*бéрег — берегáм* D. pl.); сербская акцентовка (*брêг*) амбивалентна, поскольку может указывать как на исконную акцентную парадигму (а. п.) *c*, так и на а. п. *b*; болг. (*брегъ́т*) в связи со зна-

чительной перестройкой первоначальной системы метатаксы (передвижения акцента) в членных формах недостаточно надежна. Таким образом, даже акцентологически будто бы документированный пример в словаре Фасмера сильно обеднен, и данная статья не дает вполне надежной информации для акцентологической реконструкции без обращения к другим источникам.

В большинстве других случаев положение оказывается еще менее благополучным. Между тем система акцентологических характеристик праславянского лексического фонда является весьма существенным компонентом праславянской языковой системы; например, она позволяет понять целый ряд отношений в морфологии. Остановимся только на некоторых моментах, проясненных в результате акцентологических исследований. В праславянской глагольной системе в результате уточнения праславянской акцентологической реконструкции удалось установить закономерности распределения форм праславянского аориста. Праславянские тематические глаголы с корнями на шумные образовывали простой аорист, если они относились к а. п. *a* или *b*, и первичный сигматический аорист — если они относились к а. п. *c*. Тематические глаголы с корнями на нешумный образовывали сигматический корневой аорист, если они относились к а. п. *a* или *b*, и сигматический дентальный аорист, если они относились к а. п. *c* [1]. Аналогичное распределение устанавливается также в выборе мор-

(1)

А. п. *a* и *b*		А. п. *c*	
praes.	aor	praes.	aor.
1. vȑržetь	~ vьrgъ	1. kvьtètь	~ kvisъ
2. pȁdetь	~ padъ	2. vьlčètь	~ velxъ
3. sę̏detь	~ sědъ	3. vьrzètь	~ versъ
4. -rę̏t(j)etь	~ -rětъ	4. sěčètь	~ sěxъ
5. jьdetь	~ jьdъ	5. grebètь	~ grěsъ
6. lę̏žetь	~ legъ	6. rečètь	~ rěxъ
7. ję̏detь	~ jědъ	7. nesètь	~ něsъ
8. krȁdetь	~ kradъ	8. tečètь	~ těxъ
9. mòžetь	~ mogъ	9. žežètь	~ žaxъ
10. lę̏zetь	~ lězъ	10. bodètь	~ basъ
		11. mętètь	~ męsъ
		12. tręsètъ	~ tręsъ

(2)

А. п. *a* и *b*		А. п. *c*	
praes.	aor.	praes.	aor.
1. bȋjetь	~ bȋxъ, bȋ	1. živètь	~ žȋxъ, žȋtъ
2. krȳjetь	~ krȳxъ, krȳ	2. pijètь	~ pȋxъ, pȋtъ
3. tьretь	~ tȑrxъ, tȑr	3. lijètь	~ lȋxъ, lȋtъ
4. čȗjetь	~ čȗxъ, čȗ	4. vijètь	~ vȋxъ, vȋtъ
5. žьretь	~ žȑrxъ, žȑr	5. žьrètь	~ žérxъ, žêrtъ
6. kòljetь	~ kȍlxъ, kȍl	6. pьnètь	~ pę́sъ, pę̂tъ
и под.		и под.	

фологических типов страдательных причастий от тематических глаголов с корнями на нешумные. Праславянские глаголы неподвижного акцентного типа (а. п. *a* и *b*) последней (2) морфологической группы образовывали причастия на -en-, глаголы подвижного акцентного типа (а. п. *c*) той же группы — причастия на -t-.

А. п. *a* и *b*			А. п. *c*		
praes.		prt.	praes.		prt.
1. dъmetь	~	dъmenъ	1. dьrètь	~	dьrtъ
2. žьretь	~	žьrenъ	2. žьrètь	~	žьrtъ
3. tьretь	~	tьrenъ	3. stьrètь	~	stьrtъ
4. kòljetь	~	kolenъ	4. pьrètь	~	pьrtъ
5. bòrjetь	~	borenъ	5. vьrètь	~	vьrtъ
6. pòrjetь	~	porenъ	6. mьrètь	~	mьrtъ
7. bȉjetь	~	bьjenъ	7. lijètь	~	litъ
8. šȉjetь	~	šьvenъ	8. pijètь	~	pitъ
9. krȕjetь	~	krъvenъ	9. slovètь	~	slutъ
10. mȕjetь	~	mъvenъ	10. vijètь	~	vitъ
11. ȕjetь	~	-uvenъ	11. živètь	~	žitъ

Примечание: Это распределение устанавливается по старославянским и ранним русским церковнославянским памятникам, сохранившим, по-видимому, в данном случае важную праславянскую черту. В дальнейшем в отдельных славянских языках происходит или вытеснение одного из типов причастий (обычно -en-), или перераспределение их по морфонологическим позициям, не связанным с акцентными парадигмами [2].

Такого рода морфонологические зависимости морфологического типа от а. п. не ограничиваются системой глагола. Аналогичное распределение обнаруживается в системе качественных прилагательных, где выбор формантов сравнительной степени определяется а. п. исходной формы прилагательного. От прилагательных неподвижного акцентного типа (а. п. *a* и *b*) образовывалась сравнительная степень при помощи форманта -ějь(š)-, а от прилагательных подвижного акцентного типа (а. п. *c*) — с -jь(š).

Тип I		Тип II
a	*b*	*c*
1. dȕlž-ějь(š)- (dȕlgъ)	nov-ȅjь(š)- (nòvъ)	mȍld-jь(š)- (môldъ)
2. pȕrv-ějь(š)- (pȕrvъ)	skor-ȅjь(š)- (skòrъ)	krȑt-jь(š)- (krȑtъ)
3. slȁb-ějь(š)- (slȁbъ)	běl-ȅjь(š)- (bȅlъ)	xȕd-jь(š)-(xûdъ)
4. stȁr-ějь(š)- (stȁrъ)	ljub-ȅjь(š)- (ljúbъ)	bȍlž-jь(š)- (bôlgъ)
5. čȉst-ějь(š)- (čȉstъ)	ljut-ȅjь(š)- (ljútъ)	blȅd-jь(š)- (blȅdъ)
6. sȕt-ějь(š)- (sȕtъ)	skǫp-ȅjь(š)- (skǫ́pъ)	bȅrz-jь(š)- (bȅrzъ)
7. ȉst-ějь(š)- (ȉstъ)	žьlt-ȅjь(š)- (žȅltъ)	lȅp-jь(š)- (lȅpъ)
8. prȁv-ějь(š)- (prȁvъ)	gъrd-ȅjь(š)- (gȅrdъ)	tvȅrd-jь(š)- (tvȅrdъ)
9. mȁl-ějь(š)- (mȁlъ)	zъl-ȅjь(š)- (zȅlъ)	lȉš-jь(š)- (lîxъ)
10. sъdȍrv-ějь(š)- (sъdȍrvъ)		dȍrž-jь(š)- (dôrgъ)
11. mъnòž-ějь(š)- (mъnògъ)		gǫ̑st-jь(š)- (gǫ̑stъ)
12. ubòž-ějь(š)- (ubògъ)		tȅlst-jь(š)-(tȅlstъ)
13.		pȕst-jь(š)- (pûstъ)
14.		pȁč-jь(š)- (pâkъ)

(Данное положение является переинтерпретацией в терминах акцентных парадигм известного правила Селищева—Вайана.)

Примечание. 1). А. п. *b* прилагательных очень рано подвергается ломке и переводу большинства адъективов этого класса в подвижный акцентный тип, что вызывает на ранних стадиях этого процесса вариантность акцентовки данных имен, которая может втягивать в процесс перестройки акцентных типов и некоторые имена первичной а. п. *c*. Поэтому строгое установление границ класса а. п. *b* первичных прилагательных остается до сих пор сложной проблемой. Так как указанная вариантность возникла, по-видимому, в то время, когда акцентологическое правило выбора морфологического типа компаратива было еще живым, уже с самых ранних памятников наблюдается вариантность компаративов: 1. grǫ̑b-jь(š)- (по *grǫ̑bъ, а. п. *c*) ∾ grǫb-ě̑jь(š)- (по варианту *grǫ́bъ, а. п. *b*, ср. словен. grǫ́b, чак.-кайк. вариант XVII в. Крижанич *грȳбó*); 2. prost-jь(š)- (например, совр. рус. *прóще*) (по *prȍstъ, а. п. *c*, большинство языков) ∾ prost-ě̑jь(š)- (ц.-слав. тексты) (по *prȍstъ, а. п. *b* в ряде ср.-болг. текстов); 3. čę̑st-jь(š)- (совр. рус. *чáще*. . .) (по *čę̑stъ, а. п. *c*, большинство языков) ∾ čęst-ě̑jь(š)- (ц.-слав., рус. и ст.-слав. тексты) (по *čę́stъ, а. п. *b*, ср. словен. čę́sto); 4. ljū́t-jь(š)- (ц.-слав. тексты) (по явно вторичному варианту а. п. *c*) ∾ ljut-ě̑jь(š)- более широко распространенная форма (по первичному *ljútъ, а. п. *b*).

2). Вторая часть правила Селищева—Вайана, связывающая образование компаратива на -jь(š)- с прилагательными на -ъk-, по-видимому, является лишь отражением господствующего положения а. п. *c* в этой группе имен и процессов позднейшей аналогии. Можно утверждать, что акцентный выбор компаратива был характерен первоначально и для группы прилагательных на -ъk-, о чем свидетельствуют компаративы krot-ějь(š)- и lьž-ajь(š)- от прилагательных krotъkъ и lьgъkъ, относившихся к неподвижному акцентному типу [3].

Имеются определенные данные, свидетельствующие о связи акцентно-морфологических механизмов в имени прилагательном и глаголе: речь идет об установленном П. С. Сигаловым факте, что от прилагательных I типа, как правило, образовывались инхоативы с формантом -ě-, от прилагательных II типа — инхоативы на -nǫ- [4]. По-видимому, во всех этих случаях мы имеем дело с отношениями зависимостей, восходящих к глубокой древности, что достаточно убедительно показано в работе С. А. Старостина и С. Л. Николаева [5].

Таким образом, акцентологическая характеристика праславянского слова оказывается теснейшим образом связанной с реконструкцией индоевропейской и праславянской морфологии. Но акцентологическая реконструкция праславянского имеет значение не только для реконструкции древнейших периодов языка. Акцентные парадигмы продолжали образовывать морфонологические позиции в истории отдельных славянских языков. Так, еще С. П. Обнорским был замечен тот факт, что распространение в мест. п. м. р. окончания -*у* в истории русского языка находится

в тесной связи с акцентным типом слова [6]. Данное положение было подтверждено исследованиями последних лет по истории русского именного словоизменения (см., например, работы Н. И. Хреновой [7]). Аналогично распространение форманта им. мн. у имен существительных м. р. *-а* (*берегá*, *городá*) теснейшим образом связано с подвижным акцентным типом. То же наблюдается и в словообразовании: например, процессы перераспределения суффиксов русских деминутивов [8]. В словообразовании зависимости выбора суффикса от акцентуационного типа производящего остаются живыми и в современном русском языке, где устанавливается достаточно сложная система парности словообразовательных суффиксов, распределяемых относительно производящих основ (доминантных и недоминантных), акцентологически противопоставленных (исследования последних лет А. А. Зализняка).

О важности акцентологической реконструкции для верификации этимологических сближений уже говорилось, когда речь шла об использовании этимологами акцентологической информации для решения собственно этимологических задач. Однако акцентологическое сравнение проводилось этимологами спорадически и не ощущалось ими как одна из обязательных процедур этимологического исследования, что, естественно, подчас приводило к неверным или недостаточно полным решениям. Примером традиционной ошибки этимологов может служить сближение рус. *сýнуть* с схрв. *сýнути*, *сȳнēм* 'лить, сыпать'. Просодический же анализ последнего показывает, что сербохорватский глагол не является непосредственным продолжением праслав. *sũnǫti, а вторично образован от схрв. *сýти*, *спēм* 'сыпать' (корень *sup/*sъp). Даже если это новое образование контаминировалось со старым праслав. *sũnǫti, этот факт должен быть отмечен в этимологических исследованиях с указанием, что просодически этот глагол полностью выводим лишь из *su(p)nǫti.

Разумеется, было бы неверным считать, что акцентологическая реконструкция праславянского языка во всем его объеме диктуется исключительно необходимостью завершить сегментную реконструкцию, т. е. что она является простым дополнением к этой реконструкции. Цель ее — не только реконструкция акцентных типов отдельных лексем, но и восстановление акцентологической праславянской системы, пронизывающей все уровни праславянского языка. В ходе развития акцентологических исследований оказалось, что для понимания механизма праславянской акцентной системы недостаточно просто реконструировать акцентные типы, но необходима реконструкция распределения этих типов во всем организме языка. Наряду с новым ракурсом в постановке задач реконструкции (прежде о необходимости реконструкции распределения акцентных типов речи не шло), такой подход означает резкое увеличение вводимого в сравнение материала. И именно это выдвигает в качестве наиболее удобного способа автономную организацию используемого материала в виде сравнительно-исторического акцентологического словаря.

Таким образом, создание праславянского акцентологического словаря является не столько требованием внешним, связанным с незавершенностью этимологических реконструкций, лишенных просодических характеристик, сколько внутренней потребностью самой исторической акцентологии, которая связывает свое дальнейшее развитие с этим предприятием. Работа над праславянским акцентологическим словарем — или сравнительно-историческим акцентологическим словарем славянских языков (АССЯ) — началась в Институте славяноведения и балканистики АН СССР силами трех исполнителей (авторов этого доклада). Цель и задачи АССЯ коротко могут быть сформулированы как реконструкция (в идеале) праславянского акцентного типа каждой праславянской лексемы во всех ее грамматических формах и прослеживание и объяснение дальнейшего развития этого акцентного типа в акцентных системах-потомках, или, в отдельных случаях, с достаточной степенью объективности — определение отношения имеющейся акцентологической информации по соответствующей лексеме к информации, необходимой для такой реконструкции.

Существует ли в настоящее время объективная возможность для создания праславянского акцентологического словаря? Представляется, что предпосылки осуществления такой задачи уже имеются.

Дело в том, что за последнюю четверть века, начиная с фундаментального исследования Х. Станга «Slavonic accentuation» (Oslo, 1957), славянская историческая акцентология подверглась фронтальному пересмотру своих основ, в результате которого вместо фрагментарных представлений об отдельных явлениях, вместо частных правил и законов, которые базировались на фонетических (интонационно-количественных) фактах, появилось представление о единстве праславянской акцентологической системы, о единстве принципов ее построения. Эта система, конечно, не изучена еще во всех деталях, однако основной корпус ее здания уже построен. В результате сложного, крайне трудоемкого и тонкого морфонологического анализа стало очевидно, что в основе всей праславянской акцентологической системы лежит принцип парадигматического акцента. Это значит: а) что у непроизводных слов (именных и глагольных) выбор акцентного типа не был обусловлен какими-либо фонетическими, морфологическими, морфонологическими или иными характеристиками, а был немотивирован, традиционен, т. е. каждому непроизводному слову был присущ один из акцентных типов (акцентных парадигм), который тем самым был одной из индивидуальных характеристик этого слова; б) акцентный тип производного определялся прежде всего а. п. производящей основы, модифицируясь морфонологическим классом суффикса или иной словообразовательной морфемы.

Было выявлено, что праславянская акцентная система в области непроизводных основ строится на трех акцентных типах (а. п.), каждый из которых представляет собой класс кортежей (организованных наборов) акцентных контуров, дополнительно

распределенных по отношению к морфологическим классам основ. Далее, был уточнен статус праславянских а. п. и показана функциональная неравноценность их: единство двух колонных парадигм *a* и *b*, восходящих к одному неподвижному акцентному типу, и специфичность славянской а. п. *c* как представительницы подвижного акцентного типа. Были установлены закономерности порождения акцентных типов дериватов. Наконец, было показано, что парадигматический акцент в ходе истории славянских языков сменяется акцентом категориальным, т. е. таким, при котором акцентные типы распределяются в зависимости от морфологических, словообразовательных и лексических категорий слов.

Надежно установленные положения о трех названных важнейших характеристиках праславянской акцентной системы (тройственность а. п.; функциональное родство а. п. *a* и *b* и противопоставление их а. п. *c*; система порождения акцентных типов дериватов) и об общем характере ее перестройки в славянских языках и являются теоретическим фундаментом для акцентологической реконструкции праславянского во всем объеме его лексического фонда и категориального разнообразия. Другими словами, эти положения служат таким знанием, которое создает возможность подвергнуть весь корпус славянских сравнений, проецирующихся на праславянский уровень, анализу с целью или непосредственной реконструкции праславянского акцентного типа, или установления возможностей альтернативных решений для такой реконструкции, или, наконец, констатации того, что акцентологическая информация по данному сближению, имеющаяся в настоящее время, недостаточна для реконструкции. Во всех случаях можно уже сейчас достаточно надежно оценить степень достоверности принятых или предлагаемых решений.

Классическая компаративистская процедура позволяет, как правило, установить в непроизводной части словаря (например, в группе наиболее частотных имен существительных) у лексемного этимона одну из трех праславянских а. п. Однако оказывается, что при выходе за пределы этой группы количество рядов соответствий резко увеличивается, что вступает в противоречие с результатами, которые возможно получить при помощи внутренней реконструкции в каждой из вводимых в сравнение языковых систем. Число рядов соответствий еще более возрастает при увеличении количества вводимых в сравнение акцентуационных систем. Такая ситуация может указывать либо на перестройку систем путем редукции количества элементов, составляющих первичную систему, либо на перестройку систем путем замены принципа организации первичной системы иным принципом (или принципами) организации элементов в дочерних системах. На второе решение в данном случае указывает не ускользнувший от внимания представителей классической акцентологии, но недостаточно оцененный ими факт, что «дополнительные» ряды соответствий распределяются по морфологическому или словообразовательному принципу или же группируются в менее частотной об-

ласти лексики. Так, например, при переходе от сравнения имени существительного к сравнению непроизводных (первичных) прилагательных получаются иные ряды соответствий между русским и штокавским корпусом сближений, чем ряды соответствий между корпусом сближений тех же языков в области непроизводных существительных.

Ср. в существительных:

I ряд: рус. *си́ла*, *си́лы*, *си́лу* (баритона) : схрв. *си̏ла*, *си̏лē*, *си̏лу* (баритона);

II ряд: рус. *жена́*, *жены́*, *жену́* (окситона) : схрв. *жѐна*, *жѐнē*, *жѐну* (окситона);

III ряд: рус. *голова́*, *головы́*, *го́лову* (подвижн.) : схрв. *гла̑ва*, *гла̑вē*, *гла̑ву* (подвижн.).

В прилагательных:

I ряд: рус. *чи́ст*, *чиста́*, *чи́сто* (подвижн.) : схрв. *чи̏ст*, *чи̏ста*, *чи̏сто* (баритона);

II ряд: рус. *бе́л*, *бела́*, *бело́* (окситона): схрв. *бѐо*, *бе́ла*, *бе́ло* (окситона);

III ряд: рус. *мо́лод*, *молода́*, *мо́лодо* (подвижн.) : схрв. *мла̑д*, *мла̑да*, *мла̑до* (окситона).

То же наблюдается, например, в области тематических глаголов (-е-, -je-). Если в глаголах с корнями на шумные картина достаточно ясная, согласующаяся в целом с соотношениями в существительных: I ряд: рус. *ся́ду*, *ся́дешь* (баритона) : схрв. *се̏дēм*, *се̏дēш* (баритона); II ряд: рус. *пишу́*, *пи́шешь* (смежно-подвижн.) : схрв. *пи̑шēм*, *пи̑шēш* (долготные баритона); III ряд: рус. *пряду́*, *прядёшь* (окситона) : схрв. *пре́дēм*, *пре́дēш* (окситона), — то в глаголах на нешумный положение меняется, и трем русским акцентным типам соответствует в сербохорватском почти сплошь один акцентный тип [9].

Еще более сложная картина обнаруживается в области производных, где едва ли не каждый словообразовательный тип дает свои ряды соответствий. Здесь классическая акцентология ограничивалась обычно ссылкой на внешне схожие явления и разрозненные факты. Исследователям удавалось получить реальные результаты лишь в том случае, когда они обращались фактически к приемам внутренней реконструкции, привлекая внешнее сравнение лишь для установления праславянских интонаций (последняя деталь необязательна для данной процедуры — можно опираться просто на акцентный тип производящего) [10]. Что касается многочисленных отклонений в рядах соответствий при попытках привлечь более обширный корпус сближений, то они или вообще оставались необъясненными (с утверждением их вторичности), или делались попытки атомарного их объяснения путем привлечения для каждого отдельного случая аналогии, или, наконец, утверждалось наличие вариантности с проецированием соответствий, отклоняющихся от «нормального» ряда, на праславянский уровень [11]. Лишь в результате реконструкции праславянской акцентной системы в целом и установления принципа ее организа-

ции удалось понять, что в основе всех этих на внешний взгляд разнородных явлений лежит единый процесс смены парадигматического принципа организации праславянской акцентной системы другим принципом — категориальным. Здесь правильнее было бы сказать не «в результате», а «в ходе», так как без осознания этого явления невозможна была бы и сама реконструкция [12]. Действительно, только осознание этого специфического явления развития славянской акцентологической системы (возможно, вообще присущего системам парадигматического акцента) приводит к пониманию того, что далеко не все элементы дочерних систем релевантны для реконструкции протосистемы. Релевантными являются лишь те части дочерних систем, в которых сохраняются реликты старого принципа организации протосистемы. Это в свою очередь означает, что компаративистской процедуре должен предшествовать тщательный анализ дочерних систем, установление степени и характера релевантности этих частей. Например, для установления старого распределения а. п. в глагольной системе оказываются релевантными факты словенского языка, кайкавского и восточноболгарского диалектов, тогда как штокавский диалект провел значительное перераспределение в системе акцентных типов глагола и редукцию количества этих типов в ряде глагольных морфологических групп, и ввиду этого на штокавский материал нельзя опираться при реконструкции распределения акцентных типов. Однако словенский, кайкавский и восточноболгарский материалы не могут быть непосредственно использованы для установления акцентных кривых в системе а. п. глагола, так как они показывают значительные изменения самой формы акцентной кривой, связанные со специфическими фонетическими процессами в этих языковых системах. И в этом отношении оказываются релевантными факты сербохорватского языка, а также русского и старорусского.

Таким образом, опираясь на очерченные здесь теоретические положения, можно для каждого праславянского сближения, которое содержит достаточное количество материала, отобрать элементы, релевантные для реконструкции праславянского акцентного типа, установить этот тип и показать нерелевантность других элементов и причины их нерелевантности. А в идеальном случае показать характер процессов, приведших данные элементы к этому состоянию. Такое положение открывает возможность представить акцентологическую реконструкцию праславянского лексического фонда в форме словаря, но диктует определенную специфику построения такого словаря.

В каждую словарную статью целесообразно поместить материал как релевантный для реконструкции, т. е. отражающий первичный принцип организации праславянской акцентной системы (принцип парадигматического акцента), так и материал нерелевантный, т. е. подвергшийся перестройке в направлении развития категориального принципа акцента. Аргументированное доказательство расчленения материала на релевантный и нерелевантный, однако,

нецелесообразно проводить в каждой словарной статье, ибо тогда она разрослась бы до объема исследования с привлечением всех фактов, составляющих микросистему, в которую входит каждая сравниваемая лексема. При этом невозможно было бы избежать многочисленных повторений в словарных статьях, посвященных лексемам из одних и тех же морфологических групп. Поэтому непосредственно сравнительному словарю должен предшествовать обширный комментарий, содержащий анализ вводимых в сравнение систем и доказательства релевантности и нерелевантности, а также степени релевантности тех или иных частей этих систем. В словарной же статье будут даны отсылки к этому комментарию. Следовательно, Словарь будет иметь двухчастную структуру: сравнительно-исторический анализ и непосредственно словарь.

Единство и экономия принципов описания диктует, кроме того, разделение Словаря по морфологическому принципу. Предполагается издавать Словарь в виде ряда выпусков, посвященных отдельным лексико-грамматическим группам, а именно: (1) непроизводные имена (существительные и прилагательные), (2) непроизводные глаголы, (3) производные имена (существительные и прилагательные), (4) производные глаголы, (5) числительные и местоимения, наречия.

Основным источником для составления словника служат этимологические словари славянских языков (это касается в первую очередь непроизводной части лексики), материал словарей современных славянских языков и исторических словарей, материал, введенный в научный оборот исследованиями по славянской акцентологии, и материалы, накопленные составителями в ходе их работы. Словник, полученный путем расписывания этих источников, составляет канву, которая заполняется материалом, несущим акцентологическую информацию. Естественно, что не все слова могут быть обеспечены материалом. Однако целесообразно включение в Словарь и таких слов с пометами «акцентологическая информация отсутствует» или «акцентная характеристика неясна». Это позволит выявить лакуны в акцентологической реконструкции праславянского лексического фонда и побудит исследователей к дальнейшему сбору материалов. В акцентологический словарь будут, очевидно, включены и такие общеславянские церковнославянизмы, как *adъ, *anъgelъ и т. п., не вошедшие в ЭССЯ.

Материал Словаря составляют четыре группы источников.

1) Современные литературные системы как наиболее полно описанные (русская, украинская, белорусская, болгарская, сербохорватская, словенская, чешская, словацкая, польская, верхнелужицкая, представления о которых черпаются из современных словарей и описаний (типа Даничича и Матешича по сербохорватскому языку [13]).

2) Системы, отраженные авторитетными словарями и грамматиками XVI—начала XX в. (например, М. Смотрицкого, Берынды, Вранчича, Караджича, Желеховского—Недильского, Носовича [14]

и др.), а также описаниями (типа описания словенского ударения Валявца [15]).

3) Системы избранных средневековых памятников письменности XIV—XVIII вв. (рукописей и старопечатных книг) из числа тех, акцентные системы которых обследованы полностью, и, следовательно, способных дать требуемый материал. На этой группе источников следует остановиться особо. Очень важный для праславянской реконструкции материал древних текстов начал привлекаться по-настоящему в работах Л. Л. Васильева [16]. Эта база была существенно расширена в последние два десятилетия, когда было выявлено и изучено много рукописных памятников, содержащих богатейший материал по истории славянской акцентуации [17]. Праславянская акцентологическая реконструкция стала опираться именно на древние системы, и таким образом исходные пункты сравнения были удревнены на пять—шесть веков, что, несомненно, повысило точность и надежность реконструкции. В Словаре будут использованы материалы древнерусских, среднеболгарских, древнесербских рукописей, старокайкавские, выявленные и изученные самими составителями и другими исследователями. Будет также использован соответствующий материал из работ Л. Л. Васильева, Х. Станга и т. д.

4) Некоторые современные диалектные системы, подробно описанные диалектологами или составителями в результате расписывания опубликованных записей диалектных текстов.

Каждая из четырех названных групп источников требует предварительного анализа, который включает: а) перечень и классификацию акцентных типов и виды акцентных кривых; б) описание характера исторической связи синхронных акцентных типов с тремя праславянскими а. п.; в) основные данные об отражении древней системы выбора акцентных типов в словообразовании и т. д.

Совокупность выбранных источников образует основной фонд материала Словаря. Сведения из любых других источников приводятся лишь при особой необходимости и расцениваются как материал качественно иного уровня.

Поскольку наш Словарь, как уже ясно из изложенного, будет не только справочником по исторической акцентуации отдельных слов, но и источником информации об акцентных системах лексико-грамматических групп, составляющих основной словарный фонд праславянского языка, то при словарной подаче (по началу слова) неизбежны потери в информативном плане. Так, словарная подача достаточно адекватна к непроизводным именам, единственная потеря — это потеря обозримости «мощности» того или иного акцентологического класса. В непроизводных глаголах потери бóльшие, так как при алфавитной подаче теряются морфонологические группировки, по которым идет перестройка в ряде языков, и т. д.

Потерю информативности предполагается восполнить системой специальных указателей. Например, для производных, с доста-

точно рано возобладавшим категориальным принципом выбора акцента, полезен обратный (или инверсионный) словарь-указатель. Каждый выпуск будет сопровождаться списком праславянских лексем по акцентным типам. В конце работы будет опубликован общий словник.

Отдельным выпуском намечается дать очерк истории сравнительно-исторических исследований по славянской акцентологии, уделив особое внимание установлению соответствий между терминологическими обозначениями классической акцентологии и терминологической системой Словаря.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] *Дыбо В. А.* Ударение славянского глагола и формы старославянского аориста. — КСИС, 1961, вып. 30.

[2] *Дыбо В. А.* Славянская акцентология. Опыт реконструкции системы акцентных парадигм в праславянском. М., 1981, с. 216—218.

[3] *Дыбо В. А.* Фрагмент праславянской акцентной системы (ударение прилагательных с суффиксом -ъk-). — Советское славяноведение, 1970, № 5.

[4] *Сигалов П. С.* Вопросы теории русского исторического словообразования. Докт. дис. Тарту, 1977; *Он же.* О происхождении славянских инхоативных глаголов. — Всесоюзная конференция по славянской филологии. Программа и тезисы. Л., 1962.

[5] *Николаев С. Л., Старостин С. А.* Парадигматические классы индоевропейского глагола. — В кн.: Балто-славянские исследования. 1981. М., 1982.

[6] *Обнорский С. П.* Именное склонение в русском языке, вып. 1. Л., 1927.

[7] *Хренова Н. И.* Система флексий имен существительных мужского рода в русском языке XVII—начала XVIII в. Автореф. канд. дис. М., 1971.

[8] *Чурганова В. В.* К истории словообразования диминутивов в русском языке. — В кн.: Вопросы исторической лексикологии и лексикографии восточнославянских языков. М., 1974.

[9] Если ситуация в имени получила правильное истолкование достаточно рано (в русском и сербохорватском в прилагательных произошли разнонаправленные редукции систем акцентных типов: в русском а. п. *a* и а п. *c* совпали в а. п. *c*, а в сербохорватском а. п. *b* и *c* совпали в а. п. *b*), то правильное понимание положения в презенсе глаголов появляется лишь в последнее время. См.: *Дыбо В. А.* Праславянское распределение акцентных типов в презенсе тематических глаголов с корнями на нешумные. (Материалы к реконструкции). — В кн.: Балто-славянские исследования. 1981, 1982. М., 1982, 1983.

[10] Это относится к работам Л. А. Булаховского об ударении украинских производных прилагательных (*Булаховський Л. А.* Наголос українських прикметників. — Зап. іст.-філол. відділу Укр. Акад. наук, кн. XIII—XIV. Київ, 1927, с. 294—303; *Он же.* Порівняльно-історичні розвідки в ділянці українського наголосу. III. Прикметники на *-кий*, *-ка*, *-ке*. — Мовознавство, 1937, № 11) и к известной работе Х. Хартмана, построенной в основном на сербском материале (*Hartmann H.* Studien über die Betonung der Adjektiven im Russischen. Leipzig, 1936).

[11] Лишь в последнее время было показано, что возникновение таких отклонений подчиняется тенденции к семантизации акцентологических противопоставлений в системе языка, что, в сущности, является отражением того же процесса смены парадигматического акцента категориальным (см.: *Зализняк А. А.* Закономерности акцентуации русских односложных существительных мужского рода. — В кн.: Проблемы теоретической и экспериментальной лингвистики. М., 1977, с. 71—119).

[12] Теоретические основы праславянского акцентологического словаря, изложенные в данном докладе, разработаны в основном в исследованиях В. А. Дыбо (в наиболее полном виде — в работе, указанной в примеч. 2).

[13] *Даничић Ђ.* Српски акценти. Београд—Земун, 1925; *Matešić J.* Der Wortakzent in der serbokroatischen Schriftsprache. Heidelberg, 1970.

[14] См., например, факсимильное издание «Грамматики» Милетия Смотрицкого, подготовленное В. В. Нимчуком (Київ, 1979) (укр. XVII в.); Лексикон словенороськиї Памви Беринди. Київ, 1961 (юго-западнорус. XVII в.); *Vrančić F.* Dictionarium quinque nobilissimarum Europae linguarum, Latinae, Italicae, Germanicae, Dalmatiae et Ungaricae. Venetiis, 1595 (см. фототипическое издание — Zagreb, 1971) (ст.-чак.); *Вук Стефан. Караџић.* Српски рјечник истумачен немачкијем и латинскијем ријечима. У Београду, 1898; *Желеховський Е., Недільський С.* Малоруськo-німецький словар, т. I—II. Львів, 1886; Словарь бѣлорусскаго нарѣчия, составленный Носовичем Н. Г. СПб., 1870.

[15] *Valjavec M.* Prinos k naglasu u (novo)slovenštini. — Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti, knj. 43—121 и 132. Zagreb, 1878—1897.

[16] *Васильев Л. Л.* О значении каморы в некоторых древнерусских памятниках XVI—XVII вв. К вопросу о произношении звука *о* в великорусском наречии. Л., 1929.

[17] См.: *Булатова Р. В.* Работы советских исследователей по славянской исторической акцентологии на материале древних памятников письменности. — Зборник за филологију и лингвистику XXII/1. Нови Сад, 1979, с. 73—85.

Ж. Ж. Варбот

МЕСТО ОСНОВ НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ В СИСТЕМЕ ОТГЛАГОЛЬНОГО СЛОВООБРАЗОВАНИЯ ПРАСЛАВЯНСКОГО ЯЗЫКА

Система праславянского глагольного формообразования базируется на соотношении и противопоставлении двух основ: основы инфинитива и основы настоящего времени. Это соотношение—противопоставление является специфической характеристикой славянской глагольной системы, которая отличает ее от глагольных систем родственных индоевропейских языков и от исходной праиндоевропейской системы. Тот же принцип организации глагольной системы сохранился и в истории большинства славянских языков. Данное противопоставление характеризует, таким образом, определенный и очень длительный этап в развитии глагольной системы, обусловивший ее специфику в славянских языках. Значение этого противопоставления для глагольного словоизменения определяется ориентацией каждой глагольной формы на одну из этих двух основ, что является предметом тщательного исследования в сравнительной грамматике славянских языков. Представляется априори очевидным, что это противопоставление

должно было иметь значение также и для праславянского отглагольного словообразования. Во всяком случае, правомерна постановка такого вопроса. Но этот вопрос до сих пор не привлекал внимания исследователей. Более того, даже при самом подробном описании словообразовательных моделей этот аспект игнорируется. Так, в наиболее полном современном очерке славянского именного словообразования, принадлежащем А. Вайану, при рассмотрении производящих основ отглагольных имен часто указываются основы настоящего времени, но эти указания нередко оказываются нерелевантными: например, о рус. *метла*, польск. miotła и т. д. — «sur mete-» [1, с. 550], ст.-слав. слꙗкꙗ сопоставляется со slove-, ст.-слав. трꙗкꙗ — с trove- [1, с. 172—173], но равным образом возможно образование этих имен от соответствующих основ инфинитива — *met-, *slou̯-, *trou̯-; ст-слав. длѧто, польск. dłóto и т. д. охарактеризованы «sur *dǫlbe-» [1, с. 683], ст.-польск. młost — «sur *molz- de *mǫlze-» [1, с. 679], но апофонические отношения связывают эти имена скорее с основами инфинитива — *delb- и *melz-.

Вопрос о роли противопоставления основ настоящего времени и инфинитива в отглагольном словообразовании может рассматриваться с позиций функционирования как основ инфинитива, так и основ настоящего времени. В позднепраславянский период продуктивные суффиксальные словообразовательные модели отглагольных имен опирались преимущественно на основы инфинитива. Ориентация отглагольного словообразования на основы инфинитива обычно предполагается и для более раннего периода. Поэтому ближайшей задачей представляется уяснение места в праславянском отглагольном словообразовании, принадлежавшего основам настоящего времени. При этом следует иметь в виду как отглагольные имена, так и производные глаголы.

Задача отождествления производящей основы отглагольного образования с основой инфинитива или с основой настоящего времени глагола решается на базе известных различий этих основ. Противопоставление основ настоящего времени и инфинитива выражалось в праславянском языке несколькими средствами: показателями основ, суффиксами, чередованием корневых гласных, инфиксацией, удвоением корня, супплетивизмом основ. Эти средства иногда выступают в комбинации: различие в показателях основ сопровождается чередованием или инфиксацией или удвоением и т. д., но преобладает противопоставление только по показателям основ. Поэтому однозначное отождествление производящей основы отглагольного образования достаточно надежно для производных от собственно о с н о в (в узком значении этого термина) — а именно, для производных, в которых сохраняется показатель производящей основы. Для откорневых производных, не содержащих такого показателя, однозначное отождествление производящей основы (корня) возможно лишь в том случае, когда противопоставление основ инфинитива и настоящего времени производящего глагола выражено, помимо показателей основ,

иными средствами, отраженными в структуре корня. Соответственно для значительной (и даже большей) части отглагольных откорневых образований отождествление производящей основы только с основой инфинитива или только с основой настоящего времени невозможно, так что для образования этой группы производных различение основ инфинитива и настоящего времени оказывается несущественным. Такова ситуация в случаях праслав. *metьla и *slava, *trava, рассмотренных выше. Характеристика словообразовательной структуры подобных имен в отношении производящей основы должна, следовательно, или ограничиваться указанием корня, или упоминать обе основы (учитывая возможность их противопоставления по корню в других глаголах).

Таким образом, различие основ инфинитива и настоящего времени могло иметь значение для тех отглагольных производных, которые образовывались от собственно основ, и тех откорневых отглагольных образований, которые были связаны с глаголами, имевшими корневые различия между основами инфинитива и настоящего времени. При анализе некоторых производных последней группы возникают трудности, обусловленные спецификой структуры глагольных основ. Дело в том, что при различии основ инфинитива и настоящего времени по корневому вокализму одна и та же ступень корневого вокализма в разных глаголах характеризует разные основы: в одном случае — основу инфинитива, в другом — основу настоящего времени. При наличии двух однокоренных глаголов с разными показателями основы это противоположное распределение ступеней корневого вокализма может встретиться в одном глагольном гнезде. Например, судя по данным славянских языков, для праславянского реальна реконструкция параллельных *dьrati, *dere- и *derti, *dьre- [2, с. 211; 3, с. 209; 4, с. 218], *pьrati, *pere- и *perti, *pьre- [2, с. 188, 210], *čerpti, *čьrpe- и *čьrpati, *čerpje- [2, с. 155, 312]. Наряду с этим есть случаи, когда определенная ступень корневого вокализма в одном глаголе характеризует лишь одну из основ (основу инфинитива или основу настоящего времени), а в однокоренном глаголе — обе основы: ср. *perti, *pьre- и *pьrěti, *pьri- [2, с. 384], *pьlzati, *pelže- и *pьlzěti, *pьlzi- и *pьlznǫti, *pьlzne- [2, с. 311]. В этих условиях однозначное отождествление производящей основы откорневого отглагольного производного с основой инфинитива или основой настоящего времени возможно лишь при наличии семантической дифференциации однокоренных глаголов. Поэтому ниже не используются производные гнезд *der-/*dьr- и *čerp-/*čьrp-, где такая дифференциация для праславянского уровня не реконструируется, но приводятся некоторые производные гнезда *per-, связанные с семантически обособившимся глаголом *pьrati, *pere- 'стирать'. В случае *pelz-/*pьlz- в разных типах основ встречается ступень редукции, но ступень *e характеризует лишь основу настоящего времени, поэтому в этом гнезде возможно надежное отождествление производящих основ имен с вокализмом *e и *o с основой настоящего времени.

Обращаясь к славянским отглагольным образованиям (именным и глагольным), производящие основы которых могут быть отождествлены с основами настоящего времени, следует учитывать наличие среди них образований различных хронологических уровней. Это различие отражается иногда в самом способе образования производных (наличие чередований корневых гласных, сохранение показателя производящей основы), но часто обнаруживается лишь наличием/отсутствием индоевропейских соответствий для славянских образований, распространением производного во многих славянских языках. Выявление этих хронологически различных групп производных помимо прямого своего назначения требуется еще и потому, что устанавливаемые соотношения отглагольных образований с основами настоящего времени имеют своим источником непосредственные генетические (словообразовательные) связи лишь для определенных хронологических уровней.

Ряд праславянских имен, соотносительных с глаголами и тождественных по вокализму корня основам настоящего времени (противопоставленным по вокализму корня основам инфинитива), восходит к праиндоевропейским образованиям, связь которых с данными основами настоящего времени может быть лишь опосредованной. Ср. праслав. *mьrtvъ — *mьre- (при *merti), но и *mьrtvъ — др.-инд. mr̥tás, греч. βροτός, лат. mortuus (< и.-е. *mr̥tos); праслав. *bermę — *bere- (при *bьrati), но и *bermę — др.-инд. bháriman- 'ношение', греч. φέρμα 'ноша, плод во чреве' (< и.-е. *bher(ə)men); праслав. *čьstь — *čьte- (при *čisti), но и *čьstь — др.-инд. cíttiṣ, авест. čisti-. В этих и подобных случаях имена образованы на праиндоевропейском уровне от корней, огласовка которых определена требованиями суффиксальных моделей. Тождество корневого вокализма этих имен и славянских основ настоящего времени не отражает, следовательно, словообразовательных связей, но в праславянском языке оно могло на определенном этапе восприниматься как следствие таких связей.

Другая значительная группа праславянских имен, соотносительных с глаголами и восходящих к праиндоевропейским образованиям, связана с основами настоящего времени качественным чередованием корневого гласного: ступень *o в бессуффиксальном тематическом имени при ступени *e в основе настоящего времени. Например, ср. *bere- — *borъ (< и.-е. *bhoros, ср. др.-инд. bhára- 'добыча', греч. φόρος 'налог', лит. bãras 'часть поля, скашиваемая за один раз' [5, с. 218]), *žene- (при *gъnati) — *gonъ (< и.-е. *gʷhonos, ср. греч. φόνος), *selpje- (при *sъlpati) — *solpъ 'водопад, волна' (ср. лит. salpas 'пойма', 'заводь', возможно — др.-исл. sarpr 'порог, водопад' [6, с. 552]), *stel'e- (при *stьlati) — *stolъ (ср. лит. stãlas 'стол', гот. stols 'стул') [2, с. 311; 7, с. 764—765]. Имена этого типа не являются исторически производными от основ настоящего времени, их связь опосредована атематическими именами [8, с. 48—49, 76—82], но в период актуальности морфонологического чередования *e : *o, который включает и праиндоевропейский, и ранний праславянский, эта связь стала словообразовательной. Соот-

ветственно для праславянского языка древнейшего периода следует реконструировать как актуальную словообразовательную модель образование бессуффиксальных имен с огласовкой корня в ступени *о от основ настоящего времени с вокализмом в ступени *е. Например, *sorъ — от *sere- (при *sьrati), *strugь — от **str'uže- (> *struže- [9, с. 363; 6, с. 683] при *strъgati), *polzъ — от *pelže- (при *pьlzati).

Достаточно прозрачных связей этого типа сохранилось мало. Это объясняется историческими изменениями как в глаголах, так и в именах: унификацией корневого вокализма соотносительных основ настоящего времени и инфинитива, фонетическими изменениями, развитием семантики имен и глаголов, контаминацией. Поэтому очень существенно выявление потенциальных имен этого типа, т. е. бессуффиксальных имен с вокализмом корня в ступени *о, производных от основ настоящего времени с корневым вокализмом в ступени *е. Так, представляется весьма вероятным наличие словообразовательной связи между *-zerče- (к *zьrcati, ср. ст.-слав. позрѣче-, позрѫцати, ст.-схрв. zrče-, zrcati, польск. zerkać и т. д.) и *zorkъ. Эти лексемы сопоставлены как содержащие тождественный элемент -k- Вайаном, который предложил, однако, слишком сложную и искусственную реконструкцию генезиса этих отношений: *zorkъ истолковано как суффиксальное производное (с суф. -kъ) от *-zorъ, ставшее базой для образования глагола с расширением -k- [1, с. 535; 2, с. 313, 338[. Формирование *-zьrcati на основе имени *zorkъ маловероятно при характере различия в вокализме, а для *zorkъ столь же сомнительно образование от *-zorъ. Более реально суффиксальное образование *zorkъ от глагольного корня *zer- не сохранившейся в славянских языках основы, родственной *zьrěti (такова традиционная точка зрения [10, с. 105; 6, с. 718; 11, с. 89]) или образование *zorkъ как бессуффиксального имени от основы настоящего времени *-zerče-.

В. Махек реконструировал праслав. *lajь (откуда с суф. -ьno *-lajьno 'помет', ср. схрв. диал. lâjno 'помет', чеш. lejno, ст.-чеш. lajno, польск. łajno то же и т. д.) как производное от основы настоящего времени *lěje- (при *lьjati 'лить') [6, с. 325]. Реальность принадлежности имени такой структуры к гнезду праслав. *li-/*lě-/*lьj- 'лить' подтверждается существованием рус. диал. *улай* 'обрывистый овраг', которое также поддается истолкованию как производное гнезда *li- (ср. рус. диал. *лойна* 'лог, долинка или овраг с ровным дном'), восходящее к праслав. *ǫlajь [12, с. 46—47]. Морфонологически чередование ě : а тождественно чередованию е : о.

С точки зрения рассматриваемой проблемы представляет интерес забытое и не аргументированное предположение Р. Брандта о связи праслав. *sǫdъ 'суд' с гнездом *sed-/*sęd- (*sęde-, *sěsti), так что для *sǫdъ реконструируется первичное значение 'заседание' [13, с. 181, примеч. 4]. В современной этимологии безраздельно господствует истолкование праслав. *sǫdъ 'суд' как праиндоевропейского образования с префиксом *som- от и.-е. *dhē- (> праслав.

*dĕti) в ступени редукции (ср. лит. samdà 'наем, договор', др.-инд. saṁdhā́ 'договор, связь, соединение'). В подтверждение этой этимологии в последнее время приведены данные о роли производных гнезда и.-е. *dhē- в формировании индоевропейской социальной терминологии, особенно терминологии права [14, с. 230—231; 15, с. 7]. Остается, однако, затруднительным объяснение иерархии значений праслав. *sǫdъ, к которому возводятся как славянские имена со значением 'суд', так и названия сосуда. Функционирование и собственные связи *sǫdъ I 'суд' и *sǫdъ II 'сосуд', как отмечает О. Н. Трубачев, «создают впечатление, что перед нами результаты как бы двух омонимичных словообразовательных актов» [16, с. 237]. Но реально ли воспроизведение словообразовательной модели, имеющее своим результатом форму, материально тождественную первому образованию? Не являются ли скорее праслав. *sǫdъ 'суд' и *sǫdъ 'сосуд' действительно омонимами, образованными от разных глаголов? В пользу гипотезы Брандта о связи *sǫdъ 'суд' с *sed-/*sędъ- свидетельствуют некоторые лексические материалы индоевропейских и славянских языков.

Прежде всего, в гнезде и.-е. *sed- 'сидеть' также обнаруживаются образования со значениями, близкими к 'договор, соединение': ср. др.-ирл. sīd 'покой, согласие', кимр. hedd то же [17, с. 885—886]. Известно и обозначение судьи с тем же корнем — скр. sabhāsád, образованное из sabhā 'собрание', 'дворец' и -sad 'сидящий' [18, с. 1432]. Правда, в значении 'судья' могло употребляться и sábhya (первоначально 'находящийся в обществе'), но существенно также, что скр. sádas обозначало 'собрание, совет', что весьма близко к принимаемому в качестве первичного для слав. *sǫdъ значению 'собрание членов рода, племени'.

Далее, в славянских глаголах гнезда *sed- представлена семантика 'заниматься чем-либо, делать(ся)' и даже 'заниматься разбором тяжб и т. п.': ср. др.-рус. *сѣдше* думати с дружиною (Поучение Владимира Мономаха, 81), А докладчикомъ *садиться* на недѣлю по трижды..., а кои докладчикъ не *сядетъ* на тотъ день, ино взять на бояринѣ два рубля... (Новгородская судная грамота 1471 г.) [19, стб. 901], рус. *сидеть* над чем 'заниматься чем-либо'. При этом особенно существенно наличие фразеологизмов, прямо или опосредованно связывающих глаголы гнезда *sed- с *sǫdъ (или его синонимами): таковы болг. криво *седи*, право *съди* [20, с. 308] и рус. *сидеть на ряду*, не говорить: не могу 'быть начальником, так знать дело' [21, с 182]. В последнем случае сочетание *сидеть на ряду* может рассматриваться как принадлежащее к одному семантическому полю с сочетанием *судить и/да рядить*, являющимся архаической юридической формулой. Сочетаемость однокоренных *ряд* и *рядить* в одном фразеологизме (формуле) с *судить*, в другом — с *сидеть* дает возможность предполагать наличие связи и между этими лексемами.

Наконец, рассматривая возможные историко-социальные условия для возникновения этимологической связи *sędе- (*sĕsti) и

*sǫdъ, нельзя не учитывать достаточно четкие следы социальной значимости состояния сидения у древних славян: право сидения при более или менее многолюдных собраниях и даже при общении двух людей определялось принадлежностью к более высокому социальному слою (хотя критерии социальной дифференциации менялись). Именно на этом фоне у славянских глаголов гнезда *sed- сформировались значения 'владеть', 'господствовать' (хотя непосредственной их основой являются сочетания типа *сидеть на престоле*), ср. др.-рус. *сѣсти* 'занять престол', *сѣдѣти* 'повелевать', 'владеть' [19, стб. 900, 891], ст.-чеш. seděti 'владеть' (I otázal jsem se ho, sedí-li to zbožie? Knihy půhonné a nálezové brn. 1406; Dokudž pravo sedí. Там же I, 201, 157; Sedí na mém dědictví. Там же I, 282) [22, с. 286], польск. siedzieć 'владеть, пользоваться' (Ci na tym siedzieli, co z dziadów mieli) [23, с. 100]. Примечательна антонимия др.-рус. *сѣдѣти* 'повелевать' и *прѣдъстоѩти* 'служить' [24, стб. 1640]. С той же семантической сферой — 'сидение как состояние социально значимое, соответствующее высокому социальному рангу' — связано значение др.-рус. *посадити* 'назначить', имеющее аналогии и в других славянских языках. Ср. особенно -saditi (или его производные) в сочетании с sǫdъ и sǫditi: др.-рус. Уже бо бяше Псковъ взятъ и тіуны *посажены* у нихъ *судити* (Псковская I летопись. 6749 г.) [24, стб. 1127—1128] и ст.-чеш. dosazení soudu, o osazení soudu zemského [25, с. 736].

Приведенные материалы позволяют реконструировать употребление праслав. *sed- для обозначения высокого социального положения и соответствующей должностной деятельности (в частности, судопроизводства). В таком случае праслав. *sǫdъ могло бы быть производным от основы настоящего времени *sęde-, причем первичным значением его представляется не 'собрание, совет' (кстати, отсутствует формальный признак семантики соединения — например, префикс), а 'заседание' = 'сидение' или 'сидящие' (об облеченных властью лицах и их деятельности). Позднейшим отголоском этой семантики гнезда *sed- является, вероятно, морав.-словац. sadila 'заносчивый человек, хвастун', которое Махек связал с seděti, выразив недоумение по поводу развития значения: «odkud význam?» [6, с. 539].

Аналогичную морфонологическую модель ę : ǫ можно предполагать в основе польск. załęga 'брусья, опирающиеся на возвышение и служащие для облегчения подъема тяжестей' [26, с. 158] — от *lęže- (при *legti). Более проблематична принадлежность к гнезду *legti, *lęže- и образование от основы *lęže- кашуб.-словин. стар. parłąga 'назойливость, навязчивость' (с производным parłążëc są 'надоедать, приставать') [27, с. 32]. В пользу гипотезы об этой связи говорит как будто семантически близкое кашуб.-словин. nálegåč 'навязчивый человек, непрошеный гость' [28, с. 184], принадлежащее к гнезду *leg-. Но неясна природа элемента par- в начале слова parłąga (вариант префикса *pri- или *per-?). Правда, подобная структура представлена еще в parłącëc

'дружить, вступать в брак' [27, с. 32], которое может толковаться как префиксальное производное от łączëc (< праслав. *lǫčiti), ср. ст.-чеш. přilúčiti 'присоединить'. Альтернативное объяснение parłąga как производного от причастия parł- (к přëc 'напирать, толкать') с суф. -ǫg- оставляет неясной структуру parłączëc, так как существование суф. -ǫka сомнительно (он отсутствует, например, в очерках словообразования славянских имен Вайана и Славского). Поэтому представляется возможным предположение о связи кашуб.-словин. parłąga с праслав. *lęže-.

Инфиксация характеризовала в праславянском языке помимо основ настоящего времени *sęde- и *lęže- также основу настоящего времени *rętje- (при инфинитиве *rěsti). В славянских языках известны производные от этой основы имена, сохраняющие корневой вокализм производящей основы, — *sъrętja, *obъrętja (см. ниже). Не исключено, что было и праславянское имя, связанное с этой основой чередованием ę : ǫ. В этом отношении заслуживает внимания польск. stręt, которое представлено в архаическом сочетании na stręcie 'под рукой', 'напротив, против, во вред', а также имеет значения 'отпор', 'отвращение' и 'часто и охотно посещаемое место' [23, с. 454]. Эта семантика характеризует и wstręt ('отражение', 'отпор', 'отвращение', 'посещение', na wstręcie 'на пути', 'против, во вред' [29, с. 759—760]). Считается, что в польском языке рефлексами праславянского гнезда *rět-/*ręt- являются лишь глаголы (po)śrzatnąć, диал. (p)ośratać и архаичные имена pośrzacenie, pośrzacaj [30, с. 432, 534; 2, с. 184]. Рассматриваемые stręt, wstręt толкуются как производные от глагола trącić 'толкать' [30, с. 575; 31, с. 362]. Однако семантика польских имен очень близка гнезду *rět-/*ręt-: во-первых, значения 'посещение', 'посещаемое место' соответствуют семантике праслав. *sъrętja; во-вторых, этому гнезду известны и значения типа 'отпор', 'противоречие', характеризующие польские имена (ср. рус. сев. *стретное* дело 'супротивность, помеха' [21, с. 345], др.-рус. *въстрѣча* 'противоречие' [32, стб. 424]). Существенно и тождество префиксальной структуры польск. (w)stręt с именами гнезда *rět-/*ręt-: *sъrętja и *(vъ)sъrětja. Все это позволяет видеть в польск. (w)stręt рефлекс праславянского имени *(vъ)sъrǫtъ, образованного от основы настоящего времени *-ręt je- с участием чередования ę : ǫ и лишь позднее вовлеченного в гнездо *trǫtiti. Различие ступеней корневого вокализма в *sъrętja и *(vъ)sъrǫtъ хорошо согласуется с различием в типах именных основ.

Рассмотренная модель образования бессуффиксальных имен с корневым вокализмом в ступени *o от основ настоящего времени с огласовкой корня в ступени *e должна была хронологически предшествовать возникновению словообразовательных связей имен такой структуры с основами инфинитива, имеющими огласовку в ступени *e, типа *kvisti — *květъ, *poverzti — *povorzъ, поскольку эта огласовка в инфинитивах (генетически — именах на -tь) вторична. Ср. и *velkti — *volkno (суффиксальное имя). Промежуточным звеном между гнездовыми отношениями типа *stьlati,

*stelje- — *stolъ и типа *poverzti, *povьrze- — *povorzъ явились связи в гнездах, где огласовка в ступени *e была обобщена для обеих основ (и настоящего времени, и инфинитива) типа *veze-, *vezti — *vozъ.

Другая древняя праславянская модель образования бессуффиксальных отглагольных имен с участием морфонологических чередований — с удлинением в имени корневого гласного производящей основы — не имеет рефлексов, которые могли бы быть однозначно истолкованы как производные именно от основ настоящего времени. Речь может идти об именах типа рус. диал. *жи́га* 'острастка, наказание', схрв., словен. žîg 'знак, печать, клеймо', схрв. žiža 'жжение', которые сопоставимы со старой основой настоящего времени *žьže- (при инфинитиве *žegti), но не исключено и позднее образование подобных имен от имперфективов типа žigati. Очевидно, праславянские имена с долгими корневыми гласными, производные от основ настоящего времени с кратким вокализмом, были возможны, но на фоне имперфективов эта словообразовательная связь должна была стереться.

Преобладающей моделью славянских отглагольных имен, производных от основ настоящего времени, является образование от корневого бессуффиксального или суффиксального имени с сохранением в нем ступени огласовки корня производящей основы, а также других его структурных особенностей: инфиксации, редупликации, старой суффиксации (имеются в виду структурные элементы, слившиеся с корнем в праславянском глаголе). Большинство имен этой структуры возникло, возможно, в истории отдельных славянских языков, но достаточно вероятен этот тип и для праславянского языка, особенно его позднего периода. Ниже приводятся некоторые наиболее характерные имена, производные от различных типов основ настоящего времени (в каждом типе сначала располагаются бессуффиксальные, затем суффиксальные имена).

Имена, производные от основ настоящего времени с корневым вокализмом в ступени *e (при ступени редукции в инфинитиве):

чеш. zber 'складка', болг. *винобе́р* 'время уборки винограда', ст.-польск. bluj, кашуб.-словин. pȯřå 'белье', схрв. sudopera 'судомойка', *ser(')a 'понос' (схрв. диал. séra, словен. sę̑rja), польск. osiory 'крупяная пыль', *(po)stelь/*(po)stel'a;

*berьba, *berьca, *beračь, *beridlo (схрв. bèrilo 'кошелка', словен. berílǫ 'зеленый корм для скота'), *berunъ, *berьnъjь, *berьn'a, *berьnikъ, рус. *уберуха, берея*, схрв. beritel, словен. berâtva 'сбор (плодов)', berivo, *peračь(ka) (схрв. perač 'мойщик', словен. peráč то же, болг. *пера́чка* 'прачка', польск. диал. pieraczka то же), *peradlo (болг. *пера́ло* 'место на реке, где стирают белье', схрв. pèralo 'стирка', perȁlo 'место стирки на реке', словен. perâlnik 'камень, на котором стирают'), *peridlo (болг. *пери́лка* 'место на реке, где стирают белье', схрв. pèrilo то же, словен. perílǫ 'стирка', 'белье'), польск. pierzywo 'белье для стирки', болг. *серо́тина* 'испачканное паразитами место на одежде', *stelivo, *zidar'ь, ст.-слав. зиждителѣ, словен. prežênek 'ссора' (от *žene-, к *gъnati), *žujьka.

Имена, производные от основ настоящего времени с корневым вокализмом в ступени редукции (при ступени *е в основах инфинитива):

схрв. cvât, *čьrta, *počьtъ, *dьlbъ, *mьlzъ/*mьlza (словен. mólza 'доение', чеш. диал. mlz), *tьlkъ, *jьzvьrgъ, *vьršь (словен. vŕš, др.-рус. *вьршь* 'хлеб, жито'), *obžьga (словен. ǫ́žga 'гончарная печь', ст.-чеш. ožha 'род болезни', польск. ożga 'пожар', 'погорелец'), ст.-слав. жьгъ 'раскаленное железо';

*čьtьcь, *čьtenьje, *čьtivo, чеш. čtitel, *čьrtežь, *dьlbьn'a, *mьrxa 'падаль', *prostьrica (схрв. prostrīca, словен. postríca 'кол, жердь'), др.-рус. *тълчея*, *vьrdlo (укр. *верло́* 'рычаг, к которому припрягают лошадей для приведения в действие привода', чеш. морав. vrlina 'часть колодезного журавля' < *vьrdlina [6, с. 700], болг. *върлѝна* 'дубина, шест' и т. д.), *vьršitьba (ц.-слав. кръшитьба 'молотьба', схрв. vȑšidba, словен. vršîtev то же).

Имена, образованные от основ настоящего времени с корневым вокализмом в ступени редукции (при ступени *о в инфинитиве):

*nasъra, *obsъra;

*sъrъkъjь (чеш. sepký 'ветхий', белор, *сóпкі* 'рассыпчатый').

Имена, образованные от основ настоящего времени с корневым -ěj- (при -ьj- в корне инфинитива):

*lějь/*lěja (словац. lej, leja 'ливень', н.-луж. lěja 'литье', 'ливень', польск. lej 'пьяница', 'воронка', leja 'воронка', 'ливень', рус. диал. *лéя* 'ливень', укр. *лія* то же), укр. *пролій* 'ливень';

*lějьba, *lějьka, *lějьnъjь, н.-луж. lějawa 'ливень', чеш. lijavý, словац, lejavý 'проливной'.

Имена, производные от основ настоящего времени, вокализм корня которых отличается от вокализма корня инфинитива назализацией:

*sъrętja, ст.-слав. обрѧща, приобрѧща;

ст.-слав. лѧжа 'наседка', рус. урал. *наляжно* 'усердно' (если это производное от прилагательного) [33, с. 174].

Имена, образованные от основ настоящего времени, которые отличаются от основ инфинитива редупликацией корня:

*dadja, *prodadja, *dadjьbogъ, *obdedja, *nadedja;

*dad(j)ьba (болг. *дàжба*, схрв. dažba 'подать', схрв. dodadba 'прибавка'), *podaditel'ь, укр. *дадій*, болг. *даждие*, *подадение*, схрв. dadiv, podadiv, схрв. djȅdba, nadjedba 'начинка' (если из *(na)dedьba, а не из *(na)dětьba).

Анализ славянской лексики позволяет причислить к праславянским производным от редуплицированной основы настоящего времени *ded-je- некоторые славянские имена со структурой *děd(ъk)ъ и значениями 'опора, подставка', 'гнет', 'начинка' (словен. ded 'деревянный гнет в виноградном прессе', dédak 'подушечка для иголок', схрв. dědāk 'ось', чеш. dědek, словац. ded 'столярный верстак', болг. диал. *д'àдр, д'àду* 'свиной желудок, начиненный мясом и приправами' — ср. *děti 'класть, располагать', польск. dziać kiełbasy) [12, с. 55—56] и бортнические термины

н.-луж. dźědźica 'сосна в лесу с вырубленными бортевыми ульями', źěźina '(потомственное) владение общества пчеловодов', др.-в.-луж. dedicz, dediczer 'бортник, пчеловод' (ср. польск. drzewo dziane 'бортное дерево', лтш. dēt 'устраивать борть') [34, с. 182—183]. Корневое *ě в лексемах этих двух групп может быть вторичным и объясняется как следствие влияния корня инфинитива *dě-ti или контаминации с *dědъ 'avus'.

К числу производных от редуплицированной основы настоящего времени *dad- можно, кажется, присоединить польск. диал. obezdaduch 'бездельник, недотепа' [35, с. 455], если выделить в нем префиксы o- и bez- и суффикс -uch и реконструировать первичную семантику как '(ничего) не дающий', 'бесполезный'. Вероятна праславянская древность образования (*bezdaduxъ).

Имена, образованные от основ настоящего времени, отличающихся от инфинитивных основ старой суффиксацией:

*najьda, словен. izîd 'исход', чеш. obejda 'бродяга', рус. *пройда*, *pristanъ/ь, *perstanъ/ь;

*najьduxъ (словац. najdúch, укр. *найду́х* 'найденыш'), *najьdьnъ(jь) (словен. nájden, -dna и т. д.), словен. nájdba 'находка', ídec 'ходок', nâjdec, nâjdež, белор. *на́йдыш*.

Имена, образованные от основ настоящего времени, которые находятся в отношениях супплетивизма с основами инфинитива:

ст.-слав. ѥстъ 'бытие', ст.-чеш. ješčba 'сущее'.

Обращаясь к структуре имен, образованных от корней основ настоящего времени с сохранением в имени структуры корня производящей основы, следует отметить использование в суффиксальных именах лишь продуктивных суффиксов (-ьba, -ьcь, -(a)čь, -dlo, -uxъ, -ějь, -ъkъ, -unъ, -ьn'a, -ьnikъ, -itel'ь, -ivo, -ivъjь, -ežь и т. д.). При этом преобладают суффиксы (или их варианты) с вокалическим началом. Очевидно, это вполне регулярные образования, многие из которых могут быть отнесены к праславянскому состоянию. Некоторые имена, корни которых тождественны корням основ настоящего времени, имеют варианты, тождественные по корню основам инфинитива. Ср. *sъrętja — *sъrětja (рус. *встреча*, *сустреча*, укр. *встрі́ча*); последний вариант, при учете развития глагольных основ в направлении обобщения вокализма инфинитива, толкуется как следствие преобразования первого по аналогии с инфинитивом [1, с. 516]. Подобная вариантность более распространена в суффиксальных именах: ср. *beračь — *bьračь, словен. berâtva 'сбор (плодов)' — brâtva то же, *peračь — *pьračь, *peradlo — *pьradlo, чеш. čtitel — *citatel'ь. При этом в ряде случаев вариантности структура имен, производных от основ настоящего времени, принципиально отлична от структуры имен, связанных с инфинитивами: первые образованы от корней и содержат вариант суффикса с вокалическим началом, вторые образованы от основ и содержат консонантный суффикс, ср. *beračь и *bьra-čь. Предполагается преобразование имен, производных от основ инфинитива, под влиянием основ настоящего времени

[36, с. 160, *bьračь]. Но достаточно реальны и параллельные образования, ср. *bьradlo — *beridlo, *kodelbina (морав., словац. kolebina 'выбоина, впадина, ущелье') — *kodьlbina (рус. *колдобина* 'яма с водой', диал. калуж. *калбина* 'озерко'), от *delbti, *dьlbe- [37, с. 103—104].

Особым случаем тождества структуры корня отглагольного имени корню основы настоящего времени является структура имен, соотносительных с глаголами, в которых различие огласовок инфинитива и настоящего времени возникло лишь вследствие монофтонгизации дифтонга в инфинитиве, ср. *pěti — *poje-, *pluti — *plove-. Сюда примыкают также производные от основ глаголов, где носовые гласные в корне инфинитива генетически двусмысленны (могут восходить как к полной ступени огласовки, так и к ступени редукции, т. е. могут быть исконно тождественными огласовке настоящего времени), ср. *pęti — *pьne-, *dǫti — *dъme-. Правда, аналогия с типом *merti, *mьre- побуждает многих исследователей предполагать в типе *pęti исходное *en в инфинитиве, но уже для *dǫti более реальна ступень редукции [9, с. 364—366; 2, с. 191].

Бессуффиксальные имена: *naplovъ, *trovъ, *obtrovъ, *dъma (чеш., польск. dma 'дуновение, порыв ветра', польск. dmy 'песчаные дюны'), *vydъma (польск. wydma 'порыв ветра', 'место, занесенное песком', укр. *вúдма* 'песчаное место, из которого в ветреную погоду засыпает песок'), *najьmъ, *pojьmъ, *sъnьmъ / *sъjьmъ, *ujьmъ/a, *zajьmъ, *gumьno, *žьn'a (в.-луж. žnje, мн., чеш. žně 'уборка урожая'), *nažьn'ь (схрв. nȁžanj 'жатва', 'сжатый хлеб', словен. náženj 'урожай'), рус. *жом*, белор. *нажма* 'болотистое место', 'прилив'.

Суффиксальные имена: кашуб.-словин. pìojòχ 'петух', *jьmъkъjь, *jьmьnъjь, *obrьnъkъ (ст.-слав. обрьнъкъ 'обувь', схрв. ȍpanak 'крестьянская кожаная обувь'), словен. tnálǫ 'место для рубки дров', 'колода', польск. tniak 'долото', *žьmьn'a, *žьmotъ (в.-луж. žmót 'моток пряжи', рус. *жмот* 'скряга'), *žьnьcь, *žьnišče, *žьnivo.

Для многих из этих имен специфическая связь по тождеству структуры корня именно с основами настоящего времени возникла лишь после монофтонгизации дифтонгов. Таким образом, формирование откорневых отглагольных имен на базе основ настоящего времени получило в этот переломный момент истории праславянского языка новый импульс. Существенно также, что в рассматриваемых типах глаголов (с корнями, завершавшимися исконно сонантами u̯, i̯, n, m) именно основы настоящего времени имели после монофтонгизации дифтонгов в инфинитивах форму корня, наиболее удобную для присоединения суффиксов с вокалическим началом (что характеризовало продуктивные суффиксы).

Небольшая группа отглагольных имен образована собственно от основ настоящего времени, с сохранением в имени показателя основы. Обнаруживаются случаи сохранения лишь показателей -j- и -i-. При этом j в именах генетически неоднозначно: оно мо-

жет восходить к основе настоящего времени, но не исключено и его фонетическое развитие в интервокальном положении.

Бессуффиксальные имена, которые могут толковаться как случаи сохранения в имени показателя основы настоящего времени j:

*grějь (болг. *грей* 'тепло', польск. диал. grzej 'южный склон горы'), *obkuja (словен. ókuja, чеш. okuje мн. ч. 'шлак, огарки'), *pomyję, *rǫkomyja (ст.-слав. ржкомыꙗ, др.-рус. *рукомоя*), рус. *ной* 'нытье' (*nyjь), ц.-слав. гроборыꙗ, кръторыꙗ, ст.-польск. osoryja 'сип (вид коршуна)', рус. *вой* (*vyjь).

В ряде бессуффиксальных имен как рефлекс старого суффикса основы настоящего времени толкуется -zg-, предшествующее окончанию, таковы *muzga, *brězgъ [1, с. 495]. Однако этот структурный элемент вычленим лишь на индоевропейском уровне и при наличии соотносительных с именами глаголов присутствует в основах и настоящего времени, и инфинитива (см. *brězgati, *brězgaje-, *brěždžati, *brěždži-).

Суффиксальные имена, которые могут рассматриваться как образования, сохраняющие показатель основы настоящего времени (-j- или -i-):

имена с -j-: *bodajьka (рус. диал. *бодайка* 'тот, кто имеет привычку бодаться' [38, с. 35], кашуб.-словин. bodajka 'бодливая корова'), схрв. čâjna 'ожидающая', *čujьlivъjь (польск. czujliwy 'чуткий', в.-луж. čujliwy 'ощутимый'), *čujьnъjь, *čujenьje, н.-луж. cujawa 'обоняние', *dujadlo (в.-луж., н.-луж. dujadło 'мехи'), *dujakъ (словац. диал. dujak 'холодный, северный ветер', в.-луж. dujak 'трубач'), *dujava (в.-луж. dujawa 'духовая труба', н.-луж. dujawa 'мех', 'играющая на флейте', укр. *дуявйца* 'метель'), в.-луж. hrějadło, hrějawka 'грелка', *grějьka (словен. grêjka 'пальто', рус. урал. *грейка* 'верхняя мужская одежда'), в.-луж. hrějny, белор. *копайла* 'медленно работающий', кашуб.-словин. kopajk 'брыкающийся конь', 'могильщик', польск. kryjak 'бродяга', рус. диал. *нойка*, *ноета* 'нытье';

имена с -i-: схрв. Bdilo, bdit прилаг. 'vigil', ст.-слав. сънабъдителъ, миродрьжителъ, чеш. dohližitel 'смотритель', схрв. hotilan 'voluntarius', *letidlo (в.-луж. lećidło, кашуб.-словин. l'ecëdło 'крыло'), белор. *лецйтва* 'дикая утка', ст.-слав. слышителъ, съмотрителъ, рус. диал. *спиха* 'соня' [38, с. 583], ст.-слав. оутѣшителъ, повелителъ, проповедителъ, провидителъ, *vьrtidlo (словен. vrtílo, чеш., словац. vrtidlo, в.-луж. wjerćidlo — названия различных устройств для вращения).

В суффиксальных именах с -i- между корнем и суффиксом это -i- иногда рассматривают как принадлежащее к суффиксу, т. е. -idlo, -itel'ь [1, с. 312]. Но наличие однокоренных основ настоящего времени на -i- позволяет предполагать связь -i- именно с этими основами, тем более, что для некоторых суффиксов вариант с начальным -i- характерен в отыменных, но не отглагольных образованиях (ср. masłь — ст.-слав. маститъ, но *viděti — *očivistъ [1, с. 677], поэтому для схрв. bdit реальна связь не

с *bъd(ě)-, а с *bъdi-). Есть случаи параллелизма однокоренных имен, производных от основ настоящего времени на -i- и от соответствующих инфинитивных основ на -ě-: ср. ст.-слав. слышитель — слышатель, выседрьжитель — выседрьжатель. Подобная вариантность с производными от основ инфинитива возможна и для имен, содержащих -j- из основы настоящего времени: ср. белор. *копáйла* — рус. диал. *копало*. В последнем случае наиболее вероятно более позднее образование имени от основы настоящего времени (или даже преобразование старого *kopadlo под влиянием основы настоящего времени).

Приведенный краткий обзор основных типов имен, производных от основ настоящего времени, обнаруживает сохранение этими основами словообразовательной потенции на протяжении истории праславянского языка при изменении принципов именного отглагольного словообразования — при переходе от откорневых имен с морфонологическими чередованиями в корне к отосновным именам без чередований.

В сфере глагольного словообразования (т. е. образования производных глаголов) роль основ настоящего времени как производящих, кажется, менее значительна, чем в именном отглагольном словообразовании, но все-таки достаточно выразительна.

Роль основ настоящего времени в глагольном словообразовании выражается прежде всего в использовании их как собственно производящих основ при образовании глаголов на -ati, -(j)e-, -ati, -aje- и -iti-, -i-. Примерами праславянских образований на -ati, -(j)e- от основ настоящего времени могут быть *čъgrati (от *čъgre-, при инфинитиве *čerpti), *žьrati (от *žьre-, при *žerti). Особенно распространены такие производные в отдельных славянских языках: ср. рус. *заврать*, *-вру* 'запереть', *запрать*, *-пру*, *жгать*, *жгу*, чеш. dl(o)ubati, dl(o)ube-, словен. žgáti, žge-, схрв. чак. štati, ště- (от *čьte-), -žgàt, -žgě- [1, с. 213]. К этой группе примыкают (пересекаясь с ней лексически) производные с основами на -ati, -aje-, например: рус. *долбать*, *-аю*, *толкать*, *-аю*, диал. псков. *паять* 'петь'. Образования типа рус. *долбать*, *-аю* иллюстрируют возможность отглагольного происхождения подобных структур (основы на -ati, -aje- без корневого удлинения), вопреки мнению Вайана об отыменном генезисе сербохорватских глаголов типа hódati [1, с. 359].

Глаголы на -iti, -i-, производные от основ настоящего времени, также могут быть как праславянскими, так и более поздними, ср.: *dъmiti [4, с. 181], *dьlbiti [4, с. 206], схрв. (Црес) odediti se 'одеться ряженым', рус. астрах. *обрящить* 'найти, получить', словен. vršíti 'обмолачивать (хлеб)'. Образованием от праслав. *dedje- (наряду с упомянутым схрв. odediti se) представляется и чеш. диал. děditi 'идти на пользу': это значение может быть дальнейшим развитием семантики 'делаться, происходить' (ср. рус. диал. и просторечн. что ему *деется*!); долгота корневого гласного вторична.

Образование от основ настоящего времени производных глаголов на -nǫti, -ne- весьма редко: см. ст.-польск. żenąć 'погнать', болг. *дадна́* 'дать', *пи́йна* 'выпить'.

Особого внимания заслуживает специфическая роль основ настоящего времени на -i- в истории основ инфинитива на -ěti: под влиянием соответствующих этим инфинитивам основ настоящего времени на -i- происходит преобразование основ инфинитива на -ěti в основы на -iti (по модели -iti, -i-). Таков генезис рус. *мнить* [10, с. 633]. Такой же процесс возникновения на базе презенса **desi-, соответствующего **deseti, можно предполагать для *desiti, которое Мейе, основываясь на аномальном для -i-основы вокализме корня, считал вторичным, заменившим deseti под влиянием dositi [9, с. 338; 39, с. 167]. О реальности праславянской древности подобных преобразований свидетельствует праслав. *dьržiti (ст.-польск. dzierżyć, полаб. dirzět) [4, с. 232], явно вторичное по отношению к *dьržati, -i-. Ср. также *sviriti: значение глагола (др.-рус. 'играть на свирели') и производное имя *svirělь позволяют предполагать исходную -ě-основу; в случае чеш. диал. prtiti 'прорастать', схрв. диал. prtit 'вырастать из земли', словен. pŕtiti 'лезть' исходная праславянская структура сохранилась в словац. prtet' 'копаться, копошиться' [40, с. 8—10]. При реконструкции многих случаев праславянского параллелизма инфинитивных основ на -ěti и -iti должна, очевидно, учитываться вероятность вторичного происхождения основ на -iti из -ěti-основ: ср. *čevěti/*čeviti (ст.-чеш. vščieviti и т. д.) [3, с. 99—100], *xręstěti и *xręstiti, *xъrčati и *xъrčiti, *xyběti и *xybiti, *xyrěti и *xyriti [41, с. 94, 146, 155, 158]. Активная роль основ презенса на -i- в преобразовании инфинитивов подтверждает возможность использования именно этих основ в ряде суффиксальных моделей (на -itel'ь и т. д., см. выше).

Некоторые случаи развития глагольных основ дают основания предполагать, что возможно подобное же замещение инфинитивных основ на -ati основами на -iti под влиянием соответствующих основ настоящего времени на -je- (через стадию вторичной -i-основы настоящего времени): так можно объяснить появление др.-рус. *бръсити* при праслав. *brъsati, *brъše- и макед. диал. dremit 'дремать' при *drěmati, *drěmje-.

Таким образом, основы настоящего времени играли определенную роль и в образовании производных глаголов (праславянского языка и позднее) как в качестве производящих основ, так и в качестве базы и импульса для преобразования старых основ, причем таким образом пополнялись продуктивные классы глагольных основ (основы на -ati-, -je-; -ati, -aje-; -nǫ-; -iti).

ЛИТЕРАТУРА

1. *Vaillant A.* Grammaire comparée des langues slaves. T. IV. La formation des noms. Paris, 1974.
2. *Vaillant A.* Grammaire comparée des langues slaves. T. III. Le verbe. Paris, 1966.

3. Этимологический словарь славянских языков. Праславянский лексический фонд. Под ред. О. Н. Трубачева. Вып. 4. М., 1977.
4. Этимологический словарь славянских языков. Праславянский лексический фонд. Под ред. О. Н. Трубачева. Вып. 5. М., 1978.
5. Этимологический словарь славянских языков. Праславянский лексический фонд. Под ред. О. Н. Трубачева. Вып. 2. М., 1975.
6. *Machek V.* Etymologický slovník jazyka českého. Druhé, opravené a doplněné vydání. Praha, 1968.
7. *Фасмер М.* Этимологический словарь русского языка. Пер. с нем. и доп. О. Н. Трубачева. Т. III. М., 1971.
8. *Kuryłowicz J.* L'apophonie en indo-européen. Wrocław, 1956.
9. *Meillet A.* Les alternances vocaliques en vieux slave. — Mémoires de la Société de linguistique de Paris, 1907, t. 14, f. 4.
10. *Фасмер М.* Этимологический словарь русского языка. Пер. с нем. и доп. О. Н. Трубачева. Т. II. М., 1967.
11. Słownik prasłowiański. Pod red. F. Sławskiego. T. I. Wrocław—Warszawa—Kraków—Gdańsk, 1974.
12. *Варбот Ж. Ж.* К реконструкции и этимологии некоторых праславянских глагольных основ и отглагольных имен, II. — В кн.: Этимология, 1972. М., 1974.
13. *Брандт Р.* Дополнительные замечания к разбору Этимологического словаря Миклошича. — Русский филологический вестник, 1890, т. XXIV, № 4.
14. *Иванов В. В., Топоров В. Н.* О языке древнего славянского права (к анализу нескольких ключевых терминов). — В кн.: Славянское языкознание. VIII Международный съезд славистов (Загреб—Любляна, сентябрь 1978 г.). Доклады советской делегации. М., 1978.
15. *Иванов Вяч. Вс.* К проблеме следов древнейшего литературного языка у славян. — В кн.: Славянское и балтийское языкознание. История литературных языков и письменность. М., 1979.
16. *Трубачев О. Н.* Ремесленная терминология в славянских языках (этимология и опыт групповой реконструкции). М., 1966.
17. *Pokorny J.* Indogermanisches etymologisches Wörterbuch, B. I. Bern, 1949—1959.
18. *Buck C. D.* A dictionary of selected synonyms in the principal Indo-European languages. A contribution to the history of ideas. Third impression. Chicago & London, 1971.
19. *Срезневский И. И.* Материалы для словаря древнерусского языка по письменным памятникам, т. III. СПб., 1903.
20. *Геров Н.* Речник на българския език, ч. 5. София, 1978 (фототипич. изд.).
21. *Даль В.* Толковый словарь живого великорусского языка. 2-е изд., т. IV. М., 1955.
22. *Kott F. Š.* Česko-německý slovník, t. III. Praha, 1882.
23. *Karłowicz J., Kryński A., Niedźwiedzki W.* Słownik języka polskiego, t. VI. Warszawa, 1952.
24. *Срезневский И. И.* Материалы для словаря древнерусского языка по письменным памятникам, т. II. СПб., 1895.
25. *Kott F. Š.* Česko-německý slovník, t. VII. Praha, 1893.
26. *Karłowicz J., Kryński A., Niedźwiedzki W.* Słownik języka polskiego, t. VIII. Warszawa, 1953.
27. *Sychta B.* Słownik gwar kaszubskich na tle kultury ludowej, t. IV. Wrocław—Warszawa—Kraków—Gdańsk, 1970.
28. *Sychta B.* Słownik gwar kaszubskich na tle kultury ludowej, t. III. Wrocław—Warszawa—Kraków—Gdańsk, 1969.
29. *Karłowicz J., Kryński A., Niedźwiedzki W.* Słownik języka polskiego, t. VII. Warszawa, 1953.
30. *Brückner A.* Słownik etymologiczny języka polskiego. Warszawa, 1957 (Przedruk z pierwszego wydania, Kraków, 1927).
31. *Miklosich F.* Etymologisches Wörterbuch der slavischen Sprachen. Amsterdam, 1970 (Neudruck der Ausgabe Wien, 1886).

32. *Срезневский И. И.* Материалы для словаря древнерусского языка по письменным памятникам, т. I. СПб., 1893.
33. Словарь русских говоров Среднего Урала, т. II. Свердловск, 1971.
34. *Варбот Ж. Ж.* [О пробном выпуске «Историко-этимологического словаря верхне- и нижнелужицкого языка» Х. Шустер-Шевца]. — In: Slawische Wortstudien. Sammelband des internationalen Symposiums zur etymologischen und historischen Erforschung des slawischen Wortschatzes. Leipzig, 11—13. 10.1972. Bautzen, 1975.
35. *Karłowicz J., Kryński A., Niedźwiedzki W.* Słownik języka polskiego, t. III. Warszawa, 1952.
36. Этимологический словарь славянских языков. Праславянский лексический фонд. Под ред. О. Н. Трубачева. Вып. 3. М., 1976.
37. *Варбот Ж. Ж.* О возможностях диахронического истолкования морфонологической вариантности в славянских отглагольных именах. — В кн.: Славянское языкознание. VII Международный съезд славистов. Варшава, август 1973 г. Доклады советской делегации. М., 1973.
38. *Иванова А. Ф.* Словарь говоров Подмосковья. М., 1969.
39. *Meillet A.* Рец. на кн: Wackernagel J. Sprachliche Untersuchungen zu Homer. Göttingen, 1916. — In: Bulletin de la Société de linguistique de Paris, 1916, t. 20, f. 2.
40. *Варбот Ж. Ж.* К реконструкции и этимологии некоторых праславянских глагольных основ и отглагольных имен. I. — В кн.: Этимология. 1971. М., 1973.
41. Этимологический словарь славянских языков. Праславянский лексический фонд. Под ред. О. Н. Трубачева. Вып. 8. М., 1981.

А. В. Десницкая

К ВОПРОСУ О РАННЕИСТОРИЧЕСКИХ ЯЗЫКОВЫХ СВЯЗЯХ ВОСТОЧНЫХ СЛАВЯН С БАЛКАНСКИМ ЛИНГВИСТИЧЕСКИМ АРЕАЛОМ

Ранее я уже имела случай отметить балканские соответствия некоторых древнерусских обрядовых терминов, дающие основания говорить о заимствовании этих терминов в процессе относительно раннего исторического контактирования восточных славян с населением придунайских земель [1]. «Ранние балканизмы», о которых в данном случае идет речь и в число которых входят латинские и греческие элементы, обнаруживают себя не как разрозненные слова иноязычного происхождения, так или иначе проникшие в восточнославянские языки, но образуют хотя и небольшую, но внутренне связанную семантическую группу. Их семантическая взаимосвязанность делает более убедительным объяснение каждого из них как элемента существовавшей некогда древнерусской системы обрядовой лексики и дает основания говорить о юго-западных (балканских) влияниях, сыгравших известную роль в ее формировании.

Этот вопрос, предварительно затронутый мною несколько лет тому назад, нуждается в дальнейшем рассмотрении с привлече-

нием более широкого круга относящихся к нему фактов, в том числе и соответствующих элементов балканской лексики в их лингвистических и этнокультурных аспектах.

Прежде чем непосредственно обратиться к языковому материалу, необходимо кратко остановиться на вопросе о характере, времени и месте действия языковых контактов, в результате которых элементы балканской народнообрядовой терминологии могли проникнуть в качестве именно таковых в лексический состав восточнославянской речи.

Как исходные положения, получающие достаточно убедительное подтверждение в ходе рассмотрения соответствующих языковых фактов, учитываются следующие моменты.

а) Анализируемые ниже лексические заимствования, проникшие из балканских языков в восточнославянский, распространялись не через посредство письменности, но как результат живого общения в народной среде. Сказанное относится, в частности, к ряду слов латинского и греческого происхождения. Через балканскую многоязычную среду передавались все ассимилированные ею культурные и языковые влияния средиземноморского юга. Прежде чем распространиться к северу от Дуная путем устноречевых контактов, все языковые элементы, в той или иной степени отражавшие материальное и духовное наследие греческой и римской культур, оказывались освоенными и переплавленными в горниле исторического взаимодействия южнославянского, восточнороманского, греческого и остатков древнебалканского этносов, в результате которого уже в I тысячелетии н. э. складывались основы балканской языковой и культурной общности.

Южноевропейские заимствования древнерусской поры до сих пор было принято классифицировать в соответствии с этимологией соответствующих лексем, что предполагало их раздельное расположение по слоям (с различением греческого, латинского, южнославянского, иногда готского происхождения). Между тем, если оставить в стороне церковную лексику, проникавшую через посредство письменности и официального богослужения (ее изучение имеет свои особые проблемы), можно признать факт движения единого потока лексических инноваций из балканского региона в область расселения восточнославянских племен к северо-востоку от Дуная, распространявшегося путем устного общения в народной среде.

б) В I тысячелетии н. э. население балканского ареала представляло собой в этнокультурном и лингвистическом отношениях сложный конгломерат, в котором особым образом преломлялось любое культурное или языковое явление, продвигавшееся из Средиземноморья в более северные области Восточной Европы. Это было время бурного протекания этнолингвистических процессов на всей территории Балканского полуострова. Уже с первых веков в условиях романизации, связанной с политическим господством Римской империи и в различной степени охватившей

древнебалканские племена, традиционно объединяемые под названиями фракийских, дакийских, иллирийских, происходило образование восточнороманских и албанской народностей. Совершившееся в середине I тысячелетия н. э. переселение на Балканский полуостров славян ознаменовало новый период в этнической истории этого региона, для которой важным фактором стало сложение политических, культурно-бытовых и языковых отношений южных славян с восточнороманскими, албанской и греческой народностями. Политическое господство Византийской империи и Болгарского царства оказывало долговременное влияние на процесс сложения культурных и языковых общностей, в ходе которого на протяжении многих столетий вырабатывались основные черты лингвистического и культурного своеобразия, характерные для этого ареала.

в) Хронологические рамки проникновения ранних заимствований из балканской языковой среды в восточнославянскую в основном могут быть определены: вторая половина I и начало II тысячелетий н. э.[2] — до передвижения славянского населения Побужья и Поднестровья на северо-запад, совершившегося под натиском тюркских кочевников. В период IV—VII вв. юго-западное крыло восточнославянского этнического массива в прутско-днестровском междуречье было представлено антским племенным союзом. В конце I тысячелетия н. э. с севернобалканскими землями непосредственно граничили территории дулебов, а также уличей и тиверцев, живших, согласно летописным сообщениям, по Бугу и Днестру и получивших у греков название «Великая скуфь»[3]. Борьба киевских князей за покорение славян Поднестровья и включение их территорий в состав древнерусского государства успешно завершилась к концу X в. На основании письменных источников можно полагать, что «славяне Поднестровья были многочисленны, обладали отвагой и хорошей воинской выучкой, имели хорошо укрепленные города»[4]. Археологические данные говорят о проникновении элементов славянской культуры Прутско-Днестровского междуречья, тождественных с культурой центральных областей Древнерусского государства, в земли нижнего Подунавья. Это свидетельствует о традиционном характере связей днестровских славян с населением северо-западной части балканского ареала, а также о результатах «прямого воздействия древнерусских племен во время деятельности на нижнем Дунае киевского великого князя Святослава, а позже Владимира Мономаха и галицких князей»[5]. Тяготение политических и экономических интересов Киевской Руси к придунайским землям нашло яркое выражение в известном высказывании Святослава: «. . . яко то есть середа земли моей, яко ту вся благая сходятся: отъ Грекъ злато, поволоки, вина и овощеве разноличныя, изъ Чехъ, из Угорь сребро и комони, изъ Руси же скора и воскъ, медъ и челядь»[6].

Таким образом, контакты восточных славян с населением придунайских земель развивались в течение многих столетий и могли

быть долговременным источником проникновения в восточнославянскую среду балканских языковых и культурных влияний, отражение которых в языке представлено рядом лексических заимствований, а в области народных верований и обрядов, а также связанных с ними обрядовых терминов, — рядом явлений, подлежащих изучению.

г) Бытующие и ранее бытовавшие в народной балканской среде религиозные обряды, в особенности обычаи и обряды, связанные с календарными циклами, исторически развивались как своеобразный сплав элементов древнебалканского и древнеславянского язычества с элементами древнегреческой и римской обрядности, на который наслоилась, частично приспособившись к нему, обрядность христианская.

Подобный путь развития комплекса религиозно-бытовых традиций был характерен не только для стран Балканского полуострова, но и для многих других европейских стран. Так, в связи с календарными обрядами западных славян авторы соответствующей статьи (О. А. Ганцкая, Н. Н. Грацианская, С. А. Токарев) пишут: «Введение христианства столкнуло сложную его обрядность, включающую адаптированные в классическом мире элементы язычества, с местным языческим календарным циклом. Однако и в этом цикле было много общего с древними обрядами классического мира. Так, например, наибольшая часть календарных и культовых праздников приурочивалась к солнцестоянию. Языческий культ солнца подвергся античному влиянию, затем сюда наслоились и христианские верования. К зимнему солнцестоянию, к возрождению солнца добавились римские сатурналии, брумалии и христианский праздник рождения Христа» [7].

Сравнение религиозно-бытовой обрядности, характерной для различных европейских народов, в настоящее время стало очень доступным благодаря выходу трех томов коллективного труда Института этнографии АН СССР «Календарные обычаи и обряды в странах зарубежной Европы. XIX—начало XX в.» (М., 1973—1978). Сравнение показывает, с одной стороны, значительное количество общих элементов, обусловленных не только типологически, но также историко-генетически (пережитки общеиндоевропейских древних верований и обрядов, унаследованные большей частью народов Европы) и, кроме того, вызванных общностью такого культурно-исторического фактора, как влияние античного мира, опосредованное христианством, не говоря уже о собственно христианских церковных ритуалах. С другой стороны, в каждом из европейских ареалов обнаруживается большее или меньшее своеобразие исторически сложившихся народно-религиозных традиций. И в этом отношении обычаи и обряды народов Балканского полуострова отличаются целым рядом особенностей, позволяющих говорить о наличии у этих народов общей в основных ее элементах и признаках обрядовой системы, оригинальность которой обусловлена факторами исторического и этнокультурного характера. В частности, как отмечает С. А. Токарев, на Балканском

полуострове (также и в Италии) влияние античной традиции осуществлялось не только через христианскую обрядность, но и непосредственно, минуя христианский ритуал [8]. Сам факт долговременности взаимодействия и симбиоза в пределах географически ограниченного исторического пространства целой группы народностей, каждая из которых привносила свои собственные этнические и культурные традиции, не мог не создавать условий для интеграции этих традиций в более или менее единую систему.

На северо-восточной периферии балканского региона (нижнедунайские земли и смежная с ними область Прутско-Днестровского междуречья) с этой системой длительно взаимодействовала другая оригинальная система народно-религиозной обрядности — языческая восточнославянская. При наличии значительного количества типологически и историко-генетически (индоевропейское наследие) детерминированных общих для них элементов восточнославянская обрядовая система отличалась от балканской, в частности от балканославянской, несколько иным характером своих исторических компонентов (более тесные связи с балтийской этнической средой, а также с религиозно-бытовыми традициями финно-угорских народностей).

В процессе долговременных контактов восточнославянских племен, а позднее древнерусской народности, со сложным по своему этническому составу населением северной части балканского ареала, контактов, продолжавшихся на протяжении второй половины I тысячелетия н. э. (вплоть до XII в.), культурное и языковое взаимодействие, по всей вероятности, должно было иметь двусторонний характер. Иначе говоря, восточнославянские языковые и культурные влияния, вероятно, могли проникать в севернобалканскую среду.

Непосредственной темой конкретно лингвистической части этого сообщения является, однако, только рассмотрение небольшой группы терминов обрядового характера, перешедших из балканского языкового ареала в восточнославянский.

* * *

Коляда. — Первоисточник происхождения хорошо известен: лат. calendae, -ārum f. pl. 'календы, первый день месяца'.

Так как древнеримский праздник январских календ, длившийся с 1 по 5 января, завершал собой весь цикл зимних обрядов, связанных с аграрным культом возрождающегося солнца, проникнутых символикой ожидания обильного нового урожая и отмечавшихся в атмосфере радости и веселия, в народном языке термин calendae оказался приуроченным преимущественно к этой дате и стал означать праздник первого дня Нового года. Христианская церковь в борьбе с языческими культами постаралась привязать к этой традиционной праздничной дате свой собственный цикл рождественских праздников, охватывавший близкий по времени к январским календам срок с 24 декабря по 4 января.

При последовавшей контаминации старых и новых значений обрядовые термины, своим происхождением восходившие к лат. calendae, особенно важное применение нашли в народно-ритуальной лексике народов Балканского полуострова. Через посредство балканской латыни они прочно вошли в словарный состав формировавшихся восточнороманских, болгарского и албанского языков, с несколько более узким кругом значений — также в новогреческий и в сербскохорватский языки.

Ср. аром. cólinda f. 'сочельник', colindu n., colinde pl. 'баранка, бублик (ритуальная еда); пастуший посох, с которым ходят колядующие'; culindar, m. 'колядующий; посох колядующего'; culindédzu глаг. 'колядовать' [9]. Рум. (литер.) colind n., colinde 'колядование', colindá глагол 'колядовать; бродить, шататься', colindatór, -toáre 'колядующий, -ая', colindet n. (нар.) 'калачик; хлебец, который дают колядующим' и др.

Болг. *кóляда*, *колядня*, *коледа* 'рождественский праздник'; *Попова коляда* 'праздник крещения'; *колядувам*, *колядвам* 'колядовать'; *колядаръ*, *колядник*, *коляжник* 'колядующий'; *колядка*, *колядница* 'колядка, колядная песня'; *колядáрка*, *колядáчка* 'палочка или ветка, которую носят с собой колядующие' (один из элементов колядовальной магии) и др.[10] Макед. *коледе* '1) сочельник, 2) обряд колядования, 3) праздник рождества' (диал.); *коледува* 'колядовать', *коледар*, *коледарка* 'колядующий, -ая', *коледачка* 'палочка, с которой ходят колядующие', *коледашка* '1) рождественский хлебец (ритуально дается детям, 2) =*коледачка* [11].

В языке церковнославянской письменности непосредственно заимствованные из латинского: *каландъ*, *каланъди* 'календы', но также нар. *колѧда* 'праздник зимнего солнцеворота' [12].

Алб. kolendër, kolendra f., pl. kolendrat '1) сочельник; новогодняя ночь, 2) ритуальные хлебцы, раздаваемые колядующим, преимущественно детям'; kolendarët m. pl. 'колядующие'. Фонетический вариант гег. kullanat f. pl.=kolendrat. Этот список значений, по-видимому, не является полным. Сам обряд и относящиеся к нему песни еще в недавнем прошлом были представлены в Албании почти повсеместно [13].

Балканский полуостров стал очагом широкой иррадиации обрядовых терминов, восходящих к лат. calendae. Отсюда они продвинулись как на запад славянского мира, ср. чеш. koleda 'коляда; колядка (песня)', koladnik 'колядующий' и др., так и на восток, очень твердо закрепившись в словарном составе русской, украинской и белорусской народной речи. Будучи связаны с одной из весьма важных для народной культуры прошлого этнографических и фольклорных традиций, термины *коляда*, *колядка*, *колядовать* вошли также в литературные языки.

Факты, собранные в свое время В. И. Далем, в настоящее время существенно пополнились. В частности, для слова *коляда* в «Словаре русских народных говоров» [14] зарегистрированы следующие значения: 1. святки, рождество и все дни до крещения; 2. со-

чельник — канун рождества (и также крещения); 3. церковный праздник — Лазарева суббота (канун вербного воскресения); 4. старинный рождественский и новогодний обряд, сопровождавшийся обходом соседей с песнями (за что хозяева одаривают колядующих деньгами и угощением); 5. обрядовая песня, которая пелась в канун рождества, крещения, Нового года; припев к такой песне; 6. угощение и деньги, получаемые за пение величальных песен в канун рождества (Нового года, крещения); 7. *Коляду играть* — о старинной обрядовой игре с переодеваниями, сопровождаемой песнями; 8. свинья, закалываемая на рождество; 9. милостыня, подаяние; 10. попрошайка; 11. мифическое существо, которым взрослые пугали детей; 12. бранное слово; 13. суета, суматоха, беспорядок. Кроме того множество производных: *колядка*, *колядня*, *колядица*, *колядовка*, *колядуха*, *колёд*, *колядовать* и проч.

В. И. Даль в свое время пометил область распространения слова *коляда* югом и западом восточнославянского ареала. Согласно новым данным, географический диапазон бытования этого слова представляется более широким, включая вологодские, владимирские, пермские, вятские, воронежские, саратовские и другие говоры. Все это свидетельствует о том, насколько сильно и устойчиво первоначальный балканизм *коляда* закрепился в русской народной речи, отразив тем самым историческую устойчивость давней связи этнографических традиций восточного славянства с народами Балканского полуострова, установившейся еще в древнерусский период.

На западе лингвистической Романии засвидетельствованы лишь остатки обрядовых значений, присущих некогда рефлексам лат. calendae. Ср. ст.-франц. challandes, ст.-пров. calendor 'рождество' (Noël).

В лексике франкопрованс. и примыкающих к ним говоров области Нижней Роны сохранились только отдельные производные образования со значениями 'рождественское полено' (bûche de Noël), 'подставка для дров в камине' (chenet), связанные с древним языческим ритуалом зимнего праздника и этимологически восходящие к лат. calendae [15].

Кутья.—Коливо. Названия ритуального кушанья типа каши, особым образом приготовляемой из зерен различных злаков (пшеницы, ячменя, риса и др.) с добавлением изюма, мака, меда, иногда из смеси различных зерен. Потребление этого кушанья составляло элемент магического обряда, имевшего целью стимулировать будущий урожай. Примечательно, что в своей магической функции поедание кутьи (и колива) входит не только в радостный обряд трапезы в канун зимнего календарного праздника, но также и в поминальный обряд. Тесная взаимосвязь аграрно-магических обрядов с поминальными отмечена уже давно [16].

Как элементы обрядовой терминологии слова *кутья* и *коливо* пришли в восточнославянский ареал из балканского, где они,

будучи образованы от греческих корней, приобрели свое специальное значение и функциональное использование.

Ср.-греч. κουκκιά, зарегистрированное в значении 'бобы' (форма мн. ч. от κουκκί(ον), этимологически восходит к др.-греч. κόκκος 'зерно'. В основе значения лежало важное для ритуального использования понятие каши, сваренной из множества отдельных зерен, «массы зерен», что должно было символизировать изобилие, богатство ожидаемого нового урожая. Ср. др.-греч. πανσπερμία 'каша из смеси всякого рода зерен, семян', приносившаяся в жертву богам[17]. Терминологическое использование слова, восходящего к ср.-греч. κουκκιά, засвидетельствовано в болгарском языке: *кучня* ж., *куче* ср. 'жито, пшеница, варена за помян . . ., коливо'[18]. Ср. рус. *кутья*, укр. *кутя*, белор. *куця*. Определение В. И. Даля: «*кутія*, *кутья* каша с сытою, изюмом, из обдирного ячменя, пшеницы, рису, из толстой крупы, приносимая в церковь при поминках и подаваемая за упокойным столом, а местами и в рождественский сочельник, называемый посему на юге также *кутьей*, как зов. и сочельники Крещения и Нового года; первый *постная кутья*, второй *голодная*, а третий *богатая*»[19].

Этот термин, достаточно отчетливо выражающий символику древнего магического обряда, однако не только терпимый, но даже в какой-то мере адаптированный христианской церковью, прочно вошел в лексику русской народной речи. Новые недавно опубликованные материалы по диалектной лексике показывают, как в русских говорах совершается дальнейшая эволюция семантики слова *кутья* в сторону развития значений чисто бытового характера, уже вне связи с обрядом. Например: «Кушанье из гороха и ячменной крупы». Кирил. Новг. — «Каша из крупной [ячмень?] крупы, из целых недробленных зерен». Тобол. — «Щи с кутьей». Параб. Том. Вят. — «Очищенное от шелухи ячменное зерно». Тобол. — «Ячменное зерно». Слобод. Вят. и др.[20].

Термин рус. *кóливо*, укр. *кóливо* также имеет греческий первоисточник. К ср.-греч. τὰ κόλλυβα 'россыпь орехов, мелких плодов', ср. др.-греч. ὁ κόλλυβος 'мелкая монета, мелочь', восходит новогреч. обрядовый термин τὰ κόλλυβα 'кутья', перешедший в другие балканские языки: болг. *кóливо* 'жито, пшеница, варено за помян', макед. *коливо*, схрв. *кољиво*, рум. colívă, аром. cólivă, молд. *колúвэ* 'кутья'. В русском языке слово представлено в том же обрядовом значении: *Кóливо*, *кóлево* 'поминальная кутья, каша из пшеницы, либо из полбы, рису и пр. с изюмом'[21].

Балканское происхождение имеют некоторые восточнославянские обозначения изделий из теста, употребляемые или некогда употреблявшиеся в обрядовой функции. Изготовление и ритуальное вкушение разного рода хлебов и печений было очень важным моментом древних календарных обрядов, устойчиво сохранявшихся в этнографических традициях всех народов Европы. При утрате обрядовых функций соответствующие термины обычно закреплялись в народном употреблении в силу своей приуроченности к праздничным ситуациям. Магическая символика обрядо-

вых хлебов получала выражение или в их форме (чаще всего круглой — символ солнца), или в способе изготовления (обрядовая роль огня). Этим определялись этимологические связи соответствующих терминов — обстоятельство, имеющее существенно важное значение для понимания их происхождения.

Кулич. При определении значения этого слова как «пасхального изделия из пшеничной муки» (М. Фасмер) указывается на его происхождение из ср.-греч. κουλλίκι(ον) от κόλλιξ 'хлеб круглой или овальной формы'. Это объяснение, хотя и правильное, представляется недостаточным, так как оно не раскрывает происхождения указанных греческих слов, которые не восходят к древнегреческому и могут, по всей вероятности, иметь славянское происхождение. Ср. болг. *колач*, *колак*, макед. *колач*, схрв. *кȍлāч*, рус. *колáч* — общеславянские производные от *кóло* 'круг'.

Традиционно круглая форма изделий из теста, обозначаемых этими словами, и неоднократно засвидетельствованное использование их в обрядовых функциях дает основания усматривать в происхождении как самого предмета, так и его наименований, ритуальную символику, связанную с культом солнца. Ср. болг. *колáк* '*кумови колаци*, кумове хлебове, колаци, които месять за свадбу' [22], макед. *колач* 'obredni hleb' [23]. Также для рус. *калач* в костромском говоре засвидетельствовано чисто обрядовое употребление: *молить калачи* [24]. Алб. kuláç (из славянского, с переходом о > u в неударной позиции) 'изделие из пресного теста' обычно встречается в качестве обрядового термина в текстах, описывающих народно-религиозные обычаи и обряды. Как в албанский, так и, по всей вероятности, в среднегреческий, балканославянское слово *колач* должно было попасть именно благодаря своему обрядовому характеру. Уже из греческого языка фонетически видоизмененный общеславянский обрядовый термин, адаптированный христианской церковью в связи с пасхальным культом, пришел в русский язык, утвердившись как своего рода семантический (и фонетический) аналог по отношению к старому общеславянскому слову *колач*, обладающему своим собственным кругом значений. В русских говорах существуют производные образования от слова *кулич*: *кулúца* '1) пасхальный кулич; 2) ватрушка'; *кулича*, *куличка* [25].

В календарной обрядности всех индоевропейских народов огромную роль играли элементы, так или иначе связанные с культом огня, что отражалось как в самих обрядовых действиях, так и в соответствующей терминологии. В процессе становления балканских обрядовых систем взаимодействовали и взаимовлияли в основном сходные и различные лишь в частностях римские, древнегреческие, палеобалканские и славянские народно-религиозные традиции. Со своей стороны, восточные славяне, принявшие и адаптировавшие отдельные элементы обрядовых традиций, сформировавшихся в балканском ареале, а также отдельные обрядовые термины, не могли воспринимать их как нечто чуждое и инородное. Наоборот, проникавшие балканизмы (как в области

народно-религиозных и чисто бытовых понятий, так и в области языка) вероятно могли относительно легко накладываться на очень сходные представления и обряды самих восточных славян, в чем-то дополняя и обогащая их.

Такое переплетение, взаимообогащение обрядовых элементов и обрядовой терминологии особенно отчетливо выступает при рассмотрении заимствованных слов, этимологические связи которых так или иначе концентрируются вокруг обозначения ритуального огня и символически связывавшихся с ним предметов и действий.

Рус. диал. *багáтье*, *багáть*, *багáч* 'огонь', укр. *багáття* 'огонь, горящие угли, костер', белор. *багáцце* 'огонь'. В этимологическом словаре славянских языков происхождение этих слов оставляется неразъясненным. О. Н. Трубачев усматривает в *bagatьje «предположительный праслав. лексический диалектизм, неизвестный другим слав. языкам» [26]. Мне представляется возможным интерпретировать вост.-слав. *bagatьje как первоначально обрядовый термин, сформировавшийся на романской основе и распространившийся из балканского ареала. Историю слова приходится начинать издалека.

Лат. focus, -ī m. имело значение 'очаг' (домашний, обиталище богов Lares, Penates). Поскольку значения 'очаг' и 'огонь' являются близкими, focus постепенно стало заменять собой старое лат. ignis 'огонь', ср. focum facere 'разводить огонь', и сделалось общероманским наименованием огня [27].

Одним из многих дериватов лат. focus было прилагательное focācius, которое в позднелатинских текстах (Isid.) встречается в сочетании pānis focācius 'хлеб, изготовленный на открытом очаге, на плите' (итал. focolare), в противоположность panis furnācius 'хлеб, испеченный в закрытой печи' [28]. В дальнейшем прилагательное субстантивировалось и в форме собирательного множественного приобрело значения 'огневое', 'изготовленное на огне', 'изделия из теста, приготовленные на огне', 'лепешка'. Засвидетельствована форма IX в. focacea, ср. итал. focaccia 'пшеничная лепешка'.

По всей вероятности, прилагательное 'огневой' и производное от него существительное *focacia, focacea со значениями 'огневое; огонь; лепешка, изготовленная на (открытом) огне' были, в условиях длительного римского владычества на Балканах и процесса романизации, охватившего значительную часть балканской территории, словами широкого народного употребления. Болгарским языком существительное было усвоено в форме *погача* (с обычным переходом f > p) 'вид пресного хлеба, лепешка'. В этой форме оно стало достоянием других балканских языков, ср. рум. pogáce, аром. pugáče 'лепешка', алб. pogaçe 'лепешка; пшеничный хлебец', новогреч. μπογάτζα (с озвончением начального p > b). Слово это употребляется как в чисто бытовых, так и в обрядовых контекстах.

Из балканского ареала оно проникло в какой-то из восточнославянских диалектов, ср. *погач* (?) 'род пресного пирога' (в сло-

варе Даля под знаком вопроса, так как оно зарегистрировано только один раз в «Словаре церковнославянского и русского языка» 1847 г.).

Большой интерес представляют восточнославянские диалектизмы — рус. *бога́тье* (Донск.), *бога́тья* (Донск. Воронеж.), *бага́ть* (Донск.), *бага́ч* (Донск. Воронеж. Новоросс.) 'огонь' (более употребит. об огне еще не вырубленном или тлеющем под пеплом. Даль), укр. *бага́ття* 'костер; огонь' [29].

Представляется более чем вероятным балканское происхождение русского диалектизма *бога́тье*, укр. *бага́ття* и др., притом, вероятно, непосредственно из романской формы *focacia, focacea, когда она еще имела, наряду со значением 'лепешка, испеченная на открытом огне', также значения 'огненное', 'огонь'. Характер фонетических изменений (переход начального f > p, с последующим озвончением, а также переход -ki- > -tь-) не препятствуют такому заключению.

К вопросу о двойственности значений: Фасмер привел также форму *бога́тье* 'свежий хлеб' (из зерна нового урожая) [30], которую, имея в виду двойственность семантики пар.-лат. focácia, focacea ('огонь' и 'хлеб, испеченный на открытом огне'), скорее, следует соотносить с *бага́тье*, а не с *богатый*.

В связи с вопросом об обрядовом характере значений этого слова интерес представляют сведения, сообщаемые Б. А. Рыбаковым (к сожалению, без ссылки на источник): «В Болгарии под Новый год женщины обособляются от мужчин . . . и готовят священный новогодний хлеб «богач». Три женщины месят тесто, затем все трое трижды поднимают к небу дежу с тестом, произнося при этом заклинания. «Богач» представляет собой круглый каравай, на поверхности которого схематическими жгутиками из теста изображается все крестьянское хозяйство: ограда двора, ворота, пес в воротах, дом, хлев, кошара, птичник» [31]. Приводимая Б. А. Рыбаковым форма *богач* 'обрядовый хлеб' соответствует русской диалектной форме *бага́ч* 'огонь'.

Учитывая приведенные выше материалы начиная с лат. focus, можно констатировать, что в прослеживаемой истории значений всех этих слов непрерывно обнаруживается присутствие и единство семантического пучка 'огонь—очаг—хлеб', исходно связанного с семантикой древних обрядов родового общества.

Ватра. — Вотря. — Ватрушка. Память об обрядовых значениях, связанных с культом огня, сохраняют также рефлексы занесенного на восток балканизма vatra.

Слово vatra широко представлено в балканских языках. Ср. алб. тоск. vatër, vatra f. 'очаг'; рум. vátră 'очаг, печь', перен. 'жилище, род, дом'; аром. vatră 'очаг, дом'; схрв. *ва̏тра* 'огонь', *ва̏триште* 'очаг', *ва̀трāл* 'кочерга', прилаг. *ва̏трен* 'огненный'; болг. *ватра́л* 'кочерга'. На диалектном материале семантика этого слова более детально разработана для молдавского языка. Молд. *ва́трэ* — '1) место, где горел костер («живой огонь» — *фок виу*); 2) очаг (домашний очаг); 3) огонь; 4) пламя; 5) большая свеча;

6) нижняя плоскость печи; 7) лежанка; 8) ступенька, выступ перед печкой' и др.[32]

Для определения этимологии балканского vatra существенно важны албанские формы тоск. vatër, опред. vatra, гег. votër, votra, имеющие соответствия индоевропейского уровня в авест. ātar — 'огонь', лат. ātrium 'центральное помещение римского дома, снабженное дымовым отверстием в кровле', ср. прилаг. āter, ātra, ātrum 'темный, черный' (первоначально 'задымленный'); ирл, áith (род. átho) 'печь' и др. С историко-фонетической стороны алб. vatër, votër совершенно прозрачно. Из двух диалектных форм первичным является гегский вариант (v)otër, отражающий регулярное соответствие и.-е. *ā — алб. o, ср. и.-е. *mātar- 'мать' — алб. motër 'сестра'. Появление перед o протетического v- имеет себе аналогию в заимствованных из латинского гег. voj (из oleum) 'растительное масло' и прилаг. i vorfën (из orphanus) 'бедный'. В древнетоскском начальное *vo- > va-, ср. гег. votër — тоск. vatër, гег. voj — тоск. vaj. В определенной форме ед. ч. и с тоскским вокализмом алб. vatra широко распространилось в ряде балканских языков. Вост.-ром. vatră является, вероятно, заимствованием из албанского или из родственного ему какого-то исчезнувшего древнебалканского языка. В южнославянские языки слово vatra, возможно, попало из балканороманской языковой среды.

Есть основания предполагать, что в обрядовой терминологии, связанной с культом огня, у восточных славян также использовался древний балканизм vatra. Однако со значениями 'огонь', 'очаг' слово это зарегистрировано только в карпатоукраинских говорах: *Ватра* ж. «1. Очаг. Огонь. *Жива ватра.* Огонь, добытый при помощи трения друг о друга двух кусков дерева, добывается с известными обрядами ватагом в полонині и служит для разведения огня в жилище пастухов и для совершения различных обрядовых действий над скотом, охраняющих, по мнению пастухов, этот последний. 2. Под печи, на котором печется хлеб» [33]. Неизвестно, насколько древним элементом карпатоукраинской лексики является этот балканизм. Он мог быть принесен балканскими пастухами в относительно более позднее время. Во всяком случае, архаическая семантика («живой огонь») свидетельствует о существовании обрядовой функции термина *ватра* в определенной части восточнославянского ареала, в данном случае при скотоводческом типе хозяйства. Пережитки обрядового значения этого термина в связи с земледельческим культом обнаруживаются в русских говорах, а именно в семантике диалектного слова *вотра*, *вотря*.

Одним из древнерусских языческих обрядов, подвергавшихся резкому осуждению церкви, был обряд возжигания огня над овином и моления огню-сварожичу [34].

Приводя характерные упоминания из христианских поучений («кто под овином молится или во ржи», «огневи сворожицю молятся», «иже молятся огневи под овином», «и огневи молятся, зовуще его сварожичьмъ»), Е. В. Аничков заключает: «Мы имеем

перед собой сельскохозяйственный культ, в котором соединяется огнепоклонство с почитанием солнца» [35]. О пережитках этого культа у белорусов свидетельствует А. Б. Богданович, сообщающий: «Хороший хозяин, насаживая в овине снопы первый раз в году, чтобы просушить их для молотьбы, бросает обыкновенно сноп ржи в овинный огонь. Это несомненно отголосок первобытных жертв огню» [36].

О том, что овинный огонь в ритуальной функции, а также сжигаемые на нем в качестве жертвы снопы колосьев обозначались в Древней Руси термином *ватра*, *вотра*, свидетельствует зарегистрированное у Даля значение *вотра* костром. 'распоясанные снопы, которыми набивают овин, ворохом'. Широко представленное во многих русских говорах для слов *вотра*, *вотря* значение 'измельченная солома с колосом, оставшаяся после молотьбы' [37], отражает другую функцию ритуального возжигания огня — связанное с поминками предков «жжение соломы». Д. К. Зеленин замечает: «Жжение соломы и означает, подобно воскурению фимиама, приглашение к родному очагу покойных предков, родителей». Эта мысль ясно выражена в Стоглаве: «въ великий четвертокъ порану солому палятъ и кличутъ мертвыхъ». Довольно ярко сквозит она и в южновеликорусском обряде «греть родителей» [38]. Определенную связь с ритуалом когда-то, возможно, имело и слово *ватрушка* — первоначально 'лепешка, испеченная на огне, на очаге, на поду' (см. выше значения слова *ватра* в карпато-украинских диалектах). Ср. болг. *погача* и др.

Корочун. К сфере обрядовой лексики зимнего календаря в восточнославянских языках принадлежит еще один балканизм, также явно не книжного, но народного происхождения. Это др.-рус. *корочунъ* 'зимний солнцеворот 12 декабря; смерть', зап.-укр. *керечун*, *керечунь* 'вечер; сочельник', *кречун*, *гречун* 'сочельник, рождество; хлеб особого рода', белор. *корочун* 'корчи; злой дух, сокращающий жизнь; нечаянная смерть'. Ср. молд. *крэчун*, рум. crăciún 'рождество; обрядовый хлеб, выпекаемый к Новому году'; болг. *крачун*, *крачунец* 'рождественский день', схрв. имя собственное *Крачун*, словац. kračún 'рождество'.

Ранее я уже останавливалась более подробно на этимологии этого слова [39], которое также представляет собой один из балканизмов обрядового характера, очень рано проникший в восточнославянские языки. Сопоставление восточнороманской формы kračun (молд. *крэчу́н*, рум. crăciún) с алб. kërcún- (<*karcún) 'пень, чурбан, обрубок дерева' дает возможность истолковать значения «праздник зимнего солнцестояния; сочельник, рождество» в свете данных балканской этнографии. У народов Балканского полуострова, как и у целого ряда других народов Европы, засвидетельствован в качестве важнейшего элемента праздника зимнего солнцеворота обряд сжигания специально доставляемого из леса обрубка древесного ствола (схрв. *баднјак*), сопровождаемый ритуальной трапезой и облеченный магической символикой, охватывающей значения возрождающегося солнца, священного огня,

плодородия, а также тесно связанный с этим кругом значений культ предков. В литературе существуют подробные описания этого обряда [40].

Древнебалканский ритуальный термин, рефлексами которого являются вышеприведенные восточнороманские, южнославянские, а также и восточнославянские лексемы, имел исходное значение 'обрубок дерева, чурбан, бревно', ср. Yule log 'рождественское полено' у англичан как остаток аналогичного обряда. С учетом закономерностей исторической фонетики албанского языка, являющегося прямым продолжением одного из древнебалканских языков, может быть реконструирована палеобалканская основа *kars-un-, производная от и.-е. корня *(s)ker-, *(s)kor- 'резать, отрубать'.

К восточным славянам обрядовый термин kračun проник в значениях 'зимний праздник солнцестояния', 'рождество'. Остатком древней семантики, связанной с культом умерших предков, вероятно, является зафиксированное на восточнославянской почве (в русских и белорусских говорах) значение 'смерть'.

В исследовании И. М. Снегирева, собравшего в начале XIX в. богатые материалы по русской этнографии, отмечено, что рождественские святки обозначаются у «Карпато-Россов» под именем *Керечунь-вечер* и что у «Карпато-Россов» *Карачун* «причисляется к языческим божествам» [41]. Однако наличие термина *корочун* 'зимний солнцеворот' в Новгородской летописи под 1143 годом говорит о том, что слово это относится не к поздним карпатизмам балканского происхождения, но пришло с тем же потоком южноевропейских культурных влияний, который занес в широкую восточнославянскую языковую среду термины *коляда*, *русалии* и др. Естественно возникает вопрос о том, существовал ли в Древней Руси сам обряд сжигания обрубка древесного ствола, приуроченный к празднику зимнего солнцестояния? Прямых свидетельств этнографического характера не обнаруживается. Однако некоторые лингвистические факты дают возможность для реконструкции подобного обряда, что с историко-типологической точки зрения представляется вполне оправданным.

Основания для размышления продолжает давать наличие в русском языке лексемы **чур* 'граница, рубеж, межа; мера', выделяемой на основании слова *чересчур*, а также загадочное словечко *чур* в выражениях *чур меня*, *чур*, *чур чура́* (в детских играх), укр. *цур* 'сгинь, убирайся!', белор. *цур тобе*. Более ста лет назад А. Н. Афанасьев высказал мысль о том, что «в народных русских преданиях и заклятиях уцелело воспоминание о древнем мифическом существе Чуре» [42]. «Ч у р — это одно из древнейших названий, какое давалось домовому пенату, т. е. пылающему на очаге огню, охранителю родового достояния. Белорусы до сих пор рассказывают, что у каждого хозяина есть свой Ч у р — бог, о б е р е г а ю щ и й г р а н и ц ы е г о п о з е м е л ь н ы х в л а д е н и й . . . Чур, по белорусскому преданию, оберегает поля и пашни, состоящие в определенной меже. В народ-

ных заклятиях доселе призывается имя Чура . . . Заклятия: «чур меня», «чур наше место свято!» произносятся при рассказах о злых духах, при совершении гаданий и волшебных чар . . . Глагол *чураться* в областных говорах значит не только: «клясться Чуром», но и «очерчиваться» (в переносном смысле: удаляться, отстраняться от кого-нибудь); а слово *чур* получило значение проведенной черты (межи), как это очевидно из наречия *через-чур* и пословицы «через *чур* и конь не ступит»; в Тверской губ.: чурá — стой! не трогай! Белорусское заклятие: «чур табе на язык!» (то же, что выражение: «типун тебе!») и малороссийское: «цур тобе, пек тобе!» состоит в призвании карающей силы огня на язык насмешника, ругателя, или на голову обидчика» [43].

Семантическая реконструкция, произведенная А. Н. Афанасьевым, в основном сохраняет свое значение. Но она может быть заново интерпретирована в свете этнографических данных, касающихся обрядности, связанной с праздником зимнего солнцеворота. С историко-фонетической точки зрения ничто не препятствует сближению явно обрядового в прошлом термина *чур* со словами *чурка*, *чурáк*, *чурбан*, широко распространенными в русских говорах [44]. Если считать значения 'чурка, полено, чурбан' исходными для обрядового термина *Чур* и затем осложнившимися значениями «древнее мифологическое божество, род; название домового пената, т. е. огня на очаге; название места, освященного чуром для рода и межи; название освященного права родовой собственности» [45], мы получаем пучок культовых значений, сближающихся со значениями балканизма kračun, в непосредственной связи с самим обрядовым действом.

При таком подходе существенно иное направление получат и этимологические поиски. Слово *чур*, может быть, так же как и слова *чурка*, *чурбан*, возведено к одному из вариантов того же и.-е. корня *(s)ker- 'резать, рубить'. Этим самым дается возможность реконструировать зимний календарный обряд сжигания обрубка древесного ствола также и для восточных славян. Пришедший с юго-запада балканский обрядовый термин kračun мог в какой-то степени включиться в уже существовавшую ранее терминологию данного обряда.

В связи с элементами культа предков, составлявшего один из основных компонентов в семантике обряда сжигания обрубка древесного ствола в праздник зимнего солнцеворота, определенный интерес имеет возвращение к предложенной в свое время Г. А. Ильинским (ИОРЯС, 23, 2, 203) этимологии загадочного древнерусского слова *бдынъ* — в сопоставлении с схрв. *бäднjак*, болг. *бъдняк* 'полено, сжигаемое в канун рождества', возводимым к общеслав. bъděti 'бдеть'. Вопреки Фасмеру, который отверг эту этимологию, О. Н. Трубачев поддержал ее, считая, что указанное слово «вполне правдоподобно объясняется как с формально-лингвистической, так и с обрядовой стороны как суффиксальное производное *bъd-yn- от основы гл. *bъděti, близкородственное словен. bednáč 'толстое полено', bedèn, bedènj 'толстый древесный ствол,

древесный пень', сербохорв. bȁdnjak 'пень, колода, сжигаемая в канун рождества', болг. *бъдняк* то же, причем первичное знач. *бдынъ* — 'надгробное сооружение (столб)', поскольку погребения отмечались столбами»[46].

В отношении давно принятой смысловой интерпретации древнерусского слова *бдынъ* можно, однако, заметить, что значение 'надгробное сооружение', 'языческий намогильный памятник' не вытекает с необходимостью из контекста, в котором это слово зарегистрировано. Цитирую текст, приводимый О. Н. Трубачевым: Ольга призва сна своего Ѳ҃ославa и заповѣда емꙋ съ землею равно погрести ю, а могылы не сꙋти ни тразнъ творити ни бдына дѣюти, но посла злато к патріархꙋ Цр҃аграда (Прол. июл. II, Фр. 2, Срезневский I, 47; ср. еще Miklosich LP 49; Востоков I, 33: 'надгробный памятник')[47]. Сама постановка глагола дѣяти, скорее, указывает на выполнение определенного действия, т. е. обряда. Речь могла идти о ритуальном возжигании огня, возможно, о символическом сожжении древесного ствола, т. е. о чем-то аналогичном тому обряду, который у южных славян обозначался термином *бадняк*. Ср. сказанное выше о семантически обусловленном сходстве зимней календарной обрядности с поминальной (ритуальное поедание кутьи).

Русалия. — Русалка. Др.-рус. *русалия* — название языческого весеннего праздника, с которым календарно были соотнесены церковные праздники духова дня и троицы. Против «бесовских игрищ» и песен, которыми сопровождалось на протяжении недели («русальная неделя») обрядовое действо русалий, устойчиво сохранявшееся в народе, ожесточенно боролась церковь.

Сам факт происхождения русского обрядового термина *русалия*, проникшего, вне всякого спора, через балканскую среду, от латинского термина Rosālia 'праздник роз', который у римлян был связан с культом предков и представлял собой весенний поминальный обряд, сомнений не вызывает. Однако в содержании обрядов (балканских и русского), на которые наложился римский термин, многое остается неясным и спорным. Не останавливаясь на огромной литературе вопроса[48], отмечу, что в настоящее время, в отличие от мнения А. Н. Веселовского, который считал, что «весенние русалии, главным образом, поминальный обряд»[49], преобладает мысль о том, что для русских русальных обрядов характерна прежде всего магия плодородия[50]. Большой новый материал, существенно важный для понимания специфики восточнославянского обряда русалий, собран в исследовании В. К. Соколовой[51].

Характерной чертой русальных обрядов у болгар является отсутствующий в русских обрядах момент врачевания[52]. Что касается празднования русалий в Византии, то, по историческим сведениям, праздник этот носил характер бурных народных игр, включавших театрализованное действо боя между русальными дружинами (так называемые «готские игры»)[53], на основании чего

А. Н. Веселовский полагал, что в русалиях «сохранились отголоски фракийско-македонского народно-классического культа».

Можно считать, что на пути своего продвижения из Рима через Балканский п-ов в Древнюю Русь термин rosālia оказывался приспособленным не только к различным вариантам, но, возможно, и к различным по содержанию обрядам. Но хотя основной для русского русального обряда является «аграрно-растительная тематика», связанная с магией плодородия, не приходится, однако, отрицать наличия в нем определенных элементов обряда поминания мертвых. Как это на большом материале показал Д. К. Зеленин [54], эти элементы относятся к «нечистым покойникам», т. е. умершим неестественной смертью, и с этой точки зрения «проводы русалок» можно интерпретировать как обряд изгнания враждебных духов, причем здесь возможны и аналогии с воинственным характером русальных игр в Византии.

Характерно, что другой русский весенний поминальный праздник — радуница, не имеет тех значений сакральной нечистоты, которая характерна для семантики русалий, и целиком посвящен почитанию и оплакиванию умерших родственников [55]. В порядке гипотезы, мною уже высказывалось соображение о том, что термин *радуница* может восходить в калькированному (по аналогии с rosālia) греческому средневековому термину *rodōnia (ῥοδωνια от ῥοδον 'роза') 'праздник поминовения мертвых'. Такой греческий термин не засвидетельствован, но он мог быть создан в бытовой среде низшего духовенства на Балканах и мог, распространившись путем живого народного общения, попасть к восточным славянам.

Кум — кума. Одним из существенных моментов восточнославянского русального действа был обряд установления временного «кумовства» девушек с русалками (с последующим «раскумлением») и связанный с ним обряд «крестины кукушки» [56]. Это может быть дополнительным свидетельством принадлежности к терминологической системе ритуальных действий русского язычества также терминов обрядового родства ***кум***, ***кума***. Слово kum (с производным от него kuma) представлено во всех славянских языках. Источником его происхождения является латинский термин compater, что само по себе не может вызывать сомнений. Однако фонетическая история этого, по-видимому, относительно раннего заимствования представляется не вполне ясной [57]. Вопрос усложняется наличием в ряде славянских языков дублетных форм с тем же значением и, конечно, того же происхождения: рус. диал. *кмотр* 'кум' ряз. (Даль), чеш., словац., польск. kmotr и др. Им соответствует рум. cumătru, молд. *кумэтру*, алб. kumtër 'кум'. В албанском существует, кроме того, дублетная форма гег. kumár, тоск. kumbár, имеющая себе аналогию в аромунском cumbár и новогреческом ὁ κουμπάρος — с тем же значением.

Эта пестрота вариантов должна учитываться как для выяснения фонетической стороны заимствования лат. compater на славянской почве, так и для определения хронологии проникновения

в славянскую речь этого народнообрядового термина, очагом дальнейшей иррадиации которого был все тот же балканский ареал.

Обрядовые термины латинского и греческого происхождения (*коляда*, *русалия*, *кум*, *кутья* и др.) попадали в восточнославянские языки не как элементы римской или византийской письменной традиции, но как термины народнообрядовых систем, существовавших в I тысячелетии н. э. в балканском языковом и этнокультурном ареале и имевших в качестве основы древнебалканские (фракийские, дакийские, иллирийские, македонские) и древнеславянские языческие верования с народными романскими и греческими напластованиями.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] См.: *Десницкая А. В.* К вопросу о балканизмах в лексике восточнославянских языков. — В кн.: Славянское языкознание. М., 1978, с. 161 и след.

[2] Начало процесса можно отнести и к более раннему времени, если сделать соответствующие выводы из положения, высказанного Б. А. Рыбаковым относительно сильного влияния, оказанного римским завоеванием Дакии во II в. н. э., «на те народы, которые в результате этого завоевания оказались на несколько столетий непосредственными соседями Римской империи, — на славян Поднестровья и готов Причерноморья». Свидетельством небывалого благосостояния славянских земель «в эти «трояновы века» являются сотни кладов римских серебряных монет и наличие большого количества импортных предметов роскоши в приднепровской лесостепи» (*Рыбаков Б. А.* Язычество древних славян. М., 1981, с. 220).

[3] Повесть временных лет, I. М.—Л., 1950, с. 14.

[4] *Федоров Г. Б.* Население юго-запада СССР в I — начале II тысячелетия н. э. — Советская этнография, 1961, № 5, с. 94.

[5] Там же, с. 105.

[6] Повесть временных лет, I, с. 48.

[7] Календарные обычаи и обряды в странах зарубежной Европы. Зимние праздники. М., 1973, с. 204.

[8] Там же, с. 332.

[9] *Popahagi T.* Dicționarul dialectului aromîn. București, 1963, p. 304, 324.

[10] См.: *Геров Н.* Речник на българския език, вып. 2. София, 1976 (фототипич. воспроизведение издания 1897 г.).

[11] Речник на македонскиот јазик. Под ред. Б. Конеского. Т. I. Скопје, 1961, с. 340.

[12] *Фасмер М.* Этимологический словарь русского языка, т. II. М., 1966, с. 299.

[13] См.: Historia e letërsisë shqipe, 1. Tiranë, 1959, f. 26; *Pllana Sh.* Kangët e motmotit ndër Shqiptarë. — Gjurmime albanologjike (Albanološka istraživanja), Prishtinë, 1965, 2, f. 263—265.

[14] Словарь русских народных говоров, вып. 14. Л., 1978, с. 221—222.

[15] *Wartburg W.* Französisches Etymologisches Wörterbuch, II. Bonn—Leipzig, 1922, S. 81.

[16] Интересна точка зрения В. Я. Проппа, считавшего, что обряды заупокойного культа имели целью воздействовать на урожай и что святочная трапеза — это как бы «поминальный стол» (*Пропп В. Я.* Русские аграрные праздники. Л., 1963, с. 14). С. А. Токарев полагает, что «несмотря на некоторые преувеличения, мысль В. Я. Проппа о тесной связи аграрных обрядов также и с погребальным культом заслуживает внимания», но что проблема в целом еще не решена. (Календарные обычаи и обряды в странах зарубежной Европы. Весенние праздники. М., 1977, с. 8. См. также: *Schneeweis E.* Serbokroatische Volkskunde, 1. Berlin, 1961, S. 110—111.

[17] См.: *Schneeweis E.* Op. cit., 1, S. 110.

[18] *Геров Н.* Указ. соч., вып. 2, с. 437.

[19] *Даль В.* Толковый словарь живого великорусского языка, т. II. М., 1955, с. 231.
[20] Словарь русских народных говоров, вып. 16, с. 178—179.
[21] *Даль В.* Указ. соч., т. II.
[22] *Геров Н.* Указ. соч., вып. 2, с. 386.
[23] Речник на македонскиот јазик, т. II, с. 339.
[24] Словарь русских народных говоров, вып. 12, с. 338.
[25] Там же, вып. 16, с. 68—69.
[26] Этимологический словарь славянских языков, вып. 1. М., 1974, с. 124.
[27] *Ernout A., Meillet A.* Dictionnaire étymologique de la langue latine. Paris, 1959, p. 243.
[28] *Battisti C., Alessio G.* Dizionario etymologico italiano, III. Firenze, 1952.
[29] Словарь русских народных говоров, вып. 2, с. 33; Украинско-русский словарь, т. 1. Киев, 1953, с. 26.
[30] *Фасмер М.* Указ. соч., т. I, с. 183.
[31] *Рыбаков Б. А.* Указ. соч., с. 176.
[32] См.: Индекс молдавской части программы-вопросника «Общекарпатского диалектологического атласа». — В кн.: Общекарпатский диалектологический атлас. Кишинев, 1976, с. 157.
[33] *Гринченко Б. Д.* Словарь украинского языка, I. Киев, 1907, с. 129.
[34] См.: *Аничков Е. В.* Язычество и древняя Русь. СПб., 1914, с. 200; *Mansikka V. J.* Die Religion der Ostslaven, I. Helsinki, 1922, S. 177.
[35] *Аничков Е. В.* Указ. соч., с. 290—291.
[36] *Богданович А. Е.* Пережитки древнего миросозерцания у белорусов. Гродно, 1895, с. 17.
[37] Словарь русских народных говоров, вып. 5, с. 160. См. также *вбтряна* 'измятая ржаная солома' и др. (там же, с. 161).
[38] *Зеленин Д. К.* Очерки русской мифологии. Пг., 1916, с. 281. — Обрядовое понятие «греть родителей», в котором отчетливо выражена связь аграрной магии с культом предков, наводит на мысль о том, что аналогичное содержание мог первоначально иметь термин calendae, вероятно, соотносившийся с определенным обрядом. Наиболее вероятное этимологическое объяснение для лат. calendae дает установление его связи с глаголом caleo, calēre 'согревать' (см. *Ernout A., Meillet A.* Op. cit., p. 86).
[39] *Десницкая А. В.* О некоторых вопросах балканистики в связи с изучением карпатского лингвистического ареала. — ВЯ, 1976, № 3, с. 44 и след.
[40] См., например: *Mannhardt W.* Wald- und Feldkulte, I. Berlin, 1875, S. 224 u. folg.; Календарные обычаи и обряды в странах зарубежной Европы. Зимние праздники; *Schneeweis E.* Op. cit., 1, S. 116 u. folg.; *Попович Ю. В.* Молдавские новогодние праздники. Кишинев, 1974, с. 116 и след.; *Zojzi Rr.* Gjurmët e nji kalendari primitiv në popullin tonë. — Bull. i Inst. të Shkëncavet. Tiranë, 1949, I, f. 49 etj.
[41] *Снегирев И. М.* Русские простонародные праздники и суеверные обряды, I. М., 1837, с. 139.
[42] *Афанасьев А. Н.* Поэтические воззрения славян на природу, т. II. М., 1868, с. 89.
[43] Там же, с. 90—93.
[44] Эту связь устанавливает и А. Н. Афанасьев (с. 90), правда, с неудовлетворительной этимологической интерпретацией. Также И. Желтов, считавший, однако, *чурка* и другие производными от *чур* 'межевой столб' (*Желтов И.* Этимологические афоризмы. — Филол. записки, 4. Воронеж, 1876, с. 371).
[45] *Горяев Н. В.* Сравнительный этимологический словарь русского языка. Тифлис, 1896, с. 417.
[46] Этимологический словарь славянских языков, вып. 3, с. 112.
[47] Там же.
[48] См. обзор истории и современного состояния вопроса в содержательной статье: *Златковская Т. Д.* О происхождении восточнославянских русалий. — В кн.: История, культура и фольклор славянских народов. М., 1978.

[49] *Веселовский А. Н.* Разыскания в области русского духовного стиха. XI—XIV. — Сб. ОРЯС, 1889, XLVI, 6, с. 270.

[50] См.: *Златковская Т. Д.* Указ. соч., с. 217.

[51] *Соколова В. К.* Весенне-летние календарные обряды русских, украинцев и белорусов. М., 1979.

[52] См.: *Златковская Т. Д.* Указ. соч., с. 221.

[53] *Miklosich Fr.* Die Rosalien, ein Beitrag zur slavischen Mythologie. — Sidzungsberichte der Akademie der Wissensch. in Wien. Philos.-hist. Kl., 1864, Bd LXVI, H. III.

[54] *Зеленин Д. К.* Указ. соч.

[55] См.: *Zelenin D.* Russische (Ostslavische) Volkskunde. Berlin—Leipzig, 1927, S. 332. Подробно о ритуале радуницы см. в труде И. М. Снегирева «Русские простонародные праздники и суеверные обряды», III (М., 1838, с. 47—54).

[56] См.: *Зеленин Д. К.* Указ. соч., с. 268; *Соколова В. К.* Указ. соч., с. 200.

[57] См.: *Фасмер М.* Указ. соч., т. II, с. 414.

М. И. Ермакова, Л. Э. Калнынь,
Л. И. Масленникова, Т. В. Попова

СОПОСТАВИТЕЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ФОНОЛОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ СЛАВЯНСКИХ ДИАЛЕКТОВ КАК СПОСОБ ИХ СИНХРОННОЙ СТРУКТУРНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ

1. Актуальной задачей славянской диалектологии является разработка синхронной структурной классификации славянских диалектов. Это вытекает как из специфики исходного объекта диалектологии, так и из иерархии стоящих перед диалектологией исследовательских задач.

В качестве исходного, далее неделимого объекта изучения в диалектологии является диалект (говор) — язык, которым пользуется коллектив говорящих в одном, обычно сельском, населенном пункте. Статус исходного объекта диалектологии диалект получает благодаря присущему ему однозначному отношению между системой и речью, когда системе соответствует одна разновидность (форма) речи (текста). Неоднозначное отношение между системой и речью имеет место тогда, когда системе соответствует более одной разновидности речевой реализации, каждая из которых находится в однозначном соответствии с системой более низкого ранга. Неоднозначное отношение между системой и ее реализацией присуще таким идиомам, как национальный язык, наречие языка, диалектный язык или его фрагменты. В лингвистике исследуются разные языковые системы, но

при этом лишь системы, имеющие однозначное соответствие с речью, являются объектами первичного лингвистического анализа. Сообразно с этим диалект (говор) и занимает ключевую позицию среди объектов диалектологии[1].

Если считать, что успехи каждой науки определяются прежде всего глубиной изученности ее исходных объектов, то следует признать, что важнейшей задачей диалектологии является всестороннее изучение отдельных говоров. Функционируя в устной форме, говор как объект наблюдения всегда предстает в своем синхронном состоянии. Поэтому первая задача диалектологии сводится к описанию диалекта как синхронной системы, что достигается моделированием частной диалектной системы (ЧДС) на всех уровнях — фонологическом, словообразовательном, словоизменительном и пр. Модель ЧДС может считаться адекватной данной языковой системе, если она дает информацию об инвентаре используемых в диалекте языковых единиц, о правилах их сочетания и чередования, т. е. информацию, достаточную для того, чтобы прогнозировать поведение каждой языковой единицы в любом контексте.

Для получения таких данных диалект должен исследоваться как язык, используемый обозримым, территориально ограниченным коллективом. При описании диалекта надо ставить те же задачи и применять те же исследовательские методы, которые приняты для синхронного изучения языков (литературных и бесписьменных). Из этого следует, что синхронное описание диалекта исключает дифференциальный подход к языковым фактам, когда диалект характеризуется или через уровень сохранения архаического состояния диалекта или через отличие от литературного языка. Синхронная модель ЧДС должна основываться на учете всей речевой деятельности коллектива носителей диалекта.

Поскольку диалект функционирует в устной форме и норма его не кодифицирована, диалектная речь никогда не бывает унифицирована даже в рамках идиома, принимаемого за лингвистически неделимую единицу. Используемые в говоре варианты должны быть интерпретированы в синхронном плане как элементы одной языковой системы. И не только потому, что диалект имеет статус исходного далее не делимого объекта диалектологии. Практика показывает, что говорящие на диалекте или не замечают вариативности используемых речевых средств, или констатируют их допустимость (особенно это касается формальных разделов языка). Поэтому при синхронном описании говора необходимо учитывать все сосуществующие варианты, и ЧДС должна моделироваться как система с вариативными звеньями.

Хотя синхронное описание диалекта в качестве первой задачи диалектологии соответствует этапу каталогизации объектов науки, в славянской диалектологии, несмотря на ее давние традиции, этот аспект разработан слабо [2]. В значительной мере это является следствием того, что славянская диалектология с самого начала развивалась как прикладная к истории языка, и диалекты рас-

сматривались преимущественно в качестве источников для построения истории языка, а не как самостоятельные объекты исследования. В таком отношении к диалекту имплицитно кроются элементы оценки диалекта как неполноценной формы языка, что было присуще более ранним периодам развития языкознания [3].

В славянской диалектологии распространен тип исследования, называемый «полное монографическое описание диалекта», но его нельзя считать идентичным описанию диалекта как синхронной системы. В «полном описании» обычно ставится цель дать некоторые сведения о всех разделах языка — от фонетики до лексики. Но поскольку в таком описании диалект, как правило, анализируется через призму диалектных различий, характерных для соответствующего ареала, то и специфика диалекта определяется через явления, входящие в состав диалектного различия. Исключение из системной интерпретации явлений, общих для диалектного континуума, предопределяет фрагментарность представлений об устройстве диалекта. Кроме того, поскольку диалектные различия определяются преимущественно наблюдениями за развитием общего этимологического элемента, то получается, что в «полном описании» учитываются главным образом факты инвентаря. Данные синтагматики, позиционного поведения единиц языка учитываются в меньшей степени. Говор в таких описаниях предстает в урезанном виде, лишенным многих системных характеристик, связанных не с этимологией, а со структурой диалекта.

Следует подчеркнуть, что и лингвогеография — этот наиболее развитый раздел славянской диалектологии — не предусматривает изучения диалектов как синхронных систем. Объектом приложения лингвогеографического метода является диалектный континуум — вне пределов такого континуума отдельный диалект не может выступать в качестве объекта лингвогеографического изучения. Лингвогеография принципиально ориентирована на изучение отдельных явлений в диалекте, притом таких, которые входят в состав диалектных различий. И хотя в современной диалектологии все большее внимание уделяется лингвогеографической интерпретации системного сходства и различия между диалектами, когда картографируются системно организованные фрагменты диалектных структур [4], тем не менее и в этом случае диалектная система как целое на любом ее уровне изучена быть не может. В частности, и потому, что в лингвогеографии явления принципиально соотносятся с историей языка. Любые программы, в том числе и те, что учитывают системную организацию некоторых фрагментов диалекта [5], имеют своей целью получить сведения о развитии в диалектах общих исходных элементов. За пределами лингвогеографии остаются явления, материально общие для всего континуума, невзирая на то, что функциональная специфика их в разных диалектах может быть неодинаковой.

Сказанное означает, что изучение диалекта как синхронной системы не реализуется ни в одном из направлений, наиболее интенсивно разрабатываемых в славянской диалектологии.

Описание диалекта как синхронной системы, являясь особым типом диалектологического исследования, имеет свою специфику на всех этапах, начиная с установления вопросной процедуры для обследования диалекта. Программа обследования диалекта с целью его последующего синхронного описания должна быть ориентирована на получение исчерпывающих сведений о составе инвентарных единиц языка, о правилах их сочетания и чередования, о характере системных отношений между этими единицами — и это безотносительно к тому, входят ли данные явления в число диалектных различий или нет. Так, обследование диалекта на фонетическом уровне должно дать исчерпывающие сведения о составе употребляемых в диалекте гласных, согласных и о тех сочетаниях, в которые они вступают. Состав допустимых сочетаний должен быть определен безотносительно к составу реально зафиксированных сочетаний [6]. Это необходимо для установления таких характеристик фонетической системы, как инвентарь звуковых и фонематических единиц, их дистрибуция, а из сочетания этих двух показателей — чередование звуков и фонематических единиц, нейтрализация фонемных оппозиций. Таким образом, синхронное описание диалекта должно дать информацию, традиционно ожидаемую лишь при анализе литературных языков.

Если первой задачей науки является каталогизация исходных объектов изучения, то следующий этап научного знания — это классификация тех же объектов. Классификация языковых идиомов может основываться на критериях разного типа. Но тип критерия не устанавливается произвольно — он предопределен теми характеристиками, которые получены в результате описания классифицируемых идиомов. С другой стороны, получение желаемого типа классификации предполагает предварительное осуществление соответствующего типа описания. Описание диалектов как синхронных систем является основой для создания синхронной структурной классификации диалектов, которая должна показать дифференциацию связанных общностью происхождения идиомов по принципу их синхронного устройства.

Предпринимавшиеся синхронные классификации славянских языков и диалектов на фонетическом уровне учитывали преимущественно факты инвентаря. Таково разделение славянских языков и диалектов на основе соотношения гласных и согласных [7], вокальных и консонантных оппозиций с учетом их конкретного фонемного наполнения [8], просодических характеристик [9]. Однако специфика языковых систем определяется не только инвентарем единиц, но в не меньшей степени и их дистрибуцией. Дистрибутивные же показатели при классификации славянских языков и диалектов привлекаются реже [10]. И это понятно — уровень знания о дистрибутивных характеристиках славянских диалектов является производным от уровня развития изучения диалектов как синхронных систем, а именно этот аспект славянской диалектологии разработан еще недостаточно.

2. Любая классификация основывается на выборе языковых явлений, совпадение по которым признается достаточным для объединения языковых идиомов в один класс. Черты, которыми те же идиомы различаются, при этом обычно игнорируются. Такое разделение характеристик сравниваемых объектов неизбежно, так как при учете всех характеристик идиома каждая единица классификации будет равна сама себе. В то же время информация о сопоставляемых объектах, получаемая из такого рода классификации, не полна, так как, показывая сходство, никак не интерпретирует существа различия между теми же объектами. К тому же статус классификационного критерия может получить только то явление, которое не повторяется во всех классифицируемых объектах.

В диалектологии разработан специфический прием сопоставления диалектов, позволяющий как констатировать явления, совпадающие в разных диалектах, так и приводить в соответствие друг с другом явления различающиеся. Это достигается путем сопоставления ряда ЧДС с целью моделирования системы диалектного языка на основе диалектов одного языка [11] и сопоставительной системы — на основе диалектов разных близкородственных языков [12]. Сопоставительная система моделируется как система, сочетающая постоянные и вариативные звенья (т. е. соответственные явления или диалектные различия, по терминологии московских диалектологов). В рамках вариативного звена системы в качестве его компонентов приводятся в отношение функциональной эквивалентности явления, которыми диалекты различаются (при этом один из компонентов вариативного звена может быть выражен нулем).

Сопоставлению вообще, в том числе и с целью моделирования сопоставительной системы, могут быть подвергнуты элементы разных систем, удовлетворяющие критерию сопоставимости. Прежде всего это должны быть элементы, имеющие каждый в своей системе одинаковую лингвистическую функцию. В зависимости от того, какой уровень системы подвергается сопоставлению, меняются критерии сопоставления. На звуковом уровне достаточно использовать для каждого диалекта одинаковую шкалу определения инвентаря звуков, правил их сочетания и чередования. На фонемном уровне фиксируется сходство и различие в характере соотношений между элементами каждой из сопоставляемых систем, т. е. в структуре сопоставляемых явлений. Сходство и различие в фонетике в этом случае интерпретируется лишь в аспекте реализации тождественных фонематических элементов. Следует при этом подчеркнуть, что предпосылкой для сопоставления идиомов на звуковом или фонемном уровне является сам факт наличия в этих идиомах соответствующих звуковых и фонемных классов. На фонематическом уровне нет проблемы выбора основы сравнения в том виде, в каком она актуальна для единиц языка, имеющих семантическое наполнение.

При моделировании сопоставительной системы исследователь оперирует элементами, обладающими разной степенью сходства и различия между собой. Постоянные звенья сопоставительной фонетической системы образуются теми функционально тождественными элементами разных систем, которые имеют одинаковую структуру и одинаковую фонетическую реализацию, чему соответствует утверждение «элемент x в пределах сопоставительной системы не варьируется» (например, класс губных взрывных твердых и мягких фонем в русских диалектах). Все другие отношения между сопоставляемыми элементами разных систем формируют вариативные звенья сопоставительной системы. Варьирование может затрагивать только фонетическую реализацию элемента, выполняющего одинаковую функцию в разных диалектах и имеющего одинаковую структуру (например, коррелятивные по твердости/мягкости фонемы [t'], [d'] могут быть реализованы аффрикатами, взрывными палатальными и палатализованными согласными).

В рамках вариативного звена объединяются и те из функционально тождественных элементов разных систем, которые имеют неодинаковую структуру. В зависимости от характера различий в структуре сопоставляемых функционально тождественных элементов:

1) структуры могут быть сопоставлены по отдельным своим показателям, вследствие чего констатируются части структур, тождественные и различающиеся; в соответствии с этим функционально тождественные элементы разных систем в пределах сопоставительной системы по одним структурным показателям входят в состав постоянного звена системы, по другим — в состав вариативного звена системы; этому соответствует утверждение «элемент x как член сопоставительной системы комбинирует характеристики постоянные и варьирующиеся» (например, разный состав фонем на средневерхней ступени подъема в четырехподъемных вокальных системах);

2) структуры не могут быть сопоставлены по отдельным своим показателям, а сопоставляются лишь в целом, чему соответствует утверждение «элемент x как член сопоставительной системы в целом имеет варьирующуюся структуру» (например, трехподъемные и четырехподъемные вокальные системы).

При установлении частичного тождества сопоставляемых элементов характеристики этих элементов расчленяются и подвергаются иерархической оценке — некоторая характеристика признается главной и сходства по ней достаточно для констатации частичного тождества и объединения идиомов в один класс. Однако возможна такая ситуация, когда сопоставляемые элементы характеризуются показателями, которые не могут быть расчленены и подвергнуты иерархической оценке — они в равной мере и обязательно в сочетании друг с другом характеризуют каждый из сопоставляемых элементов. Так, чередования и нейтрализация характеризуются комбинацией инвентаря чередующихся и ней-

трализуемых единиц и позиционных условий чередования и нейтрализации. В этих условиях совпадение некоторых характеристик сопоставляемых элементов не является основанием для констатации частичного тождества. Расчленение характеристик такого явления ведет к потере самого явления, когда объектом сопоставления становится явление другого порядка, чем то, которое взаимосвязанными признаками характеризуется. Содержание такого звена сопоставительной системы сводится к утверждению «среди функционально тождественных явлений есть такое явление ~ нет такого явления», т. е. один из компонентов вариативного звена сопоставительной системы выражен нулем.

Диалекты, являющиеся основой для моделирования сопоставительной системы, могут быть с помощью этой системы структурно классифицированы. Постоянные звенья системы являются тем фоном, на котором диалекты группируются в отдельные классы (без такой общей основы сравнения классификация вообще невозможна). Критерии синхронной классификации диалектов извлекаются из вариативных звеньев системы. В качестве классификационного критерия могут быть приняты функционально тождественные явления, имеющие в сопоставляемых диалектах или разную реализацию при структурном тождестве или разное структурное устройство. При этом принимаемое за классификационный критерий диалектное различие не должно иметь разное проявление в каждом из классифицируемых диалектов. Если каждый компонент вариативного звена связан только с одним из анализируемых диалектов, количество классов будет равно количеству классифицируемых объектов, т. е. классификация будет тождественна перечислению, когда совпадает понятие объекта классификации и класса.

Менее эффективным с точки зрения классификации является диалектное различие, один из компонентов которого выражен нулем, так как показывает не специфику устройства функционально тождественного элемента в разных диалектах, а лишь наличие ~ отсутствие элемента (в то же время именно такие различия показательны для типологической классификации).

Из этого следует, что 1) не каждое диалектное различие может получить значение классификационного критерия и 2) классификации может быть подвергнуто собрание диалектов не менее трех — хотя двух диалектов уже достаточно для моделирования вариативного звена сопоставительной системы, тем не менее структурно два диалекта классифицированы быть не могут, так как окажется, что понятия объекта классификации и класса тождественны. В то же время необходимо подчеркнуть полезность каталогизации явлений, объединяющихся в рамках вариативного звена системы — при расширении состава классифицируемых диалектов каждый из компонентов вариативного звена сопоставительной системы может стать классификационным критерием.

3. Реализацию изложенной концепции мы продемонстрируем на сопоставлении фрагментов славянских диалектных систем,

образованных консонантной корреляцией твердости/мягкости. Эта корреляция относится к числу наиболее изученных фонетических категорий в славянских диалектах; ее принято, в частности, класть в основу классификации, в том числе и типологической, славянских языков и диалектов на фонетическом уровне. Мы покажем, какие характеристики, связанные с корреляцией твердости/мягкости, могут быть выявлены на основе описания диалектов как синхронных систем и сопоставления их с целью моделирования сопоставительной системы, и как эти характеристики могут быть интерпретированы при классификации диалектов.

Сопоставлению подвергнуты девять говоров: 1) севернорусский поморский д. Мякурье Холмогорского р-на Архангельской обл. (Мк); 2) белорусский полесский с. Большие Чучевичи Лунинецкого р-на Брестской обл. (Чч); 3) севернорусский вологодский д. Большая Чежма Кологривского р-на Костромской обл. (Чж); 4) украинский гуцульский с. Черная Тисса Раховского р-на Закарпатской обл. (ЧТ); 5) польский «северо-восточных кресов» с. Пабаре Шальчининкского р-на Литовской ССР (Пб); 6) болгарский родопский с. Широка Лыка, Смолянско, БНР (ШЛ); 7) болгарский юго-восточный с. Чернично, Оловайградско (Чер); 8) собственно нижнелужицкий д. Лишков, крайс Коттбус, ГДР (Лш); 9) собственно нижнелужицкий д. Грожище, крайс Форст, ГДР (Гр). Диалекты обследованы по специальной программе. Лингвистическая аргументация выбора диалекта в качестве объекта обследования состоит из трех пунктов. Это идиом, который должен: 1) соответствовать статусу исходного объекта диалектологии, т. е. быть говором одного населенного пункта; 2) быть территориально ограниченной формой современного славянского языка, доступной непосредственному наблюдению; 3) содержать корреляцию твердости/мягкости. В остальном выбор диалектов определен экстралингвистическими обстоятельствами.

Организация фрагмента системы, образованного корреляцией твердых/мягких фонем, в каждом диалекте выявляется последовательным установлением: 1) состава фонем, включенных в корреляцию; 2) их фонетической реализации; 3) их дистрибуции; 4) правил нейтрализации оппозиции твердых/мягких фонем; 5) правил чередований, компонентами которых являются твердые/мягкие фонемы. Зная эти характеристики, можно сопоставлять диалекты, чтобы выяснить, какие сходства и различия существуют между ними в рамках корреляции твердых и мягких согласных фонем.

Постоянное звено фонемного инвентаря фрагмента сопоставительной системы, ограниченного корреляцией твердости/мягкости, составляет оппозиция [n] — [n']. Фонема [n] везде реализуется в n, а в ЧТ, Пб, Гр, Лш еще и в ŋ; фонема [n'] реализуется в n', а в Пб, Гр, Лш еще и в ŋ'.

Для фонем [n] — [n'] характерен высокий уровень варьирования дистрибуции. Постоянным является противопоставление этих фонем перед u, o, a, e, перед твердыми губными взрывными, перед задненебными согласными и на конце слова. Все другие позиции

различения названных твердых/мягких фонем варьируются по диалектам, что является в основном производным от варьирования правил сочетания мягких согласных с согласными. На эти сочетания накладывается значительно больше ограничений, чем на сочетания двух твердых согласных.

Варьирование в фонемном инвентаре является следствием того, что дифференциальные признаки (ДП) твердости/мягкости в разных диалектах демонстрируют неодинаковые возможности сочетания с другими ДП. Так, губные фонемы не дифференцированы по твердости/мягкости в ЧТ. ДП твердости/мягкости не сочетаются с ДП зубного ряда и взрывности в Пб, Гр, Лш. В Пб и Чч представлены результаты изменения t', d' в c', ʒ', но эти говоры различаются фонематическим статусом этих аффрикат. В Чч c', ʒ' являются репрезентантами фонем [t'], [d']. В Пб коррелятивные отношения между t, d и c', ʒ' нарушены тем, что c', ʒ' стали выступать как позиционная замена c, ʒ (ʒvon'i и ʒ'v'in'i, pol'icyiny и pol'ic'ja, lok'ec и lokc'äm), а для t, d в качестве позиционной замены появляются палатальные t^1, d^1 (l'it^{1}v'ä, d^{1}v'ux, kv'it^{1}n'i). В Пб t, d реализуют фонемы, не дифференцированные по ДП твердости/мягкости.

ДП твердости/мягкости сочетаются:

с ДП зубного ряда и аффрикативности в ЧТ, Пб ([c] — [c'], [ʒ] — [ʒ']), Чер ([c] — [c']) и не сочетаются в других ЧДС;

с ДП передненебного ряда плюс фрикативность и аффрикативность или только фрикативность в ЧТ ([š] — [š'], [ž] — [ž'], [č] — [č'], [ǯ] — [ǯ'], Гр, Лш ([š] — [š'], [ž] — [ž']) и не сочетаются в других ЧДС;

с ДП передненебного ряда и смычнопроходного образования в Мк, Чж, ЧТ, ШЛ, Чер, Гр, Лш ([r] — [r']) и не сочетаются в других ЧДС;

с ДП задненебного ряда в Мк, Чж, Пб, Гр, Лш ([k] — [k'], [g] — [g'], [x] — [x']) и не сочетаются в других ЧДС.

В ЧТ и Пб используется ДП фарингального ряда, который в Пб сочетается с ДП твердости/мягкости ([h] — [h']), а в ЧТ нет.

Если фонемы — члены вариативного звена системы повторяются в нескольких ЧДС, то для некоторых из них можно констатировать варьирование фонетической реализации и позиционного распределения. Так, [t'], [d'] реализуются аффрикатами c', ʒ' в Чч ~ палатальными t^1, d^1 в Мк, ЧТ ~ палатализованными t', d' в Чж ~ палатальными k^1, g^1 в ШЛ. Фонема [v] реализована в одних говорах лабиодентальным согласным, в других — билабиальным. Варьируется состав позиций противопоставления твердых и мягких губных фонем, взрывных зубных, задненебных и [r] — [r'].

Нейтрализация оппозиций твердых/мягких фонем осуществляется во всех диалектах. В позиции нейтрализации выступает архифонема, харатеризуемая теми же признаками, что и нейтрализуемые фонемы, минус ДП твердости/мягкости. Оппозиция по твердости/мягкости у шумных фонем может устраняться в ком-

бинации с оппозицией по участию голоса, что и имеет место перед шумными согласными и перед паузой. Каждая оппозиция твердых/мягких фонем сопровождается архифонемой, в которой эта оппозиция нейтрализована. Данная взаимосвязь относится к числу постоянных звеньев сопоставительной системы — ненейтрализуемых оппозиций твердых/мягких фонем нет. Варьирование дистрибуции архифонем является производным от варьирования дистрибуции нейтрализуемых фонем. В соответствии с этим одна и та же позиция в одних диалектах содержит оппозицию по твердости/мягкости, а в других эту оппозицию устраняет (в том числе и в сочетании со снятием оппозиции по голосу). Так, перед паузой [p_b] — [p'_b], [f_v] — [f'_v], [m] — [m'] в Мк ~ [p_b^{-}'], [m^{-}'] в остальных ЧДС и [f_v^{-}'] в Чж, Пб. Перед u, o, a губные архифонемы в Чч ~ оппозиция в других ЧДС, имеющих твердые и мягкие губные фонемы; перед r в Пб [s]—[s'], [z]—[z'] ~ [s^{-}'], [z^{-}'] в других ЧДС; перед v — [s^{-}'], [z^{-}'] в Чж, Чч ~ оппозиция в других ЧДС; перед t — [s'_z]—[s_z] в Мк, Чч, ЧТ ~ [s_z^{-}'] в Чж, Пб; перед t, d — [n^{-}'], [r^{-}'] в Чж, ЧТ ~ оппозиция [n]—[n'] в других ЧДС, [r]—[r'] в Мк; перед s, z — [n^{-}'] в Пб ~ [n]—[n'] в Мк, Чч; перед зубными невзрывными [l^{-}'] в ЧТ ~ оппозиция [l]—[l'] в других ЧДС; перед e — [k^{-}'], [g^{-}'] в Чж, Пб ~ оппозиция в Мк. Архифонемы [c^{-}'], [$ʒ^{-}$'] есть в ЧТ, Пб и Чер, но дистрибуция их не совпадает. Все перечисленные архифонемы могут варьировать свою фонетическую реализацию в одинаковых позициях. В ЧТ имеются архифонемы, нейтрализующие оппозицию твердых и мягких передненебных шумных фонем, но в сопоставительном плане этот факт не может быть использован, так как он является производным от наличия/отсутствия соответствующих передненебных фонем.

Как было сказано, в некоторых позициях противопоставление по твердости/мягкости устраняется в сочетании с противопоставлением по голосу. Инвентарь этих архифонем, каждая из которых нейтрализует оппозицию из четырех фонем, варьируется в сопоставляемых ЧДС. Так, архифонема [$c_ʒ^{-}$'] имеется в ЧТ и отсутствует с Пб, где снятие различия по твердости/мягкости и по голосу для зубных аффрикат всегда сопровождается нейтрализацией по ДП способа образования (нейтрализуется оппозиция [t]—[c']—[c]—[d]—[ʒ]—[ʒ']). В ЧТ в отличие от других диалектов нет архифонемы [s_z^{-}'] — твердые и мягкие зубные фрикативные противопоставлены здесь перед губными, задненебными и t; снятие оппозиции по твердости/мягкости и по голосу можно было бы ожидать перед t^1, d^1, но сочетания s't^1, z'd^1 преобразуются в s'c', z'ʒ' (d^{1}itme, z'ʒ'itme), а в позиции перед c', ʒ' зубные фрикативные фонемы включены в нейтрализацию противопоставления по локальному ряду (káska — hrúška > kás'c'i, hrús'c'i). Дистрибуция [s_z^{-}'] в рамках сопоставительной системы варьируется; фонетическая реализация постоянна. Варьируется фонетическая реализация и дистрибуция и архифонем [t_d^{-}'], [k_g^{-}']. О дистрибутивном варьировании [p_b^{-}'], [f_v^{-}'] сказано выше.

Фонемы, противопоставленные по твердости/мягкости, и архифонемы, нейтрализующие эту оппозицию, — это тот корпус фонематических единиц, который функционирует в рамках корреляции по твердости/мягкости. Но специфика этого фрагмента фонологической системы определяется и дистрибуцией фонематических единиц и их фонетической реализацией. Приведенные данные показывают, что в рамках сопоставительной системы, моделируемой на основе рассматриваемых ЧДС, ни одна из оппозиций не образует постоянного звена системы по совокупности таких характеристик, как вхождение в состав инвентаря, фонетическая реализация, дистрибуция; почти все архифонемы варьируют свою реализацию и дистрибуцию. Это отражено в таблице.

ТАБЛИЦА

Оппозиции и архифонемы	1	2	3	Оппозиции и архифонемы	1	2	3
p—p'	+	—	+	b⁻'	—	+	+
b—b'	+	—	+	m⁻'	—	+	+
v—v'	+	+	+	v⁻'	—	+	+
f—f'	+	—	+	f⁻'	+	+	+
m—m'	+	—	+	t⁻'	—	+	+
t—t'	+	+	+	d⁻'	—	+	+
d—d'	+	+	+	s⁻'	—	+	+
n—n'	—	+	+	z⁻'	—	+	+
s—s'	+	+	+	c⁻'	+	+	+
z—z'	+	+	+	ʒ⁻'	+	+	+
c—c'	+	—	+	n⁻'	—	+	+
ʒ—ʒ'	+	—	+	l⁻'	+	+	+
l—l'	+	+	+	r⁻'	—	+	+
š—š'	+	+	+	k⁻'	—	+	+
ž—ž'	+	+	+	g⁻'	—	+	+
č—č' [1]	+			x⁻'	+	+	+
ǯ—ǯ' [1]	+			p_b^{-}'	—	+	+
r—r'	+	—		f_v^{-}'	—	+	+
k—k'	+	—	+	t_d^{-}'	—	+	+
g—g'	+	—	+	s_z^{-}'	+	—	+
x—x'	+	—	+	$c_ʒ^{-}$' [1]	+		
h—h' [1]	+			k_g^{-}'	—	+	+
p⁻'	—	+	+				

Примечание. Варьируется (+) ~ не варьируется (—):

1 — вхождение оппозиции или архифонемы в инвентарь;

2 — фонетическая реализация одного или обоих членов оппозиции, архифонемы;

3 — дистрибуция членов оппозиции, архифонемы.

Единицей отмечены оппозиции и архифонемы, представленные лишь в одном диалекте. Проблема варьирования фонетической реализации и дистрибуции для таких фонематических единиц не возникает, и поэтому соответствующие клетки таблицы под цифрами 2, 3 для них остаются пустыми.

Архифонема, повторяющаяся во всех диалектах, имеющих нейтрализуемую оппозицию, входит в состав постоянного звена сопоставительной системы, хотя вхождение оппозиции в инвентарь может варьироваться.

Фонемы и архифонемы, находящиеся в отношении нейтрализуемого и нейтрализующего, позиционно чередуются. Позиционное чередование относится к числу явлений, характеристика которых складывается из комбинации нерасчленимых показателей — это комбинация позиционных условий чередования и качества чередующихся компонентов. Функциональное значение позиционного чередования звуков или фонематических единиц как элемента фонетической системы заключается в том, что чередование является средством преобразования в соответствии с правилами синтагматики одних позиционных наборов звуков или фонематических единиц в другие. Сопоставляя чередования в разных ЧДС, можно получить представление о сходстве и различии средств преобразования позиционных наборов звуков или фонематических единиц. При этом тождество можно констатировать только для чередований с одинаковой характеристикой по обоим показателям. Совпадения по одному показателю недостаточно для констатации частичного тождества чередования. Постоянным звеном в сопоставительной системе может быть чередование, которое в совокупности обеих своих характеристик присуще всем ЧДС, лежащим в основе сопоставительной системы. Если такое чередование имеется не во всех ЧДС, то этим формируется вариативное звено сопоставительной системы, один из компонентов которого выражен нулем («есть такое чередование ~ нет такого чередования»). Если вариативность устанавливать по отдельным характеристикам чередования, то в этом случае речь будет идти не о чередовании как о функциональном элементе системы, а об условиях позиционной мены одних и тех же элементов и о составе элементов, мена которых связана с данной позицией.

В сопоставляемых диалектах все фонемы, противопоставленные по твердости/мягкости, вступают в чередования с архифонемами, в которых нейтрализована оппозиция по твердости/мягкости, в том числе и в комбинации с различием по участию голоса. Лишь чередования [s], [s'], [z], [z'] с [$s_{\bar{z}}$'] повторяются не во всех диалектах. Позиционная обусловленность каждого чередования, кроме чередования с [$p_{\bar{b}}$'] (определяем ее качеством позиции, требующей употребления того компонента чередования, который имеет более короткую характеристику, т. е. [$p_{\bar{b}}$']), в рамках сопоставительной системы комбинирует показатели, общие для всех диалектов, с показателями варьирующимися. Позиционная обусловленность чередований с [$p_{\bar{b}}$'] не имеет постоянных звеньев в сопоставительной системе.

Если объединить в один класс фонематические единицы каждого локального ряда и идентифицировать сопоставляемые ЧДС по чередованиям, характерным для каждого класса в целом, то

окажется, что сопоставительная система по этому показателю не имеет ни одного постоянного звена.

4. Сопоставление фрагментов диалектных систем, образованных консонантной корреляцией твердости/мягкости, показывает, что эти фрагменты обнаруживают несовпадение по всем существенным для фонологической системы характеристикам — варьируется инвентарь фонематических единиц, правила их сочетания и чередования. Но особенно эффектно ЧДС дифференцируются дистрибуцией фонематических единиц (ни одна оппозиция, ни одна архифонема не имеет постоянных дистрибутивных характеристик в рамках сопоставительной системы) и, как следствие этого, правилами нейтрализации фонемных оппозиций и чередованием фонематических единиц. Значительны и различия в фонетической реализации тождественных фонематических элементов. В этой ситуации объединение диалектов в один класс только по признаку тождества инвентаря твердых и мягких фонем представляется весьма условным. Различиям в фонетической реализации фонем и в их дистрибуции соответствует различие в фонетическом облике диалекта, которое аудитивно отчетливо воспринимается. Пример — диалекты Мк и Чж при неодинаковом составе корреляции твердости/мягкости (и вообще консонантизма) имеют весьма различный фонетический облик именно вследствие разной дистрибуции одних и тех же твердых и мягких фонем и их фонетической реализации. Классификация может быть эффективна в том случае, если в ней максимально учтена фонетическая специфика идиома, т.. е. специфика реальной звучащей речи. Цель классификации — не интерпретация фонетической действительности с помощью заданной логической схемы, а идентификация идиомов с всесторонним учетом их конкретной фонетической специфики.

При классификации отдается предпочтение некоторым общим для классифицируемых идиомов характеристикам в сравнении с характеристиками, эти же идиомы различающими. В нашем случае классификационные критерии могут быть разделены на три типа — инвентарные, синтагматические (дистрибуция), парадигматические (нейтрализация, чередования). Каждый из них в отдельности может явиться основой классификации. В то же время иерархически эти критерии не равноценны и между ними существует отношение последовательности. Значение ключевого критерия имеет общность инвентарных единиц. Лишь при условии этой общности может развертываться дальнейшее сопоставление по характеристикам, связанным с фонетической реализацией общих фонематических единиц, их дистрибуцией, нейтрализацией, чередованием. При отсутствии общности инвентарных единиц развертывание сопоставления по другим фонологическим характеристикам невозможно.

Как было сказано, каждый из трех типов классификационных критериев может явиться основой классификации. Классификация, основанная одновременно на всех трех типах критериев, невозможна, так как пересечение полученных характеристик

делает каждый из классифицированных идиомов равным самому себе. Полное знание о синхронном структурном сходстве и различии между славянскими диалектами на фонологическом уровне вообще и на уровне фрагмента системы, образованного корреляцией твердости/мягкости в частности, может быть достигнуто только на основе всех трех типов классификаций: 1) инвентарной — состав фонематических единиц и их фонетическая реализация; 2) дистрибутивной — позиционная сфера употребления тождественных фонематических единиц; 3) парадигматической — нейтрализация, чередование фонематических единиц. Наложение этих классификаций друг на друга (в том числе и лингвогеографическим способом) даст адекватную картину дифференциации современных славянских диалектов на фонологическом уровне. Эти типы классификации эффективны только в комплексе. Изолированно ни одного из них недостаточно для того, чтобы показать специфику синхронного сходства и различия между славянскими диалектами.

Так сформулированная задача синхронной структурной классификации диалектов может быть решена только на основе достаточного знания об устройстве и функционировании классифицируемых систем, что достигается только путем описания диалекта как синхронной языковой системы. Серия таких описаний является основой для моделирования сопоставительной системы, вариативные звенья которой и содержат характеристики, которые, иерархически сгруппированные, могут использоваться в качестве критериев синхронной структурной классификации диалектов.

Значение синхронного описания диалектов для их структурной классификации является частным случаем общей проблемы документации диалектологических выводов. Диалект (как и бесписьменный язык) — это идиом, сведения о котором вводятся в научный оборот только через лингвистическое описание. Для читателей такого описания обычно исключена возможность как проверки достоверности зафиксированных данных, так и привлечения более широкого, чем это дано в описании, круга фактов из того же диалекта (обе эти возможности существуют для читателя исследований, посвященных литературным языкам). Поэтому уровень диалектологического знания определяется уровнем описания диалектов. Максимально лингвистически информативным является описание диалектов как синхронных систем на всех языковых уровнях. Создание фонда таких описаний диалектов разных славянских языков может явиться надежной основой для построения их синхронной структурной классификации.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] *Калнынь Л. Э.* Диалектологический аспект проблемы «язык и диалект». — Изв. АН СССР, ОЛЯ, 1976, т. 35, № 1, с. 34—35.

[2] Первым опытом описания диалекта как синхронной системы является работа: *Щерба Л. В.* Восточнолужицкое наречие. Пг., 1915; см. также: *Бром-*

лей С. В., Булатова Л. П. Очерк морфологии русских говоров. М., 1972; *Калнынь Л. Э.* Опыт моделирования системы украинского диалектного языка. М., 1973; *Попова Т. В.* Глагольное словоизменение в болгарском языке. Морфонологический аспект. М., 1975; *Калнынь Л. Э., Масленникова Л. И.* Сопоставительная модель фонологической системы славянских диалектов. М., 1981; близки к полному синхронному описанию диалекта следующие работы: *Стойков С.* Банатският говор. София, 1967; *Младенов М.* Ихтиманският говор. София, 1967; *Бояджиев Т.* Говорът на с. Съчанли Гюмюрджинско. София, 1972; *Димчев К. В.* Говорът на българите от с. Валя Драгулуй, СР Румыния. Фонемна система. София, 1969; *Журавлев В. К.* Фонетика говора с. Криничное (бывш. Чемша-Варуита). — Статьи и мат-лы по болгарской диалектологии, 1962, 10; *Ермакова М. И.* Нижнелужицкое именное словоизменение. Имя существительное. М., 1979; *Schroeder A.* Die Laute des wendischen (sorbischen) Dialekts von Schleife in der Oberlausitz, Tübingen, 1957; *Jentsch H.* Die sorbische Mundart von Rodewitz/Spree. Bautzen, 1980.

3 См.: *Блумфилд Л.* Язык. М., 1968, с. 353.

4 Атлас русских народных говоров центральных областей к востоку от Москвы. М., 1957 — карты на типы безударного вокализма; Дыялекталагічны атлас беларускай мовы. Мінск, 1963; Русская диалектология. Под ред. Р. И. Аванесова и В. Г. Орловой. М., 1964; Вопросы теории лингвистической географии. Под ред. Р. И. Аванесова. М., 1962.

5 Такова «Программа собирания сведений для составления диалектологического атласа русского языка». Под ред. Р. И. Аванесова. М.—Л., 1947.

6 *Панов М. В.* Русская фонетика. М., 1967, с. 79.

7 *Исаченко А.* Опыт типологического анализа славянских языков. — В кн.: Новое в лингвистике, вып. 3. М., 1963, с. 106 и след.

8 *Stankiewicz E.* Towards a phonemic typology of the Slavic languages. — In: American contributions to the 4th international congress of slavists, vol. 1. s'-Gravenhage, 1958.

9 *Ивич П.* Число просодических возможностей в слове как характеристика фонологических возможностей систем славянских языков. — В кн.: Славянская филология. Материали от 5-ти международен конгрес на славистите. Т. 7. Езикознание. София, 1966.

10 Ср. классификацию русских диалектов по типам ударного и предударного вокализма в кн.: *Аванесов Р. И.* Очерки русской диалектологии. М., 1949. Один из первых опытов сопоставления диалектов одного языка по признакам фонемной дистрибуции. — *Klagstad H.* A phonemic analysis of some Bulgarian dialects. — In: American contributions to the 4th international congress of slavists. Vol. 1. s'-Gravenhage, 1958.

11 О понятии «диалектный язык» см.: *Аванесов Р. И.* Вопросы фонетической системы русских говоров и литературного языка. — ИОЛЯ, 1947, т. VI, вып. 3; Вопросы теории лингвистической географии. М., 1962; Русская диалектология. Под ред. Р. И. Аванесова и В. Г. Орловой. М., 1964; *Аванесов Р. И.* Описательная диалектология и история языка. — В кн.: Славянское языкознание. V Международный съезд славистов. Доклады советской делегации. М., 1963.

12 О понятии «сопоставительная система» см.: *Калнынь Л. Э., Масленникова Л. И.* Сопоставительная модель фонологической системы славянских диалектов. М., 1981.

Л. П. Жуковская

ТЕКСТОЛОГИЧЕСКОЕ И ЛИНГВИСТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЛОГА

(избранные византийские, русские и инославянские статьи)

Пролог — памятник письменности, имеющий многовековую историю, необычайно сложный текстологически и представленный в книгохранилищах СССР несколькими сотнями списков XIII—XVIII вв. Он содержит жития, поучения, назидательные и исторические повести, изложенные в календарном порядке. В связи с постепенным расширением объема Пролога (хотя были случаи и его сокращения) реально дошедшие до нас списки могут быть годовыми (начинаются с сентября), полугодовыми (с сентября и марта), квартальными (с сентября, декабря, марта и — реже — июня), а в троице-сергиевской практике XV—XVI вв. даже иного месячного членения [1].

Пролог — это своеобразная «библиотека избранных произведений» средневекового читателя, библиотека популярной литературы, доступной каждому читателю и внедряемой в сознание еще большего числа слушателей. Организованный по принципу обязательных чтений на каждый день года, Пролог служил книгой для ежедневного чтения или слушания. Тем самым Пролог был самой демократической книгой средневековья, и значение его в сфере формирования культуры и, в частности, литературного языка, трудно переоценить.

За последние годы в нашей стране этому памятнику письменности посвящены исследования Н. Ю. Бубнова [2], Е. А. Фет [3], опубликованы избранные статьи старопечатного Пролога [4]. Наши предварительные разыскания по текстологии памятника и характеристике метода исследования («зондирования») были изложены на международном симпозиуме в Салониках в мае 1979 г., посвященном изучению средневековых византийских и славянских сборников [5].

К концу 1981 г. текстологически и лингвистически нами обследовано в той или иной степени около 400 списков славянского Пролога, преимущественно древнерусских (т. е. общевосточнославянских) и средневековых русских. Изучение их проводилось методом зондирования, т. е. исследования отдельных сюжетов, выбранных из разных мест сентябрьской половины или осенней и зимней четвертей (380 списков). Ограничение объясняется тем, что древнерусский Пролог в его полном годовом составе включает более 1500 сюжетов, варьирующихся текстологически. Поэтому для его лингвотекстологического изучения нужны десятки иссле-

дователей, имеющих возможность целенаправленно изучать памятник в его списках многие годы. Известно, что филология, как любая современная наука, не может не быть коллективной наукой, включающей индивидуальное творчество. Но коллективность в ней не всегда может реализоваться в совместной работе многочисленной группы исследователей разной квалификации. Поэтому для трудоемких многоаспектных тем коллективность в филологии выражается в большей, чем для других наук, роли взаимного ознакомления ученых с конкретными результатами работы коллег, достигнутыми на разных этапах анализа. Эти соображения, а также опыт предыдущих десятилетий работы с сотнями разных рукописей [6] в том числе в особенности со славянским и греческим Евангелием (славянское насчитывает не менее 500 списков до сер. XV в.) [7], позволяют нам считать полезным и даже необходимым для развития славянской филологии предложить вниманию съезда славистов некоторые общие и частные факты, выявленные нами в ходе текстологического и лингвистического изучения Пролога. Мы понимаем, что Пролог — это комплекс проблем, который не может быть исчерпывающе изучен даже за несколько десятилетий усиленных разысканий в сфере славянского рукописного наследия. Ведь Пролог и в истоках и в своей многовековой эволюции был связан почти со всем объемом письменности: с литературой, так или иначе обслуживавшей нужды церкви — минеями, синаксарями, месяцесловами к разным книгам (даже к Евангелию); он связан с Летописью, с собственно повествовательной литературой, в том числе византийской житийной, с «учительной» литературой (в Пролог вошли слова и поучения разных авторов, начиная с великих каппадокийских философов [8]); Пролог связан и с конкретными сборниками «устойчивого содержания» типа Златоуста, Торжественника и т. п., даже с поздними (XV—XVIII вв.) индивидуальными сборниками, которые составляли для себя разные просвещенные русские люди, не только отбирая желательные для них проложные тексты, но подчас существенно изменяя их в процессе индивидуальной разработки того или иного сюжета (ср., например, Житие Варвары [9]).

Пролог является, по-видимому, самым сложным в текстологическом отношении памятником письменности. Составом византийских статей он восходит к Менологию императора Василия II (976—1025), шурина Владимира Святославича, при котором Русь официально приняла христианство. Жена последнего византийская царевна Анна должна была иметь при себе список Менология и вполне возможно, что уже на рубеже X—XI в. он был переведен в Киеве на древнерусский язык. Далее на протяжении без малого тысячелетнего его существования этот памятник не просто переписывался на Руси, но претерпевал существеннейшие изменения. В него включались новые произведения, изымались старые. Отдельные статьи Пролога перегруппировывались (из рассматриваемых нами, например, текст об Анастасии Римской; представленный в I редакции под 22 декабря, во II редакции он

перенесен на 29 декабря, где в I редакции был только заголовок). Проводилось сокращение или дополнение отдельных статей (например, во II редакции текст Жития Анастасии 22 декабря не только перередактирован, но и дополнен вставкой об епархе-вымогателе). Производилось не только более или менее механическое восполнение или изъятие определенных компонентов статьи (из рассматриваемых нами особенно интересно в этом плане Житие Стефана Сурожского, имеющее по крайней мере четыре разновидности: 1) события жизни Стефана, 2) то же с чудом, относящимся только к Ефрему, 3) с чудом, относящимся к князю бранливу (т. е. любящему войны, воинственному) или к Бранливу (известный вариант «Бравлин» в Прологе нам не встретился), пришедшему из Новгорода в Сурож в начале IX в. — текст особенно интересный для истории дохристианской Руси, 4) текст, переходящий в текст Жития Стефана Дечанского). Иногда изменялся сам характер изложения (например, оно становилось витиеватым, см. примеч. 9, 12).

В связи со всем изложенным выше автор видит задачи настоящего доклада в следующем: 1) ввести в научный оборот сами факты существования отдельных списков Пролога сентябрьской половины года, установленные нами на основании неоднократного обращения к каждому названному в работе списку памятника, 2) дать кратчайшую археографическую характеристику этих списков: время, извод (язык), место хранения, сведения о шифре в хранилище, 3) осветить наличие в самом памятнике разных по происхождению групп текстов (византийских, западнославянских, южнославянских, древнерусских, собственно русских и отметить наличие—отсутствие каждого из них в рассматриваемых списках, 4) дать хотя бы обобщенную текстологическую характеристику каждого списка, 5) по возможности показать предварительно намечающуюся текстологию отдельных статей Пролога. Естественно, что все эти вопросы, даже в той степени, в какой они исследованы автором ко времени написания настоящего доклада, не могут быть изложены словесно в рамках статьи. Ведь на каждый список можно было бы затратить не более двух-трех строк текста, т. е. сообщить лишь краткие археографические сведения [10]. Поэтому с целью представить максимум возможных сведений в наиболее лаконичной форме, а не ограничиваться голословными заключениями, автор предлагает форму обобщающих таблиц. Их информационная часть мож г быть полезна будущим исследователям Пролога, которые могут изучать его с самых различных точек зрения и потребностей разных наук. (Таблицы даны приложением в конце книги.)

Указанные выше первую и частично вторую задачу решают вторая вертикальная графа таблицы — шифр рукописей — а также список собраний и фондов рукописей, представленный в алфавитном порядке примененных нами кратких наименований для рукописей того или иного собрания. Сведения о дате рукописи и изводе содержатся в двух следующих вертикальных столбцах таблиц.

Третья задача решается на ограниченном материале 21 статьи, относящихся, как мы теперь знаем, к разным источникам (в плане глобальном, разумеется). Так, приведены статьи:

а) византийского происхождения: 17 сентября — память Веры, Надежды, Любови и их матери Софьи; 29 октября — Анастасии Римской; 30 ноября — апостола Андрея; тогда же — Слово Ефрема [11]; 4 декабря — Варвары; 22 декабря — Анастасии; 24 декабря — Евгении; 30 декабря — Анисьи; тогда же Феодоры Грекыни;

б) западнославянские: 16 сентября — Житие Людмилы; 28 сентября — Вячеслава Чешского;

в) южнославянские: 19 октября — Иоанн Рыльский; 21 октября — перенесение мощей Илариона Мегленского; 22 ноября — Михаил Болгарский (Воин); 14 января — Савва Сербский; к южнославянским статьям, видимо, следует отнести текст, названный нами условно «Стостишием о святой Евгении» [12], так как он встретился нам только в Стишном прологе (см. ниже), происхождение которого (т. е. перевод) по данным орфографии русских списков мы связываем с южнославянскими странами; что касается самих двустиший Стишного пролога, которыми предваряются основные тексты, то они восходят, очевидно, к двустишным синаксарным эпиграммам (корпус последних, по мнению С. С. Аверинцева, был создан в Византии в XI в.[13]);

г) древнерусские: 4 ноября — Освящение Софии Киевской (с указанием числа лет, прожитых Ярославом Мудрым); 26 ноября — рассказ о построении Ярославом Мудрым церкви во имя святого Георгия у Золотых ворот в Киеве и об освящении ее первым русским митрополитом Иларионом; 30 ноября — крещение Руси апостолом Андреем;

д) русские: 21 декабря — о Петре митрополите Московском и Киевском (хотя считается, что этот текст написан митрополитом Киприаном, т. е. южнославянином по его родному языку); повидимому, сюда же следует отнести пространный текст о Стефане Сурожском (см. выше), помещенный под 15 декабря.

Четвертая задача — текстологическая характеристика списков Пролога — разрешена посредством группировки списков в таблицах. Так, списки I редакции помещены в начале табл. 1. Это — безусловно № 1—52, частично № 240 и далее, а также № 274—291; практически сюда относится разновидность I редакции, выправленная по неверно понятым летописным данным: 4 ноября в этих списках указано, будто бы Ярослав скончался в возрасте 62 лет (т. е. прочитаны два последних числа в дате 6562 г.), а не 66 лет, как по остальным спискам Пролога (см. табл. 1), или 76 лет, как по другим источникам. Списки II редакции приведены под № 53—239, частично № 240—273, а также 292 и 293.

Разумеется, предпринятая нами попытка разбиения списков выполнена хотя и на разнообразном, но крайне ограниченном числе текстов, содержащихся в Прологе. Она является результатом всего лишь предварительного зондирования и в дальнейшем должна быть уточнена, а возможно, и заменена.

Нетрудно заметить, что в таблицах сконцентрирована огромнейшая общая и (или) конкретная информация относительно списков Пролога сентябрьской половины года, находящихся в книгохранилищах СССР. Информация эта неодинакова для каждого из 21 рассматриваемого текста. Так, для одних дана текстологическая характеристика (например, краткая, дополненная или стишная редакции по отношению к Житию Анастасии, 22 декабря); для других указываются микротекстологические приметы (например, число прожитых лет для трех сестер — Веры, Надежды и Любови, 17 сентября, если оно не традиционно, т. е. не составляет соответственно 12, 10 и 9 лет; таково же название проемов в стенах бани в Житии Варвары, 4 декабря: дверцы, одно оконце, два оконца); для третьих указывается необычная последовательность текстов по отношению друг к другу (три текста на 30 ноября). Для половины рассматриваемых текстов (а именно, относящихся к Людмиле, Вячеславу, Иоанну Рыльскому, Иоанну Мегленскому, Михаилу Болгарскому, Стефану Сурожскому, Петру Московскому, к Стостишию Евгении, Житиям Анисьи, Феодоры Грекыни, Саввы Сербского) — показано отсутствие текста и даже памяти (знак —), наличие только памяти (заг., т. е. заголовок), наличие текста (+). То же для древнерусского текста о построении церкви святого Георгия, 26 ноября; количество заголовков здесь явно превосходит представленные заголовками тексты на другие дни, что, как напомнил нам Я. Н. Щапов, может быть связано с Юрьевым днем осенним, который был особенно популярен и праздновался по всей Руси как день окончания полевых работ и расчета крестьянина с феодалом. В соответствии с этим разнообразием данных в таблицах употреблены знаки, общие для всех текстов, и знаки индивидуальные (буквы или цифры), характеризующие текстологические детали в определенном тексте.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ К ТАБЛИЦАМ

ОБЩИЕ ЗНАКИ

+ — текст имеется; (+) — текст восполнен позднее;
заг. — указана только память, т. е. приведен заголовок;
— — текста нет, листы рукописи сохранены;
? — утрачены листы рукописи, на которых мог бы размещаться текст;
. — данные следует уточнить при дальнейшем изучении;
ос. — особые тексты; пр. — особые пространные тексты.

ЗНАКИ, СОДЕРЖАЩИЕ КОНКРЕТНУЮ ХАРАКТЕРИСТИКУ ТЕКСТА ИЛИ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ НЕЕ

Для графы «17 сентября»: 1) буква г — в заголовке указаны не только славянские, но и греческие имена трех сестер; 2) число 20 указывает возраст Веры, если он не равен 12 годам; числа 10, 8, 5 указывают возраст Любови, если он не равен 9 годам; 3) числа 3 или 2 справа в столбце указывают, пе-

речислены ли в тексте мучения всех трех сестер, или же только двух (Веры и Любови).

Для граф «29 октября» и «22 декабря» употреблены следующие сокращения: 1) кр. — краткая редакция Жития Анастасии, которая, как правило, представлена 22 декабря в списках I редакции нестишного Пролога и 29 октября в его II редакции; 2) доп. — II редакция Жития Анастасии, включающая дополнение об епархе-вымогателе; 3) стш. — стишная редакция того же Жития, характерная для текста на 29 октября в Стишном прологе, но встречающаяся изредка и в поздних списках нестишного; 4) фарм. — стишная редакция того же Жития на 22 декабря в Стишном Прологе, имеющая в заголовке определение Анастасии словом «фармаколитрия».

Для графы «4 ноября»: числа 66, 62 или 65 указывают приведенное в в тексте число лет, прожитых Ярославом Мудрым (62 — для списков подновленной I редакции).

Для трех граф «30 ноября»: горизонтальная стрелка под знаками + («плюс»), соединяющая первичный текст об апостоле Андрее (он всегда помещен первым при этой дате) и текст о крещении им Руси (обычно это третий текст), указывает на проведенное сближение названных текстов путем перестановки «Слова» Ефрема (обычно это находящийся между ними второй текст) на место после текста о крещении Руси. Буква Т в «Слове» Ефрема показывает, что в данном списке есть только толкование, а само «Слово» отсутствует.

Для графы «4 декабря» буквенные сокращения показывают, какие именно проемы (двери или окна и их число) приказал сделать в строящейся бане отец Варвары, вместо которых она приказала прорубить три оконца во имя отца, сына и святого духа: 1) дв. — «дверцы едины» — особенность списков I редакции; 2) о — «едино оконце» — особенность списков II редакции и некоторых южнославянских I; 3) 2 о — «два оконца» или «двѣ окнѣ» — особенность Стишного Пролога; 4) пр. — пространная редакция (исключения см. в таблицах).

Для двух граф с датой «24 декабря» — Житие Евгении и Стостишие — сокращения указывают редакции, виды и подвиды их; сведения о наличии или отсутствии Стостишия вынесены во вторую графу (см. примеч. 12): 1) к. а — первый вид краткой редакции; 2) а к. — второй вид ее; 3) к. аб — комбинированный вид; 4) к. б — II редакция Жития; 5) стш. — стишная редакция (не путать со Стостишием!).

В случаях, когда какой-либо текст сохранился фрагментарно и рукопись не содержит материалов для уточняющей характеристики текста, ставится только общий знак +.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ СОБРАНИЙ РУКОПИСЕЙ И РУКОПИСЕЙ, ИЗВЕСТНЫХ ПОД ИМЕНАМИ СОБСТВЕННЫМИ

В целях сокращения объема справочного аппарата ниже раскрываем левую — буквенную — часть наших шифров, использованных в данной работе для обозначения списков Пролога. Правая часть этих шифров содержит индивидуальные номера рукописей в собраниях и фондах, кратко названных в левой части.

А- — Основное собр. БАН; три группы цифр справа обозначают шифр в хранилище: шкаф, полку и порядковый номер на полке.

АК- — Собр. Археографической комиссии, БАН.

АНБ- — Библиотека Академии наук Болгарии, София.

АСП- — Собр. А. С. Петрушевича, Научная библиотека им. Стефаника, Львов.
Б- — Собр. Белозерское (Кириллово-Белозерское), ГПБ.
Барс- — Собр. Барсова, ГИМ.
Блш- — Собр. Большакова, ф. 37, ГБЛ.
Вахр- — Собр. Вахрамеева, ГИМ.
ВМЧ — Великие минеи-четьи (издания).
Волг- — Собр. Вологодское, ф. 354, ГБЛ.
Встр- — Собр. Вострякова, ГИМ.
ВязФ- — Собр. Вяземского, F (фолио), ГПБ.
Горк- — Собр. Горьковской обл., ф. 732, ГБЛ.
Дамян. — Дамянов пролог, Библиотека Академии наук Болгарии, № 74.
Долг- — Собр. Долгова, ф. 92, ГБЛ.
Дур- — Собр. Дурова, ф. 96, ГБЛ.
Дурн- — рукопись Н. Н. Дурново, ф. 178, № 3405, ГБЛ
Ег- — Собр. Егорова, ф. 98, ГБЛ.
Ед- — Собр. Единоверческое, ГИМ.
Еп- — Собр. Епархиальное, ГИМ.
Заб- — Собр. Забелина, ГИМ.
КА- — Собр. Калининского областного архива, Калинин.
Калик- — Собр. Каликина, БАН.
Кв- — Собр. Основное, Q (кварта), ГПБ.
КДАЛ- — Собр. Киевской духовной академии, нумерация «по Лебедеву», ЦНБ АН УССР, Киев.
КДАП- — Собр. Киевской духовной академии, нумерация «по Петрову», ЦНБ АН УССР, Киев.
Костр- — Собр. Костромское, ф. 138, ГБЛ.
КП- — Собр. Небольших киевских хранилищ, нумерация «по Петрову», ЦНБ АН УССР, Киев.
Крел- — Собр. Карельское, ИРЛИ (Пушкинский дом).
КС- — Собр. Киевской Софии, ЦНБ АН УССР, Киев.
Л- — Собр. рукописей библиотеки ЛГУ.
ЛИРК- — Коллекция 115: Рукописные книги, ЛОИИ АН СССР, Ленинград.
Лих- — Коллекция Н. П. Лихачева: к. 238, оп. 1, ЛОИИ АН СССР.
Лобк. — Лобковский пролог, собр. Хлудова, № 187, ГИМ.
ЛОР- — Собр. Отдела рукописей, ф. 218, ГБЛ.
М- — Собр. Музейное, ф. 178, ГБЛ.
Маз- — Собр. Мазурина, ф. 196, ЦГАДА.
Макед. — Македонский пролог. См. описание: *Мошин В.* Словенски ракописи во Македонија, кн. 1. Скопје, 1971, с. 195—242.
Маркш- — Собр. Маркушевича, ф. 755, ГБЛ.
МВ- — Собр. Монастыря Вассилиан, Научная библиотека им. Стефаника, Львов.
МГУ- — Собр. рукописных книг, библиотека МГУ.
МДА- — Собр. Московской духовной академии, Фундаментальная библиотека, ф. 173, ГБЛ.
Мзс- — Собр. Музейское, ГИМ.
МихФ- — Собр. Михайловского, F (фолио), ГПБ.
Нев- — Собр. Невоструева, ф. 194, ГБЛ.
Неж- — Собр. Нежинское, ЦНБ АН УССР, Киев.
Нкиф- — Собр. Никифорова, ф. 199, ГБЛ.
НТШ- — Собр. Научного товарищества им. Шевченко, Научная библиотека им. Стефаника, Львов.
Обол- — Собр. Оболенского, ф. 201, ЦГАДА.
Овч- — Собр. Овчинникова, ф. 209, ГБЛ.
ОДПК- — Собр. ОЛДП, Q (кварта), ГПБ.
ОДПФ- — Собр. ОЛДП, F (фолио), ГПБ.
ОИДР- — Собр. ОИДР, ф. 205, ГБЛ.
Олон- — Собр. Олонецкое, ф. 212, ГБЛ.
ОНБ- — Собр. рукописей Одесской научной библиотеки им. Горького.
ПДА- — Собр. Петербургской духовной академии, отд. А, ч. I, ГПБ.

Перц- — Собр. Перетца, ИРЛИ (Пушкинский дом).
Печ. — старопечатный Пролог 1643 г.
Пинж- — Собр. Пинежское, ИРЛИ (Пушкинский дом).
Писк- — Собр. Пискарева, ф. 228, ГБЛ.
Пог- — Собр. Погодина, ГПБ.
Поп- — Собр. Попова, ф. 236, ГБЛ.
Прян- — Собр. Прянишникова, ф. 242, ГБЛ.
Ргж- — Собр. Рогожского кладбища, ф. 247, ГБЛ.
Ромч- — Собр. Романченко, БАН.
Рум- — Собр. Румянцева, ф. 256, ГБЛ.
С- — — Собр. Соловецкое основное, ГПБ.
СА- — Собр. Соловецкое Анзерское, ГПБ.
СДв- — Собр. Северодвинское, ИРЛИ (Пушкинский дом).
Син- — Собр. Синодальное, ГИМ.
СинЛ- — Собр. Синодальное, ф. 272, ГБЛ.
СнА- — Собр. Синода, ф. 834 (оп. 2 для № 1260—1298; оп. 4 для № 1616—1619; оп. 3 для № 3691—3972), ЦГИА, Ленинград.
Соф- — Собр. Софийское Новгородское, ГПБ.
СПрил. — Спасприлуцкий пролог, собр. ПДА, А, I, № 264, ГПБ.
Тип- — Собр. Библиотеки Синодальной типографии, ф. 381, ЦГАДА.
Тит- — Собр. Титова, ГПБ.
ТП- — Собр. текущих поступлений, БАН.
Трц- — Собр. Троице-Сергиевское, ф. 304, I, ГБЛ.
Тхнр- — Собр. Тихонравова, ф. 299, ГБЛ.
Ув- — Собр. Уварова, ГИМ.
Унд- — Собр. Ундольского, ф. 310, ГБЛ.
Ус- — Собр. Усова, ф. 651, ГБЛ.
УЦ- — Собр. Усть-Цилёмское, ИРЛИ (Пушкинский дом).
УЦН- — Собр. Усть-Цилёмское Новое, ИРЛИ (Пушкинский дом).
Фол- — Собр. Основное, F (фолио), ГПБ.
ФолП- — Собр. Основное, F (фолио), Пергамены, ГПБ.
Хлд- — Собр. Хлудова, ГИМ.
Хут. — Хутынский пролог, собр. Синода, ф. 834, оп. 3, № 3933, ЦГИА, Ленинград.
ЦАЛИ- — Собр. ЦГАЛИ, ф. 187, ЦГАДА.
ЦМИД- — Собр. Архива МИД, ф. 181, ЦГАДА.
ЦРС- — Рукописное собрание, ф. 188, ЦГАДА.
Чрт- — Собр. Черткова, ГИМ.
Чуд- — Собр. Чудова монастыря, ГИМ.
Щук- — Собр. Щукина, ГИМ.
ЯМ- — Собр. рукописей библиотеки Ярославского музея-заповедника, Ярославль.

Показанные на таблицах дополнительные данные об отдельных текстах позволят в дальнейшем подойти во всеоружии к установлению текстологической соотнесенности самих списков Пролога. Это особенно актуально для сложного и обильного материала списков нестишного Пролога, в котором устрашает даже число списков — свыше 300, не говоря уже о тысячах разновидностей входящих в него статей. Пока даже в предварительном плане мы не можем обосновать какое-либо разбиение его списков на виды и подвиды. К тому же в связи с заданным объемом статьи мы не можем остановиться на случаях, когда отдельные части какого-либо списка переписывали с разных оригиналов разные писцы, проводя эту работу одновременно «скорости ради» (для некоторых списков это установлено нами совершенно определенно, для других — требует дополнительных разысканий).

Таким образом, в настоящей работе введены в научный оборот более 380 списков Пролога осенне-зимней половины года, написанных в XIII—XVII вв. Подавляющее большинство их ранее было известно лишь самим хранителям рукописных собраний, причем в картотеках и описаниях они подчас были приведены с неверным указанием даже на общее их содержание: принадлежность к сентябрьской или мартовской половине года. Как свидетельствуют Листы использования рукописей, многие из них (особенно в ГИМе) со времени поступления ни разу не просматривались учеными. Нами просмотрены (неоднократно) и определены лично все рукописи. Спискам дана краткая археографическая характеристика, учитывающая и данные хранилищ, что позволит будущим исследователям ориентироваться в море разновременных и разноязычных списков. Этой цели служит отобранный методом зондирования 21 текст из числа чтений с 16 сентября по 14 января. Они отражают не только византийское, но и разное славянское письменное наследие, включая и тексты западнославянского происхождения, редкие в южнославянской и восточнославянской литературе, связанной с христианством византийского (православного) толка. Спискам дана обобщенная типологическая характеристика на уровне принадлежности к двум типам Пролога (нестишному и Стишному) и их основных редакций. Более детальным разбиениям, сопровождаемым заголовками-определениями, подвергнуты 66 списков Стишного пролога. Сложнейшие текстологические соотношения списков в пределах первых 293 номеров наглядно демонстрируют, что здесь может быть выделено множество групп и подгрупп, но наполнение их даже по отраженным в табл. 1 данным представляется зыбким и текучим. Поэтому в дальнейшем детальное изучение списков Пролога целесообразно сконцентрировать на анализе отдельных сюжетов в пределах определенных дат. Что касается текстологии Пролога как памятника письменности устойчивого состава (традиционного содержания), то его устойчивость или традиционность весьма относительны. Так, таблицы при внимательном их изучении (сначала преимущественно по вертикальным графам, потом по горизонтальным) наглядно демонстрируют следующее: 1) Весьма значительна вариабельность наполнения текстами памятных дат: количество статей на каждый день может существенно различаться. 2) Под одним общим именем могут скрываться разные персонажи, а следовательно, и разные тексты (например, отсутствие Феодоры Грекыни 30 декабря, как правило, означает наличие Феодоры Кесариды, хотя могут отсутствовать и оба сюжета). 3) В пределах годового цикла возможно перемещение самих текстов (а не памятей: ср. 29 октября и 22 декабря). 4) То же может быть в пределах дня (см. 30 ноября). 5) Кардинальное изменение самих текстов может происходить: а) путем утрат (Надежда, 17 сентября), б) путем включения отдельных сюжетов (22 декабря, текст об епархе), в) путем многословного изложения (4 декабря, текст о Варваре; 24 декабря — само Стостишие). 6) Различия могут

содержать неодинаковые факты (возраст Ярослава, 4 ноября; детали устройства бани, 4 декабря).

Изучение языка списков Пролога обнаруживает существование не только противостоящих в языковом и орфографическом отношениях восточнославянских и южнорусских списков, не только великорусских, украинских и молдавских, но и списков, имеющих выраженную диалектную принадлежность. Однако включить в настоящую статью доказательное изложение каких-либо конкретных лингвистических вопросов нет возможности. В качестве примера решения проблемы южнославянского влияния на средневековую русскую письменность на основании лингвотекстологического изучения Жития Евгении укажем нашу статью, в которой оказалось возможным сделать новые для этой проблемы заключения: «Время распространения в русской письменности орфографических особенностей, сходных с орфографией южнославянских рукописей, определяется примерно на век позже, чем это принято в нашей литературе вопроса», «ни с завоеванием Балкан турками, ни с деятельностью Киприана это явление не может быть связано» [14].

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] *Жуковская Л. П.* О якобы датированных списках Стишного пролога XV в. (Троицкое собрание ГПБ). — В кн.: История русского языка. Памятники XI—XVIII вв. М., 1982.

[2] *Бубнов Н. Ю.* Славяно-русские Прологи. — В кн.: Методическое пособие по описанию славяно-русских рукописей для «Сводного каталога рукописей, хранящихся в СССР», вып. 1. М., 1973.

[3] *Фет Е. А.* О Софийском прологе конца XII—начала XIII в. — В кн.: Источниковедение и археография Сибири. Новосибирск, 1977; *Она же.* Новые факты к истории древнерусского Пролога. — В кн.: Источниковедение литературы Древней Руси. Л., 1980.

[4] Литературный сборник XVII века. Пролог. Изд. подгот. О. А. Державина и др. Под ред. А. С. Демина. М., 1978.

[5] См., в частности: *Жуковская Л. П.* Международный симпозиум по средневековым сборникам. — В кн.: Археографический ежегодник за 1979 год. М., 1981, с. 357.

[6] Речь идет о руководстве работами по составлению Сводного каталога славяно-русских рукописей, хранящихся в СССР, наиболее древняя часть которого находится в печати: Сводный каталог славяно-русских рукописных книг, хранящихся в СССР. Вып. 1. XI—XIII вв. Ред. Л. П. Жуковская (отв. редактор), Н. Б. Тихомиров, Н. Б. Шеламанова.

[7] *Жуковская Л. П.* Типология рукописей древнерусского полного апракоса XI—XIV вв. в связи с лингвистическим изучением их. — В кн.: Памятники древнерусской письменности. Язык и текстология. М., 1968. См. Приложение 2. Рукописные источники и их сокращенные обозначения: *Она же.* Текстология и язык древнейших славянских памятников. М., 1976, Приложение. Список рукописей Евангелия X—XIV вв. и некоторых XV в. по книгохранилищам и собраниям; *Она же.* Памятники русской и славянской письменности XI—XIV вв. в книгохранилищах СССР. — Советское славяноведение, 1969, № 1.

[8] *Майоров Г. Г.* Формирование средневековой философии. М., 1979, с. 147—162, 180, 404—405.

[9] Житие Варвары (см. таблицы) в поздних списках представлено в крайне распространенном виде, когда его объем удесятеряется по сравнению с традиционным, причем известны [illegible]ые [illegible] [illegible]ые варианты его. Эта осо-

Таблица 1

РЕДАКЦИИ СПИСКОВ ПРОЛОГА НЕСТИШНОГО XII—XVII вв. (по 20 избранным памятям)

№ п/п	Шифр или название рукописи	Дата рукописи	Память и ее дата	Людмила	Вера, Надежда, Любовь	Вячеслав	Иоанн Рыльский	Иоанн Мегленский	Анастасия Римская	Священие Софии Киевской	Михаил Болгарский	Построение церкви Георгия	Апостол Андрей	Слово Ефрема	Крещение Руси апостолом Андреем	Варвара	Стефан Сурожский	Петр Московский	Анастасия	Евгения	Стостишие Евгении	Анисья	Феодора Греческая	Савва Сербский
			Извод	16.IX	17.IX	28.IX	19.X	21.X	29.X	4.XI	22.XI	26.XI	30.XI	30.XI	30.XI	4.XII	15.XII	21.XII	22.XII	24.XII		30.XII	30.XII	14.I
	I РЕДАКЦИЯ (разновидность а)																							
1	Соф-1324	XII—XIII	рус.	?	?	?	—	—	заг.	—	—	—	+	+	—	дв.	—	—	кр.	к.а	—	+	—	—
2	Лобк.	1282	рус.	—	— 2	?	?	?	?	—	?	?	+	+	—	дв.	—	—	кр.	?	—	+	—	?
3	А-4.9.20	XIII	рус.	?	?	?	—	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	—	кр.	к.а	—	?	?	?
4	Тип-159	XIII	рус.	—	— 2	—	—	?	заг.	—	С 21 ноября по 16 февраля текст утрачен													
5	Тип-163	1356	рус.	—	— 3	?	—	—	заг.	—	?	заг.	+	+	—	дв.	—	—	кр.	к.а	—	+	—	—
6	Соф-1325	XIV	рус.	?	?	—	?	—	заг.	66	?	?	?	?	?	дв.	—	—	?	?	?	?	?	—
7	Тип-154	XIV	рус.	—	— 3	заг.	—	—	заг.	заг.	—	заг.	+	+	—	?	—	—	кр.	к.а	—	+	—	—
8	Тип-155	XIV	рус.	?	?	—	—	—	заг.	66	—	заг.	+	+	—	дв.	—	—	кр.	к.а	—	+	—	—
9	Тип-158	XIV	рус.	—	— 3	—	—	—	заг.	66	—	заг.	+	+	—	дв.	—	—	кр.	к.а	—	+	—	—
10	Тип-160	XIV	рус.	—	—8 3	—	—	—	заг.	—	—	заг.	+	+	—	дв.	—	—	кр.	к.а	—	+	—	—
11	Ув-325	XIV	рус.	?	?	—	—	—	заг.	—	—	заг.	+	+	—	дв.	—	—	кр.	к.а	—	+	—	—
12	Ув-326	XIV	рус.	?	— 2	?	—	—	заг.	66	—	заг.	+	+	—	дв.	—	—	кр.	к.а	—	?	?	—
13	А-24.4.33	2 чт. XV	рус.	—	— 3	—	—	—	заг.	—	—	заг.	+	+	—	дв.	—	—	кр.	к.а	—	+	—	—
14	Ув-914	1 п. XV	рус.	—	— 2	—	—	—	заг.	—	—	заг.	+	+	—	дв.	—	—	кр.	к.а	—	+	—	—
15	СинЛ-341	до 1486	рус.	Начинается с декабря												дв.	—	—	кр.	к.а	—	+	—	—
16	Ргж-510	XV	рус.	—	?	—	—	—	заг.	—	—	(+)	(+)	(+)	(+)	дв.	—	—	кр.	к.а	—	+	—	—
17	Фол-766	XV	рус.	Начинается с декабря												дв.	—	—	кр.	к.а	—	+	—	—
18	Л-IV 68а	2 п. XV	рус.	—	— 3	—	—	—	заг.	—	—	заг.	+	+	—	дв.	—	—	кр.	к.а	—	+	—	—
19	М-3755	XV—XVI	рус.	—	— 3	—	—	—	заг.	66	—	заг.	+	+	—	дв.	—	—	кр.	к.а	—	+	—	—
20	Щук-98	XV—XVI	рус.	—	— 3	—	—	—	заг.	66	—	—	+	+	—	дв.	—	—	кр.	к.а	—	+	—	—
21	Ув-612	1513	рус.	—	— 3	заг.	заг.	—	заг.	—	—	заг.	+	+	—	+	—	—	кр.	к.а	—	+	—	—
22	Ед-69	н. XVI	рус.	?	?	?	?	?	заг.	заг.	—	заг.	+	+	—	дв.	—	—	кр.	к.а	—	+	—	—
23	Еп-669	н. XVI	рус.	?	?	—	—	—	заг.	66	—	заг.	+	?	?	дв.	—	—	кр.	к.а	—	+	—	—
24	Чрт-232	н. XVI	рус.	?	?	?	—	—	заг.	66	—	заг.	+	+	—	дв.	?	?	?	?	?	?	?	—
25	Чрт-242	1530	рус.	—	— 3	—	—	—	заг.	66	—	заг.	+	+	—	дв.	—	—	кр.	к.а	—	+	—	—
26	Ромч-94	1 п. XVI	рус.	—	— 3	—	—	—	заг.	—	—	заг.	+	+	—	дв.	—	?	кр.	к.а	—	+	—	—
27	Ув-823	1563	рус.	—	— 3	—	—	—	заг.	+	—	заг.	+	+	—	дв.	—	—	кр.	к.а	—	+	—	—
28	М-4103	ср. XVI	рус.	—	— 3	—	—	—	заг.	66	—	заг.	+	+	+	дв.	—	—	кр.	к.а	—	+	—	—
29	Соф-1330	XVI	рус.	—	— 3	—	—	—	заг.	66	—	—	+	+	—	дв.	—	—	кр.	к.а	—	+	—	—
30	Тит-2843	XVI	рус.	—	— 3	—	—	—	заг.	66	—	заг.	+	+	—	дв.	—	—	кр.	к.а	—	+	—	—
31	А-31.6.6	1586	рус.	—	—8 3	—	—	—	заг.	?	—	заг.	+	+	—	дв.	—	—	кр.	к.а	—	+	—	—
32	М-3845	2 п. XVI	рус.	—	— 2	—	—	—	заг.	65	—	заг.	+	+	—	дв.	—	—	кр.	к.а	—	+	—	—
33	Олон-6	2 п. XVI	рус.	—	— 3	—	—	—	заг.	—	—	—	+	+	—	дв.	С 7 декабря утрачено							
34	ЯМ-15504	2 п. XVI	рус.	—	— 3	—	—	—	·	66	—	заг.	+	+	—	дв.	—	·	кр.	к.а	—	+	—	—
35	ЦМИД-356	к. XVI	рус.	—	—5 3	—	—	—	заг.	—	—	заг.	+	+	+	дв.	—	—	кр.	к.а	—	+	—	—
36	Блш-222	XVII	рус.	—	— 3	—	—	—	заг.	66	—	заг.	+	+	—	дв.	—	—	кр.	к.а	—	+	—	—
	I редакция (разновидность б)																							
37	Син-239	XIII—XIV	рус.	—	— 2	—	—	—	заг.	—	—	заг.	+	+	—	дв.	—	—	кр.	ак.	—	+	—	—
38	Тип-157	XIV	рус.	—	— 2	?	?	?	?	?	—	заг.	+	+	—	дв.	—	—	кр.	ак.	—	?	?	?
39	Тип-162	к. XIV	рус.	—	— 3	—	—	—	заг.	66	—	заг.	+	+	—	дв.	—	—	кр.	ак.	—	+	—	—
40	Син-839	1425	рус.	?	?	—	—	—	?	—	—	заг.	+	+	—	дв.	—	—	кр.	ак.	—	+	—	—
41	Вахр-52	к. XV	рус.	—	— 3	—	—	—	заг.	66	—	—	+	+	—	дв.	—	—	кр.	ак.	—	+	—	—
42	Ув-813	1 п.—XVI	рус.	?	?	заг.	—	—	заг.	66	—	заг.	+	+	—	дв.	—	—	кр.	ак.	—	+	—	—
43	Ув-879	1556	рус.	?	?	—	—	—	заг.	—	—	заг.	+	+	—	дв.	—	—	кр.	ак.	—	+	—	—
44	М-4102	XVI	рус.	?	— 3	?	?	—	заг.	?	—	+	+	+	?	дв.	—	—	кр.	ак.	—	+	—	—
45	Ув-139	1588	рус.	—	— 3	—	—	—	заг.	66	—	+	+	—	—	дв.	—	—	кр.	ак.	—	+	—	—
46	М-3290	2 п. XVI	рус.	—	— 3	—	—	—	заг.	66	—	заг.	+	+	—	дв.	—	—	кр.	ак.	—	+	—	—
	I редакция (разновидность в)																							
47	Тип-156	XIII	рус.	?	?	?	?	?	заг.	заг.	—	заг.	+	+	—	дв.	—	—	кр.	к.аб	—	?	?	—
48	А-31.6.30	2 п. XV	рус.	—	— 3	—	—	—	—	—	—	заг.	+	+	—	—	—	—	кр.	к.аб	—	+	—	—
49	Фол-721	1 п. XVI	рус.	—	— 3	—	—	—	заг.	66	—	заг.	+	+	—	дв.	—	—	кр.	к.аб	—	+	—	—
50	Ув-931	XVI	рус.	—	— 3	—	—	—	заг.	—	—	заг.	+	+	—	дв.	—	—	кр.	к.аб	—	+	—	—
	I редакция (разновидность г)																							
51	Ув-955	н. XVI	рус.	—	— 3	—	—	—	заг.	—	—	—	+	+	—	дв.	—	—	кр.	к.б	—	+	—	—
	I редакция (разновидность не уточнена)																							
52	Ув-891	н. XVII	рус.	—	— 2	—	—	—	заг.	66	—	заг.	+	+	?	Декабря нет								
	II редакция Пролога нестишного																							
53	Тип-161	XIV	рус.	+	г 3	+	—	—	кр.	—	—	+	+	+	+	о	—	—	доп.	к.б	—	+	+	—
54	ОДПК-33	XIV	рус.	+	г 3	+	—	—	кр.	—	—	+	+	+	+	о	—	—	доп.	к.б	—	+	+	—
55	Пог-59	XIV	рус.	+	г 3	+	—	—	кр.	—	—	+	+	+	+	о	—	—	доп.	к.б	—	+	+	—
56	Тип-165	XIV	рус.	Нач. с октября			—	—	кр.	—	—	+	+	+	?	о	?	?	?	?	?	+	+	?
57	Син-247	2 п. XIV	рус.	+	г 3	+	—	—	кр.	?	—	+	+	+	+	о	—	—	доп.	к.б	—	+	+	—
58	Син-248	1406	рус.	+	г 3	+	—	—	кр.	?	—	+	+	+	+	о	—	—	доп.	к.б	—	+	+	—
59	ФолП-48	1432	рус.	?	г 3	+	—	—	кр.	—	—	+	?	?	?	о	—	—	доп.	к.б	—	+	+	—
60	МГУ-1376	1456	рус.	+	г 3	+	—	—	кр.	—	—	+	+	+	+	От декабря только заголовок								
61	Овч-239	XV	рус.	+	г 3	+	—	—	кр.	—	—	+	+	+	+	о	—	—	доп.	к.б	—	+	+	—
62	Пог-613	XV	рус.	+	г 2	+	—	—	кр.	—	—	+	+	+	+	о	—	—	доп.	к.б	—	+	+	—
63	Фол-773	XV	рус.	+	г 3	?	?	—	?	?	?	?	?	?	?	?	—	—	доп.	к.б	—	+	+	—
64	Фол-311	1481	рус.	+	г 3	+	—	—	кр.	—	—	+	+	+	+	о	—	—	доп.	к.б	—	+	+	—
65	А-33.19.2	2 п. XV	рус.	+	г 3	+	—	—	кр.	—	—	+	+	+	+	о	—	—	доп.	к.б	—	+	+	—
66	Тхнр-573	2 п. XV	рус.	+	г 3	+	—	—	кр.	—	—	+	+	+	+	о	—	—	доп.	к.б	—	+	+	—
67	ЯМ-15593	4 ч. XV	рус.	+	г 3	+	—	—	кр.	—	—	+	+	+	+	о	—	—	доп.	к.б	—	+	+	—
68	КА-913	XV—XVI	рус.	+	г 3	+	—	—	кр.	—	—	+	+	+	+	о	—	—	доп.	к.б	—	+	+	—
69	Ув-926	XV и XVI	рус.	+	г 3	+	—	—	кр.	—	—	+	+	+	+	о	—	—	доп.	к.б	—	+	+	—
70	Ргж-508	1519	рус.	+	г 3	+	—	—	кр.	66	—	+	+	+	+	о	—	—	доп.	к.б	—	+	+	—
71	Син-249	н. XVI	рус.	+	г 3	+	—	—	кр.	—	—	+	+	+	+	о	—	—	доп.	к.б	—	+	+	—
72	Соф-1334	н. XVI	рус.	+	г 3	+	—	—	кр.	—	—	+	+	+	+	о	—	—	доп.	к.б	—	+	+	—
73	Ув-828	н. XVI	рус.	+	г 3	+	—	—	кр.	—	—	+	+	+	+	?	—	—	доп.	к.б	—	+	+	—
74	Хлд-81д	н. XVI	рус.	+	г 3	+	—	—	кр.	—	—	+	+	+	+	о	—	—	доп.	к.б	—	+	+	—
75	А-33.8.1	1 ч. XVI	рус.	+	г 3	—	—	—	кр.	—	—	+	+	+	+	о	—	—	доп.	к.б	—	+	+	—
76	АТП-1067	20 г. XVI	рус.	+	г 3	?	—	—	кр.	66	—	+	+	+	+	о	—	—	доп.	к.б	—	+	+	—
77	Соф-1327	1532	рус.	+	г 3	+	—	—	кр.	—	—	+	+	+	+	о	—	—	доп.	к.б	—	+	+	—
78	Барс-727	1536	рус.	+	г 3	+	—	—	стш.	—	—	+	+	+	+	о	—	—	доп.	к.б	—	+	+	—
79	Ув-298	1550	рус.	+	г 3	+	—	—	кр.	—	—	+	+	+	+	о	—	—	доп.	к.б	—	+	+	—
80	М-4100	1 п. XVI	рус.	+	г 3	+	—	—	кр.	—	—	+	+	+	+	С декабря Стишной пролог (см. табл. 2)								
81	Овч-240	1 п. XVI	рус.	+	г 3	+	—	—	кр.	—	—	+	+	—	+	о	—	—	доп.	к.б	—	+	+	—
82	Пинж-51	1 п. XVI	рус.	+	г 3	+	—	—	кр.	—	—	+	+	—	+	о	—	—	доп.	к.б	—	+	+	—
83	ЛОР-1126	2 ч. XVI	рус.	+	г 3	+	—	—	кр.	—	—	+	+	+	+	о	—	—	доп.	к.б	—	+	+	—
84	МДА-IV 52	с. XVI	рус.	+	г 3	+	—	—	кр.	—	—	+	+	+	+	о	—	—	доп.	к.б	—	+	+	—
85	УЦ-146	с. XVI	рус	+	г 3	+	—	—	кр.	—	—	+	+	+	+	о	—	—	доп.	к.б	—	+	+	—
86	Вахр-353	XVI	рус.	+	г 3	+	—	—	кр.	—	—	+	+	+	+	о	—	—	доп.	к.б	—	+	+	—
87	Заб-365	XVI	рус.	+	г 3	+	—	—	кр.	—	—	+	+	+	+	о	—	—	доп.	к.б	—	+	+	—
88	Костр-15	XVI	рус.	+	г 3	+	—	—	кр	—	—	+	+	+	+	о	—	—	доп.	к.б	—	+	+	—
89	Крел-220	XVI	рус.	+	г 3	+	—	—	кр.	—	—	+	+	+	+	о	—	—	доп.	к.б	—	+	+	—
90	Маркш-4	XVI	рус.	+	г 3	+	—	—	кр.	—	—	+	+	+	+	о	—	С 16 декабря поздние восполнения						
91	Мзс-890	XVI	рус.	+	г 3	+	—	—	кр.	—	—	+	+	+	+	о	—	заг.	доп.	к.б	—	+	+	—
92	Мзс-2753	XVI	рус.	+	г 3	+	—	—	кр.	—	—	+	+	+	+	о	—	—	доп.	к.б	—	+	+	—
93	Мзс-2773	XVI	рус.	+	г 3	+	—	—	кр.	—	—	+	+	+	+	о	+	—	доп.	к.б	—	+	+	—
94	Мзс-2781	XVI	рус.	+	г 3	+	—	—	кр.	—	—	?	+	+	+	о	+	+	доп.	к.б	—	+	+	—
95	ОДПФ-240	XVI	рус.	+	г 3	+	—	—	кр.	—	—	+	+	+	+	о	—	—	доп.	к.б	—	+	+	—
96	Поп-79	XVI	рус.	+	г 3	+	—	—	кр.	—	—	+	+	+	+	о	—	—	доп.	к.б	—	+	+	—
97	Рум-320	XVI	рус.	+	г 3	+	—	—	кр.	—	—	+	+	+	+	о	—	—	доп.	к.б	—	+	+	—
98	С-697/805	XVI	рус.	+	г 3	+	—	—	кр.	—	—	+	+	+	+	о	—	—	доп.	к.б	—	+	+	—
99	Соф-1328	XVI	рус.	+	г 3	+	—	—	кр.	—	—	+	+	+	+	+	—	—	доп.	к.б	—	+	+	—
100	Соф-1329	XVI	рус.	+	г 3	+	—	—	кр.	—	—	+	+	+	+	о	—	—	доп.	к.б	—	+	+	—
101	Тит-241	XVI	рус.	+	г 3	+	—	—	кр.	—	—	+	+	+	+	о	—	—	доп.	к.б	—	+	+	—
102	Тит-1216	XVI	рус.	+	г 3	+	—	—	кр.	—	—	+	+	+	+	о	—	—	доп.	к.б	—	+	+	—
103	Тит-2159	XVI	рус.	+	г 3	+	—	—	кр.	—	—	+	+	+	+	о	—	—	доп.	к.б	—	+	+	—
104	Трц-726	XVI	рус.	+	г 3	+	—	—	кр.	—	—	+	+	+	+	о	—	—	доп.	к.б	—	+	+	—
105	Ув-199	XVI	рус.	+	г 3	+	—	—	кр.	66	—	+	+	+	+	о	—	—	доп.	к.б	—	+	+	—
106	Ув-332	XVI	рус.	+	г 3	+	—	—	кр.	—	—	+	+	+	+	о	—	—	доп.	к.б	—	+	+	—
107	Ув-673	XVI	рус.	+	г 3	+	—	—	кр.	—	—	+	+	+	+	о	—	—	доп.	к.б	—	+	+	—
108	Ув-884	XVI	рус.	+	г 3	+	—	—	кр.	66	—	+	+	+	+	о	—	—	доп.	к.б	—	+	+	—
109	Унд-225	XVI	рус.	+	г 3	+	—	—	кр.	—	—	+	+	+	+	о	—	—	доп.	к.б	—	+	+	—
110	Унд-227	XVI	рус.	+	г 3	+	—	—	кр.	—	—	+	+	+	+	о	—	—	доп.	к.б	—	+	+	—
111	Щук-408	XVI	рус.	+	г 3	+	—	—	кр.	—	—	+	+	+	+	о	+	—	доп.	к.б	—	+	+	—
112	Щук-559	XVI	рус.	+	г 3	+	—	—	кр.	66	—	+	+	+	+	о	—	—	доп.	к.б	—	+	+	—
113	ЦМИД-710	XVI	рус.	+	г 3	+	—	—	кр.	66	—	+	+	+	+	о	—	—	доп.	к.б	—	+	+	—
114	М-10301	3 ч. XVI	рус.	+	г 3	+	—	—	кр.	—	—	+	+	+	+	о	+	—	доп.	к.б	—	+	+	заг.
115	Олон-4	3 ч. XVI	рус.	+	г 3	+	—	—	кр.	—	—	+	+	+	+	о	—	—	доп.	к.б	—	+	+	—
116	Фол-910	1581	рус.	+	г 3	+	—	—	кр.	66	—	+	+	+	+	о	—	—	доп.	к.б	—	+	+	—
117	Барс-680	1593	рус.	+	г 3	+	—	—	кр.	—	—	+	+	+	—	о	—	—	доп.	к.б	—	+	+	—
118	Ув-675	к. XVI	рус.	+	г 3	+	—	—	кр.	66	—	+	+	+	+	о	—	—	доп.	к.б	—	+	+	—
119	Ув-805	к. XVI	рус.	+	г 3	+	—	—	кр.	—	—	+	+	+	+	о	—	—	доп.	к.б	—	+	+	—
120	Волг-21	XVI—XVII	рус.	+	г +	+	—	—	кр.	66	—	+	+	+	+	о	—	—	доп.	к.б	—	+	+	—
121	Ув-74	XVI—XVII	рус.	+	г 3	+	—	—	мр.	—	—	+	+	+	—	о	—	—	доп.	к.б	—	+	+	—
122	ОДПФ-45	1611	рус.	+	г 2	+	—	—	кр.	66	—	+	+	+	+	о	—	—	доп.	к.б	—	+	+	—
123	КДАЛ-414	н. XVII	рус.	+	г 3	+	—	—	кр.	—	—	+	+	+	+	о	—	—	доп.	к.б	—	+	+	—
124	ОДПФ-454	1621	рус.	+	г 3	+	—	—	кр.	—	—	+	+	+	+	о	—	—	доп.	к.б	—	+	+	—
125	Ргж-462	1622	рус.	+	г 3	+	—	—	кр.	—	—	+	+	+	+	о	—	—	доп.	к.б	—	+	+	—
126	Мзс-2364	1632	рус.	+	г 3	+	—	—	кр.	—	—	+	+	+	+	о	—	—	доп.	к.б	—	+	+	—
127	Трц-727	1632	рус.	+	г 3	+	—	—	кр.	66	—	+	+	+	+	о	—	—	доп.	к.б	—	+	+	—
128	Пинж-53	2 ч. XVII	рус.	+	?	+	?	—	кр.	—	—	+	+	+	+	о	—	—	доп.	к.б	—	+	+	—
129	УЦН-177	2 ч. XVII	рус.	+	г 3	+	—	—	кр.	—	—	+	+	+	+	о	—	—	доп.	к.б	—	+	+	—
130	КА-316	XVII	рус.	+	г 3	+	—	—	кр.	—	—	+	+	+	+	о	—	—	доп.	к.б	—	+	+	—
131	Прян-84	XVII	рус.	+	г 3	+	—	—	кр.	—	—	+	+	+	+	о	—	—	доп.	к.б	—	+	+	—
132	Ргж-492	XVII	рус.	+	г 3	+	—	—	кр.	66	—	заг.	+	+	—	о	—	—	доп.	к.б	—	+	+	—
133	Ргж-509	XVII	рус.	+	г 3	—	—	—	кр.	—	—	+	+	+	+	о	—	—	доп.	к.б	—	+	+	—
134	Тип-328	XVII	рус.	+	г 3	+	—	—	кр.	—	—	+	+	+	+	о	—	—	доп.	к.б	—	+	+	—
135	ЦМИД-666	XVII	рус.	+	г 3	+	—	—	кр.	—	—	+	+	+	+	о	—	—	доп.	к.б	—	+	+	—
136	АК-176	1681	рус.	+	г 3	+	—	—	кр.	—	—	+	+	+	+	о	—	—	доп.	к.б	—	+	+	—
	II редакция Пролога нестишного (осенней четверти)																							
137	Син-244	XIV	рус.	+	г 3	+	—	—	кр.	—	—	+	+	+	+	Декабря нет								
138	Тип-164	XIV	рус.	Нач. с октября			—	—	кр.	—	—	+	+	+	+									
139	СнА-1262	к. XV	рус.	+	г 3	+	—	—	кр.	—	—	?	?	?	?									
140	Ув-683	к. XV	рус.	+	г 3	+	—	—	кр.	66	—	?	+	+	+									
141	Писк-93	XV—XVI	рус.	+	г 3	+	—	—	кр.	—	—	+	+	+	+									
142	ОНБ-10	1504	рус.	+	г 3	+	—	—	кр.	—	—	+	+	?	?									
143	А-33.12.4	1 ч. XVI	рус.	+	г 3	+	—	—	кр.	—	—	+	+	+	+									
144	ЦРС-1176	1 тр. XVI	рус.	+	г 3	+	—	—	кр.	66	—	+	+	+	+									
145	Пог-617	1551	рус.	+	г 3	+	—	—	кр.	—	—	+	+	+	+									
146	Б-2.1241	XVI	рус.	+	г 3	+	—	—	кр.	—	—	+	?	?	?									
147	Встр-506	XVI	рус.	+	г 3	+	—	—	кр.	—	—	+	+	+	+									
148	Мзс-791	XVI	рус.	+	г 3	+	—	—	кр.	—	—	+	+	+	+									
149	Овч-242	XVI	рус.	+	г 2	+	—	—	кр.	—	—	+	+	+	?									
150	ОИДР-345	XVI	рус.	+	г 3	+	—	—	?	—	—	(+)	(+)	(+)	(+)									
151	СнА-1274	XVI	рус.	+	г 3	+	—	—	кр.	—	—	+	+	+	+									
152	Соф-1331	XVI	рус.	+	г 2	+	—	—	кр.	—	—	?	?	?	?									
153	Тит-2164	XVI	рус.	+	г 3	+	—	—	кр.	—	—	+	?	?	?									
154	Тит-3324	XVI	рус.	+	г 3	+	—	—	кр.	—	—	+	?	?	?									
155	Нкф-256	2 п. XVI	рус.	+	г 3	+	—	—	кр.	—	—	+	?	?	?									
156	Ув-685	XVI—XVII	рус.	+	г 2	+	—	—	кр.	—	—	+	+	—	+									
157	ОДПК-622	XVII	рус.	+	г 2	+	—	?	?	?	—	+	+	+	+									
	II редакция Пролога нестишного (зимней четверти)																							
158	Тип-166	XIV	рус.	Начинается с декабря												о	—	—	доп.	к.б	—	+	+	—
159	Неж-18	ок. 1538	рус.													о	—	—	доп.	к.б	—	+	+	—
160	СнА-1279	1 п. XVI	рус.													?	—	—	доп.	к.б	—	+	+	—
161	УЦ-148	2 ч. XVI	рус.													о	—	—	доп.	к.б	—	+	+	—
162	Дур-58	с. XVI	рус.													о	—	—	доп.	к.б	—	+	+	—
163	ОДПФ-16	с. XVI	рус.													о	—	—	?	к.б	—	+	+	—
164	Блш-190	XVI	рус.													?	—	—	стш.	к.б	—	+	+	—
165	Блш-193	XVI	рус.													о	—	—	доп.	к.б	—	+	+	—
166	Ег-6	XVI	рус.	До декабря Стишной пролог (см.)												о	—	—	доп.	к.б	—	+	+	—
167	ОДПФ-471	XVI	рус.													о	—	—	доп.	к.б	—	+	+	—
168	Пинж-193	XVI	рус.													о	—	—	доп.	к.б	—	+	+	—
169	Соф-1339	XVI	рус.													о	—	—	доп.	к.б	—	+	+	—
170	Тит-453	XVI	рус.	Начинается с декабря												?	—	—	доп.	к.б	—	+	+	—
171	ЯМ-15505	2 п. XVI	рус.													+	—	—	доп.	к.б	—	+	+	—
172	Тит-151	XVI—XVII	рус.													?	—	—	доп.	к.б	—	+	+	—
173	СнА-1288	до 1616	рус.													о	—	—	доп.	к.б	—	+	+	—
174	СнА-1291	XVII	рус.													о	—	—	доп.	к.б	—	+	+	—

Зак. 2113

Таблица 1 (*окончание*)

№ п/п	Шифр или название рукописи	Дата рукописи	Память и ее дата / Извод	Людмила 16.IX	Вера, Надежда, Любовь 17.IX	Вячеслав 28.IX	Иоанн Рыльский 19.X	Иоанн Мегленский 21.X	Анастасия Римская 29.X	Освящение Софии Киевской 4.XI	Михаил Болгарский 22.XI	Построение церкви Георгия 26.XI	Апостол Андрей 30.XI	Слово Ефрема 30.XI	Крещение Руси апостолом Андреем 30.XI	Варвара 4.XII	Стефан Сурожский 15.XII	Петр Московский 21.XII	Анастасия 22.XII	Евгения 24.XII	Стостишие Евгении 24.XII	Анисья 30.XII	Феодора Греческая 30.XII	Савва Сербский 14.I
	II редакция Пролога нестишного (усеченного вида а)																							
175	Тип-153	XIV	рус.	+	— 3	+	—	—	кр.	—	—	+	+	+	+	о	—	?	?	?	?	+	+	—
176	СПрил.	XIV—XV	рус.	+	— 2	?	—	—	кр.	—	—	+	+	+	+	о	—	?	?	к.б	—	+	+	—
177	Заб-363	XVI	рус.	+	— 3	+	—	—	кр.	—	—	+	+	—	+	о	?	?	?	?	?	?	?	?
178	Фол-923	XV	рус.	+	— 3	+	—	—	кр.	—	—	+	+	+	+	о	—	—	доп.	к.б	—	+	+	—
179	Костр-13	XV—XVI	рус.	+	— 3	+	—	—	кр.	—	—	+	+	+	+	о	—	—	доп.	к.б	—	+	+	—
180	КП-530/1664	н. XVI	рус.	+	— 3	+	—	—	кр.	—	—	+	+	+	+	о	—	—	доп.	к.б	—	+	+	—
181	ОДПФ-423	н. XVI	рус.	+	— 3	+	—	—	кр.	—	—	+	+	+	+	о	—	+	доп.	к.б	—	+	+	—
182	МГУ-1106	с. XVI	рус.	+	— 3	+	—	—	кр.	—	—	+	+	+	+	о	—	—	доп.	к.б	—	+	+	—
183	Мзс-448	с. XVI	рус.	+	— 2	+	—	—	кр.	—	—	+	+	+	+	о	—	—	доп.	к.б	—	+	+	—
184	Мзс-636	XVI	рус.	+	— 3	+	—	—	кр.	?	—	+	+	—	+	о	—	—	доп.	к.б	—	заг.	+	—
185	Мзс-2313	XVI	рус.	+	— 3	+	—	—	кр.	—	—	+	+	+	+	о	—	—	доп.	к.б	—	+	+	—
186	СнА-1277	XVI	рус.	+	— 3	+	—	—	кр.	—	—	+	+	+	+	о	—	—	доп.	к.б	—	+	+	—
187	СнА-1290	XVI	рус.	+	— 3	+	—	—	кр.	—	—	+	+	+	+	о	—	—	доп.	к.б	—	+	+	?
188	Тит-17	XVI	рус.	+	— 3	+	—	—	кр.	—	—	+	+	+	+	о	—	—	доп.	к.б	—	+	+	?
189	Ув-691	1585	рус.	+	— 3	+	—	—	кр.	—	—	+	+	+	+	о	—	—	доп.	к.б	—	+	+	—
190	МГУ-825	2 п. XVI	рус.	+	— 3	+	—	—	кр.	—	—	+	+	+	+	о	—	—	доп.	к.б	—	+	+	—
191	АСП-71	к. XVI	рус.	заг.	— 3	заг.	—	—	.	—	—	+	+	+	—	+	—	.	доп.	к.б	—	+	+	—
192	Мзс-454	к. XVI	рус.	+	— 3	+	—	—	кр.	66	—	+	+	+	+	о	—	—	доп.	к.б	—	+	+	—
193	Пинж-128	к. XVI	рус.	+	— 3	+	—	—	кр.	66	—	заг.	+	+	—	о	—	—	доп.	к.б	—	+	+	—
194	СнА-1276	к. XVI	рус.	+	— 3	+	—	—	кр.	66	—	+	+	+	+	о	—	—	доп.	к.б	—	+	+	—
195	МВ-795	XVI—XVII	рус.	заг.	— 3	заг.	—	—	.	—	—	—	+	+	—	о	—	.	доп.	к.б	—	+	+	—
196	ЦАЛИ-116	XVI—XVII	рус.	+	— 3	+	—	—	кр.	—	—	+	+	+	+	о	+	+	доп.	к.б	—	+	+	—
197	С-701/809	н. XVII	рус.	+	— 3	+	—	—	кр.	—	—	+	+	+	+	о	—	—	доп.	к.б	—	+	+	—
198	М-3404	2 ч. XVII	рус.	+	— 3	+	—	—	кр.	66	—	+	+	+	+	о	—	—	доп.	к.б	—	+	+	—
199	Тхнр-416	XVI	рус.	заг.	— 3	заг.	—	—	кр.	—	—	+	+	+	+	о	—	—	доп.	к.б	—	+	+	—
200	Нкф-487	XVII	рус.	+	— 3	+	—	—	кр.	—	—	+	+	+	+	2о	—	—	доп.	к.б	—	+	+	?
201	С-699/807	XVII	рус.	+	— 3	+	—	—	кр.	—	—	+	+	+	+	о	—	—	доп.	к.а	—	+	+	—
	II редакция Пролога нестишного (усеченного вида а, осенней четверти)																							
202	Ув-624	2 п. XV	рус.	+	— 3	+	—	—	кр.	—	—	+	+	+	+									
203	М-3846	н. XVI	рус.	+	— 3	+	?	—	кр.	66	—	+	+	—	+									
204	ЦАЛИ-112	с. XVI	рус.	—	—7 3	+	—	—	кр.	—	—	+	+	+	+	Декабря нет								
205	ОДПФ-493	XVI	рус.	+	— 3	+	+	+	кр.	—	—	кр.	+	—	+									
206	Ед-60	до 1612	рус.	—	— 3	+	—	—	кр.	—	—	+	+	+	+									
	II редакция Пролога нестишного (усеченного вида б)																							
207	Ув-755	2 п. XV	рус.	—	г 3	—	—	—	кр.	—	—	+	+	+	+	о	—	—	доп.	к.б	—	+	+	—
208	Ув-544	к. XV	рус.	—	г 3	—	—	—	кр.	—	—	+	+	+	+	о	—	—	доп.	к.б	—	+	+	—
209	СнА-1275	XVI	рус.	—	г 3	—	—	—	кр.	—	—	+	+	—	+	о	—	—	доп.	к.б	—	+	+	—
210	Ег-1671	н. XVII	рус.	—	г 3	—	—	—	кр.	—	—	+	+	+	+	Декабря нет								
211	Тхнр-628	до 1634	рус.	—	г 3	—	—	—	кр.	—	—	+	+	+	+	о	Далее Стишной (см.)							
212	МВ-674	1632	рус.	—	г 3	—	—	—	.	—	—	?	+	+	—	о	—	.	доп.	к.б	—	+	+	—
213	М-4101	до 1691	рус.	—	г 3	—	—	—	кр.	—	—	+	+	+	+	о	+	+	доп.	к.б	—	+	+	—
214	Овч-241	XVII	рус.	—	г 3	—	—	—	кр.	—	—	+	+	+	+	о	—	—	доп.	к.б	—	+	+	—
215	Тит-634	XVII	рус.	—	г 3	—	—	—	кр.	—	—	+	+	+	+	о	—	—	доп.	к.б	—	+	+	—
	II редакция Пролога нестишного (усеченного вида в)																							
216	Фол-756	XV	рус.	—	— 3	—	—	—	кр.	—	—	заг.	+	—	+	о	—	—	доп.	к.б	—	+	+	—
217	МихФ-222	XV—XVI	рус.	—	— 3	—	—	—	кр.	—	—	+	+	+	+	о	—	—	доп.	к.б	—	+	+	—
218	Ув-498	н. XVI	рус.	?	— 2	—	—	—	кр.	—	—	+	+	+	+	о	+	—	доп.	к.б	—	+	+	—
219	ВязФ-135	XVI	рус.	—	— 3	—	—	—	кр.	—	—	+	+	+	+	о	—	—	доп.	к.б	—	+	+	—
220	Мзс-562	XVI	млд.	—	— 3	заг.	—	—	кр.	—	—	+	+	+	?	о	—	—	доп.	к.б	—	+	+	—
221	СнА-3691	XVI	рус.	—	— 3	—	—	—	кр.	—	—	—	+	+	+	о	—	—	доп.	к.б	—	+	+	—
	II редакция Пролога нестишного (вид не уточнен)																							
222	Кв-314	XIV—XV	рус.	Начинается с ноября						—	—	+	+	+	+	о	—	—	доп.	к.б	—	+	+	—
223	Пог-608	XV	рус.	?	?	?	—	—	кр.	66	—	+	+	+	+	к	—	—	доп.	к.б	—	+	+	—
224	СнА-1263	XV	рус.	Начинается с ноября						?	?	+	+	+	+	о	—	—	доп.	к.б	—	+	+	—
225	Тит-2494	XV	рус.	?	— 3	?	—	—	?	—	—	?	+	+	+	?	?	—	?	к.б	—	+	+	—
226	Фол-903	XV	рус.	?	?	?	—	—	кр.	—	—	+	+	+	+	о	—	—	доп.	к.б	—	+	+	—
227	ЛИРК-126	2 п. XV	рус.	Нач. с октября			—	—	кр.	—	—	+	+	—	+	о	—	—	доп.	к.б	—	+	+	—
228	Мзс-389	к. XV	рус.	?	?	+	—	—	кр.	—	—	+	+	+	+	о	—	—	доп.	к.б	—	+	+	—
229	СнА-1270	XV—XVI	рус.	?	?	+	—	—	кр.	—	—	+	+	+	+	к	—	—	доп.	к.б	—	+	+	—
230	СнА-1616	2 ч. XVI	рус.	?	?	?	—	—	кр.	—	—	заг.	+	+	+	о	—	—	доп.	к.б	—	+	+	—
231	МГУ-1314	с. XVI	рус.	?	?	+	—	—	кр.	—	—	+	+	+	—	о	—	—	доп.	к.б	—	+	+	—
232	А-33.8.2	XVI	рус.	?	?	?	—	—	?	—	—	+	+	+	+	о	—	—	доп.	к.аб	—	+	+	—
233	Нев-18	XVI	рус.	+	?	+	—	—	кр.	—	—	+	+	+	+	о	—	—	доп.	к.б	—	+	+	—
234	СДв-3	XVI	рус.	?	?	—	—	—	кр.	—	—	?	?	?	?	о	+	—	доп.	к.б	—	+	+	—
235	Тит-2687	XVI	рус.	Начинается с ноября						?	?	?	+	—	+	о	—	—	доп.	к.б	—	+	+	—
236	Тит-3449	XVI	рус.	?	?	?	—	—	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	доп.	к.б	—	?	+	?
237	Ув-771	XVI	рус.	?	?	?	—	—	кр.	—	—	—	+	+	+	о	—	—	доп.	к.б	—	+	+	—
238	КС-273/131С	к. XVI	рус.	?	?	+	—	—	кр.	66	—	+	+	—	—	о	—	—	доп.	к.б	—	+	+	—
239	Пинж-468	2 ч. XVII	рус.	?	?	?	—	—	кр.	—	—	+	+	+	+	о	—	—	доп.	к.б	—	+	+	—
	ПРОЛОГИ НЕСТИШНЫЕ, СОДЕРЖАЩИЕ ТЕКСТЫ I и II РЕДАКЦИЙ																							
	I редакция с включением II																							
240	Тит-226	XV	рус.	—	— 3	заг.	—	—	кр.	заг.	—	заг.	+	—	+	дв.	—	—	кр.	к.а	—	+	—	—
241	КА-1357	XVI	рус.	—	—8 3	—	—	—	кр.у	—	—	заг.	+	+	—	дв.	—	—	кр.	к.а	—	+	—	—
242	Ег-876	XVI	рус.	—	— 2	—	—	—	заг.	66	—	—	+	+	—	о	—	—	кр.	к.а	—	+	—	—
243	Перц-17	2 п. XVI	рус.	—	— 3	—	—	—	заг.	66	—	—	+	+	—	о	—	—	кр.	к.а	—	+	—	—
	II редакция, сменяющаяся I																							
244	Мзс-1074	XV	рус.	+	г 3	+	—	—	кр.	—	—	+	+	—	+	о	—	—	кр.	к.а	—	+	+	?
245	Пинж-363	XV—XVI	рус.	+	г 3	+	—	—	кр.	—	—	заг.	+	+	(+)	о	—	—	кр.	к.а	—	+	—	—
246	А-33.12.1	2 ч. XVI	рус.	+	г 3	?	—	—	заг.	66	—	заг.	+	+	—	дв.	—	—	кр.	ак.	—	+	—	—
247	Блш-192	XVI	рус.	+	г 3	+	—	—	кр.	—	—	заг.	+	+	—	дв.	—	—	кр.	к.а	—	+	—	—
248	Л-112	XVI	рус.	+	г 3	+	—	—	кр.	—	—	заг.	+	+	—	дв.	—	—	кр.	к.а	—	+	—	—
249	Пог-616	XVI	рус.	+	г 10 2	+	—	—	кр.	—	—	+	+	+	+	+	—	—	кр.	к.а	—	+	—	—
250	Ув-738	XVI	рус.	+	г 3	+	—	—	кр.	—	—	?	+	(+)	—	?	—	—	кр.	к.а	—	?	?	—
251	ЯМ-15033	XVI	рус.	+	г 3	+	—	—	кр.	—	—	заг.	+	+	—	+	—	—	кр.	к.а	—	+	+	—
252	МВ-1267	1621	рус.	+	г 3	+	—	—	.	66	—	+	+	—	+	.	—	.	кр.	к.а	—	+	+	—
253	ПДАА-6	XVI	рус.	+	— 3	+	—	—	кр.	—	—	заг.	+	+	—	дв.	—	—	кр.	к.а	—	+	—	—
254	Ув-933	XVI—XVII	рус.	+	— 3	+	—	—	кр.	—	—	+	+	+	+	дв.	—	—	кр.	ак.	—	+	—	—
255	Трц-33-А	XIV	рус.	—	г 10 3	—	—	—	заг.	—	—	+	+	+	?	дв.	—	—	кр.	ак.	—	+	—	—
256	Барс-724	XV	рус.	—	г 3	—	—	—	?	66	—	—	+	—	+	?	?	?	кр.	к.а	—	+	—	—
257	Барс-682	к. XV	рус.	—	г 3	—	—	—	кр.	—	—	+	+	+	+	дв.	—	—	кр.	ак.	—	+	—	—
258	Щук-100	1547	рус.	—	г 3	—	—	—	заг.	—	—	+	+	+	+	дв.	—	—	кр.	к.а	—	+	—	—
259	Мзс-1317	н. XVI	рус.	—	г 2	—	—	—	заг.	—	—	+	+	+	+	о	—	—	кр.	к.а	—	+	+	?
260	Тхнр-184	XV (и XVI)	рус.	Начинается с декабря												о	—	—	кр.	к.а	—	+	+	—
	II редакция с включением I																							
261	Пинж-52	XV—XVI	рус.	+	г 3	—	—	—	заг.	66	—	заг.	+	+	+	о	+	—	доп.	к.б	—	+	+	—
262	Заб-368	XVI	рус.	+	г 3	+	—	—	кр.	66	—	+	+	+	+	дв.	—	+	доп.	к.б	—	+	+	—
263	КА-1383	XVII	рус.	+	г 3	+	—	—	заг.	—	—	+	+	+	+	о	—	—	доп.	к.б	—	+	+	—
	Разные обновленные редакции (с объединением двух текстов об Андрее)																							
264	Соф-1374	до 1513	рус.	—	— 3	—	—	—	заг.	66	—	заг.	+	+	+	дв.	—	—	кр.	к.а	—	+	—	—
265	Ув-902	XVI	рус.	(+)	(— 3)	(+)	—	—	заг.	66	—	заг.	+	+	+	дв.	—	—	кр.	к.а	—	+	—	—
266	Перц-51	2 п. XVI	рус.	—	— 3	—	—	—	заг.	66	—	заг.	+	+	+	дв.	—	—	кр.	к.а	—	+	—	—
267	СнА-1617	с. XVI	рус.	+	— 3	+	—	—	кр.	—	—	+	+	+	+	о	—	—	доп.	к.б	—	+	+	—
268	Нев-17	XVI	рус.	+	г 3	+	—	—	кр.	—	—	+	+	+	+	о	—	—	доп.	к.б	—	+	+	—
269	Трц-725	XVI	рус.	+	г 3	+	—	—	кр.	—	—	+	+	+	+	о	—	—	доп.	к.б	—	+	+	—
270	Вахр-733	2 п. XVI	рус.	?	?	?	—	—	кр.	—	—	+	+	+	+	о	—	—	доп.	к.б	—	+	+	—
271	М-3471	2 ч. XVII	рус.	+	— 3	+	—	—	кр.	—	—	+	+	+	+	Декабря нет								
272	Обол-74	XVII	рус.	+	г 3	+	+	+	кр.	66	—	заг.	+	+	+	о, 2о	+	+	доп.	к.б	—	+	+	—
273	КДАП-178	ок. 1643	рус.	+	— 3	—	+	+	стш.	66	—	+	+	+	+	2 о	+	+	кр.	к.а	—	+	—	+
	Исправленная летописная редакция Iа																							
274	Волг-19	до 1516	рус.	—	— 3	—	—	—	заг.	62	—	—	+	+	—	дв.	—	—	кр.	к.а	—	+	—	—
275	Хлд-77д	н. XVI	рус.	—	— 3	—	—	—	заг.	62	—	заг.	+	+	—	дв.	—	—	кр.	к.а	—	+	—	—
276	Пинж-56	XVI	рус.	—	— 3	—	—	—	заг.	62	—	заг.	+	+	—	дв.	—	—	кр.	к.а	—	+	—	—
277	Ув-922	XVI	рус.	—	— 3	—	—	—	заг.	62	—	заг.	+	+	—	дв.	—	—	кр.	к.а	—	+	—	—
278	Ег-1299	к. XVI	рус.	—	— 3	—	—	—	заг.	62	—	заг.	+	+	—	дв.	+	—	?	к.а	—	+	—	+
	Исправленная летописная редакция Iб (и производные разновидности)																							
279	Пог-601	XV—XVI	рус.	—	— 3	заг.	—	—	заг.	62	—	заг.	+	+	—	дв.	—	—	кр.	ак.	—	+	—	—
280	Ув-562	до 1530	рус.	—	— 3	+	—	—	заг.	62	—	заг.	+	+	—	дв.	—	—	кр.	ак.	—	+	—	—
281	Тит-1493	до 1538	рус.	—	— 3	заг.	—	—	заг.	62	—	заг.	+	+	—	о	+	+	кр.	ак.	—	+	—	—
282	Барс-679	XVI	рус.	—	— 3	заг.	+	—	заг.	62	—	заг.	+	+	—	дв.	+	+	кр.	ак.	—	+	—	—
283	Встр-128	XVI	рус.	—	— 3	заг.	+	—	заг.	62	—	заг.	+	+	—	дв.	+	+	кр.	ак.	—	+	—	+
284	Долг-39	XVI	рус.	—	— 3	заг.	заг.	—	заг.	62	—	заг.	+	+	—	дв.	+	+	кр.	ак.	—	+	—	+
285	Калик-34	XVI	рус.	—	— 3	—	—	—	заг.	62	—	заг.	+	+	—	дв.	—	—	кр.	ак.	—	+	—	—
286	Тит-1220	XVI	рус.	—	— 3	заг.	+	—	заг.	62	—	заг.	+	+	—	дв.	+	+	кр.	ак.	—	+	—	+
287	Фол-297	XVI	рус.	+	— 3	—	+	—	заг.	62	—	заг.	+	+	—	дв.	—	—	кр.	ак.	—	+	—	—
288	Ег-763	к. XVI	рус.	—	— 3	заг.	—	—	заг.	62	—	заг.	+	+	—	дв.	+	+	кр.	ак.	—	+	—	+
289	СнА-1619	к. XVI	рус.	—	— 3	заг.	—	—	заг.	62	—	заг.	+	+	—	дв.	—	—	кр.	ак.	—	+	—	—
290	ЦАЛИ-117	XVI—XVII	рус.	—	— 3	заг.	+	—	заг.	62	—	—	+	+	—	дв.	+	+	кр.	ак.	—	+	—	—
291	Перц-36	XVI	рус.	?	?	?	—	—	заг.	62	Далее утрачено													
	Исправленная летописная II редакция																							
292	Барс-687	XVI	рус.	+	г 3	+	—	—	кр.	62	—	+	+	+	+	о	—	—	доп.	к.б	—	+	+	—
293	С-698/806	н. XVII	рус.	+	г 3	+	—	—	кр.	62	—	+	+	+	+	о	—	—	доп.	к.б	—	+	+	—
	Исправленная летописная I редакция с пространными статьями																							
294	М-3680	с. XVI	рус.	—	— 3	—	—	—	заг.	62	—	—	+	Т	—	дв., пр	—	—	кр.	к.а	—	+	+	—
	Прологи нестишные и сборники с пространными статьями																							
295	Горк-103	1 п. XVI	рус.	+	— 3	+	—	—	кр.	66	—	+	+	+	+	2о, пр.	—	—	кр.	к.а	—	+	+	—
296	Писк-95	2 ч. XVI	рус.	—	—	—	—	—	кр.	—	—	+	+	+	+	пр.	—	—	—	—	—	—	—	—
297	А-13.8.2	с. XVI	рус.	?	?	?	—	—	заг.	—	—	+	+	+	—	2о, стш.	—	—	кр.	к.а	—	+	+	—
298	Б-11.1250	XVII	рус.	+	г 3	+	+	—	кр.	—	—	+	+	+	+	2о, пр.	+	+	доп.	к.б	—	+	+	—
299	НТШ-322	XVII	укр.	—	пр.	—	—	—	.	—	—	—	пр.	—	—	2о, пр.	—	.	пр.	пр.	—	+	—	—
300	Рум-325	XVII	укр.	—	ос.	—	—	—	ос.	—	—	ос.	пр.	—	—	пр.	—	—	ос.	ос.	—	—	—	—
301	МГУ-1303	XVI—XVII	рус.	—	—	—	—	—	—	—	—	+	+	—	+	2о, пр.	—	+	—	—	—	—	—	—
302	ЦАЛИ-113	к. XVI	рус.	—	—	—	+	—	—	—	—	+	+	—	+	2о, пр.	—	+	—	—	—	—	—	—
303	С-707/815	XVII	рус.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	+	+	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Прологи нестишные (не определенные нами), сборники и Великие минеи-четьи																							
304	Ув-83	XIV	рус.	—	—	—	—	—	—	—	—	заг.	—	+	—	?	—	—	—	—	—	—	—	?
305	Ув-96	XIV	рус.	—	— 3	—	?	?	?	66	—	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	—
306	Писк-92	1484	рус.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	+	—	+	о	—	—	—	к.б	—	—	—	—
307	Ув-240	н. XVI	рус.	?	?	+	—	—	—	—	—	+	+	—	+	—	—	—	—	—	—	—	—	?
308	Маз-637	XVI	рус.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	+	—	+	о	—	—	—	—	—	—	—	—
309	Ув-751	XVI	рус.	Стишной пролог (см.)						—	—	+	+	+	+	Декабря нет								
310	ВМЧ	XVI	рус.	+	г 3	+	+	+	кр.	—	—	?	?	?	?	о, 2о	+	+	доп.	к.б	—	+	—	?
	Пролог нестишной южнославянской редакции																							
311	Рум-319	XIII—XIV	срб.	?	?	?	заг.	—	—	—	—	—	+	—	—	о	—	—	кр.	к.а	—	+	—	—
312	АНБ-72	XIII—XIV	блг.	?	?	?	?	+	?	?	?	—	?	?	?	?	?	—	кр.	+	?	+	?	—
313	Ув-70	XIII—XIV	срб.	—	— 3	—	+	—	заг.	—	—	—	+	—	—	о	—	—	кр.	к.а	—	+	—	—
314	Пог-58	1339	блг.	?	— 2	?	—	—	—	—	—	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	—
315	Унд-75	XIV	срб.	—	— 3	—	—	—	—	—	—	—	+	—	—	о	—	—	кр.	к.а	—	+	—	—
316	Хлд-189	XIV	срб.	—	— 2	—	—	—	—	—	—	—	+	—	—	о	—	—	кр.	к.а	—	+	—	—
317	Хлд-191	XIV	блг.	?	?	?	—	—	—	—	—	—	+	—	—	о	—	—	кр.	к.а	—	+	—	—

Таблица 2

РЕДАКЦИИ И ВИДЫ СПИСКОВ СТИШНОГО ПРОЛОГА XIV—XVII вв. (по 20 избранным памятям)

№ п/п	Шифр или название рукописи	Дата рукописи	Память и ее дата	Людмила	Вера, Надежда, Любовь	Вячеслав	Иоанн Рыльский	Иоанн Мегленский	Анастасия Римская	Освящение Софии Киевской	Михаил Болгарский	Построение церкви Георгия	Апостол Андрей	Слово Ефрема	Крещение Руси апостолом Андреем	Варвара	Стефан Сурожский	Петр Московский	Анастасия	Евгения	Стостишие Евгении	Анисья	Феодора Греческая	Савва Сербский
			Извод	16.IX	17.IX	28.IX	19.X	21.X	29.X	4.XI	22.XI	26.XI	30.XI	30.XI	30.XI	4.XII	15.XII	21.XII	22.XII	24.XII		30.XII	30.XII	14.I
	СТИХОВАЯ РЕДАКЦИЯ																							
	Южнославянские списки																							
1	Макед.	1385—1390	срб.	—	+	—	+	—	стш.	—	+	—	+	—	—	+	—	—	фарм.	стш.	+	+	—	+
2	АНБ-73	2 п. XIV	блг.	—	—? 3	—	+	+	стш.	—	+	—	+	—	—	2 о	—	—	фарм.	стш.	+	+	—	—
3	Дамян.	XIV—XV	блг.	—	—? 3	—	+	+	стш.	—	+	—	+	—	—	2 о	—	—	фарм.	стш.	+	+	—	?
4	ОНБ-107	XIV	срб.	—	—20 3	—	—	—	стш.	—	—	Далее утрачено												
5	Хлд-190	XIV	блг.	?	?	?	?	+	стш.	?	+	—	+	—	?	Декабря нет								
6	Хлд-192	1541	срб.	—	—20 3	—	+	+	стш.	—	+	—	+	—	—	2 о	—	—	фарм.	стш.	+	+	—	+
7	А-13.7.13	XVI	блг.	?	?	?	+	?	стш.	—	+	—	+	—	—	2 о	—	—	фарм.	стш.	+	+	—	—
	Троицкий вид (или: русская I редакция)																							
8	Трц-717	XV	рус.	—	—20 3	—	+	+	стш.	Пролог на июнь—октябрь														
9	Трц-718	XVI	рус.	—	—20 3	—	+	+	стш.	Пролог на июнь—октябрь														
10	Трц-720	до 1469	рус.	Начинается с ноября						—	+	—	+	—	+	2 о	—	—	фарм.	стш.	+	+	—	+
11	Трц-721	1523—1529	рус.							—	+	—	+	—	+	2 о	—	—	фарм.	стш.	+	+	—	+
12	Трц-722	XVI	рус.							—	+	—	+	?	+	2 о	—	—	фарм.	стш.	+	+	—	+
	Белозерский вид																							
13	Б-1.1240	1452	рус.	Начинается с декабря												2 о	—	—	фарм.	стш.	+	+	—	+
14	Олон-1	2 п. XV	рус.													2 о	—	—	фарм.	стш.	+	+	—	+
15	СнА-3934	4 ч. XV	рус.													2 о	—	—	фарм.	стш.	+	+	—	+
16	Встр-1029	XV и XVI	рус.													?	—	—	фарм.	стш.	+	+	—	?
17	СнА-1278	к. XV и XVI	рус.													2 о	—	—	фарм.	стш.	+	+	—	+
18	СнА-3972	XVI	рус.													2 о	—	—	фарм.	стш.	+	+	—	+
19	Соф-1338	XVI	рус.													2 о	—	—	фарм.	стш.	+	+	—	+
20	Соф-1387	XVI	рус.													2 о	—	—	фарм.	стш.	+	?	?	+
21	ЯМ-15519	XVI	рус.													2 о	—	—	фарм.	стш.	+	+	—	+
22	Нкф-496	XVI	молд.	Только декабрь												2 о	—	—	фарм.	стш.	+	+	—	
23	Тхнр-452	2 п. XVI	рус.	Начинается с декабря												2 о	—	—	фарм.	стш.	+	+	—	+
24	КА-1184	XVI—XVII	рус.	Начинается с декабря												2 о	—	—	фарм.	стш.	+	+	—	+
25	Тхнр-628	до 1634	рус.	Стишной пролог начинается после 4 декабря (до него — II редакция)													—	—	фарм.	стш.	+	+	—	+
	Хутынский вид																							
26	Хут.	1479	рус.	+	—20 3	+	+	+	стш.	—	—	+	←	+	→	Декабрь см. выше в СнА-3934								
27	Лих-464	1 п. XVI	рус.	+	—20 3	+	+	+	стш.	—	—	+	←	+	→	2 о	—	—	фарм.	стш.	+	+	—	?
	Университетский вид																							
28	МГУ-818	1 тр. XVI	рус.	—	— 3	?	+	+	стш.	—	+	—	+	—	—	2 о	—	—	фарм.	стш.	+	+	—	+
29	ОДПФ-477	к. XVI	рус.	—	— 3	—	+	+	стш.	—	+	—	+	—	+	2 о	—	—	фарм.	стш.	+	+	—	+
30	С-700.808	до 1631	рус.	—	— 3	—	+	+	стш.	—	+	—	+	—	+	2 о	—	—	фарм.	стш.	+	+	—	+
31	Ег-43	XVII	рус.	+	г 3	+	+	+	стш.	—	+	+	+	—	+	2 о	—	—	фарм.	стш.	+	+	—	+
32	Барс-685	XVII	укр.	+	— пр.	+	+	+	стш.	—	—	ос.	+	—	—	2 о	—	—	фарм.	стш.	+	?	?	?
	НЕОПРЕДЕЛЕННАЯ РЕДАКЦИЯ																							
	Синодско-Костромской вид																							
33	СнА-1261	к. XV	рус.	—	—20 3	—	+	+	стш.	—	+	+	?	?	?	Декабря нет								
34	А-25.1.31	н. XVI	рус.	—	—20 3	—	+	+	стш.	—	+	+	?	?	?									
35	Олон-3	1 ч. XVI	рус.	—	—20 3	—	+	+	стш.	—	+	—	+	—	+									

Зак. 2113

Таблица 2 (*окончание*)

№ п/п	Шифр или название рукописи	Дата рукописи	Память и ее дата	Людмила	Вера, Надежда, Любовь	Вячеслав	Иоанн Рыльский	Иоанн Мегленский	Анастасия Римская	Освящение Софии Киевской	Михаил Болгарский	Построение церкви Георгия	Апостол Андрей	Слово Бурмы	Крещение Руси апостолом Андреем	Варвара	Стефан Сурожский	Петр Московский	Анастасия	Евгения	Стостишие Евгении	Анисья	Феодора Греческая	Савва Сербский
			Изво,(	16.IX	17.IX	28.IX	19.X	21.X	29.X	4.XI	22.XI	26.XI	30.XI	30.XI	30.XI	4.XII	15.XII	21.XII	22.XII	24.XII		30.XII	30.XII	14.I
36	Соф-1333	1549	рус.	—	—20 3	—	+	+	стш.	—	+	—	+	—	+	Декабря нет								
37	КА-674	XVI	рус.	—	—20 3	—	+	+	стш.	—	+	—	?	?	?									
38	Лих-483	XVI	рус.	—	—20 3	—	+	+	стш.	—	+	+	+	—	+									
39	Соф-1332	XVI	рус.	—	—20 3	—	+	+	стш.	—	+	+	+	—	+									
40	Соф-1362	XVI	рус.	—	—20 3	—	+	+	стш.	—	+	?	?	?	?									
41	Барс-729	1584	укр.	—	—20 3	—	+	+	стш.	—	+	+	+	—	+									
42	Б-12.1251	XVI—XVII	рус.	—	—20 3	—	+	+	стш.	—	+	+	+	—	+									
43	Олон-8	н. XVII	рус.	—	—20 3	—	+	+	стш.	—	+	?	+	—	+									
44	Костр-14	1 п. XVI	рус.	+	—20 3	+	—	+	стш.	—	+	+	+	—	+									
45	Ув-751	XVI	рус.	+	—20 3	+	+	+	стш.	Ноябрь — Пролог нестишной (см.)														
										Забелинско-хутынский вид														
46	Заб-370	XVI	рус.	—	— 3	—	+	+	стш.	—	+	—	+	+	+	Декабря нет								
47	Соф-1386	XVI	рус.	+	— 3	+	+	—	стш.	—	—	+	+	+	+									
48	Ус-44	2 п. XVI	рус.	—	— 3	—	+	+	стш.	—	+	—	+	+	+									
										Забелинско-титовский вид														
49	Тит-1218	XVI	рус.	—	— 3	—	+	+	стш.	—	+	—	+	—	+	Декабря нет								
50	Ег-6	XVI	рус.	+	— 3	+	+	+	стш.	—	—	+	?	?	?	Далее Пролог нестишной								
										СОБСТВЕННО СТИШНАЯ РЕДАКЦИЯ (или: русская редакция)														
										Епархиально-хутынский вид														
51	Ен-482	XV	рус.	—	—20 3	—	+	+	стш.	66	—	заг.	+	+	+	2 о	—	—	фарм.	стш.	—	+	—	+
52	Ромч-93	1 ч. XVI	рус.	—	—20 3	—	+	+	?	66	—	заг.	+	+	+	2 о	—	—	фарм.	стш.	—	+	—	+
										Епархиально-анзерский вид														
53	СА-59.1425	1633	рус.	—	—20 3	—	+	+	стш.	—	+	+	+	—	+	2 о	—	—	фарм.	стш.	—	+	—	+
54	Тип-327	XVI	рус.	+	—20 3	+	?	+	стш.	—	+	+	+	+	+	2 о	—	?	?	?	?	+	—	+
										Уваровско-хутынский вид														
55	Ув-56	3 ч. XV	рус.	+	—10 3	+	+	+	стш.	66	?	+	+	+	+	2 о	—	—	фарм.	стш.	—	+	—	+
56	Ег-214	1518	рус.	+	—10 3	+	+	+	стш.	66	—	+	+	+	+	2 о	—	+	фарм.	стш.	—	+	—	+
57	Тит-1429	XVI	рус.	+	—10 3	+	+	+	стш.	66	?	+	+	+	+	2 о	—	+	фарм.	стш.	—	+	—	?
58	НТШ-237	XVI—XVII	рус.	Сентября нет			+	+	·	66	?	+	+	+	+	2 о	·	·	?	стш.	—	·	·	?
59	Ег-809	1611	рус.	+	—10 3	+	+	+	стш.	66	—	+	+	+	+	2 о	—	+	фарм.	стш.	—	+	—	+
										Забелинско-академический вид														
60	ПДА-271	к. XVI	рус.	+	—	+	+	+	стш.	—	+	+	+	+	+	2 о	—	—	—	стш.	—	—	+	+
61	Тит-1187	XVII	рус.	—	— 3	+	—	—	стш.	—	—	+	—	—	+	—	—	—	фарм.	—	—	—	—	—
										Разные и неясные виды собственно стишной редакции														
62	М-4100	1 п. XVI	рус.	До декабря Пролог нестишной												2 о	—	—	фарм.	стш.	—	+	—	+
63	ОДПФ-484	XVI	рус.	Начинается с декабря												2 о	—	—	фарм.	стш.	—	+	—	+
64	СнА-1293	XVI	рус.	См. СнА-1298			+	+	стш.	—	+	+	+	+	+	2 о	+	+	фарм.	стш.	—	+	+	+
65	СнА-1298	XVI	рус.	+	— 3	+	Пролог на июнь—сентябрь (тетради 1—13), далее см. СнА-1293 (тетради 14 и след.)																	
66	Дурн.	2 п. XVII	рус.	кр.	— 3	+	—	—	кр.	заг.	заг.	заг.	заг.	—	+	2 о	+	+			—	+	—	заг.
67	Печатный	1643	рус.	+	— 3	+	+	+	стш.	—	+	+	+	+	+	2 о	+	+	фарм.	стш.	—	+	+	+

бенность связана с культом Варвары, жившей в нач. IV в., сначала погребенной в Гелиополе в Финикии, затем перезахороненной в Константинополе. В 1108 г. ее мощи были перенесены из Константинополя в Киев Варварой, дочерью византийского императора Алексея Комнена, вышедшей замуж за великого князя Святополка II (Михаила). Как ценнейшее приданое они были положены в Михайловском (по имени патрона супруга) Златоверхом монастыре. Считалось, что Варвара спасает от внезапной насильственной смерти. О четком знании дня памяти Варвары свидетельствует поговорка: «Варюха — береги нос, да ухо», ибо после 4 декабря по народным приметам начинались особенно сильные морозы.

[10] Подобные описания представлены в труде: Предварительный список славяно-русских рукописей XI—XIV вв., хранящихся в СССР (для «Сводного каталога рукописей, хранящихся в СССР, до конца XIV в. включительно»). — В кн.: Археографический ежегодник за 1965 год. М., 1966, где кратчайшие археографические сведения о рукописи занимают не менее двух-трех строк печатного текста.

[11] Согласно господствующей точке зрения, «Слова» были внесены в древнерусский Пролог позднее перевода житийной части его. Подробнее см.: *Фет Е. А.* О Софийском прологе. . ., с. 79—81. Поэтому и сами византийские статьи в дальнейшем надо анализировать дифференцированно.

[12] Подробнее см.: *Жуковская Л. П.* О южнославянском влиянии XIV—XV вв. (на материале проложного Жития Евгении). — В кн.: Язык и письменность среднеболгарского периода. М., 1982; собственно Стостишие рассматривается и цитируется на с. 32, 35—45.

[13] *Аверинцев С. С.* Доклад «Об одном общетеоретическом аспекте изучения истории византийской литературы». Прочитан 23 декабря 1981 г. в Институте мировой литературы им. А. М. Горького АН СССР.

[14] *Жуковская Л. П.* О южнославянском влиянии. . ., с. 50; см. также: *Жуковская Л. П.* О втором южнославянском влиянии. — In: Die slawischen Sprachen, Bd. 2. Zalzburg, 1982.

В. К. Журавлев

ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ХРОНОЛОГИЯ ПРАСЛАВЯНСКИХ ПРОЦЕССОВ ПО ДАННЫМ ВНЕШНЕЙ И ВНУТРЕННЕЙ РЕКОНСТРУКЦИИ

Выдающиеся успехи славянской компаративистики позволили еще в 20-е годы поставить вопрос о создании истории праславянского языка. Автор одного из первых очерков «истории доисторической эпохи» славянских языков П. Бузук [2] историю праславянского языка понимал как относительную хронологию древнейших изоглосс. В настоящее время наука располагает несколькими опытами последовательной датировки звуковых изменений праславянского языка (П. Бузук, Ч. Бидуэл, Н. Трубецкой, Т. Лер-Сплавинский, А. Лампрехт, З. Штибер, К. Эбелинг и др.). Усилия исследователей сосредоточиваются на точной датировке ($\pm$25 лет) праязыковых процессов. Это, естественно, не снимает спорности решения традиционных проблем относительной хронологии (место бодуэновской палатализации и др.). Увлечение

проблемами абсолютной хронологии отодвинуло на задний план проблемы хронологии относительной. Однако даже при наличии точной датировки основных явлений и процессов история языка останется конгломератом разрозненных фактов до тех пор, пока не будут установлены внутренние связи между ними. Вот почему преимущественное значение для истории дописьменной эпохи развития языка имеет относительная хронология. В предлагаемой работе обсуждаются ее теоретические проблемы и уточняется хронологическая иерархия некоторых праславянских процессов.

Относительная хронология — непременная часть методологии классической компаративистики. Собственно хронологизация языковых процессов может быть восстановлена по данным как сравнительной (внешней), так и внутренней реконструкции. Первая опирается на генетическую гипотезу, на постулат языкового родства и модель родословного древа. Она нацелена на анализ межъязыковых соответствий. Хронологическая иерархия языковых явлений и процессов строится по принципу приуроченности к определенным «коленам» родословного древа (прарусское, праславянское, прабалтославянское состояние и т. п.). Сходство между двумя языками объясняется их языковым единством либо, по крайней мере, территориальной близостью их носителей в отдаленном прошлом. В центре внимания — дивергентные процессы. Принципиальная возможность параллельного развития выпадает из поля зрения исследователя. Такой подход более характерен для ранних этапов развития компаративистики.

Относительная хронология, базирующаяся на данных внутренней реконструкции, нацелена на анализ внутриязыковых соответствий, на вскрытие отношений между элементами данного языка в его статике и динамике. Здесь хронологическая иерархия языковых процессов строится на принципе их взаимосвязи, взаимозависимости и взаимообусловленности. В идеале история языка, построенная на данных такого рода хронологизации, — цепь взаимосвязанных причинно-следственными отношениями языковых явлений и процессов. «Внутренняя» относительная хронология опирается на гипотезу регулярности, на фундаментальное положение компаративистики о непреложности фонетических законов, выдвинутое младограмматиками.

Сущность фонетического закона выражается формулой:

$$L\left\{\frac{a > b}{P}\right\}T.$$

Звук (a) регулярно переходит в звук (b) в строго определенных позициях (P) в данном языке (L) на данном этапе его развития (T). Здесь заложены основы перехода от реконструкции внешней (звуковые соответствия между родственными языками) к реконструкции внутренней (в данном языке L), от реконструкции инвентаря к реконструкции системы (параметры P, L), от реконструкции статической к реконструкции динамической (фактор времени T). Все это и дает возможность устанавливать

хронологическую иерархию процессов. С изменением параметра T прежде всего меняется параметр позиции P и сам характер отношений между a и b. Так, сопоставляя рус. *крик* ~ *кричать*, *вид* ~ *видеть*, можно заметить следы по крайней мере двух процессов: 1) k > č, 2) ē > ā. Зная условия одного (задненебные палатализуются в позиции перед гласными переднего ряда $\left\{\frac{k < \check{c}}{+'V}\right\} T_p$) и другого (*ē переходит в *ā после палатальных согласных $\left\{\frac{\bar{e} > \bar{a}}{\check{c}_+}\right\} T_a$), легко установить, что появление č палатального предшествует переходу гласного, обусловившего палатализацию, в задний ряд, т. е. $T_p > T_a$.

Лингвисты, потратив много усилий на доказательство ложности одного из наиболее фундаментальных положений своей науки, не смогли отрицать методологическую ценность положения о фонетических законах. Но даже те, кто отстаивает постулат младограмматиков, обычно подчеркивают некую ущербность фонетических законов по сравнению с законами естественных наук. Считается, что фонетический закон действует лишь в ограниченных рамках данного языка, данного языкового коллектива в строго определенную эпоху, а законы естественных наук — всегда и всюду. Но лингвистические переменные L, T — такие же переменные, как, скажем, сопротивление и сила тока в законе Ома $I = \frac{V}{R}$. Не сетуют же физики на безусловный факт неоднозначности силы тока в цепях с различным сопротивлением!

Фонетические законы обладают такой же силой предсказуемости, они столь же индуктивны, как и законы естественных наук. На основании определенного минимума тщательно осмысленных и проверенных данных легко обозревается вся масса фактов. Если, например, установлено, что $L \left\{\frac{k > \check{c}}{+'V}\right\} T_p$, то тем самым предсказывается (č) на месте более раннего (k), стоявшего перед передним гласным во всех без исключения словах и морфемах данного языка. Отступление от такой закономерной дистрибуции может свидетельствовать об изменении соответствующих параметров. Так, наличие случаев типа рус. *Кирилл*, *кентавр*, *кино*, *кефир* может свидетельствовать, что эти слова не принадлежали языку L в эпоху действия данного закона, т. е. они заимствованы из другого языка L_2 уже после завершения процесса первой палатализации. Отступление от фонетической закономерности в заимствованиях — свидетельство ее прекращения в эпоху заимствования. Однако подчинение закономерности не обязательно свидетельствует о продолжении действия соответствующего фонетического закона. Так, турецкое заимствование в схрв. *бег* отражает чередование *бег* — *беже* (зват. ед.), но это не означает, что первая палатализация как фонетический закон продолжала своё действие до XV—XVI вв.

Если же отступление от предсказуемой закономерности наблюдается в исконных словах и морфемах (параметр L остается неизменным), то, следовательно, изменился параметр P. Так, наличие случаев типа рус. *цена*, *цедить* и *кидать*, *кий* может свидетельствовать, что в эпоху T_p на месте современных гласных переднего ряда стояло нечто другое, а в данном случае имеет место вторичный ($'V_2$) и даже третичный ($'V_3$) гласный переднего ряда. Отсюда — целая серия выводов по относительной хронологии. В первом случае (*цена* и т. п.) вторичный передний гласный находим на месте дифтонгического сочетания *ai (*kaina). Следовательно, монофтонгизация дифтонгов, появление вторичных гласных (ĕ$_2$, i$_2$ < ai, ei) моложе первой палатализации: $T_d < T_p$. Вторая палатализация имеет место лишь в позиции перед вторичным гласным переднего ряда (ĕ$_2$, i$_2$), восходящим к заднему дифтонгу (ai). Следовательно, она моложе монофтонгизации дифтонгов и первой палатализации: $T_{pp} < T_d < T_p$. Перед i$_2$ < ei находим рефлексы не второй, а первой палатализации (рус. *чин*, *чист*), так же, как и перед u$_2$ < eu (рус. *чудо* ~ *кудесник*). Это подтверждает тезис о том, что первая палатализация происходила до монофтонгизации дифтонгов: первая часть сочетаний eu, ei относится к категории передних гласных. Во втором случае (рус. *кий*) имеет место третичный гласный i$_3$, появившийся на месте у в позиции после задненебных: $L\left\{\frac{y > i_3}{k^+}\right\} T_i$.

Традиционную компаративистику часто обвиняют в «атомизме», имея в виду ее пристальное внимание к судьбе отдельного звука вне его связи с системой. Пример традиционного подхода к процессу первой палатализации свидетельствует об обратном. Именно фонетический закон объединил «разрозненные» звуки в определенные группы: все задненебные (k, g, x) перед всеми передними гласными (ĭ, ĕ, ĕi, ĕu, ĕn, 'r̥, 'l̥, а также i̯) данного языка на данном этапе его развития переходят в шипящие (č, *dž*/ž, š).

Такой подход служит дополнительным критерием для уточнения относительной хронологии и качества конечного и исходного состояния. Так, если глухой взрывной дает аффрикату (č), то и звонкий взрывной первоначально должен дать аффрикату (dž), т. е. дезаффрикация последней — процесс поздний: $T_p > T_z$. Если установлено, что задненебные k, g переходят в шипящие č, dž/ž, а не наоборот, то более вероятен переход x > š, а не наоборот, как иногда полагают. Сопоставление рус. *смех* ~ *смешно* позволяет восстановить следующую хронологическую цепочку процессов. Шипящий мог возникнуть из x перед гласным переднего ряда. Таковым мог быть выпавший редуцированный. Падение редуцированных моложе первой палатализации. Задненебный x мог возникнуть из s в позиции после i, u, r, k, следовательно, гласный e в данном случае — из ĕ$_2$ дифтонгического происхождения. Реконструируется цепочка форм: *смешн-* < smĕ$_2$šьn- < < smaišin- < smaixin- < smaisin-. Это означает, что x возникло

раньше первой палатализации, раньше монофтонгизации дифтонгов.

Уточняя относительную хронологию T_x, следует обратить внимание на мнимые исключения из закона Педерсена о генезисе славянского x: рус. *бес*, *тесный* с е из $ĕ_2$ сохраняют, как и рус. *рысь* и т. п., s в положении после первичных i, u. Этимологический анализ этих и им подобных слов свидетельствует об изменении позиционных условий. Препятствием для действия данного закона служил левый или правый согласный, выпавший после того, как закон перестал действовать, соответственно: *baids-, *taiskn-, *rūds-. Следовательно, процесс упрощения групп согласных моложе генезиса x. Далее, изменениям подвержено лишь первичное $*s_1$. Вторичное $*s_2$, полученное в результате сатемовой палатализации $*\hat{k} > s_2$, не переходит не только в x, но и в z. Можно сделать вывод о безусловном старшинстве генезиса x по отношению к процессу конвергенции $s_1 \times s_2 \rightarrow s$.

Одним из наиболее точных критериев относительной хронологии на основе фонетических законов может быть столкновение позиций, обусловливающих различные процессы. Так, сопоставление ст.-слав. отьца ~ отьче ~ отьчь с праформами *ătĭkăs ~ *ătĭke ~ ~ *ătĭkăis убедительно показывает, что третья, бодуэновская палатализация, проходившая в позиции после (ĭ, i̯), моложе первой палатализации, моложе йотации: $T_{ppp} < T_p$, $T_{ppp} < T_j$.

Сходство результатов действия двух противоречивых законов говорит либо об относительно позднем совпадении, либо о хронологической близости. Ст.-слав. отьци (им. мн.) соответствует как второй, так и третьей палатализации. Условия последней ($i < in$) позволяют утверждать, что она моложе монофтонгизации дифтонгов. Уточнить этот тезис позволяет отсутствие результатов третьей палатализации после дифтонгов ai, ei: ст.-слав. кѣкъ, рѣка, снѣгъ, мигъ. С одной стороны, это свидетельствует о том, что к моменту изменения перед задненебным уже не было первичного i_1, а с другой — о том, что вторичный i_2 еще не конвергировал с первичным: $i_2 \times i_1 \rightarrow i$.

Сходные позиции могут оказывать различное влияние на звук того же качества в разные периоды развития языка. Так, гласный переднего ряда, воздействуя на предшествующие задненебные, переводил их то в шипящие, то в свистящие, то в смягченные. Первичный i_1 не только переводил исконное s_1 в x, но и наоборот — x в s в одних славянских диалектах и в š в других: ст.-слав. кась, чеш. všechen и т. п. Это ни в коем случае не дает нам права на хронологическое сближение закона Педерсена и третьей палатализации, но неоспоримо свидетельствует о старшинстве первого процесса: $T_x > T_{ppp}$.

Фонетические законы младограмматиков имели отношение лишь к фонетике, к аллофонному варьированию фонем в зависимости от определенных фонетических (позиционных) условий. Известно, что позиционное варьирование фонем, автоматически и

непреложно предсказываемое последующей позицией, не замечается носителями данного языка, ср., например, позиционное варьирование ě/e в русском языке. Для того чтобы такое варьирование стало осознанным и замеченным, должны быть нарушены параметры фонетического закона (L, T, P). Вот почему фонетические законы, оставившие следы в истории языка, не могут, будучи безысключительными в эпоху своего действия, оставаться таковыми же и впоследствии. В самом деле, переход s > x в определенных позициях — лишь первый этап звукового изменения: s/x останутся вариациями одной и той же фонемы до тех пор, пока не наступит второй этап, этап фонологизации аллофонов, превращения их в самостоятельные фонемы.

Суть фонологизации аллофонов заключается в выходе из состояния дополнительного распределения, в изменении отношений между самими объектами фонетического закона (a, b). Вариации фонем должны стать самостоятельными фонемами, т. е. иметь хотя бы одну позицию релевантности, различения:

$$L\left\{\frac{a>b}{P}=\frac{a}{P_1}:\frac{b}{P_2}\right\}T_1 \rightarrow L\left\{\frac{a:b}{P_r}\ldots\right\}T_2.$$

Должен быть отменен действующий фонетический закон (отношения a/b, $P/\bar{P}$) другим, младшим законом. В данном случае дивергенция $s_1 \rightarrow$ s- : -x, начатая как фонетический процесс, сопровождалась переходом *k̑ $\rightarrow s_2$ с последующей конвергенцией $s_1 \times s_2 \rightarrow$ s как необходимым условием фонологизации новой оппозиции (s : x) [8]. Так появились случаи их противопоставления в одной и той же позиции (pisati ~ pixati и т. п.). Многие последующие славянские фонетические процессы усиливали оппозицию (s : x), порождая все больше и больше исключений из прежнего фонетического закона $\frac{s>x}{P}$. Это и упрощение групп согласных, и монофтонгизация дифтонгов (*porx- > рус. *прах/порох*), и другие процессы (*ak̑s- > ass- > as- > рус. *ось* и т. п.). Немаркированный член новой оппозиции легко получает экспрессивную функцию и, соответственно, возможность замещать немаркированный член в экспрессивных выражениях: см. рус. *спех*, *переполох*, *тряхнуть*, *хорохориться*, *хлопо́к*, *хлестать* и т. п.

Лишь после снятия позиционной обусловленности, после завоевания фонетическим путем новых фонологических позиций новая фонема получает возможность морфонологизоваться. Начинается третий этап звуковых изменений, морфонологический. Если первый этап не зависит от слов и форм, но лишь от фонетических позиций, а второй освобождает от позиционной зависимости, то третий усиливает влияние на фонему слов и форм, подводившееся младограмматиками под понятие аналогии. Действию аналогии подвержены лишь самостоятельные фонемы, а не аллофоны. Осознание х как форманта прошедшего времени и его генерализация в имперфекте (нєсѣахъ) и новом сигматическом аористе (нєсохъ), генерализация его как форманта местн. мн. (женахъ) стали

возможны только после соответствующих фонетических и фонологических процессов, после появления фонетическим путем таких форм, как пихъ, сынъхъ, костахъ, рабѣхъ, тѣхъ и брахъ, прахъ... Все это расширяет возможности уточнения относительной хронологии. В данном случае х в имперфекте моложе монофтонгизации дифтонгов и тем более моложе фонетического закона о генезисе славянского х.

Значительную роль в процессе фонологизации аллофонов могут играть заимствования. Они содействуют увеличению числа случаев функционирования маркированного аллофона, увеличению числа случаев противопоставления прежних аллофонов в одной и той же позиции. Так, позиция начала слова была наиболее слабой для новой оппозиции (s : x), здесь условия для появления х фонетическим путем минимальны. Расширение его функционирования в этой позиции шло за счет заимствований, прежде всего германских. Таково происхождение рус. *холм*, *хижина*, *хлеб* и др. Именно потому, что в эпоху контакта с готами шел процесс фонологизации оппозиции (x : s), отменявший фонетический закон s > x, и нет следов его воздействия на заимствования, ср. ст.-слав. цѣсарь (ис)коусити < гот. kaisar, kausian и т. п.

Констатируя хронологическую первичность фонетических законов по отношению к процессам фонологизации, нельзя утверждать, что фонологическая система лишь упорядочивает хаос, вносимый беспорядочными и случайными фонетическими изменениями. Не что иное, как специфика фонологической системы данного языка на данном этапе его развития обусловливает направление, объем и характер аккомодаций, ассимиляций и диссимиляций, характер и последовательность фонетических законов.

Сам характер аллофонного варьирования определяется фонологической системой. Так, в протославянской системе шумных согласных [8] единственная фрикативная фонема $*s_1$ была слабо включенной в систему. Она должна была либо выпасть, либо включиться в систему, дивергировать, развивая те дифференциальные признаки, на которых строился центр фонологической системы. Признак звонкости обусловил аллофонное варьирование и дивергенцию s_1 → z- : -s. Показательно, что вторичный s_2 < *k' не подвергался озвончению. Это означает, что закон Зупитцы [23] старше сатемизации: $T_z > T_s$. По этому закону имеем, например, рус. *мозоль*, *гроза*, *тризна*, *жизнь* и т. п. Фонологизация аллофонов s/z не могла не вызвать перехода *ĝ > z (рус. *зерно*, *знать*, *озеро* и т. п.) и ассимиляции $*s_1$ в позиции перед звонкими (рус. *мозг*, *узда*, *гнездо*, *ноздри* и др.). Переход *ĝ > z проходил параллельно и одновременно с процессом сатемизации, но позже действия закона Зупитцы.

Другим ведущим признаком тогдашнего консонантизма был признак гуттуральности [8]. Именно он вызвал дивергенцию s_1 → s- : -x, определив качество дивергента. Фонологизация этих аллофонов не могла не привести к конвергенции $s_1 \times s_2$ (< k̂) → s,

определив и сам результат конвергенции (s, а не š либо ṣ). Это еще один аргумент против гипотезы s → š → x.

Если излагаемая концепция верна, должны сохраняться следы элиминации ($s_1 \rightarrow \emptyset$). И они есть. Это s-mobile — явление, хотя имеющее некоторую аналогию в других языках, но наиболее широко представленное именно в славянских (ср. ст.-слав. мѧлъ и гот. smals, а также рус. *кора*, *крыло*, *нежный*, *пена* и т. п.). Нельзя исключить и связь данного явления с падением конечного s, наиболее характерным для славян, хотя у этого процесса могли быть и другие причины.

Различая собственно фонетический и фонологический этапы звуковых изменений, мы получаем дополнительные критерии для решения проблем относительной хронологии. Так, рассматривая переход *ō > ā не как «переход», но как фонологический процесс снятия оппозиции *ō : ā, как конвергенцию ō × ā → a, можно связать его с совпадением двух рядов гуттуральных k^{u} × k → k, с одной стороны, и генезисом протез — с другой. Дело в том, что положение после k^{u} — наиболее вероятная ранняя позиция нейтрализации ō × ā, а положение не после согласного — последняя позиция дифференциации (ō : ā). Ликвидация данной позиции — необходимое условие для расширения этой нейтрализации до полной конвергенции. А она потребовала выделения признака лабиализации в протетический призвук лабиального характера (u̯-протеза). Все это означает, что конвергенция двух рядов гуттуральных в протославянском могла стимулировать начало конвергенции ō × ā, стимулировавшей появление u̯-протезы, что и обусловило завершение процесса их полного совпадения [4, 6].

Далее, рассматривая процесс конвергенции ō × ā не только как судьбу отдельной оппозиции, но и как историю вокалической корреляции, построенной на признаках бемольности и диезности, можно вскрыть связь между совпадением ō × ā, процессом делабиализации $ū_1 > ȳ$ и, соответственно, выделением протетического u̯-, а также с другими процессами, вплоть до последовательного смягчения всех согласных в позиции перед гласными переднего ряда, и т. п. Из этого вытекает целая цепочка выводов по относительной хронологии. Последовательное смягчение согласных перед передними гласными старше первой палатализации: $T' > T_p$. Появление протетических согласных старше этого смягчения: $T_{pr} > T'$. Появление протетического u̯- старше полной делабиализации: $ū_1 > ȳ$. Последняя старше последовательного смягчения согласных $T_y > T'$ — и т. д., и т. п. [7]. Это позволит в известном процессе первой палатализации разглядеть два этапа: фонетический — первичное смягчение задненебных гласными переднего ряда ($k > k_1'$) — и фонологический — конвергенцию рефлексов первичного смягчения с рефлексами йотации k' × ǩ → č; ǧ' × ǧ → dž; x' × x̌ → š. Эта конвергенция и обусловила палатальный характер конечных результатов первой палатализации. Может быть, разногласия в датировке последней, с размахом на целое тысячелетие (Бернштейн: I тысячелетие до н. э., Бидуэл: VI в. н. э.),

отражают реальное различие рассмотренных процессов: одни исследователи, вероятно, имели в виду ранний, а другие — поздний этап развития.

Относительная хронология звуковых изменений, восстанавливаемая лишь для фонетического уровня, на основе иерархизации известных фонетических законов, по своей сути фрагментарна. В центре внимания исследователя оказываются предпосылки дивергентных процессов, синтагматическое варьирование аллофонов той или иной фонемы. Бесспорность выводов относительной хронологии по необходимости ограничена лишь явлениями, тесно связанными между собой. Многое из аллофонного варьирования на основании фонетических законов, не переживших этап фонологизации своих результатов, не сможет быть восстановлено. Кроме того, звуковые изменения, не оставившие дивергентных следов вне определенных позиционных условий, не могут быть подведены под фонетический закон, они лишены соответствующих критериев хронологизации. Так, делабиализацию $\{*u_1 > y\}$ T_y одни исследователи считают ранним, а другие — поздним процессом, имевшим место после появления вторичного u_2 в результате монофтонгизации дифтонгов. Делабиализацию ŭ признают не все. Не установлены позиции, не подведены под фонетический закон процесс сатемизации и бесспорный факт делабиализации первичного ō, утрата аспирации взрывными $bh > b$ и лабиализации лабиовелярными и т. д. Хронологизация этих процессов, как правило, строится на данных внешней реконструкции. Эти процессы чаще всего относят к глубокой древности.

Относительная хронология, восстанавливаемая на основе данных диахронической фонологии, по своей сути не может оставить вне поля зрения любой фонологический или фонетический факт. В центре ее внимания — собственно отношения между объектами фонетических законов $(a : b)$ наряду с другими оппозициями данного языка на данном этапе его развития. Здесь рассматриваются процессы не только дивергенции, но и конвергенции, не только фонологизации, но и дефонологизации, трансфонологизации [9, 10]. Диахроническая фонология принципиально может и должна разглядеть тесную взаимосвязь между элементами фонетической системы в синхронии и диахронии, установить относительную хронологию всех явлений и процессов.

Так, например, рассматривая ĭ > ь, ŭ > ъ не как «переходы», а как проявление общего процесса трансфонологизации признака долготы в признак подъема, мы сможем связать эти процессы с другими и уточнить их относительную хронологию. Трансфонологизация долготы связана с необходимостью включения рефлексов монофтонгизации дифтонгов в систему вокализма [5], т. е. она моложе монофтонгизации: $\bar{T} > T_d$. Она охватила всю корреляцию долготы: ē : ĕ → ĕ$_1$: e; ā : ă → a : α; ī : ĭ → i : ь; ȳ : ŭ → y : ъ. Она обусловила конвергенцию первичных и вторичных гласных переднего ряда ĕ$_1$(< ē) × ĕ$_2$ → ĕ; i$_1$(< ī) × i$_2$ → i.

Если рассматривать процесс «сокращения первой части дифтонгов» как трансфонологизацию признака долготы в признак интонации (акут ~ циркумфлекс), то его хронологию можно сблизить с периодом монофтонгизации дифтонгов [6]. Здесь, собственно, и не было сокращения, полезное противопоставление сохранилось в интонационном различии (*wārna ~ wărnas → рус. *ворóна ~ вóрон*, схрв. *врāна ~ врâн* и т. п.) либо иначе (ст.-слав. рѫка ~ кръкъ, вин. ед.). В положении перед гласными прежняя долгота ~ краткость трансфонологизовалась в признак подъема (рус. *слово ~ слава* и т. п.).

Возможности диахронической фонологии для уточнения относительной хронологии далеко не исчерпаны и, к сожалению, недостаточно используются. Что касается самой новой концепции — генеративной фонологии и опытов ее применения в диахронии, то пока она не дала сколько-нибудь ощутимых результатов.

Характерно, что формула «фонетического закона» генеративистов напоминает младограмматическую, хотя в ней опущены параметры T и L. И те, и другие работают лишь на «аллофонном уровне»: $A \rightarrow B \Big/ \frac{x - y}{z}$ («замени A на B в окружении $\frac{x - y}{z}$»). Диахронические опыты генеративистов напоминают ранние работы «дофонологического» Трубецкого [22]. В последнее время наблюдается интерес генеративистов к фундаментальным проблемам классической фонологии (проблемы маркированности, нейтрализации, парадигматики и т. п.). Возможности совершенствования приемов относительной хронологии далеко не исчерпаны. Еще мало разработаны приемы уточнения относительной хронологии по данным морфонологии.

Последовательное различение хронологической иерархии стадий звуковых изменений: 1) фонетический закон, 2) фонологизация, 3) морфонологизация — позволит уточнить некоторые критерии хронологизации бодуэновской палатализации, вызвавшей наибольшие споры [12]. Источником споров и противоречивых решений здесь является тот бесспорный факт, что никакой другой фонетический процесс праславянского языка не имеет столь значительного количества исключений и дублетов. Очень мало бесспорных примеров в корневых морфемах. Результаты третьей палатализации в основном морфонологизованы, закреплены за теми или иными морфологическими категориями (итеративы, именные суффиксы и т. п.). Это означает, что мы наблюдаем главным образом результаты третьего, морфонологического этапа изменения. Поэтому трактовка противоречивых показаний типа ст.-слав. стѧцихъ ~ клеѣхъ должна идти прежде всего по линии морфологии, а не фонетики. Здесь следует усматривать процесс перехода в мягкий вариант склонения, а не фонетический процесс перехода гласных заднего ряда в передний.

Морфонологизация той или иной фонемы возможна лишь при наличии самой фонемы как продолжение ее фонологизации. Фонологизация перекрывает действие одного фонетического закона дру-

гим и сопровождается конвергенцией рефлексов обоих фонетических законов. Фонологическая суть третьей палатализации состоит в фонологизации оппозиций (c : k), (c : č), (dz/z : g), (dz/z : dž/ž), (s : x), (s : š). Третья палатализация как фонетический закон отменяла действие второй. Конвергенция рефлексов обеих младших палатализаций усиливала новые оппозиции [9]. Например, позиция перед а стала теперь дифференциальной: -ca-(< *-ĭkā) : -ka-(< *-kā-) : -ča-(< *-čē-). Морфонологизация новых фонем продолжала процесс усиления новых оппозиций. Переход в мягкий вариант усиливал оппозицию (c : č): ст.-слав. отаца ~ отачь, отацемь ~ отаче, отаци ~ ключи и т. п. В форме отаци(хъ) встретились і различного происхождения: *oi — им. мн., *ei — местн. ед. (и мн.), *jū — твор. мн. Это, в свою очередь, усилило оппозицию (i : č) в положении после c.

Перераспределение дублетных суффиксов -ik-/-ic- усиливало оппозицию (k : c) в одних и тех же фонетических условиях: грѣшьница ~ грѣшьника.

Показательно, что суффикс -ix- не варьируется: рус. *жених ~ ткачиха*. Дело в том, что вариативность -ix-/-is- либо -ix-/-iš- имела отношение к старым оппозициям (x : s), (x : š), восходящим к эпохе сатемизации и генезиса x. В то же время вариативность -ik-/-ic- расширяла дистрибутивную валентность новой фонемы c, усиливала новую оппозицию. И если в одном случае нуждалась в усилении фонема c, то в другом — x.

Оппозиции (s : x : š) усиливались в случае конвергенции рефлексов младших палатализаций с любым из членов этих оппозиций. Отсюда диалектное различие рефлексов второй и третьей палатализаций x > s/š: ст.-слав. всѣ ~ польск. wszystek, рус. *седой* ~ польск. szady. Наоборот, новые оппозиции (c : k), (c : č) должны были ослабнуть вплоть до исчезновения в случае совпадения рефлексов младших палатализаций с одним из членов старшей оппозиции (č : k). При этом ожидается либо цоканье/чоканье, либо то или иное отсутствие следов младших палатализаций, действительно наблюдаемые на периферии славянского мира. Едва ли факт совпадения рефлексов старших и младших палатализаций в данном случае можно трактовать как хронологическую близость этих фонетических процессов. Конвергенция $š_1 \times \times š_{2,3} \rightarrow š$; $č_1 \times c_{2,3} \rightarrow č/c$ может свидетельствовать о процессе фонологизации, а значит, и о прекращении действия соответствующих фонетических процессов (первая палатализация и йотация, вторая и третья палатализация). Справедливость этой концепции подтверждается другим конвергентным процессом. Рефлексы йотации взрывных зубных поддержали свистящие рефлексы младших палатализаций именно там (польский, чешский, лужицкий), где йотация фрикативных завершилась совпадением с шипящим рефлексом всех трех палатализаций: ˇt (< tj) × $c_{2,3} \rightarrow$ c; ˇd(< dj) × $dz/z_{2,3} \rightarrow$ dz/z; š(< sj, xj) × $s_{2,3} \rightarrow$ š. У восточных славян, наоборот, рефлексы ˇt, ˇd поддержали шипящие члены оппозиций (реф-

лексы старшей палатализации), хотя рефлексы младших палатализаций дали свистящий результат: ˇt × $č_1$ → č; ˇd × ž → ž, но $s_{2,3}$ × s → s; ср. рус. *мачеха* ~ чеш. macecha и т. п.

Наблюдающаяся при этом утрата затвора звонким коррелятом более вероятна, так как она усиливает ранние оппозиции (z : g : ž), восходящие еще к процессу сатемизации. Вероятность утраты затвора глухим коррелятом мала, ибо оппозиции (c : k : č) моложе. Утрата затвора в данном случае не усилит ту или иную прежнюю оппозицию, а наоборот, ослабит оппозиции (k : x), (č : š), (c : s).

На основании принципа хронологической иерархизации фонетических и фонологических процессов третью прогрессивную палатализацию следует считать более молодой, чем вторая регрессивная палатализация. В процесс фонологизации порожденных ими аллофонов третья палатализация могла внести больший вклад. Наиболее существенным доводом в пользу такой хронологизации является трансгрессивно-прогрессивный характер бодуэновской палатализации. Она, как и другие праславянские процессы определенной поры, содействовала сближению тембра смежных звуков, развитию группового сингармонизма. Но в отличие от всех предшествующих процессов, превращавших групповой сингармонизм в слоговой и пренебрегавших границами морфемы и слова, третья палатализация пренебрегала границами слога, разрушала слоговой сингармонизм, усиливая относительную автономию морфемы, фонемы и слова: *pūtīkā > (pў)+(ti)+(kā) > pъt+/ik/+a > pъt+/ic/+a → *пътица*. Это — проявление конца «эпохи силлабем», следствие монофтонгизации дифтонгов, еще развивавшей тенденцию к открытому слогу, но нарушившей тесную связь между гласным и предшествующим согласным [6]. Это также и преддверие процесса падения редуцированных, положившего конец эпохе открытого слога.

Все сказанное дает основание считать третью палатализацию одним из последних праславянских процессов; она хронологически ближе к разнообразным процессам в славянских диалектах, обусловленным тенденцией межслоговой зависимости гласного и последующего (не предшествующего, как раньше, а именно последующего) согласного: см. чередования типа польск. las — lesie, болг. *мляко — млечен*, русское умеренное яканье, ёканье и т. п.

Конвергенция c_2 × c_3 → c, снимая дистрибутивную ограниченность рефлексов второй палатализации вторичными гласными переднего ряда ($ě_2$, i_2 < ai), способствовала соответствующей субституции велярных перед любым передним гласным в заимствованиях той эпохи: ст.-слав. цѣрькы, цѣта и т. п. Следует отметить противоречивость и спорность решения хронологических проблем на основании заимствований из других языков. Так, еще А. Мейе [19, с. 110] предложил считать ранними те германские заимствования, которые отражают первую, а поздними — вторую и третью палатализацию, полагая, очевидно, что в эпоху наиболее ранних

славяно-германских контактов первая палатализация как фонетический закон еще действовала. Это положение лежит в основе всех дальнейших опытов абсолютной хронологизации данного явления. Но оказалось, что и гораздо более поздние заимствования могут рефлексироваться по первой палатализации: рус. *Меречь* (< лит. Merkys), *Ижора*, *Селижарово* (< фин. Inger-, Särkijär-) и т. п. Романские заимствования VI—VII вв. отражают рефлексацию как первой, шипящей, так и младших, свистящих палатализаций, а иногда и остаются без изменения [14]. Славянские заимствования той же поры в греческом отражают рефлексацию как первой, так и младших палатализаций. Если трактовать перечисленные факты как свидетельство продолжения действия этих законов, то надо предположить, что за кратчайший срок 100—150 лет прошли основные фонетические процессы, связанные с тремя палатализациями. Эта проблема детально обсуждалась еще в 20-е годы. Особенно плодотворной была дискуссия между Ф. Рамовшем и П. Скоком [13, 14].

К настоящему времени сложилась парадоксальная ситуация. С одной стороны, для собственного развития праславянского языка, обусловившего специфику славянских языков в их отличии от родственных индоевропейских, опыты абсолютной хронологизации оставляют все меньше и меньше времени (не более пяти—семи веков), а с другой стороны, данные внешней реконструкции (убедительные параллели с хеттским, тохарским и т. п.) вынуждают относить хотя бы начало многих праславянских процессов все дальше и дальше в глубь веков.

Так, В. Георгиев [3], аргументируя свою позицию данными внешней реконструкции, относит начало самостоятельного развития праславянского языка ко II тысячелетию до нашей эры, а З. Штибер [21], опираясь на опыты абсолютной хронологии, — к первым столетиям нашей эры. Древнейший праславянский процесс первой палатализации датируют то I тысячелетием до н. э. [1], то VI в. н. э. [16], то 400—475 гг. ($\pm$25 лет) [18] и т. д. При этом, несмотря на хронологические разрывы в десятки веков, трудно отдать предпочтение более ранней или поздней датировке того или иного явления.

В самом деле, если речь идет о фонологизации прежних аллофонов, то заимствования в принципе могут усиливать любой из членов новой оппозиции. Иначе говоря, субституция может быть разнонаправленной. А процесс фонологизации, в свою очередь, может хронологически далеко отстоять от соответствующего фонетического закона. Примером может служить фонологизация славянского x < s_1, растянувшаяся на целые века и связанная с последними праславянскими процессами: монофтонгизацией дифтонгов, третьей палатализацией и др. [8]. Как бы развивая эту идею, Х. Андерсен [15] убедительно показал, что аллофонное варьирование исконного *s весьма сходно в праславянском, балтийском и праиндоиранском, но процессы конвергенции его аллофонов с результатами сатемизации принципиально различны.

Это и дает основание фонетические процессы сатемизации и варьирования $*s_1$ считать древнейшими, восходящими к прабалто-славяно-индоиранскому состоянию, а фонологизацию их рефлексов трактовать как поздний результат параллельного и самостоятельного развития отдельных языков.

Что касается видимости невероятно ускоренного развития праславянского языка второй половины I тысячелетия н. э., когда на важнейшие структурные преобразования едва удается выкроить хотя бы четверть века, то в свете предлагаемой концепции это не только объяснимо, но и предсказуемо. Очевидно, именно в указанное время развернулись интенсивные процессы фонологизации результатов фонетических законов, восходящих к глубокой древности.

Как было показано еще 20 лет тому назад [4—6], закономерным следствием древнейших фонетических и фонологических процессов, последовательно приведших к формированию и развитию группового сингармонизма, стала монофтонгизация дифтонгов. Последняя, в свою очередь, обусловила начало распада группофонем, эмансипации гласных и согласных, формирования относительно автономных подсистем вокализма и консонантизма. Процесс фонологизации консонантных и вокалических оппозиций был весьма длительным (не менее семи веков) и привел в конечном итоге к падению редуцированных [11]. При этом следует учитывать, что процессы фонологизации не сразу отражаются на фонетическом уровне: хотя бы первоначально сколько-нибудь значительных изменений в произношении конкретных слов и выражений не наблюдается.

Итак, неоднозначность и противоречивость многих решений проблемы хронологизации истории праязыка объясняются спецификой самого объекта исследования, с одной стороны, и различием исходных принципов методики относительной хронологии — с другой.

Реальные звуковые изменения неоднородны и многослойны, распадаясь на три принципиально различных этапа: фонетический (позиционное варьирование аллофонов одной и той же фонемы), фонологический (фонологизация прежних аллофонов и новых фонем) и морфонологический (усиление связи данной фонемы с определенной морфологической категорией). Этапы сменяют друг друга последовательно и нередко через весьма длительные промежутки времени.

Относительная хронология, базирующаяся на сравнительной, внешней реконструкции, вытекает из анализа отношений между родственными языками. Относительная хронология, опирающаяся на данные внутренней реконструкции, нацелена на выявление внутренних связей и отношений между фактами одного и того же языка. По мере накопления материала первая, устанавливая все новые связи между хронологически и географически отдаленными языками, раздвигает хронологические границы между историческими явлениями одного и того же языка. Вторая, наоборот,

хронологически сближает явления по мере установления внутренней связи и взаимозависимости между ними.

Для хронологизации всех трех принципиально различных этапов звуковых изменений необходимы соответствующие методические приемы. Концепция фонетических законов и близкая к ней процедура генеративистов применимы лишь для первого этапа — фонетического.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Бернштейн С. Б.* Очерк сравнительной грамматики славянских языков. М., 1961.
2. *Бузук П.* Спроба гісторыі дагістарычнай эпохі славянскай фонэтыкі. — Зап. аддзелу гуманіт. навук Ін-та беларус. культуры, 1928, кн. 2.
3. *Георгиев В.* Праславянский и индоевропейский языки. — В кн.: Славянска филология, т. 3. София, 1963.
4. *Журавлев В. К.* Формирование группового сингармонизма в праславянском языке. — ВЯ, 1961, № 4.
5. *Журавлев В. К.* Из истории вокализма в праславянском языке позднего периода. — ВЯ, 1963, № 2.
6. *Журавлев В. К.* Развитие группового сингармонизма в праславянском языке. Минск, 1963.
7. *Журавлев В. К.* Генезис протезов в славянских языках. — ВЯ, 1965, № 4.
8. *Журавлев В. К.* Реконструкция праславянской системы шумных согласных древнейшего синхронного состояния. — Изв. на Ин-та за бълг. език, 1967, кн. XIV.
9. *Журавлев В. К.* К понятию «силы» фонологической оппозиции. — В кн.: Фонетика. Фонология. Грамматика. М., 1971.
10. *Журавлев В. К.* Введение в диахроническую морфологию. — Балканско езикознание, 1976, XIX, кн. 2—3.
11. *Журавлев В. К.* Правило Гавлика и механизм падения редуцированных в славянских языках. — ВЯ, 1977, № 6.
12. *Мельничук А. С.* Роль аналогии в переходном смягчении общеславянских g, k, x в dz, c, s (š). — В кн.: Питання слов'янського мовознавства, вип. 5. Львів, 1958.
13. *Рамовиш Ф.* О првотних јуж.-сл. субституцијах за балк.-лат. k, g пред e, i.— Јужнословенски филолог, 1926, кн. VI.
14. *Скок П.* О словенској палатализацији са романистичког гледишта. — Јужнословенски филолог, 1928, кн. VIII.
15. *Andersen H.* IE *s after *i*, *u*, *r*, *k* in Baltic and Slavic. — Acta lingvistica Hafniensia, 1968, II.
16. *Bidwell C. E.* The chronology of certain sound changes in Common Slavic as evidenced by loans from Vulgar Latin. — Word, 1961, v. XVII, № 2.
17. *Birnbaum H.* Zur Problematik der zeitlichen Abgränzung des Urslavischen. — Zeitschrift für slavische Philologie, 1970, Bd. 35.
18. *Lamprecht A.* Praslovanština a její chronologické členení. — In: Československé přednášky pro VIII Mezinárodní sjezd slavistů. Praha, 1978.
19. *Meillet A.* Études sur l'étymologie et la vocabulaire du vieux slave, v. 1—2. Paris, 1902—1905.
20. *Pedersen H.* Das idg. *s* im Slavischen. — Indogermanische Forschungen, 1895, Bd. V.
21. *Stieber Z.* Zarys gramatyki porównawczej języków słowiańskich. Fonologia. Warszawa, 1969.
22. *Troubetzkoj N.* Essai sur la chronologie de certains faits phonétiques du slave commune. — Révue des études slaves, 1922, t. 2, f. 2.
23. *Zupitza E.* Zur Herkunft des slavischen *z*. — Zeitschrift für vergleichende Sprachforschung auf dem Gebiete der indogermanischen Sprachen, 1904, Bd. 37.

Е. А. Земская

ОБЩЕЕ И РАЗЛИЧНОЕ В СТРУКТУРЕ РАЗГОВОРНОЙ РЕЧИ РЯДА СЛАВЯНСКИХ И НЕСЛАВЯНСКИХ ЯЗЫКОВ

> Как это ни парадоксально, я думаю, что лингвисты долгое время изучали человека молчащего.
>
> *Н. И. Жинкин*

В последние десятилетия внимание языковедов широко привлекает такой лингвистический феномен, который в русской языковедческой традиции принято называть термином «разговорная речь» (РР). Этим термином обычно называют неподготовленную речь, обнаруживающуюся в условиях непосредственного неофициального общения носителей литературного языка. Основная форма функционирования РР — устная [1].

РР существует как особая разновидность литературного языка, противопоставленная книжному кодифицированному литературному языку (КЛЯ). О лингвистическом статусе РР идут споры. Мы исходим из положения о том, что русская РР — это особая языковая система, имеющая целый ряд структурных особенностей как в сфере парадигматики, так и синтагматики, так что точнее ее было бы называть разговорным языком (ср. термины Umgangs sprache, langue parlée). Термин РР мы сохраняем лишь в силу традиции.

Цель этой работы — выявить общее и различное в РР разных языков, т. е. попытаться обнаружить некоторые разговорные универсалии (или: фреквенталии), порождаемые общностью условий функционирования РР в разных языках [2], и, с другой стороны, выявить то, что составляет национальное своеобразие русской РР, обусловленное особенностями структуры русского языка. Иными словами, нашу задачу можно сформулировать так: какие черты РР порождаются экстралингвистическими условиями ее функционирования; какие структурные особенности создают национальное своеобразие РР разных языков [3].

Необходимо сделать одну важную оговорку. Характеризуя условия функционирования РР, выступающие как факторы, влияющие на ее структуру, следует подчеркнуть, что многие из этих факторов действуют комплексно и однонаправленно, поэтому мы рассматриваем действие этих факторов изолированно лишь в целях простоты изложения, допуская при этом известную схематизацию.

Материалом для статьи послужили многолетние наблюдения автора над структурой русской разговорной речи, а также результаты исследований коллектива, работающего в Институте русского языка АН СССР над изучением русской разговорной речи [4]. Для сопоставления использовались данные французского, английского, немецкого и польского языков. Сведения о РР этих языков извлекались из соответствующих исследований, которые ввиду их многочисленности не могут быть здесь названы полностью [5] (отметим, что в ряде работ рассматривается не собственно разговорная речь, а любая устная речь, в том числе официальная); из хрестоматий, публикующих записи живой РР [6], из художественной литературы, отражающей с той или иной степенью адекватности живую РР, а также из живой РР носителей данного языка [7].

Естественно, что в небольшой статье невозможно хоть сколько-нибудь полно ответить на поставленные вопросы. Наше описание будет отражать лишь некоторые общие черты РР.

I

1. Одним из важнейших факторов, определяющих многие особенности РР, является следующее: в условиях непринужденного общения говорящие используют несколько каналов связи, т. е. кроме вербальных применяются иные средства передачи информации — жест, мимика, взгляд, а также действия партнеров коммуникации.

Эта особенность структуры акта коммуникации, вербальную часть которого составляет РР, приводит к тому, что РР непосредственно сопрягается с невербальной передачей информации. Например, ответом на обычный вопрос *Пойдешь в кино?* могут быть такие невербальные реакции: утвердительное или отрицательное покачивание головой, пожатие плечами, выражающее сомнение, недоумение.

Подобная структура коммуникативного акта характерна для РР разных языков и не нуждается в иллюстрациях.

Словесная реплика может быть реакцией на взгляд или жест партнера коммуникации. Ср. описание такой ситуации. Настойчиво звонит телефон. Слуга (George) входит в комнату: George entered the room and stepped towards it, *turning a questioning glance towards Poirot.* Poirot gestured with his hand: «Leave it» he said.

Реплика диалога может быть реакцией не на слова собеседника, а на какое-либо явление действительности. (Двое проходят ночью мимо темного дома. Видят одно горящее окно.) А. Это у Конашевичей // Б. Что-то случилось? Ср. в польском: . . .Wysoko, między koronami drzew, nad żywopłotem, paliło się światło na piętrze domu. — *To w pokoju Mrozowskich* — powiedziałem; (глядя на открытку) — Po angielsku. I trochę niewyraźnie.

2. РР тесно связана с ситуацией: ситуация «вплавляется» в речь, служа дополнительным источником информации. Анало-

гичную роль выполняют «общность апперцепционной базы говорящих» (термин Л. П. Якубинского) и контекст. Эти факторы вызывают важные последствия во многих явлениях разных уровней.

В синтаксисе названные факторы способствуют широкому распространению предложений неполного состава, т. е. явлениям конситуативного эллипсиса. Неполнота состава — характернейшая черта высказываний РР разных языков. Исследователи РР многократно отмечали это явление. Приведем несколько примеров из многих возможных. Разговор матери и врача у постели больного ребенка: (Врач) Сколько сейчас? (Мать) Тридцать девять и пять // (Очевидно, что речь идет о температуре; ни слова градус, ни температура не употребляются). Ср. в романе Ж. Сименона «Lettre à mon juge»: (у постели больного ребенка) — Combien, cette nuit? — Quarante.

Неполнота состава отдельных реплик может объясняться тем, что они распределены между разными говорящими: — On. . . *został zamordowany.* — *Sztyletem weneckim* — dodał spokojnie Janusz.

Неполнота состава характерна для РР разных языков. Вербальная часть коммуникации может дополняться явлениями окружающей действительности, т. е. отсутствие подлежащего или сказуемого компенсируется конситуацией или контекстом: — Alle sind weg. — Meyer auch.; (о переполненном вагоне) Ist voll (примеры В. Д. Девкина); I believe she did go into a nursing home. No reason she should. Strong as a horse, I'd say; — Ou allons-nous? — Dans une case, passer la soirée.

Вместе с тем в явлениях эллиптизации между немецкой, французской, английской и русской РР наблюдаются существенные различия. В славянских языках осуществляется более полная утрата структурных элементов высказывания. Структура французского, немецкого и английского предложений не допускает такой степени неполноты. Ср.: — У тебя есть новый учебник? — Есть //; нем. Hast du das neue Lehrbuch? — Ich habe *es* или: *Das* habe ich [8]; франц. As-tu le livre? — Je *l'*ai; — Ты ее видел? — Видел // Ср. франц.: Est-ce que tu l'as vu? — Qui, je *l'*ai vu.

Таким образом, структурный каркас предложения в этих языках сохраняется с помощью местоимений. Это существенное различие между РР славянских и неславянских языков.

Неполнота состава обнаруживается часто как нереализация валентности глаголов. При этом нередко оказывается нереализованной первая (обязательная) валентность, так как именно ее проясняет конситуация, а реализованы валентности более далекие. Подчеркнем, что нереализация валентности может происходить не только вследствие опоры на предшествующие реплики диалога (что обычно отмечается исследователями), но и в результате опоры на конситуацию вне связи с контекстом. Например: (за обедом) Передай мне, пожалуйста (взглядом показывает на хлеб) //; (в троллейбусе) Опустите, пожалуйста // (передает деньги на билет); (за ужином) Ты мне не нальешь? (протягивает чашку

для чая); (мать, глядя на курящего сына) Ты же обещал! (имеет в виду: бросить курить).

Эта особенность выявляется лишь при изучении ж и в о й РР. Исследователи, работающие преимущественно с отражением РР в языке художественной литературы, как правило, отмечают лишь нереализованность валентности, обусловленную контекстом [9].

Вот несколько примеров из других языков: (пациент, испытывающий боль, врачу) Ce n'est rien, docteur. . . Continuez. . .; *Wypuszczę*, jeżeli *się przyznasz*; «You'll be late at your gallery», said Claudia. «Oh well, I don't suppose it matters much. *Nobody notices or cares.*

Постоянное употребление некоторых глаголов без дополнений приводит к изменению их семантики. Таковы, например, многие глаголы, имеющие в русской РР специфическое конденсированное значение: *завалить*, *провалить*, *сдать* (экзамен), *окончить* (учебное заведение), *принимать* (лекарство), *выбивать* (чек в магазине) и т. п.[10].

Изменение семантики влияет и на управление глагола. Так, глагол *звонить* (по телефону), приобретя семантику 'сообщать по телефону', получает иное управление: Он *позвонил что* не приедет сегодня. // Аналогичные явления характерны для РР других языков. Во франц. РР подобную семантическую эволюцию пережил глагол raccrocher (le récepteur): — Et bien, tu a fini? Je raccroche [11]. Ср. изменение семантики глагола voir, ставшего синонимом comprendre [12].

3. Обнаружение РР в у с т н о й ф о р м е влияет на важные особенности РР. В РР делаются нерелевантными многие особенности структурного оформления высказываний, характерные для КЛЯ. Интонация с успехом заменяет морфолого-грамматические показатели, т. е. действует в том же направлении, что и конситуативность, усиливая аналитизм РР.

Функционирование в устной форме повышает необходимость расчлененной передачи информации, важность ее донесения до слушателя. Именно поэтому для РР характерно подчеркивание актуального членения, при котором особенно активно используются такие средства как интонация и логическое ударение, лексические актуализаторы, синтаксическая расчлененность высказывания (реприза и антиципация), непроективный порядок слов, повторы, парцелляция.

Устная форма обнаружения повышает роль средств так называемой линейной грамматики [13]: местоимения и разного рода отсылки к сказанному ранее («рекуренты»), вынесение какого-либо элемента, лексические и синтаксические подхваты, частицы, разнообразные средства суперсегментной фонетики и под. являются необходимыми элементами высказывания в РР, так как слушающий не может вернуться назад и «перечитать» сказанное.

Приведем несколько типических примеров: S h e's a bitch, *that woman*. Hard as nails; T h e y dont keep tabs on each other

all the time, *these girls*; Elle a suivi des inconnus, *ou presque*; Je me méfie plutôt de tous ces médicaments qui ne servent strictement à rien. Mais *ma femme*, e l l e y croit; Ils ne le liront même pas, *votre lettre!*; — Va chercher tes deux soeurs! *Surtout la petite, hein!*; Dann hab ich geholfen zu suchen, *das Flugzeug*.

Принцип ассоциативного присоединения частей высказывания (т. е. построение высказывания «порциями») приводит к тому, что в разговорной речи очень часто используется прием добавления: в конец высказывания, нередко после интонации законченности, может быть добавлен любой член как дополнительное уточнение, добавление, пояснение [14]: (по телефону) Это Гагунова говорит / *из диспансерного отдела врач* //; Она купила маленькие вот такие чашечки // *Совершенно* //; — Je dirige une boutique de mode sur le 5-me Avenue. *A l'enseigne de «Pauline», tout simplement. Un nom assez connu à New York.*

Как справедливо пишет Ю. М. Скребнев, экстралингвистические условия функционирования РР приводят к тому, что в ней используются в качестве «эквивалентов предложений» самые разнообразные конструкции, потенциальные части двусоставных предложений. «Подобные конструкции становятся предложениями в силу фактически исполняемой ими функции: их делает предложениями синтаксическая изоляция — нулевое окружение или паузальное отторжение от контекста [15]: «Oh dear», she sighed, «I wish I knew what to do». — «*About Norma?*»; Mike se retourna. — *Juste quelques photos. Pour ma fille*; — *Par ici*, madame. *Par ici. Et attention aux marches*; — Il y a huit mois deux chasseurs m'ont obligé à atterir dans le Golfe de Martaban. — *Et?* — *Six mois de prison*; Er hat immer Angst. *Vor den Eltern besonders.* // Ich komme mal vorbei. *Bei Gelegenheit.* // Endlich haben wir einen nötigen Fachmann gefunden. *Ein Diplomingenieur* (примеры В. Д. Девкина); — I on naprawdę sam się nie zatrzasnął? *Naprawdę nie?*; — . . .wszyscy mówili, że Teresa uciekła łodzią przez jezioro. *Motorówką*; *Runął na mnie! Nagle!.*

4. Линейный характер протекания РР, обусловленный устной формой ее осуществления, и многоканальность (или, как иногда говорят, поликодовость) акта коммуникации вызывают ряд особенностей строения семантики текста в РР:

а) Многоканальность приводит к тому, что в РР смысл сообщения формируется иначе, чем в КЛЯ. Исследователи пишут о диффузности и аструктурированности смысла в РР. С нашей точки зрения, правильнее было бы говорить об особых средствах структурирования смысла в РР. Смысл в РР передается обычно не только собственно вербальными средствами, но целым комплексом разнообразных средств (это в первую очередь — кинетические средства и мелодика речи), что оказывает существенное влияние на лексическую семантику слов, употребительность отдельных классов слов (бóльшая частотность местоимений, частиц, междометий) [16] и функционирование некоторых конструкций (высокая роль бессоюзия, паратаксиса и сегментированных конструкций).

По верному наблюдению Е. В. Красильниковой, сопряженность вербальных средств с кинетическими усиливает черты аналитизма в РР [17].

б) Для РР характерно напряжение между линейным развертыванием речи [18] и нелинейным формированием содержания [19]. Текст РР нередко строится как параллельное развитие нескольких тематических линий, связанных по принципу ассоциативной близости или как-либо иначе. Одновременное развитие нескольких тем (тематическая полифония) свойственно прежде всего полилогу, но оно характерно и для диалога. Тематическая полифония может объясняться, например, тем, что РР функционирует как сопроводитель каких-либо действий говорящих, вследствие чего они используют РР и для координации своих действий, и для разговора на тему, не связанную с их деятельностью. Приведем лишь один пример: (две подруги готовят салат) А. Я от Пети письмо получила // Б. Соли пожалуй добавить надо // А. Он скоро приедет // (сыплет соль) Хватит? Б. Да-да // Когда же? Да хватит / пересолишь // А. Не пишет // Ну пробуй //.

В полифоническом тексте каждая тема может развиваться изолированно, но они могут и взаимодействовать, осложняя друг друга нюансами смысла.

в) Коммуникативный акт нередко строится так, что части одних реплик накладываются на другие, сосуществуя во времени [20], и это также не может не сказаться на семантической структуре РР. Показательно, что составители хрестоматий РР стремятся отразить подобный характер коммуникативного акта [21].

5. Названные выше факторы (сопряженность РР с жестами и мимикой, ее высокая конситуативность, общность апперцепционной базы говорящих) находят свое проявление: а) в расширенном употреблении единиц общего значения; б) в широком функционировании немаркированных форм.

а) В РР разных языков высоко употребительны м е с т о и м е н и я в разнообразных функциях: в дейктической функции, в функции оформителя грамматических конструкций и др. Явление это неоднократно описывалось, и многочисленные иллюстрации излишни: — Дай мне *эти* (показывает на туфли); (о преподавателях) Они все слегка за тридцать / не старше *такие* //; He's frightfully distinguished — strings of letters after his name. An admiral or an air-marshal or *something*; — David *something*. You know who I mean; Est-ce que je suis vraiment si moche que *ça?*

Наряду с местоимениями в РР существует значительный пласт семантически опустошенных существительных, выступающих на месте почти любого слова [22]. Можно говорить о сближении таких существительных с классом местоимений. Наиболее часто в такой функции в русской РР употребляются слова *дело*, *штука*, *вещь*, *история* (нередко они используются при этом в сочетании с местоимениями — *это дело*, *такая история*). Семантически опустошенные единицы имеются и среди глаголов [23]. К числу наиболее употребительных относятся *валять*, *дуть*, *шпарить*, *бахать*,

жарить, *ляпать*, *катать* и некот. др. Аналогичные классы слов отмечены в РР и других языков. Ср. нем. Ding, Zeug, Sache; machen, tun, bauen [24]; франц. chose, machin, homme; faire, donner, avoir, être [25]; англ. thing, people, to do и др.

б) В сфере грамматики ярким примером широкого употребления немаркированных единиц может быть такая типическая для РР разных языков особенность, которая получила название экспансии им. п. существительного. Им. п. используется в РР особенно часто как полифункциональная форма, не отягощенная никакими дополнительными показателями и которая поэтому может выражать самые разные виды семантических отношений [26]:

А. В отпуск собираемся // Б. *Крым?* А. Нет / *Прибалтика* //; А. У нас сосед умер // Б. *Сердце?* А. Нет / *вирусный грипп* //. Ср. польск.: — Doktor Hoszowski nie żyje — powiedziałem. . . — *Serce?* — Nie, *nie serce*; Nie podoba mi się ta historia z kasjerem. Bo tu nie chodziło o pieniądze. *Jakaś grubsza sprawa*; англ.: You are a woman of imagination — you will have no difficulty. But — not too fantastic, you understand. *Moderation.*

Подобный способ построения служит ярким средством передачи особенностей РР: — He has a wife? — «Yes. *Very goodlooking woman.* Much younger than he is. *Lots of golden hair. Second wife*»; франц. (врач в тяжелом душевном состоянии остановил машину, не будучи в силах ехать). Un agent s'est approché, s'est penché, m'a reconnu. — *Une panne*, docteur?; Je connais le directeur. *Un français*; нем. Ich frage. *Keine Antwort*; *Zigarre?* Greifen Sie ruhig zu!

Полифункциональность им. п. существительного — свидетельство аналитизма РР, так как многие конструкции с им. п. отличаются от синонимичных им конструкций тем, что в последних эксплицитно (с помощью форм слова или служебных слов) выражен определенный вид отношений, тогда как в конструкциях с им. п. определенный смысл выражается с помощью контекста, а также таких средств, как порядок слов и интонация [27].

В более обобщенном виде рассмотренную особенность РР можно обозначить так: выражение одним означающим большего числа означаемых [28], что предопределяет полифункциональность многих единиц РР и усиливает черты аналитизма в строении РР.

6. Непринужденный характер протекания РР, ее неподготовленность, спонтанность приводят к тому, что говорящий часто не имеет времени на обдумывание и тщательное оформление своей речи. Эти факторы также оказывают влияние на все ярусы РР. В синтаксисе они обусловливают предпочтение кратких структур усложненным, явления паратаксиса и бессоюзия [29], меньшую, чем в КЛЯ, глубину высказывания [30].

Действуют эти факторы и в лексике. Говорящий нередко не затрудняет себя подыскиванием выразительного слова, а употребляет основную лексическую единицу данного синонимического ряда [31]. Так, среди имен прилагательных, имеющих семантику, актуальную для разговоров на разные темы, отличаются высоким

индексом частоты по данным словаря, называющегося «2380 слов наиболее употребительных в русской разговорной речи» (М., 1968), такие слова: *хороший* (248), *плохой* (61), *большой* (215), *маленький* (110), *новый* (141), *старый* (103), *красивый* (57), *многий* (65), *добрый* (54). Из многих синонимичных союзов в русской РР наиболее широко употребляются лишь некоторые, например временной *когда*, причинный *потому что*, условный *если*.

Аналогичное явление свойственно французской РР. Так, сравнивая употребление союзов с временным значением, исследователи отмечают, что в ряду синонимов quand, lorsque, maintenant, à présent в РР резко преобладает quand, тогда как в письменной речи нет такой резкой разницы в употреблении синонимов [32].

Словообразованию РР разных языков присуща тенденция к сокращению длинных номинативных единиц. Для РР специфично производство существительных способом усечения: *маг* (*магнитофон*), *бад* (*бадминтон*), *фак* (*факультет*) и под.[33]. Этим способом создаются только имена существительные. Такие слова не отличаются по значению от соответствующих неусеченных. Несколько примеров: англ. doc (doctor), cap (captain), phone (telephone); франц. prof (professeur), exam (examen), sympa (sympatique), manif (manifestation), «Huma» («Humanité»); нем. Uni (Universität), Mathe (Mathematik) и т. п.

Чтобы показать характер употребления подобных слов, приведем несколько иллюстраций из романа О. ле Бретона «Du Rififi au Cambodge» (Plon, 1965): Vous voyez *le topo?*; — Je préfère visionner *le dop* avant (примечание автора: De doping, c'est-à-dire de drogue); . . .lui aussi entendait la conversation grâce à *l'ampli* (l'amplificateur). Отметим, что при переводах французской литературы на русский язык переводчики часто создают аналогичные усечения. Так, в русском переводе романа Р. Мерля «За стеклом» встречаем сокращения типа: *диссер* (*диссертация*), *рест* (*ресторан*), *проф* (*профессор*).

В славянских языках имеется специфический способ сокращения книжных номинаций — суффиксальная универбация: на базе словосочетания «прилагательное+существительное» создается имя существительное, семантически соотносительное со словосочетанием, а формально — с основой прилагательного. Этот тип производных многократно описывался в литературе. Он широко распространен в польской и русской РР. Дадим лишь несколько примеров: *motorówka* — моторка, *ciężarówka* — грузовик, *pocztówka* — открытка; *девятиэтажка* — девятиэтажный дом, *зачетка* — зачетная книжка и т. п.

В фонетике небрежное аллегровое произношение часто обнаруживается в явлениях полной редукции отдельных гласных и согласных, а также сочетаний звуков. Это касается в первую очередь высокочастотных слов, но не только их.

Высокочастотные слова и сочетания слов подвергаются сильной редукции в РР многих языков: франц.: j(e) t(e) l(e) donne, quate (quatre), j^{s}ui (из je suis), j(e) (ne sais) pas, sur le sab(le),

i(ls) parlent, t'a (tu as), v'zavez (vous avez) [34]; нем.: (he)raus, (he)raum, (Auf)wiedersehen, (gute)n Morgen и (guten) Morgen, haste (из hast du), wiham (из wir haben), daon (из dauern); англ.: g'bye (=good-bye), I'd say (I should say), (that')s right, what (doe)s he want?, cap'n (=captain); польск.: bry wieczór (=dobry wieczór).

Редукция согласных может приводить к возникновению сочетаний звуков, не характерных для структуры слова данного языка. Так, выпадение интервокальных согласных ведет к появлению скопления гласных, что не свойственно русскому и польскому языкам. Несколько примеров. Рус.: [ви́иш] — *видишь*; [бу́ит] — *будет*; [хо́ит] — *ходит*; [ч'лаэ́к] — *человек*; [п'ьис'а́т] — *пятьдесят*; польск.: poač — popatrz, poəm — powiem, zaatf'ić — załatwić [35].

7. Непринужденный, раскованный характер РР объясняет и другую важную особенность РР: более регулярное строение ее системы. Система РР менее зависима от действия узуса и строгих грамматических норм, она имеет меньше лакун, «пустых клеток», чем система КЛЯ. Для РР характерна свобода действия моделей на разных уровнях языка — в синтаксисе, морфологии и словообразовании, в лексической семантике и производстве номинативных единиц. Эта особенность РР резко обнаруживается в словообразовании, способствуя регуляризации производства неузуальных слов, что характерно для РР разных языков [36].

Другой вид обнаружения регулярности системы РР состоит в неиспользовании некоторых различителей, применяемых в КЛЯ. Примером может служить свойственное РР ряда языков отсутствие различий между некоторыми видами предложений, различающимися в КЛЯ порядком слов. Так, во французской РР отсутствует инверсия главных членов во многих типах предложений, в которых она вызывается помещением в абсолютном начале определенных слов, выполняющих союзные и модальные функции (peut-être, ainsi, aussi, encore) [37]. Например: Peut-être elle ne l'a pas vu. В тех случаях, когда особая семантика наречия не выявляется при отсутствии инверсии, конструкции с инверсией вытесняются в РР синонимичными построениями с иными союзами. Так, союзы mais, cependant вытесняют инверсированные конструкции с encore [38].

Иллюстрацией отсутствия дифференциации в РР там, где она есть в КЛЯ, может служить также строение вопросительных высказываний. В РР многих языков вопросительные высказывания нередко отличаются от невопросительных лишь интонационно, тогда как в КЛЯ вопросительные предложения должны содержать инверсию главных членов. Так, для русской РР характерно отсутствие инверсии и неиспользование частицы *ли*. Ср.: *Возьмете ли вы с собой сына?* (КЛЯ) и *Вы возьмете с собой сына?* (РР). Характерно отсутствие инверсии в РР при вопросах. Франц.: Tu te couche tout de suite?; Vous êtes sûr?; Vous pouvez marcher?; On peut rester?; Нем.: Ich muß gehen?; Du willst schlafen?. В английской РР вопросительные предложения также могут иметь прямой порядок слов и не содержать вспомогательного глагола

to do: *You say* your hair is gone?; *You mean* her invalid mother?; *You remember?* При более непринужденной речи вопросительные высказывания могут содержать лишь один глагол: . . . I believe her. *Understand?*; *Got my key?*; Cash down now?

8. Названные ранее условия протекания РР (непринужденность, неподготовленность), способствующие регуляризации системы, объясняют и противоположную особенность РР — широкое, функционально не нагруженное варьирование единиц, которое обнаруживается на разных уровнях — в фонетике, морфологии и словообразовании, синтаксисе, лексике.

Приведем иллюстрации из фонетики русской РР. Сильная редукция, свойственная особенно произношению высокочастотных слов, порождает большую вариативность [39]: *теперь* — [т'иэр'], [т'эр']; *конечно* — [каэшнъ], [кóшнъ]; *наверно* — [наэрнъ], [наэ́нъ], [нэ́нъ]; *вообще* — [ваш'э́], [ваш'э́], [ш'э]; *нельзя* — [н'ил'з'á] и [н'из'á]; *значит* — [знач'], [нáч'ит], [нач']; *когда* — [кадá], [каá]; *тогда* — [тадá], [таá]; *тебя* — [т'иá], [т'а]; *тебе* — [т'иэ́], [т'э] и т. п.

В синтаксисе особенно высока вариативность порядка слов и средств актуального членения.

В сфере номинаций вариативность обнаруживается в РР разных языков как тенденция к называнию одного денотата множеством наименований [40].

9. Функционирование РР регулируется такими специфическими закономерностями, как речевой этикет и правила ведения диалога. В РР более активно, чем в других сферах языка, действуют различные условности, имеющие характер коллективной договоренности. Это приводит к тому, что те или иные единицы языка часто используются в их непрямых функциях. Для того, чтобы коммуникативный акт находил при этом адекватное осуществление, т. е. был правильно понят и получил нужную реакцию, необходимо знать типические виды таких транспозиций [41]. Они касаются прежде всего построения номинативных средств языка и использования синтаксических конструкций. Одним из видов широко распространенных узуальных транспозиций является использование вопросительных по форме конструкций для выражения вежливой просьбы или побуждения. Для русской РР типичны в такой функции фразы типа: (в автобусе) *Вы не подвинетесь?* (='подвиньтесь'); *Вы не передадите?* (='передайте'); *Вы не откроете?* (='откройте').

В вопросительных конструкциях, выполняющих функцию просьбы или побуждения, обычно выступают модальные глаголы. При этом в разных языках фигурируют разные модальные глаголы. Для русской РР характерен в этой функции глагол *мочь* с отрицанием *не* и нередко частицей *бы*. Например: (в поезде) *Не могли бы Вы открыть окно?*; *Ты не мог бы сходить в прачечную?* Во французской РР используется глагол vouloir 'хотеть', в немецкой — können 'мочь' — в форме конъюнктива в сочетании с отрицанием.

Отметим другой показательный слой узуальных транспозиций. Многие высказывания в РР служат не для сообщения того, что

они выражают, но играют роль стимулов для каких-то действий или сообщений иного смысла. Так, фраза *Папа лег отдохнуть* // может содержать призыв к детям «Не шумите».

II

Мы показали, что в строении РР разных языков наблюдается значительное сходство. Вместе с тем очевидно, что близость в условиях функционирования РР не может нивелировать полностью структурные различия между языками. Так, русская РР обнаруживает более резко безглагольность, свойственную русскому языку вообще. Сюда относятся такие явления, как:

а) отсутствие связки в формах наст. времени именного сказуемого, ср.: *Он учитель* и Er ist Lehrer; Il est professeur //; *Она дома* и Sie ist zu Hause; *Ты где?* и Wo bist du?; *Я здесь* и Ich bin hier. Однако глагольность и немецкого языка не является абсолютной: «Немецкое безглагольное предложение типа Du hier? вполне допустимо, если оно выражает удивление, недоумение говорящего. Возможно также в ответе на вопрос Wo bist du? просто Hier, или Ich? Hier! Таким образом, вместо прямых параллелей двух языков имеются смещенные» [42];

б) наличие нулевых глаголов-предикатов. Ср. *Мы в лес* // и нем. Wir gehen in den Wald.

Многие общие особенности РР находят разную реализацию в разных языках. Так, невыраженность субъекта при глаголе в личной форме отмечена в РР разных языков. Она составляет типическую черту русской РР: *Еду на дачу* // *Вернусь в воскресенье вечером* // *Придешь к нам?*; *Поможешь мне вещи собрать?*

Для польского языка неупотребительность местоимений-субъектов — порма. По нормам книжной грамматики немецкий, французский и английский языки требуют обязательного выражения субъекта при глаголе. Однако отсутствие местоимений в РР этих языков все же встречается. В немецкой РР глагольные недвусоставные предложения исключительно редки: — Weißt du's? — *Weiß!* (E. Wolf); Baum: Brennt sie? Schürmann: *Brennt* (H. Zinner) (примеры В. Д. Девкина). Как отмечают исследователи, «использование единичного глагола для немецкого предложения мало характерно. Если в русском языке для разговорной речи обычны предложения, состоящие из одного глагола (*Стою. Жду. . .*), в немецком языке имеется какой-нибудь непременный «спутник» глагола. Это может быть наречие: Höre schon. . ., отрицание: Verstehe nicht. Geht nicht. . . Сопровождение глагола каким-нибудь элементом служит своеобразной компенсацией двусоставности, столь обычной для немецкого предложения. Благодаря этому как бы воссоздается необходимая для немецкого предложения ритмико-мелодическая двукомпонентность при невыраженности одного из составов предложения (подлежащего)» [43]. По-видимому, это наблюдение верно и для французской РР. «Безместоименность» встре-

чается обычно при отрицании и свойственна преимущественно высокочастотным глаголам (типа pouvoir, savoir): Peux pas vous dire //; Sais pas //; Sais pas encore //

В английской РР отсутствие местоимения-подлежащего также нечасто и свойственно лишь небрежной речи. Несколько примеров из романов А. Кристи: (из речи пожилого джентльмена) Not that I've ever known him very well. *Used* to come for the holidays once or twice with his brother. . .; Very civil fellow. *Told* him I wanted the adress of a chap. . .; *Asked* me who I wanted to speak to; (из речи горничной) — She don't like it home. — Really? — *Got* a stepmother.

Структурные различия обнаруживаются также в такой общей особенности РР, как повторы. При повторах, выражающих согласие/несогласие, или выполняющих функцию переспроса, в русской РР употребительны флективные формы. В немецкой РР при повторах «происходит замена на более простую в морфологическом отношении форму (инфинитив, им. п. существительного, краткое прилагательное): Und wenn ich durchfalle? — *Durchfallen?* Nicht möglich. А если я провалюсь? — *Провалишься?* Не может быть //; Hast du den Fehler bemerkt? — *Ein Fehler!* Ausgeschlossen. Заметил ошибку? — *Ошибку?* Исключено» [44].

Широкое употребление так называемых глагольных междометий в функции сказуемого, присущее русской РР, не свойственно немецкой, английской и французской РР: Он *бац* по столу //; Машина *трах* в дерево //. В немецкой РР звукоподражательные междометия выступают лишь в роли приглагольных обстоятельств: *Bumm* schlug er zu!; *Plantsch*, liegt die Puppe im Wasser! (примеры В. Д. Девкина); ср. во франц. РР: Le contrôleur sourit, tranquille, et, *clic-clac*, poinçonna.

Разнообразие модальных оттенков — типическая черта РР. Модальные отношения в русской РР часто выражаются с помощью многочисленных частиц и других «мелких» слов. Этот способ выражения противостоит высокой употребительности модальных глаголов в немецкой, французской и английской РР.

Свойственная русской РР безглагольность в сфере построения высказывания находит своеобразную «компенсацию» в области номинативных единиц. Русскую РР характеризует специфическая «номинативная нагрузка» слов различных частей речи: высокой значимостью в сфере номинативных средств обладает не только имя существительное, но и глагол [45]. Конструкции с verbum finitum [46], с инфинитивом [47], а также отглагольные производные составляют важную часть номинативного арсенала русской РР.

В результате этого ослабляется контраст между формой высказывания и формой номинации. С одной стороны, в качестве высказывания широко употребляются конструкции безглагольные, с другой стороны, структуры, включающие глагол в личной форме, функционируют в качестве номинации [48]. По нашим наблюдениям, эта черта типична именно для русской РР и не свойственна другим языкам.

Специфическую особенность русской РР составляет активность относительных отсубстантивных прилагательных, служащих для транспозиции значения предметности в значение признака. Такие прилагательные, являясь синтаксическими дериватами (по Куриловичу), способны выражать разные виды отношения к предмету. Сочетания подобных прилагательных с существительными дают номинации, удобные своей краткостью. Они широкоупотребительны в русской РР. Например: Эти *больничные разговоры* надоели мне ужасно // (разговоры о больнице); Я возьму из *магнитофонных денег?* (деньги, отложенные на покупку магнитофона).

Отличие РР от КЛЯ в использовании отсубстантивных прилагательных состоит в том, что в КЛЯ словосочетания «отсубстантивное прилагательное+существительное» служат для обозначения типизированных видов отношений [49], тогда как в РР такие сочетания могут обозначать любые виды отношений, конкретизируемые нередко лишь в широком контексте. Ср.: *телефонное воспитание* — воспитание по телефону, *картофельный дед* — дед, продающий картошку, *картофельный бал* — бал, устроенный по поводу окончания уборки картошки.

В немецкой РР эквивалентом русских словосочетаний с отсубстантивными прилагательными являются сложные существительные (большей частью с субстантивным определителем в первой части), во французской и английской — предложные конструкции с именем существительным или сложные слова.

Как видно, общие черты присущи РР на всех уровнях. При этом одна из важнейших универсалий — специфическое количественное соотношение разных частей, отличающее РР от функциональных стилей КЛЯ [50].

* * *

Особого внимания и дальнейшего изучения заслуживает иной аспект изучаемой проблемы: соотношение таких двух специфических лингвистических феноменов, как РР и язык художественной литературы. Язык художественной литературы по своим экстралингвистическим признакам резко противостоит РР как явление, отличающееся обдуманностью, выношенностью формы (так сказать, антиспонтанностью), отсутствием непосредственных неофициальных отношений между отправителем и получателем речи (автором и читателем) и — что характерно для литературы нового времени — обнаружением в первую очередь в письменной форме. Однако, несмотря на эти резкие различия, РР и язык художественной литературы характеризуются определенной близостью, заключающейся в следующем. Они допускают: 1) свободное использование единиц разных подсистем и стилей (диалекты, жаргоны, архаизмы, канцеляризмы и т. п.) общенародного языка; 2) свободное построение единиц разных уровней — словоформ, слов и синтаксических конструкций; 3) свободное отношение к теме сообщения. Их сближает и следующее: ни РР, ни язык художественной

литературы не могут рассматриваться как функциональные стили литературного языка.

Сходство между РР и языком художественной литературы заключается и в том, что в них названные в пунктах 1 и 2 явления выполняют определенное эстетическое задание [51], т. е. используются как средства функционально нагруженные. В РР эти средства служат для так называемой языковой игры [52], переводящей речь в шутливую тональность. Однако между РР и языком художественной литературы существуют и отношения другого рода: при формальном сходстве тех или иных построений наблюдается их резкое функциональное различие. Особенно ярко, например, оно обнаруживается в синтаксисе, прежде всего в области порядка слов [53]. Такие особенности порядка слов, как непроективность, дистантное расположение тесно связанных между собой синтаксических единиц, широко свойственны и РР, и речи поэтической. Однако, если в речи поэтической они создают особую напряженность, придают ей возвышенность звучания, то в РР они не имеют этих функций, но отражают такую закономерность построения РР, как вынос в начало фразы наиболее существенных элементов сообщения, поэтапное построение высказывания.

Другая интересная особенность РР, сближающая ее с некоторыми жанрами художественной литературы, — тематическая полифония [54]. В одном диалоге (или полилоге) собеседники могут говорить одновременно на разные темы, причем такой разговор не создает впечатления неестественного или неправильного [55]. Отметим, что подобное построение диалога в языке художественной литературы используется как специальный прием, создающий впечатление абсурда (ср. абсурдную прозу или театр абсурда).

Узуальные транспозиции РР, разные виды непрямых номинаций могут рассматриваться как аналог понятия «подтекст» в языке художественной литературы.

Подведем итоги. Для строения системы РР в высшей степени характерны черты контраста. В ней обнаруживаются такие противонаправленные тенденции, выступающие как основные черты ее организации: 1) тенденция к формальной и/или семантической расчлененности единиц vs тенденция к формальному и/или семантическому синкретизму; эти тенденции реализуют антиномию говорящий/слушающий то в пользу говорящего, то в пользу слушающего [56]; 2) тенденция к автоматизму речеведения, к широкому использованию готовых трафаретных формул, клише vs тенденция к свободному построению единиц разных уровней и разной сложности; 3) невнимание к форме речи, небрежность ее оформления vs творческое, эстетическое отношение к форме речи, повышенное стремление к экспрессивности; 4) тенденция к монофункциональности единиц, к одно-однозначному соответствию между означаемым и означающим (которая находит, в частности,

выражение в закреплении за одним предметом одного имени) vs тенденция к полифункциональности единиц, к закреплению за одним означающим многих означаемых.

Борьба этих тенденций, победа на одних участках системы одной из них, а на иных участках — другой и определяют сложность и многообразие живой разговорной речи.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Ср. близкое определение франц. РР в кн.: *Шигаревская Н. А.* Очерки по синтаксису французской разговорной речи. Л., 1970, с. 11.

[2] О разговорных универсалиях см., например: *Скребнев Ю. М.* Типологические аналогии в синтаксисе разговорной речи неблизкородственных языков. — В кн.: Теория и практика лингвистического описания разговорной речи. Горький, 1968; *Сиротинина О. Б.* К вопросу о типологическом изучении разговорной речи. (Универсальные явления разговорной речи). — Там же; *Скребнев Ю. М.* Общелингвистические проблемы описания синтаксиса разговорной речи. Докт. дис. М., 1971; *Алисова Т. Б.* Константы языкового развития и типология романских языков. — Изв. АН СССР. Сер. лит. и яз., 1980, № 1, с. 3—12.

[3] Ср.: *Скребнев Ю. М.* Общелингвистические проблемы описания синтаксиса разговорной речи. Автореф. докт. дис. М., 1971, с. 27.

[4] *Земская Е. А.* Русская разговорная речь. Проспект. М., 1968; Русская разговорная речь. М., 1973; Русская разговорная речь. Тексты. М., 1978; *Земская Е. А., Китайгородская М. В., Ширяев Е. Н.* Русская разговорная речь. Общие вопросы. Словообразование. Синтаксис. М., 1981; Русская разговорная речь. Фонетика. Морфология. Лексика. Жест. М., 1981.

[5] Назовем здесь лишь некоторые работы, содержащие к тому же обширную библиографию: *Шигаревская Н. А.* Очерки по синтаксису французской разговорной речи; *Sauvageot A.* Français écrit, français parlé. Paris, 1962; *Idem.* Analyse du français parlé. Paris, 1972; *Idem.* La grammaire du français parlé. Hachette, 1971; *Söll L.* Gesprochenes und geschriebenes Französisch. Berlin, 1974; Studia nad składnią polszczyzny mówionej. Wrocław etc., 1978; Studia nad polszczyzną mówioną Krakowa, I. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, DLXXIX. Prace Językoznawcze, zesz. 70. Warszawa —Kraków, 1981; *Baumgärtner K.* Zur Syntax der Umgangssprache in Leipzig, 1959; *Девкин В. Д.* Немецкая разговорная лексика. М., 1973; *Он же.* Немецкая разговорная речь. Синтаксис и лексика. М., 1979; *Steger H.* Gesprochenes Deutsch. Zu ihren Typik und Terminologie. — In: Sprache der Gegenwart. Düsseldorf, 1967; *Скребнев Ю. М.* Общелингвистические проблемы описания синтаксиса разговорной речи. Докт. дис. М., 1971; *Гальперин И. Р.* Очерки по стилистике английского языка. М., 1958.

[6] Например: Русская разговорная речь. Тексты. М., 1978; Wybór tekstów języka mówionego mieszkańców Krakowa. Kraków, 1979; Teksty języka mówionego mieszkańców miast Górnego Śląska a Zagłębia, I. Katowice, 1978; Texte gesprochener deutscher Standardsprache, 1—3. München, 1971—1975.

[7] Записи из живой РР и из художественной литературы пометами не снабжаем.

[8] См. об этом: *Девкин В. Д.* Диалог. Немецкая разговорная речь в сопоставлении с русской. М., 1981, с. 158—160.

[9] *Шигаревская Н. А.* Указ. соч., с. 28.

[10] См. об этом: *Чурилова Н. В.* Из наблюдений над эллиптическим словоупотреблением в ситуации разговорной речи. — В кн.: Вопросы синтаксиса русского языка. Калуга, 1969; *Она же.* Из наблюдений над конструкциями с отсутствующим дополнением. — В кн.: Синтаксис и норма. М., 1974; *Капанадзе Л. А.* Номинация. — В кн.: Русская разговорная речь. М., 1973.

[11] См. об этом: *Шигаревская Н. А.* Указ. соч., с. 29; *Реферовская Е. А.* От грамматической формы к новому слову. — Учен. зап. ЛГУ, 1961, № 299. Сер. филол. наук, вып. 59.

[12] *Шигаревская Н. А.* Указ. соч., с. 28.

[13] См.: *Николаева Т. М.* О функциональных категориях линейной грамматики. — В кн.: Синтаксис текста. М., 1979, с. 37—48; *Она же.* Лингвистика текста. Современное состояние и перспективы. — В кн.: Новое в зарубежной лингвистике, вып. 8. М., 1978, с. 31; *Брчакова Д.* О связности в устных коммуникатах. — В кн.: Синтаксис текста, с. 248—261.

[14] Ср.: *Девкин В. Д.* Немецкая разговорная речь, с. 108.

[15] *Скребнев Ю. М.* Указ. автореф., с. 23.

[16] См., например: *Столярова Э. А.* Распределение и функционирование грамматических классов слов в русской разговорной речи. Канд. дис. Саратов, 1972. — «Грамматические слова» составляют 300 единиц на 1000 слов во français parlé (см.: *Rivenc P.* Lexique et langue parlé. — In: Grammaire du français parlé, p. 57).

[17] Русская разговорная речь. Фонетика. Лексика. Морфология. Жест. М., 1981.

[18] Реплика каждого говорящего формируется линейно (однонаправленно) и не допускает возврата назад (возможные самопоправки все равно «не зачеркивают» сказанное, ибо оно уже услышано и воспринято собеседником).

[19] См., например: *Кожевникова Кв.* Спонтанная русская речь в эпической прозе. Praha, 1970.

[20] По нашим наблюдениям, это особенно характерно для русской и польской РР. Такое строение коммуникативного акта иногда вызывает негативную реакцию собеседников типа: Не перебивай меня!; Дай мне сказать!; Ну что вы все вместе?

[21] Кроме названных выше хрестоматий, см.: *Йотов Цв.* Диалог в общении и обучении. София, 1979.

[22] Русская разговорная речь. М., 1973, с. 451—452.

[23] Ср., например: Русская разговорная речь. М., 1973; *Апресян Ю. Д.* Экспериментальное исследование семантики русского глагола. М., 1967, с. 29—30.

[24] *Девкин В. Д.* Немецкая разговорная лексика, с. 71—73.

[25] *Frei H.* La grammaire des fautes. Paris, 1929.

[26] См., например: *Лаптева О. А.* О некодифицированных сферах современного русского литературного языка. — ВЯ, 1966, № 2; *Земская Е. А.* Русская разговорная речь. Проспект, с. 84—89; Русская разговорная речь. М., 1973, с. 241—264; *Лаптева О. А.* Русский разговорный синтаксис. М., 1976; *Красильникова Е. В.* К функциональной характеристике именительного падежа существительных в системе русской разговорной речи. — Теория и практика лингвистического описания разговорной речи, вып. 7, ч. I. Горький, 1976; *Kafková O.* K vystavbě výpovědi v běžně mluvené ruštině. (Funkce nominativu a infinitivu). Praha, 1976; *Скребнев Ю. М.* Из наблюдений над особенностями синтаксиса английской РР. — Учен. зап. Пятигорского пед. ин-та, 1958, т. 17, с. 288; *Михайлов Л. М.* Об экспансии номинатива в разговорной речи (на материале немецкого языка). — В кн.: Категория падежа в структуре и системе языка. Рига, 1971; *Власенко Т. Г.* Категории числа, падежа, рода имени существительного в немецкой разговорной речи. Автореф. канд. дис. М., 1977, с. 8—9.

[27] *Девкин В. Д.* Немецкая разговорная речь, с. 149.

[28] Ср.: *Гавранек Б.* О функциональном расслоении литературного языка. — В кн.: Пражский лингвистический кружок. М., 1967.

[29] *Ширяев Е. Н.* Полипредикативные высказывания в разговорной речи. — В кн.: *Земская Е. А., Китайгородская М. В., Ширяев Е. Н.* Русская разговорная речь. Общие вопросы. Словообразование. Синтаксис. М., 1981.

[30] *Сиротинина О. Б.* Современная разговорная речь и ее особенности. М., 1974.

[31] Это обстоятельство отмечают многие исследователи РР. См.: *Столярова Э. А.* Указ. соч.; *Сиротинина О. Б.* Современная разговорная речь. . ., с. 66.

[32] Ср.: *Gougenheim G., Rivenc P., Michéa R., Sauvageot A.* L'élaboration du français élémentaire. (Etude sur l'établissement d'un vocabulaire et d'une grammaire de base). Paris, 1956. См. также: *Ковтун Л. С.* Лексические нормы русского языка и разговорная речь. — В кн.: Современная русская лексикология. М., 1966, с. 18; *Rivenc P.* Op. cit., p. 52—69.

[33] См. об этом: Русский язык и советское общество. Словообразование современного русского литературного языка. М., 1968, с. 271—284; *Санджи-Гаряева З. С.* Усечение как способ словообразования в разговорной речи. — В кн.: Актуальные проблемы русского словообразования, II. Самарканд, 1972; *Земская Е. А., Китайгородская М. В., Ширяев Е. Н.* Указ. соч.; *Степанов Ю. С.* Французская стилистика. М., 1965, с. 74—75; *Гяч Н. В.* К вопросу о генетических истоках аббревиатур. — В кн.: Лингвистические исследования. Л., 1970.

[34] См., например: *Sauvageot A.* Français écrit, français parlé. Paris, 1962, p. 152—158; *Гак В. Г.* Сравнительная типология французского и русского языков. Л., 1977, с. 44; *Chigarevskaia N.* Traité de phonétique française. M., 1973.

[35] См.: Rozmowa podczas spotkania towarzyskiego. — In: Studia nad polszczyzną mówioną Krakowa, I. Kraków, 1981.

[36] См., например: *Морен М. К., Тетеревникова Н. Н.* Стилистика современного французского языка. М., 1966; *Девкин В. Д.* Немецкая разговорная лексика; *Он же.* Немецкая разговорная речь; *Земская Е. А., Китайгородская М. В., Ширяев Е. Н.* Указ. соч.

[37] См., например: *Шигаревская Н. А.* Указ. соч., с. 22—25; *Lerch E.* Die Inversion in modernen Französischen. Genève, 1939.

[38] *Шигаревская Н. А.* Указ. соч.

[39] *Русская разговорная речь. М.*, 1973.

[40] *Девкин В. Д.* Немецкая разговорная лексика.

[41] Характеристику некоторых типичных для РР непрямых значений вербальных компонентов речевого акта, называемых постулатами разговора, см.: *Gordon D., Lakoff G.* Postulates de conversation. — Language, 1973, N 30.

[42] *Девкин В. Д.* Немецкая разговорная лексика, с. 151.

[43] Там же, с. 120.

[44] *Девкин В. Д.* Диалог, с. 158—160.

[45] *Девкин В. Д.* Немецкая разговорная лексика, с. 463.

[46] Несколько примеров: *Лестницу моет*/заметила? Она у нас недавно уборщицей//; *Молоко отпускает*/смотреть на нее не могу/еле руками шевелит//

[47] Несколько примеров: Дай *во что завернуть*//; Захвати *чем писать*//; Не забудь *на чем загорать*//; А где *на чем гладить*?

[48] См.: *Земская Е. А.* Русская разговорная речь. Проспект; *Chlupáčová K.* K difúzností pojmenovacích a vypovědních prostředků v ruském mluveném projevu. — Studia Slavica Pragensia, Praha, 1973.

[49] *Земская Е. А.* О семантике и синтаксических свойствах отсубстантивных прилагательных в современном русском языке. — В кн.: Историко-филологические исследования. Сб. статей к семидесятилетию акад. Н. И. Конрада. М., 1967, с. 92—103.

[50] Из новейших исследований этой проблематики см.: *Якубайтис Т. А.* Части речи и типы текстов. Рига, 1981.

[51] Ср.: *Шмелев Д. Н.* Русский язык в его функциональных разновидностях. М., 1977, с. 36.

[52] Русская разговорная речь. Фонетика. Лексика. Морфология. Жест. М., 1981.

[53] См. об этом подробнее: *Ковтунова И. И.* Современный русский язык. Порядок слов и актуальное членение предложения. М., 1976; *Она же.* Порядок слов в стихе и прозе. — В кн.: Синтаксис и стилистика. М., 1976; *Земская Е. А., Китайгородская М. В., Ширяев Е. Н.* Указ. соч., с. 7—9.

[54] См.: *Кожевникова Кв.* Спонтанная русская речь в эпической прозе. Praha, 1970, с. 32—33; *Kolektiv rusistů UK.* Běžně mluvený jazyk, zvláště v ruštině. — Slavia, 1973, № 1, с. 36.

[55] См., например, текст «За обедом». — В кн.: Русская разговорная речь. Тексты. М., 1978, с. 159 и след., в котором собеседники говорят о защите

диссертации, о собирании и солении грибов и при этом обмениваются репликами по поводу обеда.

[56] О языковых антиномиях см.: Русский язык и советское общество. Лексика современного русского языка. М., 1968.

Вяч. Вс. Иванов, В. Н. Топоров

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ СЛАВЯНСКОГО ЭТНОГЕНЕЗА

(в связи с реконструкцией праславянских текстов)

Специфика современного состояния изучения праславянского языка и славянских древностей состоит в том, что лингвистическая реконструкция благодаря ее надежности и выявленности становится наиболее эффективным орудием исследования. Во всяком случае, по достоверности и по количеству реконструированных элементов праславянский может быть сопоставлен с латинским в отношении к романским. Показательны в этом отношении материалы праславянских словарей, выходящих в настоящее время. Их преимущество перед другими словарями, фиксирующими результаты реконструкции, как, например, индоевропейский словарь Покорного, заключается в почти исчерпывающей полноте восстановления, гарантируемой известностью набора словообразовательных элементов (благодаря этому возможно построение правил порождения ряда возможных новых словоформ), в конкретности словообразовательных типов, доведенных до уровня каждой лексемы, в ясности семантических отношений, связывающих воедино такие исходные элементы для реконструкции, как продолжения лексемы в отдельных славянских языках, так и во всех элементах, входящих в реконструируемое гнездо. Уже перечисленные особенности дают основание для установления данного праславянского слова с более широким контекстом. Простейшим примером, связывающим оба эти принципа, могут служить так называемые figura etymologica, которые в синтагматических сочетаниях реализуют словообразовательные связи внутри гнезда слов. В свою очередь figura etymologica представляет собой частный случай фразеологических сочетаний, поддающихся реконструкции. Одним из наиболее массовых видов сочетаний, реконструируемых для праславянского, являются комплексы, состоящие из префикса и глагола. Роль этих комплексов состоит, в частности, в том, что они соединяют лексику с грамматикой, морфологию — с синтаксисом, а в самой синтаксической структуре позволяют связать глагольную префиксацию с именным предложным управлением. В праславянском реально представлены уже обе эти синтаксические функ-

ции превербов, которые могут быть и предлогами, ср. *po-+Vb, например, *po-iti [1, с. 49 и 98] и *po+N (например, *po+komь) и частое дублирование таких элементов в славянском фольклоре (ср. др.-рус. *постояти по комь* и т. п.). В более ранней системе, восстанавливаемой по данным как давно известных древних индоевропейских языков, так и вновь изученных, соответствующий элемент мог выступать в одной и той же конструкции в обеих функциях типа N+*pe/o+Vb, где *pe/o — одновременно и приглагольный преверб-наречие, и приименной служебный послелог или предлог в зависимости от порядка слов; для еще более древнего времени — пространственное имя в служебном использовании; ср. подобные имена типа *p(e)rō, слав. *perdъ с явным исходным конкретным значением части тела [2; 3]. На основании тех же данных можно полагать, что не только обе синтаксические функции подобных элементов, представленных в праславянском, но и обе их основные семантические функции — видовая и пространственная — могут быть возведены к достаточно древнему состоянию.

Другим особенно широко представленным типом сочетаний лексем, как правило, дающих основание для более или менее регулярного восстановления на их основе фразеологических сочетаний, являются сложные слова. Имеются в виду как древние нарицательные словосложения, так и чрезвычайно многочисленные собственные имена из двух или более членов (в том числе и глагольная основа с превербом при ней; в таком случае речь идет о трехчленной схеме, напоминающей исходный прототип конструкций с превербами). Для словосложений обоих типов выявляются многочисленные индоевропейские параллели, что уже одно ставит под сомнение традиционное объяснение целого ряда старославянских (и им соответствующих инославянских) сложных слов как калек с греческого только на том основании, что соответствующий тип представлен и в греческом. Восстановленные праславянские словосложения и лежащие в их основе более ранние сочетания лексем часто отсылают непосредственно к фрагментам праславянских текстов, являясь выражением существенных или значимых элементов сюжета. В отличие от реконструкций, более тесно связанных с грамматикой и ориентирующихся на потенциальность, реконструкции, опирающиеся на анализ сложных собственных имен, в большей степени ориентированы на те лексемы, которые выступают в текстах, воплощающих некоторый набор мифопоэтических мотивов. Иначе говоря, реконструкция последнего типа всегда содержит какую-то информацию о содержании текста или о его жанре. Весь набор реконструкций, опирающихся на собственные имена, достаточно полно очерчивает круг мотивов, по-видимому, приурочиваемых к эпическим текстам.

Впервые соображения этого рода о реконструкции праславянских текстов были сформулированы 20 лет назад в докладе к V съезду славистов [4]. Несколько позднее сходный подход

получил поддержку в применении к реконструкции фрагментов индоевропейского текста в книге Р. Шмитта [5] (ср. из позднейших публикаций труд М. Дуранте [6]), подытожившего вместе с тем и столетний опыт подготовительных работ, шедших в этом направлении [7]. В отличие от упомянутого доклада авторов Р. Шмитт, как и его предшественники в западноевропейской традиции, славянских фактов почти не привлекает (исключение составляет знаменательная группа эпических фрагментов, включающих и.-е. *k̂leu̯o-, слав. *slava) и опирается в основном на греческие и индоиранские данные. Это делает возможным в ряде случаев осуществить контроль и над славянскими реконструкциями, сопоставимыми с индоевропейскими. Вместе с тем Р. Шмитт, как и другие исследователи «индоевропейского поэтического языка», писавшие до и после него, ориентировался почти исключительно на такие минимальные отрезки текстов, которые, с одной стороны, подтверждаются перекрестным этимологическим сравнением разноязыковых данных, а с другой стороны, допускают запись в фонетической форме, достаточно близкой к реальной. Разумеется, что обе эти черты (в еще большей степени имеющие возможность полного выявления на праславянском материале в силу отмеченных выше его особенностей) делают реконструкции Шмитта особенно надежными, но вместе с тем и ставят им определенный предел: во-первых, мы не всегда знаем жанровый локус реконструированного фрагмента на индоевропейском хронологическом уровне (само нахождение источников для реконструкции в гомеровском эпосе или в ведийских и авестийских собраниях гимнов еще не позволяет определить точной жанровой принадлежности для индоевропейского тем более, что в нем соответствующих жанров могло вовсе не быть); во-вторых, реконструкция в этом случае оказывается как бы простым расширением обычной лингвистической, т. е. переносом находимого в двух или более традициях на более или менее вероятный их общий источник (между тем само обилие и длина различных текстов на греческом, древнеиндийском, латинском языках делает возможным обнаружение таких соотносимых сочетаний этимологически тождественных слов, которые заведомо могли образоваться независимо в каждой из традиций при исключительно малой вероятности их общего индоевропейского источника). В свете сказанного индоевропейские реконструкции Шмитта (и всей этой линии исследований) содержат предельно мало ссылок на сюжет (в частности, мифологический) и очень слабо соотнесены со сравнительно-исторической мифологией. Именно последнее обстоятельство явилось наиболее значительным препятствием для расширения круга индоевропейских реконструированных текстов. В этом пункте выясняется, что лингвистические обоснования реконструкций составляют лишь половину необходимого для конкретной и жанрово ориентированной реконструкции. В случае праславянского уже в упомянутом докладе (и в последующих работах) было предложено со всеми возможностями лексической и фразеологической реконструкции

использовать возможные результаты исследований (в том числе и реконструкций) в собственно семантической, а также надъязыковой сфере, прежде всего данные, относящиеся к славянскому пантеону и к восстанавливаемым сюжетам и мотивам, связывающим его персонажей, далее правила порождения праславянских текстов различных жанров, проверяемые и их звуковыми (в частности, метрическими) характеристиками. Эти последние не только позволяют более точно определить звуковую структуру реконструируемых текстов (и даже выбирать один из нескольких возможных текстов на основе ритмического словаря, определяющего и ритмические типы слов, подбираемые в зависимости от строфики), но и облегчают жанровую атрибуцию текста (хотя бы в рамках противопоставления поэтический—прозаический и нескольких простейших подразделений внутри первого). Более полный набор всех реконструируемых для праславянского (а в какой-то мере и для балто-славянского) жанров и корпус восстановленных текстов, к ним относящийся, потребует в дальнейшем совместной детальной работы лингвистов-славистов, специалистов по сравнительной метрике и фольклористике.

Таким образом, по отношению к праславянскому представляется возможным предложить программу, значительно более широкую и конкретно детализированную, чем та, которая выполнялась по отношению к индоевропейскому «поэтическому языку». Речь идет о восстановлении жанровой структуры всей праславянской мифопоэтической традиции, что иногда даже и без доведения ее до таких предельных языковых уровней, как фонетический, много бы могло дать для реконструкции праславянской картины мира и основных способов ее выражения.

Обозначение «мифологический» в применении к праславянской традиции должно пониматься в прямом смысле: в основе всей этой традиции лежит такая совокупность мифологических мотивов, на основе которой формировался миф по преимуществу (или «основной миф»), имевший наиболее универсальный характер и наиболее полный и законченный сюжет, а также ряд мифов более частного типа, так или иначе связанные с «основным мифом». Этот же миф или другие более частные отражены с большей или меньшей полнотой в других жанрах, которые таким образом уже поэтому оказываются в некоторой зависимости от жанра мифа, выступающего в качестве ключевого. В частности, одной из наиболее частых жанровых трансформаций мифа в позднейших славянских традициях была сказка. Обилие и полнота жанра сказки в поздних славянских традициях могли для славистов недавнего времени иногда заслонять первостепенное значение именно мифа для праславянского (которое хорошо понимали такие ученые XIX в., как А. Н. Афанасьев и А. А. Потебня). Жанровые трансформации мифа проявляются как на содержательном уровне (мифологические мотивы в каждом из других жанров), так и на композиционном, ср., например, преобразование исходной группы мифологических персонажей, входивших в пантеон, в группу

персонажей сказочных, эпических (былинных) и т. д., сохраняющих в целом сходное распределение функций.

Лингвистически обоснованная реконструкция имен и эпитетов основных мифологических персонажей (соответственно имен божеств, входивших в пантеон) является в определенном смысле главным инструментом при реконструкции «основного» и ряда частных праславянских мифов. Речь идет прежде всего о центральной паре мужских мифологических персонажей — боге грозы *Perunъ, преследующем своего противника *Velesъ, для каждого из которых восстанавливаются и предметные атрибуты, а также действия-предикаты в их языковой форме [8]. Показательно, что сюжетные узлы и ходы, характерные для пары *Perunъ—*Velesъ, воспроизводятся и в связи с персонажами, обладающими теми же функциями, но выступающими с другими именами. Подобная ситуация в полной степени характеризует третий женский персонаж в схеме основного мифа, имеющей общебалто-славянские истоки (ср. мотив небесной свадьбы с участием этого женского персонажа и бога грозы, лит. Perkūnas, латш. Pērkons в архаичных мифологических народных песнях и в распространенном жанре прозаических пересказов мифологических мотивов). У этого женского персонажа в славянских традициях несколько имен, группирующихся вокруг сходных сочетаний фонем *m. . . r. . .(k) и *m. . . k. . . r, ср. Mara, Mo/arena, Markita, Makrina, в Греции Μακρίνας [9] и т. д. вплоть до позднейших отождествлений с такими именами, как *Марина*, *Мария*, *Маргарита*. В этом ряду занимает свое место и *Mokošь как название женского божества пантеона, зафиксированное во всех трех славянских традициях (ср. также др.-рус. *Мокрошь*, *Мокрешь* как обозначение знака зодиака — Водолея); подобная форма имени отражена в балканских топонимах типа *Макреш*, ср. *Макрешане*, в Греции Μάκρυσι, Μακρύσια и т. д.

Само по себе противоположение мужских персонажей мифа женскому (в частности, внутри мифа о небесной свадьбе) представляет собой одну из реализаций более универсального двоичного мифологического противопоставления. Далеко идущий бинаризм (дуализм при социальной интерпретации мифологических структур) оказался одной из основных черт всей славянской картины мира [10]. Особой проблемой остается вероятное отражение этого бинаризма и в славянских вариантах универсального космогонического мифа, представленного главным образом в этнологических легендах. Во многих случаях (в частности, у южных и позднее восточных славян) исходные дуалистические мотивы в мифах творения могли перекрываться богомильскими дуалистическими влияниями (как еще раньше манихейскими).

Вместе с тем с мифами творения связаны и мотивы, которые целиком не могут выводиться из богомильской традиции и, наоборот, находят достаточно надежные соответствия в более архаичном и территориально значительно более обширном евразийском культурно-мифологическом комплексе. В частности, речь идет

о мотиве участия двух противопоставляемых друг другу птиц в творении мира. Одна соотносится с нижним миром и злым божественным началом (обычно водоплавающая птица: гагара, утка, нырок и т. п.), другая — с верхним миром, с главным положительным божеством (обычно — лебедь, орел и др.). Славянская разновидность такого мифа творения отражена в некоторых текстах как собственно космогонических, так и обрядовых (ср. песни-веснянки, в которых весну приносит или открывает птица, или мифологический образ мирового дерева, с вершиной которого связывается птица).

Можно предположить разные хронологические слои в истории славянских дуалистических воззрений. Самые ранние из них коренятся в индоевропейских и балто-славянских (ср. хотя бы следы одинакового по семантике близнечного мифа и самое дуалистическую схему конфликта основного мифа), следующий хронологический слой может быть соотнесен с древним иранским воздействием (религии типа маздовской) на праславянский, находящим многочисленные подтверждения в сфере религиозной лексики, еще более поздний — с манихейскими влияниями, за которыми следуют богомильские. Иначе говоря, славянский мир на протяжении тысячелетий находился в сфере повторявшихся дуалистических воздействий, всякий раз усиливавших уже существовавшую традицию, что и обусловило ее особую прочность. Не случайно, что сама религия и соответственно основная стратегия поведения обозначалась как 'выбор' (*věra, ср. др.-иран. varya- > авест. vaˈrya- 'выбор') из двух возможностей. Каждая из таких возможностей соотносилась с одним из двух рядов общих символических противопоставлений. Языковая форма некоторых из них достоверно реконструируется для праславянского, как в случае *čьrnъ+*bogъ 'черный, злой бог' (во всех основных славянских традициях; ср., кроме известных западнославянских топонимов [11; 12], заклинание из прикарпатского ареала с обращением: *Пане круку, пане круку Черна бога старшій внуку!*) в его противопоставлении *bělъ+bogъ 'белый, добрый бог' в качестве обозначений, во-первых, славянских божеств, во-вторых, мест (гор) (ср. также зооморфные образы, выступающие в отдельных мифологических мотивах: *čьrnъ vornъ, *běla lebedь и т. п.), к которым приурочены эти боги (характерно, что сами эти горы соотнесены и, следовательно, противопоставление б е л ы й—ч е р н ы й описывает самое местность). Уже на этом примере, как и на других ему подобных, видна классификационная роль этого противопоставления, которое обнаруживается в очень большом количестве случаев. Речь идет об обозначении не только гор, но и вод (*čьrna *voda), рек, озер, болот, моря (*Čьrno mor'e, *Bělo mor'e), земель, областей (ср. *Белая* и *Черная Русь* как историческое продолжение архаического принципа обозначения) и племен, ср. *белые хорваты* и т. п. [13; 14], приурочиваемых к соответствующим территориям, а в своей основе — к сторонам света. Само обозна-

чение мира живых существ как *bělъ *světъ в противоположность миру мертвых, характеризующемуся отсутствием света, чернотой, образует переход от обозначения реальных и частных ландшафтов к изображениям более общего мифологического. Следует указать на особую важность таких случаев, которые отсылают к исторически конкретному материалу, связанному с территорией и обитающими на ней племенами, т. е. к основной проблематике этногенеза славян.

Подобные бинарные противопоставления в той же сфере могут кодироваться и другими признаками, например, парой *krivъ/lěvъ — *pravъ. Входящие в нее элементы являются ключевыми в целом ряде мифологических текстов (ср. поединок Кривды и Правды в русских фольклорных текстах, которым имеются параллели как в других славянских, так и в индоевропейских: балтийской, древнеиранской и т. д.). С этим распределением мира, жизни на сферу кривого, неправого и правого, праведного соотнесено в своей основе архаичное славянское право. Эта мифоюридическая сфера обозначается соответственно как *pravo, а относящиеся к ней тексты — как *pravьda [15]. Само определение правого в архаичном ритуале достигается через поединок сторон, реализующий мифологический поединок Кривды и Правды, а еще глубже — и поединок двух персонажей основного мифа, или посредством дознания-ордалии, т. е. божьего суда, также предполагающего противопоставление правого и неправого [16].

Применительно к сфере права противопоставление кривда—правда выглядит достаточно жестко и бескомпромиссно и целиком укладывается в рамки различия злого и доброго. Вместе с тем в архаичной мифологической традиции отражены следы такого состояния, когда Кривда не означает только отсутствие Правды и *krivъ не обязательно имел только негативное значение. Элементом *krivъ обозначалась некая вполне самостоятельная сфера, характеризующая отношение человека и внешнего мира и предполагающая косвенные способы воздействия на этот мир. Не случайно, что понятие krivъ 'кривой' соотносится нередко с практикой жрецов-прорицателей (в балтийской традиции сам жрец мог обозначаться родственным словом, ср. лит. krivė) и с поэтической формой, рассматриваемой как отклонение (искривление) от стандартных непоэтических способов описания. И то и другое находит подтверждение и в индоевропейской традиции предсказаний, гаданий и представлений о поэтическом слове как «непрямом» слове.

Архаическая фигура, сочетающая в себе жреческую и царственную функцию (одновременно сфера власти и веры — права), предполагается в имени родоначальника кривичей Крива. Хотя сведения об этом имени (как и о других именах родоначальников) относятся к более поздней и легендарной традиции, нет оснований сомневаться, что в определенный период и в некоторых жанрах такое конструирование предка по имени его детей—внуков (ср. обозначение людей как внуков божества в славянской традиции) было обычным распространенным явлением. В этом смысле пле-

менной термин *krivići < *krivitji дает основание для реконструкции образа родоначальника *Krivъ. Очень характерно, что самый термин kriv- в этнонимическом употреблении засвидетельствован по всем границам славянского мира — на периферии, где было актуально противопоставление другим этноязыковым образованиям, ср. Κρίβησκα, Κρίγοι, Κριβίτσα, Κρυφτσανοδ в Греции [9, с. 57], Crivitz в Мекленбурге, *кривичи* (ср. их передачу у Константина Багрянородного как Κριβιτσηνοί, Κριβιτσοί) на стыке с восточнобалтийскими племенами, продолжавшими и позднее использовать это название (ср. лтш. krievs, Krievija и т. д.). Принцип обозначения родоначальника племени, самого племени и его пределов корнем *krivъ продолжается в сильно демифологизированной сфере собственных имен людей и в топонимии особенно в зоне балто-славянского пограничья [17]. Эти примеры представляют собой ценность с той точки зрения, что они являются указателем определенной этнокультурной и исторической ситуации. Элемент *krivъ как бы сочетает в себе и позднейшее отрицательное значение, и первоначальное значение, не связанное с отрицательным, но обозначавшее некоторую спецификацию в рамках архаичной социальной культуры. Славянские и балтийские данные, относящиеся к истории *krivъ, как и разные типологические данные относительно использования понятия *кривой* в социальных структурах, могут дать основание для двух предположений. Во-первых, элемент *krivъ указывает на большую вероятность особой актуальности противопоставления своего и чужого в этноязыковом плане. Во-вторых, этот элемент указывает на известную функциональную разнородность архаичной социальной структуры, в которой корень krivъ мог связываться с определенной функцией (например, жреческо-правовой) и с соответствующим жанром. Соответствующий признак мог приписываться либо всей группе в целом (откуда позднее этноним), либо какой-то ее части, в этом случае обозначая ее специфичность, отличность — от функциональной до этнолингвистической. В этом случае этнонимические термины типа krivъ всегда указывают на существенную перестройку социальной структуры или на ситуацию тесных этнических контактов.

Уже термин krivъ связан с противопоставлением свой—чужой, причем это противопоставление свой—чужой довольно точно описывает реальную этноязыковую ситуацию. Чужим называется не просто другое, а другое именно в этнолингвистическом плане. В этом смысле характерны обозначения как своего, так и чужого. Свое неизбежно соотносится со славянским, которое уже в самых ранних источниках выступает в двух контекстах: как обозначения самих себя без обязательного соотнесения с целым (так же на периферии славянского мира, ср. словене — словаки, балтийские словинцы — новгородские словене) и как обозначение всей суммы раннеисторических славянских племен уже в первых опытах славянской историографии (ср. в «Повести временных лет»: Во мнозѣхъ же времѧнѣхъ сѣли суть словѣни по Дунаеви... Ѿ тѣхъ словѣнъ

разидошаса по землѣ и прозвашаса имены своими гдѣ сѣдше на которомъ мѣстѣ). Обозначение Славяне понималось не только как отнесение к некоторому единству; это единство очень рано стало интерпретироваться как единство в слове, в языке (словеньскъ языкъ), в связи с чем по-новому осмыслялась и самая этимология слова slověne, соотносимого на этом хронологическом уровне (отраженном в самой ранней письменной поэтической традиции) со slovo и slava. На более раннем этапе это самоназвание, по-видимому, было одним из вариантов обозначения 'своего' (сам принцип обозначения самоназвания от слова 'свой' достаточно широко известен в разных традициях, в частности в Центральной и Западной Европе). С и.-е. *sṷobh- 'свой' соотносилось и слав. svoboda, которое могло обозначать как свободного человека, так и обособленный независимый образ жизни, существование, ср. др.-рус. *слобода* в двух значениях: 'поселение', 'состояние свободного человека', сопоставимое со стандартным летописным обозначением племени как живущего особѣ.

Концепция своего, обладающего своим словом приобретала особую рельефность в условиях обозначения этноязыкового элемента как чужого и лишенного слова, т. е. немого, ср. *nĕmьсь как обозначение всех неславян, *чудь*, связываемое в актуальной народной этимологии с *чужой* и др.

Конкретные чужие этнонимы подвергались соответствующей трансформации в контексте общей мифопоэтической модели. В этой связи особенно показательно обозначение валахов. Название при его рассмотрении в рамках упомянутого выше основного мифа связывается с именем второго главного персонажа и с родственным ему словом (и.-е. *u̯el- 'луг, пастбище того света', ср. балт. *Vels 'бог мертвых'), что позволяет по-новому осмыслить основную функцию валахов как пастухов [18], ср. в славянских традициях как этноним велеты, так и в эпическом жанре волотов-великанов, которым приписываются действия, сходные с поведением противника бога Грозы в основном мифе. Как и в случае с элементом krivъ, соотносимым с одной из основных особенностей поэтической речи, элемент *vel- также связывался с этим речевым жанром, ср. обозначение древнего певца Бояна как «Велесова внука», связь самого корня *vel- с обозначением поэта в других традициях (др.-ирл. fil) и т. д. Связь поэтической функции с обозначением социальной группы пастухов не противоречит типологически широко представленной роли этой последней группы именно как певцов-сказителей.

Все эти случаи, как и этнонимы, обозначающие ориентацию в пространстве (по сторонам света, ср. с е в е р, и по отношению к пределам, элементам ландшафта и т. д., ср. *по-мор-яне*, *поляне*, *ляхи*, *древл-яне*, *дреговичи* и т. п.), по сути дела, в краткой форме представляют собой словарь общей мифопоэтической картины мира, записанной в терминах, соединяющих социальный аспект с мифологическим. Такое соединение характеризует особый жанр

текстов, образующих переход между собственно мифологическими и раннеисторическими.

Обычно к праславянскому уровню не относили жанр «раннеисторического» рассказа, считая, что все исторические сюжеты передаются чисто эпическими жанрами. Тем не менее есть основания говорить об особой жанровой разновидности раннеисторических текстов, существовавших по крайней мере в позднем праславянском. Особенности текстов этого жанра выводятся на основе того, что они являются логическим завершением общей схемы мифов творения от начала земли до начала данной конкретной культурной традиции. Они характеризуются особой привязкой к древнейшим очагам славянской культуры и к определенному времени, т. е. тем самым акцентируется внимание на пространственно-временных координатах, присутствующих в каждом историческом рассказе. Наконец, в каждом из текстов этого жанра имеется персонаж, выступающий только в указанных пространственно-временных рамках и только в связи с относящимся к ним сюжетом. По сути дела, именно эти древнейшие «раннеисторические» тексты и содержат первые автоверсии этногенеза славян.

Если говорить об этнонимических данных, то они показательны конструированием имен прародителей данной племенной группы и попыткой соединения двух или нескольких подобных имен в особые мотивы или сюжеты. Наиболее известным примером, получившим и многочисленные более поздние обработки, следует считать мотив двух братьев — Ляха и Чеха, предполагающий, во-первых, их преимущественную близость и наличие общего прапредка-отца, и, во-вторых, определенные функциональные различия, связывающиеся с принадлежностью к разным типам хозяйственного ландшафта и соответствующим типам культуры (ср. lęda 'пустошь, новь, необработанная земля, в принципе годная для земледелия', čędo 'ребенок, дитя', откуда напрашивается толкование Lęxi как обозначения пустой, незаселенной земли в противоположность Čexi как заселенной, заполненной, ср. в «Голубиной книге»: «зачàдились цари со царицами от честнòй главы от адамовой; зачàдились князья со боярами от честны́х мощей от адамовых» в восточнославянской версии мифа о происхождении социальных структур и культурных ценностей). Формальные особенности, объединяющие оба члена пары *Лях* и *Чех*, делают вероятной их принадлежность к тексту мифопоэтического характера.

Иной характер носит объединение в восточнославянской традиции, зафиксированной в летописи (возможно, отражающей устное предание), имен двух братьев-родоначальников — *Вятко* и *Радим*. Их имена не отсылают к обозначению местности, хотя согласно летописной традиции они пришли с запада, из ляхов, и поселились в крайних восточных пределах Киевской Руси (Сожь, Поочье и т. д.). Само имя вятичей предполагает связь с этническим обозначением венедов, об этнической принадлеж-

ности которых в последнее время ведется разветвленная дискуссия; так или иначе они локализуются к западу от Древней Руси.

Особенно интересен тот класс мифологизированных «исторических» текстов, в которых исходная мифологическая схема, в частности основного мифа, привязывается к вполне определенным пространственным объектам, а отчасти и к известным временны́м вехам. Пунктами соединения того и другого выступают древнейшие славянские города как племенные центры. Именно вокруг них концентрируются циклы мотивов, связанных с основанием этих мест. Ценность текстов такого рода определяется тем, что они сами точно локализируются в пространстве и относятся к определенному времени не раньше основания этих городов. Лингвистическим ядром текста об основании Кракова являются два названия Krak и Wawel (ст.-польск. Wąwel). Последнее содержит в себе тот же корень *vel- (с приставкой *wą-), который входит в состав имени противника Громовержца в основном мифе, ср. *Vel-esъ. Эта этимологическая реконструкция находит подтверждение в старом предании об убийстве Краком дракона (Smok wawelski), жившего на горе Wawel и пожиравшего людей и скот. Крак выступает как одна из ипостасей змееборца и одновременно как трансформация главного героя основного мифа — Громовержца. Само его имя связано с лексемой, обычно использующейся в качестве характеристики Громовержца, ср. *карколист*, *дуб корьков*, *дуб Прокурон* и т. д. Актуальное для краковского исторического мифа противопоставление верха и низа — Краковской горы (Kopiec Krakusa, ср. соотнесенный с ним Kopiec Wandy, отсылающий к женскому персонажу мифа) и Вавельского колодца могло переноситься и на характеристику более обширных территорий. Показательно, что два ареала, наиболее близких к Карпатам, обозначаются как *Подолье* и *Волынь* при том, что первое слово указывает прежде всего на идею низа, а второе образовано от того же корня *ve/ol-.

Та же схема реализуется в противопоставлении Киевского холма (Верхнего Города [19; 20]) и Подола в киевском «историческом» мифе. Его специфика состоит в трехипостасности основного персонажа (три брата, связанных соответственно с тремя холмами или горами), в том, что женский персонаж выступает как сестра этих братьев, а также в том, что в летописной версии отсутствует мотив противника трех братьев. Тем не менее сам мотив змея и борьбы с ним самым тесным образом связан с преданиями и легендами, концентрирующимися вокруг Киева и шире по течению Днепра (вплоть до былин и позднего городского фольклора, ср. Змей Горыныч, приуроченный к Киеву). Образ противника Громовержца — Змея выступает в мифе о происхождении Днепра, днепровских порогов и так называемого Змиева вала в результате преследования Змея героем-змееборцем (или близнечной парой, представляющей того же героя), ср. Божественный Коваль, Кузьма и Демьян и т. д. Само название *вал* произведено от уже упоминавшегося корня *ve/ol-. Имя старшего из братьев (в реконструкции —

Змееборца) — Кия равно связано с образом как Громовержца, так и Кузнеца, которые сами внутренне связаны между собой (ср. огонь, вода, удар, мотив молота-молнии и битья им). Есть основания полагать, что *Кый* восходит к *Kūjь, соотносимому с корнем *kov- 'ковать', и, следовательно, могло обозначать палицу, жезл, молот, т. е. орудие Громовержца. Остальные имена представляют ценность как указатели пространственно-временных рамок сложения мифа или в связи с родственными этнонимами, ср. возможную иранскую этимологию Хорива, отмечавшуюся ранее связь имен трех братьев с армянской легендой о Kuaṛ'e и его братьях [21; 22; 23]. Противопоставление корней *perk- и *vel-, обозначающих соответственно Громовержца и его противника, в наиболее чистом виде соотносимо с балтийским ареалом, в частности, если говорить о городских мифах, — с Вильнюсом. Тем самым балтийские данные могут рассматриваться как существенный аргумент в пользу славянских реконструкций. Вместе с тем киевский вариант с тремя братьями может оказаться не результатом более или менее механического разделения одного персонажа, а сохранением достаточно древней композиционной схемы, продолжающейся примерно в том же ареале в скифском предании о трех предметах, упавших с неба, и соответственно о трех скифах-родоначальниках, и в русских былинах Киевского цикла о трех богатырях, которые несколько различны по своим функциям и, следовательно, могли быть предметом исследования в духе трехфункциональной концепции Дюмезиля, предлагавшейся им самим для объяснения скифской триады [24], как и ряда других индоевропейских триад, сходных с тремя братьями киевского «исторического» мифа. Бесспорно праславянским является сюжет № 301 по Арне — Томпсону о трех братьях, из которых младший, преследуемый другими братьями, оказывается победителем-царем, и происходит основание нового статуса жизни. В некоторых из индоевропейских мифов о происхождении или о начале рода и города три брата (или тридцать братьев) могут оказаться близнецами при мотиве инцеста по отношению к сестре (или сестрам, число которых тоже может быть тридцать, как в древнехеттском мифе). Сам по себе мотив инцеста, кровосмесительного брака брата и сестры, не только отражен в славянском фольклоре и в ориентирующейся на него более поздней поэзии, но и может быть восстановлен в языковой форме в таком важном звене, как пара имен брата и сестры *bratъsestra (ср. ст.-слав. братъсестра, белор. *брат-сестра* 'цветок иван-да-марья' [25], происхождение которого в большом цикле фольклорных текстов и объясняется инцестом).

Три брата (как в указанном сказочном мотиве) часто членятся на две группы: два и один, причем именно один (обычно младший) становится основателем традиции. В этом отношении обнаруживается связь троичных структур с дуальными с особой близнечной схемой, которая также восстанавливается для праславянских текстов. В близнечном мифе — таком, как славянский о двух бо-

жественных кузнецах — воплощается характерная для славянской мифологии дуальная структура, о которой писалось в связи с парами типа *Правда—Кривда*, *Белобог —Чернобог*.

Типологически весьма распространенный мотив связывает близнецов с основанием города, а отчасти и с его последующей структурой. Когда есть некоторое разделение функций близнецов в соответствии с общей дуальной схемой (власть—богатство, светская власть—духовная власть), нередко это разделение находит себе выражение в пространственной структуре города (две части, которые могут быть противопоставлены по признакам пространственным и социальным типа верх—низ, Кремль—Посад). Такая двоичная структура сохраняется и в случаях преемственности двух городов — старой метрополии и нового дочернего образования, обозначаемого у славян по старой индоевропейской модели (*novъ *gordъ, ср. Νεα-πολις и др.) с собственно славянской заменой названия города. Праславянский характер такого образования удостоверяется данными разных славянских традиций. Вместе с тем сами названия этого типа отражают важный этап в заселении и освоении будущей славянской территории, как и многочисленные обозначения топографических урочищ от основ, связанных с рубкой леса, корчеванием пней, превращением расчищенной земли в пашню — от корней *rǫb-, ср. *rǫb-iti, *rǫb-ežь; *cьrt-, *cьrt-ežь; *kъrč-, *terb-, *skord-, *sek-, *gor-/*žar-, *med-ja [26; 27; 28] и др. Вообще следует обратить внимание на массовость типов называния разных топографических объектов на ранней славянской территории как свидетельств расселения в принципе единого этноязыкового комплекса и практически слитности апеллятивных и собственных имен.

Есть основания говорить не только об основных направлениях колонизационных потоков славян (восстанавливаемых также и на основании древних изоглосс, предполагающих ситуацию, которая сильно отличалась от последующего трехчленного деления, ср., например, словацко-словенские или лехитско-северо-западновеликорусские ареальные черты и т. п.) и конечных точек их движения, ср. *bělo *mor'e, *čьrno *mor'e и вообще *mor'e как обозначение предела или рубежа (ср. *po-mor'-ane как жители предельной области), чему можно привести многочисленные индоевропейские параллели, но и о том центре, из которого расходились эти потоки.

В качестве такого центра выступают Карпаты, т. е. горы по преимуществу (ср. образ мировой горы в центре земли в мифопоэтических традициях, в частности славянской).

Характерно, что *Карпаты* не являются собственно славянским названием. Это несоответствие — чужое название своего центра или своей прародины — не может не быть важным показателем временных границ начала славянского этногенеза. В этом смысле еще более парадоксальную картину дают данные гидронимии. Все большие и подавляющее большинство средних по величине рек на старой славянской территории имеют чужеязычные назва-

ния (балтийские, иранские, фракийские, иллирийские, кельтские, венетские и др.). Что же касается более мелких рек, то они предполагают набор более или менее клишированных типов, повторяющихся во всех основных областях первоначального расселения славян [29]. Такая специфика предполагает инфильтрацию славян при сохранении на некоторое время старых этнолингвистических групп.

Тем не менее эти чужие названия достаточно рано осваивались и включались в мифопоэтическую систему, которая сохраняется до весьма позднего времени (ср. модель *Волга-матушка*, *Дон-батюшка*). Как Карпаты выступают в качестве горы по преимуществу или основной горы, так среди рек центральное положение занимает *Дунай* (*Dunajь, *Dunavъ). В принципе это слово становится нарицательным у славян, как и у балтов [32], им может называться любая речка. Вместе с тем *Дунай* может персонифицироваться и в этом новом качестве выступать в целом ряде мифологических мотивов [31; 32].

Наличие в славянском фольклоре мифологизированного образа Дуная, который к тому же оказывается весьма дифференцированным и многозначным, очень существенно в том отношении, что славяне (их первая волна, устремившаяся на юг), возможно, достигли Дуная не ранее V в. (ср. мифопоэтические мотивы Дуная как рубежа, с достижением которого связаны как богатство, благополучие, так и опасность, угроза). Вместе с тем не менее важно, что общеславянское распространение мифопоэтического образа Дуная предполагает хотя бы частичные миграции славянского населения не только к югу от Дуная, на Балканы, но и к северу, т. е. в обратном направлении — факт, небезразличный для раннеславянской истории [33; 34]. Характерно, что Дунай для славян — не только рубеж, но и «середа земли», где «вся благая сходится».

И собственно мифы, и «исторические» тексты могут получать обработку в жанре стихотворного эпоса. Наиболее ценные данные для его реконструкции, включающей его метрику, строфику и элементы тематически-персонажного уровня, представлены северновеликорусской и сербскохорватской традицией. Уже на их основании могут быть более или менее конкретно реконструированы основные метрические схемы (подтверждаемые осуществленными в последние годы многочисленными работами по сравнительной индоевропейской метрике, выявившими особую древность славянского и балтийского восьмисложника с клаузулой определенного типа *), приблизительный строфический инвентарь и

---

* Этот древнейший тип стиха особенно долго сохраняется в позднейших традициях, ср. с одной стороны, восточнославянский хореический восьмисложник, ограниченный четверостишиями в таком жанре, как частушки (ср. о форме [35]), с другой стороны, латышские дайны в архаической метрической форме, восстановленной для пралатышского Эндзелином [36]. В латышской традиции сохранены и архаические тематические и образные

принципы звуковой организации таких текстов, ориентирующиеся на скрытое в них имя основного персонажа. Также поддаются реконструкции сюжеты или отдельные мотивы, связанные с темой змееборства, князя-оборотня, принимающего облик Волка, и т. п.

Существенна возможность реконструкции и таких мотивов-атрибутов описания основного положительного героя, которые одновременно могут являться и частью его имени (*slava с индоевропейскими параллелями) и давать указание на жанровую принадлежность соответствующих текстов (здравицы-восхваления) — как в песнях, прославляющих героя-предводителя дружины и добывание им славы, так и в свадебных величаниях («славах»), жанрово противопоставленных особому типу сакрализованных поношений. В связи с проблемами этногенеза данные свадебного обряда ценны в том смысле, что они отсылают к вполне определенной системе социальных терминов (типа *князь*, *гость*, *чужой*, *друг* — *друж-ок* — *друж-ина*, *тысяцкий*, *полк*, *поезд*, *волк* как пережиток терминологии общеиндоевропейского обряда насильственного брака-умыкания, где волк связан с общеиндоевропейским обозначением изгоя-правонарушителя; этим словом не ограничивается лексика, связанная с териоморфным кодом свадьбы, ср. *куна* — *куница*, *соболь*, *медведь*, птичьи образы: *лебедь*, *уточка*, *сокол* и т. д.). Такое употребление социальных терминов, связанных с определенным типом структуры (дружина и ее предводитель как характерная форма раннеславянской военной организации), находит определенное объяснение в характере ритуалов, воспроизводящих структуру этого типа так же, как свадебный текст представляет собой трансформацию описания небесной свадьбы (ср. иерогамию как один из древнейших мотивов балто-славянской мифологии). Вместе с тем именно в свадебных текстах особенно полно представлена терминология обмена и соответственно полнее всего описан сам акт дарения и обмена, который определял социально-экономическую жизнь раннеславянского общества на всех ее уровнях — от чисто космогонического и сакрального до торгово-меновых операций и свадебного обмена между двумя частями-фратриями внутри племени-общины (ср. *mirъ, *vьrvь и т. д.).

Заключение свадьбы представляет собой свадебный мир, обозначаемый архаичным термином *pirъ, который в словообразовательном плане, как и в семантическом, входит в тот же ряд, что и обозначения дара, обмена и соответствующих социальных единиц (*darъ, *mirъ, ср. *žirъ и т. д.). Сам пир обозначает не только ритуальную еду-питье в соответствии с этимологией (ср. праславянские обозначения *pivo, *medъ, *vino и т. д.), но и обряд, связывающий воедино членов социальной группы и повышающий

особенности в жанре мифологических дайн при развитии гротескного жанра в восточнославянской традиции.

социальный ранг участников свадебного ритуала. В этом обряде, с одной стороны, символизируется и роль самого певца — автора текста, удостоверяющего ритуальную значимость и сакрализованность этого акта, а с другой стороны, происходит еще один обмен — между певцом — автором текста и всей совокупностью участвующих в обряде, т. е. обмен между свадьбой-пиром и ее описанием.

Свадебные обряды и тексты свадебных обрядов реализуют не только социальную структуру раннеславянского общества, но и пространственно-временные концепции. Сам обмен предполагает четкое разделение своей и чужой территории, членение пути-дороги (с указанием опасных мест), формулирование правил перехода из своего в чужое, учет временных обстоятельств и т. д.

Несколько иной тип пространственно-временных структур реконструируется на основании заговоров. В них обычно изображается структура пути из своего центра, своего дома через серию все более и более чужих или отчуждаемых от своего отрезков пути (поле, лес, болото) к некоему сакральному центру (святилище, алтарь, жертвенник и т. п., описываемые нередко как языческие культовые места), в котором также воспроизводится акт обмена, связанный с восполнением недостачи (в этом смысле обнаруживается много аналогий между пространством заговоров и сказочным пространством, где герой также вначале выходит из своего дома в поисках благоприятного случая).

В жанре славянских заговорных текстов обнаруживается особенно большое число совпадений с архаичными формулами в других индоевропейских мифопоэтических традициях (ср., в частности, архаичную медицину или анатомию, которая, в свою очередь, предполагает связи состава членов человеческого тела и их лексических обозначений и состава частей вселенной с их названиями, в частности показательны славянские параллели к мифу Пуруши).

Перечисленными жанрами не исчерпываются возможности праславянской реконструкции (ср. также тексты годового и сезонных циклов, связанных с хозяйственной деятельностью, ритмом природы и экологической средой, что делает их реконструкцию существенной для проблем этногенеза; другие жанры лирических текстов, особенно долго сохраняющихся в отдельных традициях, и т. д.). Эта реконструкция в настоящее время возможна на всех языковых уровнях, хотя, разумеется, не каждый уровень может быть описан достаточно полно.

Реконструированные тексты разных жанров в славянской и балтийской традициях дают в их сопоставлении с другими индоевропейскими новые опорные точки и для индоевропейской диалектологии, и для индоевропейской науки о древностях. Тем самым проясняется и наиболее ранний период славянского этногенеза, хотя сами славянские реконструкции освещают прежде всего последний период перед распадом праславянской общности.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Иванов Вяч. Вс.* Славянский, балтийский и раннебалканский глагол. Индоевропейские истоки. М., 1981.
2. *Иванов Вяч. Вс.* Диахроническая и синхронная типология притяжательных конструкций с неотчуждаемыми пространственными служебными именами. — В кн.: Лингвотипологические исследования, вып. II, ч. 2. М., 1975.
3. *Иванов Вяч. Вс.* К типологии развития славянских и индоевропейских предлогов и послелогов. — В кн.: Структурно-типологические исследования в области грамматики славянских языков. М., 1973.
4. *Иванов В. В., Топоров В. Н.* К реконструкции праславянского текста. — В кн.: Славянское языкознание. V Международный съезд славистов. Доклады советской делегации. М., 1963.
5. *Schmitt R.* Dichtung und Dichtersprache der indogermanischen Zeit. Wiesbaden, 1967.
6. *Durante M.* Sulla preistoria della tradizione poetica greca, pt. 1—2. Roma, 1971—1976.
7. Indogermanische Dichtersprache. Hrg. von R. Schmitt. Darmstatt, 1968.
8. *Иванов В. В., Топоров В. Н.* Исследования в области славянских древностей. М., 1974.
9. *Malingoudis Phaedon.* Studien zu den slavischen Ortsnamen Griechenlands. 1. Slavische Flußnamen aus der messenischen Mani (Akademie der Wissenschaften und Literatur. Abhandlungen der Geistes- und Sozialwissenschaftlichem Klasse, Jahr. 1981, N 3). Mainz—Wiesbaden, 1981.
10. *Иванов В. В., Топоров В. Н.* Славянские языковые моделирующие семиотические системы (древний период). М., 1965.
11. *Lorentz F.* Bělъbog und Černъbog. — In: Mitteilungen des Vereins für kaschubische Volkskunde, Bd. 1. Leipzig, 1910.
12. *Nedo P.* Czorneboh und Bieloboh: zwei angebliche slawische Kultstätten in der Oberlausitz. — Lětopis. Jahresschrift des Instituts für sorbische Volkforschung. Reihe C. Volkskunde, 1963/1964, N 6/7.
13. *Ludat H.* Farbenbezeichnungen in Völkernamen. — Saeculum, 1953, Bd. 4, H. 2.
14. *Knobloch J.* Sprache und Religion, Bd. 1. Heidelberg, 1979.
15. *Иванов В. В., Топоров В. Н.* О языке древнего славянского права (к анализу нескольких ключевых терминов). — В кн.: Славянское языкознание. VIII Международный съезд славистов. Доклады советской делегации. М., 1978.
16. *Иванов В. В., Топоров В. Н.* Древнее славянское право: архаичные мифопоэтические основы и источники в свете языка. — В кн.: Формирование раннефеодальных славянских народностей. М., 1981, с. 20.
17. *Иванов В. В., Топоров В. Н.* О древних.славянских этнонимах. (Основные проблемы и перспективы). — В кн.: Славянские древности. Этногенез. Материальная культура древней Руси. Киев, 1980.
18. *Иванов В. В., Топоров В. Н.* К вопросу о происхождении этнонима «валахи». — В кн.: Этническая история восточных романцев. Древность и средние века. М., 1979.
19. *Толочко П. П.* Історична топографія стародавнього Києва. Київ, 1970.
20. *Толочко П. П.* Массовая застройка Киева X—XIII вв. — В кн.: Древнерусские города. М., 1981.
21. *Марр Н. Я.* Книжные легенды об основании Куара в Армении и Киева на Руси. — Изв. Российской Академии истории материальной культуры, 1925, III.
22. *Капанцян Г. А.* Историко-лингвистические работы, т. 2. Ереван. 1975, с. 249.
23. *Иванов В. В., Топоров В. Н.* Мифологические географические названия как источник для реконструкции этногенеза и древнейшей истории славян. — В кн.: Вопросы этногенеза и этнической истории славян и восточных романцев. М., 1976.
24. *Дюмезиль Ж.* Осетинский эпос и мифология. М., 1976.

25. Этимологический словарь славянских языков. Праславянский лексический фонд, вып. 3. Под ред. О. Н. Трубачева. М., 1976, с. 9.
26. *Bezlaj F.* Krčévine. — Slavistična revija, 1955, s. 1.
27. *Eichler E.* Slavische Wald- und Rodungsnamen an Elbe und Saale. — Beiträge zur Namenforschung, 1958, Bd. 9.
28. *Алексеев Л. В.* О распространении топонимов «Межа» и «Рубеж» в Восточной Европе. — В кн.: Славяне и Русь. М., 1968.
29. *Udolph J.* Zum Stand der Diskussion um die Urheimat der Slaven. — Beiträge zur Namenforschung, 1979, Bd. 14, H. 1.
30. *Vanagas A.* Lietuvių hidronimų etimologinis žodynas. Vilnius, 1981, p. 96.
31. *Jagič V.* Dunau — Dunaj in der slavischen Volkspoesie. — Archiv für slawische Philologie, 1876, Bd. 1.
32. *Мачинский Д. А.* Дунай русского фольклора на фоне восточнославянской истории и мифологии. — В кн.: Русский север. Проблемы этнографии и фольклора. Л., 1981.
33. *Мачинский Д. А.* Миграции славян в I тысячелетии н. э. и их роль в создании предпосылок для возникновения Древнерусского государства. — В кн.: Формирование раннефеодальных народностей. М., 1980.
34. *Мачинский Д. А., Тиханова М. А.* О местах обитания и направлениях движения славян I—VII вв. н. э. — Acta Archeologica Carpathica. 1976, 16.
35. *Трубецкой Н. С.* О метрике частушки. — In: Trubetzkoy N. S. Three philological studies. Ann Arbor, 1962.
36. *Endzelīns J.* Darbu izlase, III, 1 daļa. Rīgā, 1979.

В. В. Лопатин, И. С. Улуханов

СХОДСТВА И РАЗЛИЧИЯ В СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СИСТЕМАХ СЛАВЯНСКИХ ЯЗЫКОВ

Хотя со времени опубликования широко известных работ И. Лекова и М. Докулила [1], наметивших основную проблематику сопоставительного описания словообразовательных систем современных славянских языков, прошло уже немало времени, разработка этой проблемы по-прежнему остается актуальной. По мере накопления конкретных наблюдений в исследованиях, посвященных описанию словообразовательных систем отдельных славянских литературных языков — как в целом, так и частных звеньев этих систем, — усиливается потребность в осмыслении выявленных закономерностей с сопоставительных позиций. В настоящем докладе предпринимается попытка показать (по необходимости, лишь на отдельных примерах) наиболее важные направления такого сопоставления на современном этапе изучения славянского словообразования.

В словообразовательных системах таких близкородственных языков, как славянские, сходных черт, естественно, неизмеримо больше, чем черт различных, и различия касаются более или менее частных и периферийных сторон этих систем. Основной фонд способов словообразования, формантов и выражаемых ими словообразовательных значений, составляющий центр этих систем, в славянских языках един.

I. В качестве общих черт, характеризующих славянский языковой тип в области словообразования, могут быть указаны следующие.

1) Преобладание аффиксальных способов словообразования над сложением; развитость сложения только в именном словообразовании, но не в глагольном.

2) Преобладание суффиксации в именах и префиксации в глаголах; формальное и семантическое многообразие суффиксов существительных, способных выражать мутационные, транспозиционные и модификационные словообразовательные значения.

3) Семантическое многообразие глагольных префиксов и участие их в выражении категории вида.

4) Развитая синонимия аффиксов, наличие различных средств для выражения наиболее типичных словообразовательных значений — таких как агентивность, опредмеченность действия, опредмеченность признака, уменьшительность, «женскость», собирательность, степень признака, степень интенсивности действия и др.

5) Обусловленная наличием развитой флективной системы (исключение — болгарский и македонский языки) неразрывная связь суффиксов с определенными словоизменительными типами, позволяющая интерпретировать систему флексий мотивированного слова как составную часть суффиксального форманта; способность системы флексий мотивированного слова выступать в качестве единственного словообразовательного (напр., при субстантивации прилагательных) или словоразличительного (при так называемой нулевой суффиксации, иначе трактуемой как разновидность конверсии, «парадигматизация») средства.

6) Развитость смешанных способов словообразования — прежде всего префиксально-суффиксального и суффиксально-сложного.

7) Преобладающее соединение компонентов в составе сложных слов посредством специальных аффиксов (преимущественно гласных *-о-*, *-е-*), при нехарактерности непосредственного соединения основ.

8) Участие в глагольном словообразовании служебной морфемы, восходящей к возвратному местоимению, в разной степени спаянной с глаголом и трактуемой для ряда языков как особый постфлексийный аффикс (постфикс).

9) Развитая система дополнительных морфонологических средств, сопутствующих суффиксации, — главным образом консонантных альтернаций.

10) Наличие у наиболее частотных продуктивных аффиксов (особенно у именных) многочисленных алломорфов (ср., напр., рус. *-ец*, *-авец*, *-овец*, *-лец*, *-омец*, *-нец*, *-енец*, *-инец* и польск. -ec, -awiec, -owiec, -lec, -elec, -ulec, -aniec, -eniec, -iniec).

II. Естественно, что при общем типологическом единстве словообразовательных систем славянских языков система способов словообразования в этих языках в целом тождественна. Частные различия в области способов словообразова-

ния касаются, во-первых, степени распространенности того или иного способа (количества словообразовательных типов и степени их продуктивности) и, во-вторых, инвентаря словообразовательных значений, выражаемых тем или иным способом. Приведем три характерных примера.

1) Степень распространенности нулевой суффиксации в конкретных славянских языках во многом определяется фонетической судьбой суффиксального «йота». Суффиксальным и префиксально-суффиксальным типам существительных и прилагательных с суф. *-j-*, присутствующим в отдельных славянских языках (наиболее устойчиво — в русском), в других языках синхронически соответствует нулевая суффиксация (по другой трактовке — разновидность конверсии), сопровождающаяся морфонологическими преобразованиями конечной согласной основы — рефлексом фонетических изменений сочетаний «согласная + j». Ср., напр.: рус. *волчий* (*волчья*), *вражий*, *рыбий* (с суф. *-ий/-j-*) и укр. *вовчий*, *ворожий* (с флексией *-ий*), белор. *воўчы*, *рыбі*, чеш. vlčí, rybí, польск. wilczy, rybi, болг. *вълчи*, *вражи* и т. д.; рус. *безлюдье*, *предгорье*, *предгрозье* (с суф. *-j-*) и укр. *безлюддя*, *передгроззя*, белор. *бязлюддзе* (и *бязлюддзя*), польск. bezludzie, przedgórze и podgórze, чеш. předhoří (но укр. *передгір'я*, белор. *перадгор'е* и *перадгор'я* с позиционно обусловленным суффиксальным морфом *-j-*; болг. *безлюдие*, *предгорие* с другим суффиксальным морфом *-uj-*) и т. д. Тем самым в ряде славянских языков расширяется инвентарь словообразовательных типов, относящихся к нулевой суффиксации.

2) Важную и интересную проблему в аспекте соотношения способов словообразования представляет возможность использования чистой префиксации существительных для выражения тех словообразовательных значений, которые преимущественно выражаются смешанным префиксально-суффиксальным способом (прежде всего — пространственных и временных): ср., напр., рус. *подполье* (префиксально-суффиксальное) и *подпол*; рус. *заграница* (чисто префиксальное) и чеш. zahraničí (префиксальное с нулевым суффиксом); но рус. *предвестие*, *предвечерье* (преф. -суф.) и чеш. předvest, předvečer, podvečer (чисто префиксальные). Степень распространенности подобных чисто префиксальных образований в разных славянских языках заслуживает тщательного изучения с привлечением диалектного материала, поскольку эти факты более характерны, по-видимому, для славянских диалектов, чем для литературных языков [2].

3) Хорошо известна близость способа субстантивации прилагательных и причастий по выражаемым словообразовательным значениям к суффиксальному способу образования существительных [3]. Известен и основной, совпадающий в разных славянских языках, круг словообразовательных значений, выражаемых субстантивацией, — это мутационные значения носителя признака и производителя действия (прежде всего — лица и помещения). Однако в некоторых славянских языках обнаруживается способ-

ность субстантивации выражать некоторые другие словообразовательные значения, также преимущественно выражаемые суффиксацией. Отметим в этой связи два факта. Во-первых, возможно выражение субстантивированными прилагательными значения лица женского пола при мотивации личным существительным мужского рода; ср. субстантивированные притяжательные прилагательные женского рода со значением жены лица, названного в корне прилагательного: укр. *дядина*, *братова* 'жена дяди, брата', белор. *братавая* 'жена брата' [4], чеш. doktorová, učitelová 'жена доктора, учителя' и т. п. (для русского языка подобные образования отмечены только в диалектах) [5]. Во-вторых, способом субстантивации может выражаться значение отвлеченного действия по глаголу, о чем свидетельствуют употребительные в чешском языке субстантивированные страдательные причастия прошедшего времени женского рода со значением действия, напр.: podívaná 'зрелище' (to stojí za podívanou 'это стоит посмотреть'), ср. podívati se 'посмотреть'; dovolená 'отпуск', букв. 'разрешение', ср. dovoliti 'разрешить'; odbíjená 'волейбол', букв. 'отбивание', ср. odbíjeti 'отбивать'; kopaná 'футбол', ср. kopati (nohou) 'бить, ударять (ногой)', а также na shledanou 'до свидания', ср. shledati se 'свидеться, встретиться' и т. п.

III. Основной фонд аффиксов, составляющий центр словообразовательных систем, в славянских языках тождествен. К этому фонду принадлежат такие суффиксы существительных, как мутационные *-ец*, *-ик*, *-ник*, *-тель*, *-ач*, *-ак*, *-ич*, *-арь*, *-к(а)*, *-иц(а)*, *-ин(а)* [6]; транспозиционные приглагольные *-ние*, *-к(а)*, *-б(а)*, приадъективный *-ость* и сочетающийся с основами разных частей речи *-ств(о)*; суффиксы «женскости» *-к(а)*, *-иц(а)*, *-ин(я)*; ряд субъективно-оценочных суффиксов существительных с элементами *-к-* и *-ц-*; суффиксы прилагательных *-н-*, *-ов-*, *-ск-*, *-аст-*, *-ат-*, *-ист-*; суффиксы глаголов *-и-*, *-е-*, *-ова-*; простые по структуре (первичные) префиксы пространственных и временных значений, префиксы *без-* и *не-* и некот. др. В отношении других аффиксов следует говорить об ареальной ограниченности: так, восточно- и южнославянскому суф. *-ищ(е)* (в разных его значениях) соответствует в западнославянских языках суф. -isk(o); суф. *-изн(а)* неизвестен южнославянским языкам и наибольшее распространение находит в западнославянских; напротив, западнославянским языкам неизвестен суф. *-щин(а)*; суф. существительных *-щик/-чик* — один из самых продуктивных — является специфически восточнославянским [7], а специфически западнославянским — суффикс существительных мужского рода со значением производителя действия -c(a) (в русском он представлен только тремя словами: *убийца*, *пропойца* и *кровопийца*). Другие суффиксы представлены на еще более ограниченной языковой территории. Так, польско-белорусскую языковую область охватывает суффикс отглагольных прилагательных -cz(y)/-wcz(y)/-nicz(y) (польск. poznawczy, badawczy, wydawniczy; белор. *выбарчы*, *станоўчы*, *параўнаўчы* и т. п.; в русском языке этот непродуктивный суффикс представ-

лен только шестью словами: *певчий*, *писчий*, *купчий*, *ловчий*, *гончий* и обл. *косчий*); специфически белорусским является транспозиционный суф. *-еч(а)* со значением высокой степени проявления признака или действия (*малеча*, *макрэча*, *пустэча*; отглагольное *калатэча* и т. п.), специфически украинскими — *-неч(а)* в том же значении (*дорожнеча*, *ворожнеча*), *-ощ(і)* в существительных pluralia tantum (*любощі*, *пустощі*); специфически русскими — суф. *-ш(а)*, *-их(а)* в суффиксальных существительных со значением «женскости», префикс прилагательных *раз-* в усилительном значении (*развеселый*, *распрекрасный*); специфически болгарским — префикс прилагательных *въз-* со значением слабой степени качества (*възбял*, *възрус*, *въздебел*) и т. д. В отдельных славянских языках можно обнаружить и аффиксы, «уникальные» не только по форме, но и по выражаемой семантике: таковы, напр., русский «ягодный» суф. *-ик(а)* (*черника*, *костяника*), украинский суф. *-инн(я)* в названиях ботвы растений (*бурячиння*, *картоплиння*).

В то же время достаточно распространенные в разных славянских языках аффиксы нередко отличаются друг от друга по степени продуктивности. Например, суффиксы существительных *-ач* и *-арь*, проявляющие в русском языке весьма слабую продуктивность, высокопродуктивны в западнославянских (ср. польск. -acz, -arz); суф. *-б(а)*, непродуктивный в восточнославянской и польской языковых областях, продуктивен в областях чешско-словацкой и южнославянской; продуктивный русский суф. *-ун* в польском непродуктивен.

Тождественные аффиксы могут различаться и степенью обобщенности словообразовательного значения; характерный пример — неспособность суф. *-тель* выступать в существительных со значением орудия (неличным) в западнославянских языках при наличии подобных образований в языках восточно- и южнославянских. Ср. также суффикс отглагольных прилагательных *-льн-* в русском языке и в белорусском, где его семантика шире (см. ниже).

У полисемантичных аффиксов разных языков может, как известно, совпадать лишь часть значений; так, дистрибутивное значение приставки *пере-* восточнославянских языков отсутствует у соответствующих приставок (prze-, pře-, *пре-*) западнославянских и южнославянских языков; значения большой или большей интенсивности действия (ср. чеш. nadceniti, болг. *надборя*, схрв. *надвикати* 'перекричать'), приближения (укр. *надійти*, польск. nadejść), свойственные приставке *над-* в ряде славянских языков, отсутствуют у этой приставки в русском языке, и т. п.

Обращает на себя внимание тот факт, что подавляющее большинство различий между славянскими языками в инвентаре словообразовательных аффиксов касается трех (частично пересекающихся) групп сравнительно поздних по происхождению аффиксов, среди которых чаще всего встречаются аффиксы, присущие лишь одному языку или группе языков:

1) группы заимствованных (неславянских по происхождению) аффиксов;

2) группы формально вторичных, «сложных» аффиксов, возникших в результате переразложения основ;

3) группы экспрессивных аффиксов (разговорных и просторечных).

1. К первой группе относятся, например, некоторые глагольные суффиксы южнославянских языков, содержащие греческий по происхождению элемент *-с-* (ср. болг. *гной* — *гноясам* 'нарвать, начать гноиться', *бял* — *белосам* 'побелить', схрв. *крӯна* — *крӯнисати* 'короновать', *будàла* — *будàлисати* 'глупить, делать глупости, валять дурака' и т. п.), тюркские по происхождению суффиксы южнославянских языков: суффиксы лица *-джия/-чия* (болг. *бояджия*, схрв. *бостàнџија*, макед. *кебапчија*), *-лия* (схрв. *харàчлија*), суффикс отвлеченных существительных со значением состояния *-лък(-лук)* (болг. *ергенлък*, схрв. *безобрàзлук*) и т. п.; немецкие по происхождению — чешский суффикс со значением отвлеченного признака -it(a) (aktivita, emocionalita), польские -unek (ratunek, szacunek), -ulec (hamulec). Сюда же относятся суффиксальные морфы, представляющие собой соединение иноязычного аффиксального элемента с исконным суффиксом, напр., рус. *-онн-* (в прилагательных, мотивированных существительными на *-ция*: *декорационный*, *организационный* и т. п.; но ср. укр. *декораційний*, *організаційний*; белор. *дэкарацыйны*, *арганізацыйны*; польск. dekoracyjny, organizacyjny или чеш. dekorační, organisační — все с морфом *-н-*), рус. *-ирова-* и *-изирова-* (в отыменных глаголах: *маскировать*, *активизировать* и т. п.; но ср. укр. *маскувати*, *активізувати*; польск. maskować, чеш. maskovati, aktivisovati, — все с морфами, соответствующими русским *-ова-* и *-изова-* и лишенными немецкого по происхождению элемента *-ир-*).

В редких случаях новые аффиксы возникают на базе исконных слов в процессе калькирования иноязычных слов: ср. превращение верхнелужицких наречий won, nutř, dele, horje, preč в префиксы, передающие значение немецких префиксов, ср. won hić — ausgehen, nutř přiźć — hineinkommen [8].

В то же время необходимо подчеркнуть, что ряд интернациональных суффиксов — прежде всего субстантивные *-изм*, *-ист*, *-ация*, *-тор* — принадлежит в славянских языках к общему аффиксальному фонду.

2. Ко второй группе относятся многочисленные вторичные по структуре суффиксы, напр., уже упомянутые восточнославянский *-щик/-чик*, восточно- и южнославянский *-щин(а)*; русские суффиксальные морфы *-чик* (уменьшительно-ласкательный), *-чив-* (прилагательных); украинские *-чук* в названиях невзрослых лиц (*шевчук*, *ковальчук*), патронимический *-енк-* (*Шевченко*, *Коваленко*), *-атк(о)* в названиях невзрослых существ (*курчатко*, *малятко*); белорусские *-нін(а)* в названиях длительных действий (*беганіна*, *мазаніна*), *-арн(я)* в локативных существительных (*кнігарня*, *малатарня*), орудийный *-льн(а)/-ільн(а)* (*дзяржальна*, *касільна*), собирательные *-оўj-* (*кустоўе*, *пнёўе*) и *-атв(а)/-ытв(а)* (*басатва*, *галытва*); польск. -arni(a), -ątk(o) (в значениях, аналогичных соот-

ветствующим белорусскому и украинскому суффиксам), -owość (kilkowość и т. п.).

Среди вторичных суффиксов прилагательных выделяются восточно- и южнославянский *-ическ-* в противоположность западнославянским (польск.) -iczn- и -ick-; укр. и белор. *-част-* (ср. укр. отглагольные *заливчастий*, *поривчастий*, *розсипчастий*; белор. отыменные *блінчасты*, *жалобчасты*, *зубчасты*), соответствующие русскому *-чат-* (*заливчатый*, *желобчатый*); укр. и белор. *-орляв-*, соответствующий рус. *-ощав-* (ср. укр. *сухорлявий*, *худорлявий*; белор. *сухарлявы*, *хударлявы*; рус. *сухощавый*, *худощавый*); южнославянские суффиксы со значением слабой степени качества *-кав* (болг. *синкав* 'синеватый'), *-икав* и *-икаст* (схрв. *мдорикав* и *мдорикаст* — то же; болг. *зеленикав*, *червеникав*).

При отсутствии в белорусском языке суффиксов отглагольных прилагательных *-ом-/-им-* и вторичного *-тельн-* (последний отсутствует и в украинском), выражающих в русском языке значение способности совершать действие или подвергаться действию, этот круг значений выражается в белорусском отглагольными прилагательными со вторичным суффиксом *-льн-* (последний в русском языке специализирован на более узком значении — «предназначенный для выполнения действия»). Это обусловило и появление в белорусском составного суффикса существительных *-льнасць*, соответствующего русскому *-имость* (*-емость*). Ср. рус. *несгораемый*, *несгибаемый* и белор. *незгаральны*, *незгінальны*; рус. *осязаемый*, *осязательный* и белор. *адчувальны*, *датыкальны*; рус. *приспособляемость*, *осыпаемость* (спец.) и белор. *прыстасавальнасць*, *асыпальнасць* и т. д.

Из числа «вторичных» суффиксов глагола, свойственных части славянских языков, наиболее распространены восточнославянский суф. *-нича-*, продуктивный и в болгарском языке, где он заимствован из русского, а также *-ствова-*, представленный в восточнославянских (в наибольшей степени — в русском) и в южнославянских языках. Ср. также польск. -nie- (gęsty — gęstnieć, gładki — gładnieć, blady — blednieć), -cze- (mu — muczeć), экспрессивно-деминутивный -olić (biadać — biadolić), многочисленные сербскохорватские экспрессивные морфы в отглагольных глаголах на *-ити*, *-ати* (*кла́тити се* — *клата́рити се*, *во́зати* — *во́зкати*) и т. п.

В той же связи должны быть отмечены и вторичные префиксы — такие как рус. *небез-*, *недо-*, *обез-*, *вне-*, *внутри-*, *противо-*, *сверх-*; укр. *понад-*, *поза-* ('вне-'), *проти-*; белор. *паза-* ('вне-'), *супраць-*, *звыш-* ('сверх-') и т. п.

3. Обращает на себя внимание чрезвычайное многообразие суффиксов, несущих ту или иную экспрессивную окраску (суффиксов не только модификационных субъективно-оценочных, но и мутационных и транспозиционных), создающих по славянским языкам довольно пеструю картину. Многие из этих суффиксов по своей структуре также являются вторичными. В качестве примеров можно привести: русский субъективно-оценочный суффикс существительных *-ишк-* (*домишко*) и мутационный (собирательно-

экспрессивный) *-атин(а)* (*кислятина*), увеличительные (разговорно-просторечные) суффиксы прилагательных: русский *-ущ-* (*большущий*), русско-украинский *-енн-* (рус. *широченный*, *толстенный*; укр. *товщенний*), белорусско-украинский *-езн-* (белор. *шырачэзны*, *таушчэзны*; укр. *широчезний*); польско-белорусский суффикс существительных -uchn(a) (польск. ciotuchna, matuchna; белор. *матухна*, *братухна*); польские модификационные суффиксы -aszek (stryjaszek, złodziejaszek), -ci(a) и -ci(o) (babcia, wujcio), мутационные -oń, -elec, -ał, -as/-tas (в словах со значением носителя признака: głuchoń, łysoń; chudzielec; grubał; grubas, głuptas); чешский суффикс существительных -ičk(a) (hvězdička, lampička); болгарские субъективно-оценочные *-ле* и *-че* (*братле*, *носле*, *синче*, *столче*), *-ленце* (*носленце*, *столченце*) и мутационные с уничижительной экспрессией *-льо*, *-чо* (*дрипльо* 'оборванец', *глупчо* 'дуралей'); болгарско-македонский ласкательный суффикс прилагательных *-ичък* (*-ичок*) (болг. *хубавичък*, макед. *големичок*); транспозиционные суффиксы с экспрессивным оттенком неодобрительной оценки — болг. приадъективный *-отия* (*мъчнотия* 'трудность', *скъпотия* 'дороговизна'), в.-луж. приглагольный -ńc(a)/-eńc(a) (tołkańca 'толкотня', měšeńca 'мешанина'). Ср. также приведенные в п. 2 экспрессивные вторичные морфы глагола.

Для субъективно-оценочных суффиксов характерны также различия в отнесении слов к определенным словоизменительным типам. Так, русскому ласкательному суф. *-ус(я)*, выступающему, независимо от грамматического рода, в морфологически однотипных словах с флексией *-а* в им. п. ед. ч. (ср. *мамуся*, *бабуся* — ж. р. и *папуся*, *дедуся*, *Петруся* — м. р.), в украинском, белорусском и польском соответствует суф. *-ус(я)* в существительных женского рода либо *-усь* — мужского: ср. укр. *бабуся*, *матуся* и *дідусь*, *татусь*, *Петрусь*; белор. *бабуся*, *мамуся* и *татусь*, *Пятрусь*; польск. babusia, mamusia, ciotusia и dziaduś, tatuś, synuś.

IV. Весьма интересной, но почти не изученной в сопоставительном плане является проблема семантической сочетаемости морфем. Недостаточно исследованы закономерности этой сочетаемости в отдельных славянских языках. Поэтому в настоящее время возможно рассмотреть некоторые закономерности на весьма ограниченном материале.

Разумеется, многие близкие в формальном и семантическом отношениях морфемы разных славянских языков характеризуются и сходством семантической сочетаемости с мотивирующими основами, но есть и достаточное количество таких морфем, сочетаемость которых в разных языках не одинакова.

На возможность или невозможность образования слов с той или иной словообразовательной морфемой влияют следующие виды значений мотивирующих слов: 1) категориальные (частеречные) грамматические значения; 2) частные грамматические значения; 3) словообразовательные значения; 4) лексические значения. Ниже кратко рассматриваются все эти виды значений.

1. Многие близкие в формально-семантическом отношении сло-

вообразовательные морфемы разных славянских языков выступают в этих языках в сочетании со словами (основами слов) одних и тех же частей речи (ср., например, приглагольные аффиксы *-тель*, *-ну-*, *вы-*, *-ива-*; присубстантивно-приадъективные *-и-*, *-е-*; присубстантивно-приадъективно-приглагольные *-ник*, *-арь*, *-ак*, *-ств-* и др.). Славянские аффиксы характеризуются рядом общих закономерностей сочетаемости с частями речи. Так, среди славянских префиксов выделяются приглагольные (напр., *в-*, *у-*), приименные (напр., *без-*, *анти-*) и приглагольно-приименные, причем многие из последних выступают в одном и том же значении в сочетании как с глаголом, так и с именем (напр., *над-*, *под-*).

Для славянского словообразования не характерно свойственное, например, немецкому языку четкое деление префиксов на глагольные и именные [9].

Наиболее продуктивные и частотные суффиксы, образующие центры различных подсистем словообразования, также характеризуются чаще всего тождественной сочетаемостью с различными частями речи. Это создает значительную общность в организации суффиксальных подсистем различных славянских языков. Так, общей чертой суффиксальных подсистем глагола и прилагательного является противопоставленность внутрикатегориального и межкатегориального словообразования. Бо́льшая часть суффиксов отглагольных глаголов славянских языков сочетается обычно только с глаголами, а отадъективных прилагательных — только с прилагательными (ср. приглагольные суффиксы *-ну-*, *-ва-/-ива-*, приадъективные рус. *-ейш-/-айш-*, *-енек/-онек*, *-оньк-*, *-охоньк-/-ошеньк-*, *-ущ-*, *-енн-*; укр. *-іш-/-ш-*, *-еньк-*, *-ісіньк-*, *-езн-*, *-енн-*; белор. *-ейш-(-эйш-)/-ш-*, *-еньк-*, *-енечк-*, *-ют*, *-юсеньк-*, *-изн-*, *-изман-*, *-эзн-*, *-энн-*, *-эрн-*; польск. -ejszy/-szy, -utki, -uczki, -uchny, -uśki, -eńki, -uteńki, -uteńieczki, -usi, -usieńki, -usieczki, -usienieczki, -ciupeńki, -ciupci, -ciupki, чеш. -ejší/-ější/-ší, -ičký, -oučký, -inký, -ounký, болг. *-кав/-икав/-еникав*, *-ичък*; схрв. *-ачак*, *-ахан*, *-каст/-икаст*, *-ишан*) и не выступает в данных частях речи [10] с основами слов других частей речи. Внутрикатегориально-межкатегориальные суффиксы [11] почти не характерны для глагола. Лишь суффиксы *-а-* и — в части славянских языков — *-ова-* выступают в сочетании как с именами, так и с глаголами, выполняя в этих сочетаниях весьма различные функции: в сочетании с глаголами суффиксы *-а-* и *-ова-* (или *-ува-*) служат средством имперфективации (рус. *выбрать — выбирать*; укр. *вибра́ти — вибира́ти*, *переписати — переписувати*; чеш. vybráti — vybírati, přepsáti — přepisovati, схрв. *изабрати — изабирати*, *ку́пити — купо́вати*, в.-луж. wubrać — wuběrać, přepisać — přepisować и т. п.), а в сочетании с именами — выражают иные (весьма различные) отношения к мотивирующему слову (напр., рус. *ровный — ровнять*, *зима — зимовать*, укр. *рівний — рівняти*, *зима — зимувати;* схрв. *ра́ван — ра̀внати*, *зи́ма — зимо̀вати;* чеш. rovný — rovnati, zima — zimovati). Это дает возможность усматривать омонимию суффиксов *-а-* и *-ова-* в сочетании с глаголами и именами. Таким образом,

можно констатировать, что в системе славянского глагола нет суффиксов, сочетающихся в одном и том же значении как с глаголом, так и с именем (если не считать упомянутые в примеч. 10 немногочисленные случаи типа чеш. spáti — spinkat и malý — malinký, где суффикс выступает в разных частях речи).

Немногочисленны в славянских языках и внутрикатегориально-межкатегориальные суффиксы прилагательных (ср., напр., рус. *слабый — слабоватый, узел — узловатый; черный — чернявый, прыщ — прыщавый;* укр. *сиви — сивуватий* и *дупло — дуплуватий;* польск. głupy — głupowaty, węzeł — węzłowaty; болг. *слаб — слабоват, ъгъл — ъгловат, болен — болнав* и *охтика* 'чахотка' — *охтичав* 'чахоточный'; схрв. *сȋв* 'серый' — *сȋваст* 'сероватый', *грȉва — грȉваст*).

В суффиксальных подсистемах существительных славянских языков такие суффиксы, напротив, образуют их центр, выражая многочисленные мутационные значения; ср. *-ник* (рус. *лес — лесник, садовый — садовник, окучить — окучник;* польск. kapelusz — kapelusznik, domowy 'домашний' — domownik 'домочадец', kasować — kasownik; чеш. les — lesník 'лесничий', krvavý — krvavník, dělat — dělník 'рабочий'; болг. *пара* 'пар' — *парник* 'парник, оранжерея', *мръсен — мръсник, скитам се — скитник* 'скиталец'), *-арь* (рус. *свинья — свинарь, дикий — дикарь, писать — писарь;* польск. świnia — świniarz, prywatny — prywaciarz, pisać — pisarz; чеш. ryba — rybář, suchý — suchar, psáti — písař; болг. *свиня — свинар, сух — сухар, пиша — писар*), *-ак* (рус. *рыба — рыбак, бедный — бедняк, черпать — черпак;* польск. ryba — rybak, młody — młodziak, czerpać — czerpak; чеш. ovce — ovčák, bílý — bělák 'заяц-беляк', čerpati — čerpák; болг. *малина — малинак, беден — бедняк, черпя — черпак*) и др.

Наряду со сходством общих закономерностей частеречной сочетаемости морфем имеют место и определенные различия, касающиеся многих конкретных морфем. Так, префикс *при-* в значении приближенности, присоединенности в большинстве славянских языков сочетается как с глаголом, так и с именем, выступая во всех частях речи. Однако в болгарском языке этот префикс в именах не представлен (у имен это значение выражено префиксом *край-*: *крайградски* 'пригородный', *крайбрежен* 'прибрежный', *крайбрежие* 'побережье'). Ср. аналогичную сочетаемость префиксов *в-* и *вы-* во всех тех славянских языках, где эти префиксы представлены, причем в именах значения направленности внутрь или вовне выражаются другими префиксами (ср. рус. *внутри-, вне-*).

Тот же префикс *при-* со значением уменьшительности в большинстве славянских языков сочетается только с глаголами (рус. *открыть — приоткрыть, встать — привстать*), а в польском языке — и с прилагательными, ср. польск. przybrudzić 'слегка запачкать' и przyciąsny 'тесноватый'.

Суффикс *-ость*, выступающий, как правило, в сочетании с основами прилагательных и реже — глаголов (рус. *слабость, жалость;* чеш. přímost, žádost; польск. słabość, litość и др.), в словенском

языке сочетается и с основами существительных (močost, psost, zlobost)[12].

Суффикс *-к(о)* (в мутационном значении), представленный в русском языке лишь в отадъективных кличках животных (*Гнедко*), в украинском языке распространен в отглагольных словах (*хвалько, забудько*); в польском языке — в немногочисленных образованиях от существительных (żelazko), прилагательных (białko) и глаголов (wdzianko)[13]; в болгарском, македонском и сербскохорватском языках — в отглагольных и отадъективных словах (болг. *мърморко, сънливко, сърдитко*; макед. *брборко, плачко, вљубенко*; схрв. *пла̏чко, плачљи̏вко*)[14].

Суффиксы прилагательных *-ист-* в украинском, белорусском, польском языках, -it- в чешском в отличие от русского, сербскохорватского, болгарского сочетаются с основами числительных (укр. *двоїстий, троїстий*; белор. *дваісты, траісты*; польск. dwoisty, troisty; чеш. dvojitý, trojitý).

Существуют различия и в степени продуктивности аффиксов разных славянских языков в сочетании с различными частями речи. Так, глагольный суф. *-е-* в русском языке, будучи продуктивным в сочетании с прилагательными, почти не продуктивен в сочетании с существительными — в отличие, например, от польского, где этот суффикс продуктивен и в сочетании с основами существительных, «выражающими черты, постоянно связанные с данным объектом»[15]: śniedzieć, wapnieć, baranieć, filistrzeć.

2. Сочетаемость аффиксов может ограничиваться не только частеречными значениями мотивирующих слов, но и более узкими — частными грамматическими значениями (например, рода и вида). Закономерности сочетаемости, обусловленные частными грамматическими значениями мотивирующих слов, у аффиксов разных славянских языков в целом сходны. Во многих случаях эти значения не влияют на сочетаемость аффиксов, в других случаях оказывают сходное влияние, ср., например, «закрепленность» суффиксов субъективной оценки за мотивирующими существительными одного из трех родов или образование глаголов начинательного, финитивного и некоторых других способов действия только от глаголов несовершенного вида. И лишь в немногих случаях эти значения создают различия в сочетаемости семантически и формально близких аффиксов разных славянских языков.

Например, суффиксы притяжательных прилагательных *-ов* и *-ин* в русском, украинском, польском, сербскохорватском языках распределены в соответствии с типом склонения мотивирующего слова: *-ин* сочетается с существительными на *-а* (независимо от их рода), *-ов* — с существительными не на *-а*: рус. *сестрин, дядин, старостин, Колин*; *братов, отцов*; укр. *сестрин, Міколин*; *братів, батьків*; польск. matczyn, starościn, Hanczyn, ojcowy, Jankowy (в польском языке эти прилагательные употребляются ограниченно); схрв. *мâјкин, вла̏дичин* 'епископский' (искл. *бра̏тин, ди̏чин* — наряду с *бра̏тов, ди̏чев*), *ра̏ков, су̑нчев (су̑нце)*. В белорусском, чешском, польском и болгарском языках соответствую-

щие суффиксы распределены в зависимости от рода мотивирующего слова: *-ин* сочетается с существительными женского рода, *-ов* — с существительными мужского рода: белор. *мацерын*, *Галін*, *брыгадзіраў*, *Колеў*, *дзядулеў*; чеш. matčin, Aniččin (от Anička), bratrův, Koljův, starostův; болг. *майчин*, *Иванкин*, *братов*, *Кольов* (искл. *баща — бащин* и *войвода — войводин*).

Категория вида глагола создает различия, например, в сочетаемости префикса *по-* в дистрибутивном значении, выступающего в русском языке с глаголами обоих видов, в польском — только с глаголами сов. вида: ср. рус. *повысыпать* и *повысыпáть* и польск. powysypywać [16].

Ограничивающее влияние на сочетаемость славянских суффиксов оказывают лишь так называемые классифицирующие грамматические значения (рода существительных, вида глаголов), т. е. значения, свойственные слову в целом, а не отдельным его формам. Мотивация отдельными формами слова — явление сравнительно редкое, хотя и в разной степени свойственное славянским языкам. Так, формы компаратива в русском языке лишь в немногих случаях выступают в качестве единственных мотивирующих [17] (ср., например, *меньше — поменьше*, *хуже* — прост. *хужеть*). В ряде других славянских языков мотивация компаративом представлена шире, чем в русском, ср., например, схрв. *мѐкши — мѐкшати* 'размягчать, делать мягче, мягким', *jȁчи — jȁчати* 'крепнуть, усиливаться, становиться более сильным'; *дѐбљи — дѐбљати* 'толстеть, тучнеть, жиреть' и др. В украинском языке у глаголов на *-ати* со значением становления признака мотивация компаративом регулярно выступает в качестве единственной: *багатше*, *багатший — багатшати*; *багатіше*, *багатіший — багатішати*.

3. Эквивалентные аффиксы разных славянских языков могут сочетаться со словами, различающимися своими словообразовательными значениями и словообразовательной структурой. Так, польский суф. *-е-* образует глаголы со значением приобретения признака от прилагательных с суф. -owat-, означающих неполноту признака (bliznowacieć, iłowacieć, chrząstkowacieć, cukrowacieć, guzowacieć и т. п.); в русском языке глаголы данного значения не образуются от прилагательных со значением неполноты признака, в том числе и от прилагательных с суф. *-оват-*.

Польский суф. -ow- сочетается с основами существительных на -nie (znaczeniowy, wrażeniowy, wyobrażeniowy); русский суф. *-ов-* с основами слов на *-ние* не сочетается; в этой функции используются морфы *-ческ-*, реже *-ск-* (*учрежденческий*, *упрощенческий*, *крещенский*).

4. Как сходства, так и различия можно отметить и в составе тех лексических значений мотивирующих слов разных славянских языков, которые влияют на возможность или невозможность образования слов с той или иной морфемой. В результате изучения этих ограничений могут быть выявлены, по-видимому, универсальные для славянских языков (а может быть, и не только славянских) закономерности семантической совмести-

мости—несовместимости. К числу таких закономерностей можно, по-видимому, отнести несочетаемость значения становления признака у глагола и значения относительности у прилагательных (ср. образование глаголов с суф. *-е-* в славянских языках только от качественных прилагательных), категорий абстрактности и уменьшительности (ср. образование уменьшительных существительных главным образом от слов конкретного значения) и мн. др.

Вместе с тем формально и семантически эквивалентные морфемы разных славянских языков нередко характеризуются различной сочетаемостью с мотивирующими словами, образующими определенные лексико-семантические группы. Так, суф. *-ова-* во многих славянских языках регулярно сочетается с названиями лиц (ср. укр. *професорувати*, *секретарювати*, *учителювати;* польск. profesorować, sekretarzować, sąsiadować; чеш. učitelovati, hostovati, kralovati; схрв. *ỳчитељовати*, *гостòвати*, *краљѐвати* и мн. др.). В русском, белорусском, болгарском языках этот суффикс в сочетании с названиями лиц почти не выступает: в этой функции в данных языках активно используются суф. *-нича-* и *-ствова-*.

Приставка *над-* в значении направленности действия вверх (ср. рус. *надстроить*, укр. *надбудувати*, польск. nadbudować, чеш. nadstavěti, словац. nadstavit', болг. *надстроя*, схрв. *надзѝдати* и т. п.) не сочетается с глаголами перемещения; этого ограничения нет в чешском и словацком языках: ср. чеш. nadhoditi 'подбросить', nadskočiti 'подскочить', nadletěti 'взлететь вверх', словац. nadhodit' 'бросить вверх', nadskočit' 'подскочить', nadletiet' 'взлететь вверх', naddvihnút' 'приподнять' и т. п.[18].

Приставка *за-* в начинательном значении в болгарском языке свободнее сочетается с мотивирующими глаголами, чем в русском, где эта сочетаемость ограничена глаголами конкретного действия, локализованного во времени; ср. болг. *заносвам*, *зачакам* и др., значение которых в русском языке можно передать только с помощью словосочетаний *начать носить (одежду)*, *начать ждать*.

Префиксально-суффиксальные и сложно-суффиксальные прилагательные с нулевым суффиксом в славянских языках образуются от названий частей тела (реже — какого-либо свойства) человека или животного. Однако состав мотивирующих слов совпадает не полностью (ср. рус. *беззубый* и пол. bezzębny; рус. *безмозглый* и пол. bezmózgi; рус. *безголосый* и схрв. *бѐзгласан;* рус. *бескрылый* и схрв. *бѐскрȋлан*; рус. *бесполый* и болг. *безполов*), причем в чешском языке нулевая суффиксация в смешанных способах образования прилагательных распространена на более широкий круг мотивирующих слов (ср. чеш. bezbarvý — бесцветный, bezlistý — безлистный, bezbřehý — безбрежный, bezvodý — безводный, pětiletý — пятилетний, tříkolý — трехколесный и др. наряду с образованиями с материально выраженным суффиксом: bezbarevný, bezlistný, bezbřežný, bezvodný).

V. Тождественные системные словообразовательные возможности в разных славянских языках могут быть по-разному лексически реализованы. Нередко эквивалентные основы

выбирают разные аффиксы из числа синонимичных (ср. рус. *угловатый* и укр. *вугластий* при потенциально возможных, но не реализованных **угластый* и **вуглуватий*; рус. *слабеть* и польск. słabnąć при прост. *слабнуть* и устар. słabieć и мн. др.). Нереализация в одном из языков системной возможности образует пропущенное звено в словообразовательной цепи. Это может создать различие в словообразовательной структуре эквивалентов, имеющих тождественный морфемный состав; ср.:

рус. *густой* — — — *с-густ-ить*
польск. gęsty — gęścić — z-gęścić.

В образованиях от эквивалентных мотивирующих слов нередко реализуются различные значения; ср. чеш. pískovati 'посыпать дорожку песком' и рус. *песочить* 'ругать'; чеш. hostiti, польск. gościć 'обращаться как с гостем' и рус. *гостить*, болг. *гостувам*, схрв. *гостдвати* 'быть гостем'; польск. gładzić 'полировать' и рус. *гладить* 'делать гладкой одежду, проводя горячим утюгом'; польск. cyganić, чеш. cikánit, словац. cigánit' 'обманывать' и рус. *цыганить*, схрв. *цȉгāнчити* 'выпрашивать', болг. *циганя се* '1) скупиться, 2) попрошайничать, 3) ожесточенно торговаться' и мн. др.

VI. Заслуживают тщательного изучения сходства и различия славянских языков в морфонологических явлениях словообразования. Так, изучение удельного веса консонантных чередований фонем, сопровождающих определенные суффиксы прилагательных, позволяет сделать более общие выводы о преобладании элементов фузии и агглютинации в соответствующих языковых подсистемах. Ср., напр.: 1) отсутствие чередования заднеязычных с шипящими перед суффиксом притяжательных прилагательных *-ин* (-in) в русском (*дочка — дочкин*, *Ольга — Ольгин*, *сваха — свахин*), словацком, словенском, болгарском языках; 2) сохранение в этой позиции чередования [k — č] в белорусском и наличие вариантов с этим чередованием и без него в схрв. (ср. белор. *суседка — суседчын*, схрв. *мâјка — мâјчин* и *мâјкин*) при отсутствии в этих языках аналогичных изменений фонем [g] и [h] и 3) сохранение чередований всех трех заднеязычных согласных с соответствующими шипящими в украинском (*дочка — доччин*, *Ольга — Ольжин*, *сваха — свашин*) и чешском (sousedka — sousedčin, Olga — Olžin, macecha — macešin) [19]. Ср. также бóльшую распространенность чередований согласных перед суффиксом прилагательных *-ск-* (*-ськ-*) в белорусском языке и особенно в украинском по сравнению с русским [20], где в этом словообразовательном типе фузионные черты проявляются значительно слабее.

В языках с подвижным и/или качественно различным ударением особую проблему представляет соотношение акцентных характеристик мотивированных слов с тождественными формантами. Ср., например, ударение в отглагольных прилагательных с суф. *-к-* в украинском языке (на флексии) и в русском (на корне): укр. *верткíй*, *клейкíй* и рус. *вёрткий*, *клéйкий* [21].

Рассмотренными в данном докладе сходствами и различиями между славянскими языками в способах и средствах словообразования, закономерностях семантической и формальной сочетаемости морфем не исчерпывается, конечно, проблематика сопоставительного изучения славянских языков. Заслуживают особого рассмотрения, например, различные (словообразовательные и несловообразовательные) средства выражения тождественных или близких значений, сопоставительное изучение словообразовательных гнезд, сходств и различий в смешанных формантах, в направлении мотивации у языковых эквивалентов (ср. рус. *победить* — *победитель*, но чеш. vítěz — vítěziti при малоупотребительном vítězitel), в синтаксической сочетаемости мотивированных слов и т. д. Систематическое изучение всех этих вопросов на большом материале может быть наиболее эффективным тогда, когда будут созданы сходные или по крайней мере сопоставимые описания словообразовательных систем всех славянских языков, словари аффиксов отдельных славянских языков, обратные словари. Большое значение имело бы создание сопоставительного, сравнительно-исторического и этимологического словарей славянских аффиксов. На базе такого материала возможно создание отсутствующего пока раздела славянского языкознания — сравнительного (синхронного и исторического) словообразования славянских языков. Сопоставительное изучение словообразовательных систем славянских языков будет способствовать выявлению универсальных и частных закономерностей славянского словообразования.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] См.: *Леков Ив.* Словообразователни склонности на славянските езици. София, 1958; *Dokulil M.* Ke koncepci porovnávací charakteristiky slovanských jazyků v oblasti «tvoření slov». — Slovo a slovesnost, 1963, № 2.

[2] См. также: *Karaś M.* Nazwy miejscowe typu Podgóra, Zalas w języku polskim i w innych językach słowiańskich. Wrocław, 1955.

[3] См., напр.: *Захаревич Е. А.* Суффиксация и субстантивация при образовании наименований лица в болгарском языке. — В кн.: Очерки по словообразованию и словоупотреблению. Л., 1965; *Лопатин В. В.* Субстантивация как способ словообразования в современном русском языке. — В кн.: Русский язык. Грамматические исследования. М., 1967.

[4] Ср. также большой старобелорусский материал существительных этого типа, приведенный в книге: *Паўленка М. А.* Нарысы па беларускаму словаўтварэнню. Мінск, 1978, с. 87—94.

[5] В польском языке в силу почти полного отсутствия притяжательных прилагательных с суффиксом -ów аналогичные по семантике существительные типа doktorowa, dyrektorowa трактуются синхронически как суффиксальные образования с формантом -ow(a).

[6] Здесь и ниже аффиксы приводятся в русской форме.

[7] Об ареальном распределении славянских суффиксов см. также: *Леков Ив.* Указ. соч., с. 64—69.

[8] *Sewč H.* Gramatika hornjoserbskeje rěče. Budyšin, 1968, s. 185.

[9] См.: Словарь словообразовательных элементов немецкого языка. М., 1979, с. 527.

[10] В отличие от префиксов, словообразовательные суффиксы славянских языков, как известно, выступают обычно в словах одной и той же части речи. Исключения касаются лишь некоторых модификационных суффиксов

экспрессивно-ласкательного или уменьшительного значений (например, рус. *маменька*, *беленький*, *первенький*, *спатеньки*, *асеньки*; болг. *мамичка*, *беличък*, *боричкам се*, *спинкам*; польск. mamusia, taniusi, чеш. malinký, spinkat).

[11] Т. е. суффиксы, представленные в качестве форманта как в словах той же части речи, так и в словах иной части речи по сравнению с мотивирующим словом (*Улуханов И. С.* Словообразовательная семантика в русском языке и принципы ее описания. М., 1977, с. 110).

[12] *Леков Ив.* Указ. соч., с. 39.

[13] *Grzegorczykowa R.*, *Puzynina J.* Słowotwórstwo współczesnego języka polskiego. Warszawa, 1979, s. 148.

[14] Ср.: *Neweklowski G.* Zur Derivation der Substantive in den südslawischen Sprachen. — Wiener slawistischer Almanach, 1978, Bd. 1, s. 230.

[15] *Dulewiczowa I.* Czasowniki denominalne w języku polskim i rosyjskim. Wrocław—Warszawa—Kraków—Gdańsk, 1981, s. 141.

[16] Ср.: *Dulewiczowa I.* Op. cit., p. 106.

[17] См.: *Улуханов И. С.* Указ. соч., с. 50—57.

[18] *Sekaninová E.* Sémantická analýza predponového slovesa v ruštine a slovenčine. Bratislava, 1980, s. 55.

[19] См.: *Бернштейн С. Б.* Очерк сравнительной грамматики славянских языков. Чередования. Именные основы. М., 1974, с. 87—88.

[20] См.: *Зверев А. Д.* Словообразование в современных восточнославянских языках. М., 1981, с. 83—84; *Горпинич В. А.* Морфонологические связи суффикса *-ск-* в русских адъектонимах. — В кн.: Русский язык в его связях с украинским и другими славянскими языками. Симферополь, 1973, с. 37.

[21] См. также интересный акцентологический материал южнославянских языков, приведенный в указ. соч. Г. Невекловского (с. 222—223).

Л. Н. Смирнов

ПРОБЛЕМЫ И ЗАДАЧИ СОПОСТАВИТЕЛЬНОЙ СЛАВЯНСКОЙ АСПЕКТОЛОГИИ

I. На современном этапе развития славянской аспектологии большое значение придается раскрытию глубокой взаимосвязи между грамматической категорией вида и другими категориями и значениями глагола, характеризующими различные стороны и особенности протекания действия во времени. Эти, как правило, неграмматические категории и значения обычно объединяются широким понятием «способы глагольного действия» [1—3]. Показательно, что новейшие исследования по глагольному виду в славянских языках проводятся с учетом семантики и средств выражения способов глагольного действия [4—5]. С другой стороны, в многочисленных работах о способах глагольного действия серьезное внимание уделяется анализу их связи с категорией вида [6—10]. При этом признается, что если в плане выражения между категорией вида и способами глагольного действия имеется принципиальное различие [3, с. 12], то в плане содержания между ними наблюдается определенное сходство, близость, что дает

основание объединять их в рамках общей функционально-семантической категории аспектуальности [11—13] или, в иной терминологии, функциональной подсистемы аспектуальности [14].

Значительные успехи теоретической славянской аспектологии, а также результаты исследований категории вида и способов глагольного действия в славянских языках (в последние годы эта проблематика особенно интенсивно разрабатывалась на материале русского, болгарского, польского, словацкого и чешского языков) создают необходимые предпосылки для постановки и решения задач сравнительного, сопоставительного плана.

Следует отметить, что уже имеется ряд работ, посвященных сопоставительному описанию различных сторон и фрагментов видовой системы в славянских языках, сравнительному анализу семантики и функционирования отдельных видо-временных глагольных форм и т. п. Несомненный интерес представляют и опыты сопоставительного изучения способов глагольного действия на материале двух и более языков [15—20 и др.]. Наряду с этим значительное внимание уделяется разработке исходных теоретических принципов и методических приемов сопоставительно-аспектологических исследований, определению основной проблематики этих исследований [21—26]. При этом в сферу сравнительного (сопоставительного) изучения славянского глагольного вида включается очень широкий круг вопросов как общего, так и частного характера (развитие системы глагольного вида в славянских языках, соотношение славянской грамматической категории вида и других компонентов функционально-семантической категории аспектуальности с аналогичными или сходными явлениями в неславянских языках, взаимодействие категории вида с другими грамматическими категориями глагола, выявление совпадений и различий при описании вида и способов глагольного действия в славянских языках и т. п.).

В целях дальнейшего углубленного сопоставительного изучения глагольного вида и функционально-семантической категории аспектуальности вообще было бы целесообразно, на наш взгляд, более четко дифференцировать проблематику и задачи, во-первых, диахронических и синхронических исследований, во-вторых, исследований межславянских («внутриславянских») и славянско-неславянских (и более широких универсально-типологических).

В данном докладе освещаются задачи и проблематика синхроно-сопоставительных аспектологических исследований на материале современных славянских языков.

Если говорить о предмете славянской синхронно-сопоставительной аспектологии в самом общем плане, то он должен охватывать не только категорию вида в собственном смысле слова, но и языковые явления, «сопредельные с видом» [23, с. 38], т. е. комплекс различных лексико-грамматических категорий и лексических значений глагола, также входящих в функционально-семантическое поле аспектуальности, ядро, наиболее грамматикализованную часть которого и составляет глагольный вид. В соот-

ветствии с таким пониманием в нашем докладе будет рассмотрен ряд вопросов синхронно-сопоставительного изучения категории вида и способов глагольного действия в современных славянских языках. Эта проблематика чрезвычайно сложна и широка, и доклад не претендует на ее всестороннее освещение.

II. Несмотря на значительное сходство систем глагольного вида в современных славянских языках, эти системы и в формально-структурном, и в функциональном отношении являются не вполне тождественными. Как отмечает Св. Иванчев, даже в морфологическом плане категория вида характеризуется значительными различиями как между отдельными славянскими языками, так и между группами славянских языков. Одним из таких различий, по его мнению, является то, что в ряде языков представлена претеритально-видовая оппозиция аорист : имперфект, а в других она отсутствует [21, с. 133]. Существуют расхождения и в системах собственно глагольного видообразования. Категория вида, охватывая всю глагольную лексику, в формальном и семантическом отношении неодинаково проявляется в различных разрядах глаголов. В зависимости от этого выделяются три обязательных звена системы вида: разряд глаголов, образующих парные видовые корреляции, разряд глаголов непарных (несоотносительных) по виду (перфектива тантум и имперфектива тантум) и разряд двувидовых глаголов.

В распределении глагольной лексики по данным разрядам и в связи с этим в реальном соотношении указанных звеньев системы видообразования между отдельными славянскими языками наблюдаются определенные расхождения. Некоторые из них уже выявлены. Например, если в русском языке приставочные глаголы перфектива тантум составляют весьма многочисленную группу, то в болгарском языке глаголы подобного морфологического типа «практически не существуют» [21, с. 134]. Известно, что видовая непарность может быть вызвана семантическими и формально-морфологическими причинами. И в этом отношении между русским и болгарским языком зафиксировано различие: в русском языке доминирует семантическая обусловленность глаголов перфектива тантум, а в болгарском в этом случае преобладает морфонологическая обусловленность [27, с. 173—175].

Думается, что сопоставительный анализ, проводимый по всем трем вышеназванным звеньям глагольного видообразования на материале двух или нескольких славянских языков, поможет обнаружить и другие как формально-морфологические, так и функциональные различия.

По нашему мнению, далеко не исчерпаны возможности сопоставительного исследования даже наиболее морфологизированного звена видовой системы, т. е. типов парных видовых корреляций. И в этом звене при наличии несомненного сходства (что не требует специального подтверждения) могут быть вскрыты некоторые особенности, присущие отдельным славянским языкам или группам языков (в частности, в морфологической структуре видовых

пар, в их распределении и соотношении, в морфологической вариативности форм несовершенного и совершенного вида и т. п.). Однако в сопоставительном плане эта центральная часть видовой системы славянских языков изучена еще недостаточно, можно назвать лишь несколько подобных работ [28, 29].

Заслуживает специального рассмотрения вопрос о соотношении основных типов видовых корреляций в славянских языках. К ним относятся суффиксальные видовые пары (ср.: рус. *записать—записывать*, *подчеркнуть—подчеркивать*, *решить—решать*, укр. *поздоровити—поздравляти*, *присягнути—присягати*, *обрахувати—обраховувати*, *кінчити—кінчати*, польск. dopalić—dopalać, wychować—wychowywać, wypróbować—wypróbowywać; чеш. pustit—pouštet, rozdat—rozdávat, vyrobit—vyrábat; болг. *напиша—написвам*, *израбдтя—израбдтвам*, *сипя—сипвам*; схрв. *врáтити—врáћати*, *ѝспити—испѝјати*, *нàздравити—нàздрављати* и т. п.) и префиксальные видовые пары* (ср.: рус. *делать—сделать*, *писать—написать*, *ставить—поставить*, укр. *білити—побілити*, *казати—сказати*, польск. pisać—napisać, kończyć—skończyć, gratulować—pogratulować; словац. robit'—urobit', kazit'—skazit', чеш. bláznit se—zbláznit se, klamat—zklamat, схрв. *грáдити—сагрáдити* и т. п.).

На основании уже проведенных исследований, в частности на материале польского, словацкого и чешского языков, можно заключить, что в западнославянских языках префиксальные видовые корреляции заметно продуктивнее, чем в русском языке. В подтверждение этого можно привести ряд наблюдений.

В современном словацком языке значительно многочисленнее, чем в русском, группа бесприставочных глаголов несовершенного вида, способных образовывать префиксальные видовые пары. Для большей наглядности приведем в качестве примеров только однокоренные, лексически соотносительные, словацкие и русские глаголы: bránit'—obránit' ('оборонять'—'оборонить'), hostit'—pohostit' (в значении 'угощать'—'угостить'), korit' sa—pokorit' sa ('покоряться' — 'покориться'), krátit'—skrátit' ('сокращать'—'сократить', 'укорачивать'—'укоротить'), krotit'—skrotit' ('укрощать'—'укротить'), l'ahčit'—zl'ahčit' ('облегчать'—'облегчить'), líšit' sa—odlíšit' sa ('отличаться'—'отличиться'), lúčit' sa—rozlúčit' sa ('разлучаться'—'разлучиться'), menšit' sa—zmenšit' sa ('уменьшаться'—'уменьшиться'), ničit'—zničit' ('уничтожать' — 'уничтожить'), novit' sa—obnovit' sa ('обновляться' — 'обновиться'), slobodit' sa—oslobodit' sa ('освобождать' — 'освободить'), vlažit'—zvlažit' ('увлажнять'—'увлажнить') и др. В приведенных примерах словацким префиксальным видовым корреляциям в русском языке соответствуют эквивалентные по семантике суффиксальные видовые

---

* К числу префиксальных видовых корреляций мы относим лишь те парные оппозиции, в которых перфективный глагол, соотнесенный с бесприставочным имперфективом, образован при помощи приставки, выступающей в чистовидовой функции, см. [30].

корреляции со вторичным имперфективом (при отсутствии первичного имперфектива). В некоторых случаях и в словацком языке механизм видообразования не останавливается на ступени приставочного глагола совершенного вида: к этому глаголу возможно образование соответствующего вторичного имперфектива, например: kázat'—rozkázat'—rozkazovat' (ср. рус.: Ø—*приказать—приказывать*), korit' sa—pokorit' sa—pokorovat' sa (Ø—*покориться—покоряться*), menšit' sa—zmenšit' sa—zmenšovat' sa (Ø—*уменьшиться—уменьшаться*). При этом может сохраняться лексическое тождество всех трех членов, и тогда в подобных цепочках усматриваются разные по формальной структуре бинарные видовые оппозиции с общим (единым) перфективом (двойное коррелирование), т. е. kázat'—rozkázat' и rozkazovat'—rozkázat', menšit' sa—zmenšit' sa и zmenšovat'sa—zmenšit' sa и т. п. Нам здесь важно подчеркнуть, что в современном словацком языке и в подобных случаях продолжают функционировать и оказываются жизнеспособными префиксальные видовые корреляции. Лексически тождественные первичные и вторичные имперфективы выступают как взаимозаменяемые (ср.: počasie sa lepší/zlepšuje 'погода улучшается', l'udia sa líšia/odlišujú jeden od druhého 'люди отличаются друг от друга', zásoby sa postupne menšia/zmenšujú 'запасы постепенно уменьшаются', tichý dážd' vlažil/zvlažoval zem 'тихий дождь увлажнял землю' и др.).

Подобные трехчленные цепочки глагольного видообразования, естественно, представлены и в других славянских языках, ср., в частности, рус. *близиться—приблизиться—приближаться*, *гибнуть—погибнуть—погибать*, *слабеть—ослабеть—ослабевать*, польск. gnębić—pognębić—pognębiać, łączyć—połączyć—połączać; чеш. hájit—obhájit—obhajovat и т. п. Эти цепочки характеризуются неустойчивостью, обусловленной конкуренцией первичного и вторичного имперфектива (их возможным расхождением по лексическому значению, по лексической сочетаемости, по стилистической окраске, частотности [29, с. 39, 42], узусу [31, с. 94]. Иногда это приводит к вытеснению одного из конкурирующих элементов. При этом как в истории языка, так и в его современном состоянии, результаты конкуренции могут быть различными. Известно, например, что в русском литературном языке XVIII—начала XIX в. проявлялась тенденция вытеснения бесприставочных глаголов несовершенного вида (типа *блазнить*, *богатить*, *боронить*, *ничтожить* и т. д) соответствующими вторичными имперфективами [32]. С другой стороны, в современном польском языке нередко оказывается «побежденной» именно форма вторичного имперфектива, что содействует упрочению позиции префиксальных видовых корреляций [33].

Возрастание роли префиксального типа видовых корреляций происходит в западнославянских языках также в результате процесса формальной дифференциации двувидовых глаголов с заимствованной (главным образом из западноевропейских языков) основой. Речь идет о видовых парах типа словац. aktualizovat' дв.—zaktualizovat' сов., degradovat' дв.—zdegradovat' сов., konštato-

vat' дв.—skonštatovat' сов., monopolizovat' дв.—zmonopolizovat' сов. и др.; чеш. diskreditovat дв.—zdiskreditovat сов., lokalizovat дв.—zlokalizovat сов., reformovat дв.—zreformovat сов. и др.; польск. adaptować дв.—zaadaptować сов., aresztować дв.—zaaresztować сов., deklarować дв.—zadeklarować сов. и т. п.

Префиксация как один из способов формального выражения грамматического значения совершенности у двувидовых глаголов получила довольно широкое распространение также и в русском языке, ср.: *координировать* дв. — *скоординировать* сов,. *стенографировать* дв. — *застенографировать* сов., *характеризовать* дв. — *охарактеризовать* сов. и т. п. Наряду с этим в русском языке имеется и другой, правда, менее продуктивный способ устранения, преодоления двувидовости заимствованных глаголов — образование суффиксальных видовых пар, в которых формальное выражение получает грамматическое значение несовершенности, ср.: *арестовать* — *арестовывать*, *ассигновать* — *ассигновывать*, *атаковать* — *атаковывать*, *конфисковать* — *конфисковывать*, *мобилизовать* — *мобилизовывать*, *организовать* — *организовывать*, *реализовать* — *реализовывать* и т. п. Аналогичные суффиксальные видовые корреляции представлены также в болгарском языке, ср. *бомбардѝрам* дв. — *бомбардѝрвам* несов. Для западнославянских языков подобный способ преодоления видовой двойственности бесприставочных глаголов с заимствованной основой нехарактерен. В частности, в словацком языке формальная видовая дифференциация таких глаголов происходит исключительно путем префиксации. В чешском языке единственным способом устранения двувидовости глаголов с заимствованной основой также является их перфективация при помощи чистовидовой приставки [34, с. 10].

Что касается префиксального способа формальной дифференциации двувидовых глаголов с заимствованной основой, то в западнославянских языках он значительно активнее, чем в русском языке. Так, в частности, многим двувидовым глаголам русского языка в чешском языке (аналогично в словацком и польском) соответствуют такие пары, в которых с исходным двувидовым глаголом с заимствованной основой коррелирует перфективный глагол, образованный при помощи чистовидовой приставки, например: *автоматизировать* (automatizovat дв.—zautomatizovat сов.), *драматизировать* (dramatizovat дв.—zdramatizowat сов.), *консолидировать* (konsolidovat дв.—skonsolidovat сов.) и т. п. За исходной бесприставочной формой постепенно закрепляется имперфективное значение (видовая двойственность устраняется), и таким образом возникают и стабилизируются в языке типичные префиксальные видовые корреляции. В чешско-русском сопоставительном плане этот процесс основательно исследован С. А. Лебедь, которая приходит к выводу: «видовых пар, являющихся результатом перфективации, среди глаголов с заимствованной основой в чешском языке намного больше, чем в русском» [35].

Несомненный научный интерес представляет дальнейшее сопоставительное изучение двувидовых глаголов с заимствованной основой. В современных славянских языках этот разряд представлен значительным числом глагольных лексем (если судить по исследованиям, проведенным на материале словацкого, чешского и русского языков, он охватывает 800—700 глаголов).

Сопоставительный анализ помогает выявить сходство и различия в их морфологической структуре. Например, в русском языке подавляющее большинство двувидовых глаголов иностранного происхождения имеет суф. *-ирова-*, *-изирова-*, в то время как в словацком языке суф. -írova- имеют только единичные глаголы, а суффикс, аналогичный русскому *-изирова-*, вообще отсутствует. С другой стороны, в словацком языке примерно две трети (из общего числа около 700 глаголов) двувидовых глаголов с заимствованной основой выступают с неосложненным суф. -ova-, а в русском языке суф. *-ова-* оказывается малопродуктивным [36, с. 40]. Между тем эти как будто бы чисто формальные моменты оказываются небезразличными и в плане освоения двувидовых глаголов системой вида данного языка. Как известно, в русском языке именно глаголы с суф. *-ирова-*, *-изирова-* и *-фицирова-* не могут образовывать суффиксальные видовые корреляции типа *организовать—организовывать*. В этом случае продуктивным является префиксальный способ устранения двувидовости [37]. Однако не все глаголы данной морфологической структуры образуют в русском языке видовые префиксальные корреляции. Это способствует сохранению у ряда глаголов двойственности видового значения.

Сопоставительный анализ поможет определить общие закономерности и особенности функционирования двувидовых глаголов с заимствованной основой в современных славянских языках, а также установить сходные и отличительные черты в результатах действия двух противоборствующих тенденций в сфере рассматриваемой группы глаголов: а) тенденции к устранению, к преодолению двувидовости, которая проявляется в отдельных славянских языках (и группах языков) с разной степенью интенсивности и в разных формах; б) тенденции к сохранению видового синкретизма глаголов с заимствованной основой, которая обусловливается помимо ряда формально-морфологических и семантических особенностей этих глаголов также открытостью этой глагольной группы, ее активным пополнением в современных славянских языках.

Все это в свою очередь будет способствовать выяснению места и значимости данного разряда глаголов в сравниваемых видовых системах, позволит получить более точное представление о соотношении отдельных компонентов этих систем и их целостном облике.

Решение проблемы соотношения разных звеньев видовой системы, определение «удельного веса» того или иного звена в целостной системе вида дает возможность по-иному осветить вопрос

о развитости видовой системы в отдельных славянских языках. Обычно считается, что наиболее полное развитие категория вида получила в болгарском языке [21, с. 142]. Такое мнение опирается главным образом на бесспорный факт практически универсальной (за крайне редкими исключениями) возможности образования в болгарском языке суффиксальных видовых пар посредством вторичной имперфективации. Однако, даже соглашаясь с тем, что подобные пары являются важнейшим средством формализации видового противопоставления совершенности/несовершенности и играют доминирующую роль в структурной организации вида всех славянских языков, все же вряд ли можно абсолютизировать их значимость. Ведь это не единственный, не исключительный способ выражения видового противопоставления в славянских языках. К нему не сводится формально-морфологическая организация славянской видовой системы. В ряде языков (особенно западнославянских) значительную роль наряду с суффиксальными корреляциями играют корреляции префиксальные. Неодинаковое место в системе глагольного видообразования в современных славянских языках занимают также разряды непарных по виду глаголов и глаголов двувидовых, которые тоже в той или иной мере определяют характерные черты видовой системы в целом. Судить же о степени развитости системы только по одному из ее параметров (пусть даже наиболее важному), видимо, вряд ли целесообразно и правильно. Необходимо учитывать роль всех существенных для ее облика компонентов. При таком подходе можно говорить о том, что в болгарском языке получил наиболее полное и последовательное развитие один из способов выражения грамматического видового противопоставления, что является специфической чертой именно болгарского языка. В свою очередь, например, чешский язык характеризуется более широким (по сравнению с болгарским) распространением префиксальных видовых корреляций и более активным процессом устранения двувидовости заимствованных глаголов (в то время как в болгарском языке они в незначительной степени включаются в формально выраженные видовые противопоставления). Другими словами, в современном чешском языке видовая система «устроена» несколько иначе, чем в болгарском. Поэтому, как нам кажется, точнее было бы говорить не о том, что в чешском языке категория вида не доведена до полного развития [21, с. 151], а о том, что в чешском языке развитие категории вида в определенных отношениях пошло по иному пути, чем в болгарском.

III. Широкие возможности для синхронно-сопоставительных исследований открывает область «способов глагольного действия», которая в славянских языках характеризуется сложным переплетением и взаимодействием лексических, лексико-грамматических и грамматических значений глагола. Несмотря на то, что в новейшей аспектологической литературе специальному изучению способов глагольного действия уделяется все большее внимание, материал ряда славянских языков (украинского, белорусского,

чешского, словенского и др.) в этом отношении изучен еще явно недостаточно. Между тем такие исследования важны не только сами по себе, но и как база, предпосылка сопоставительного анализа способов глагольного действия в славянских языках. Правда, уже имеются интересные данные, полученные в результате первых опытов синхронно-сопоставительных исследований в этой области (особенно на материале двух языков: болгарского и сербскохорватского, русского и болгарского, словацкого и русского, русского и польского). Дальнейшее развертывание подобных исследований — одна из задач славянской синхронно-сопоставительной аспектологии.

Как нам кажется, новые, существенные достижения в этой области могут быть достигнуты при уточнении некоторых исходных теоретических принципов и понятий, в том числе и самого понятия «способ глагольного действия». В аспектологической литературе до сих пор термином «способ глагольного действия» определяются не вполне идентичные понятия *. Не вдаваясь в детали, отметим, что одни ученые рассматривают способы глагольного действия как лексические или семантические разряды (группировки) глаголов, другие как семантико-словообразовательную категорию, третьи предпочитают называть их лексико-грамматическим разрядом. Некоторые аспектологи признают способами глагольного действия только те группировки глаголов, которые «имеют формально выраженную модификацию значения действия, названного простым глаголом» [4, с. 263], другие считают, что «определяющим формальным признаком способа действия являются не те или иные словообразовательные морфемы, а направление словообразовательной активности, синтаксическое употребление и тип взаимодействия с категорией вида» [39, с. 204]. В зависимости от наличия или отсутствия у глагола соответствующего морфемного (словообразовательного) показателя способы действия подразделяются на характеризованные, нехарактеризованные и непоследовательно характеризованные [3, с. 14]. Уже исходя из этого можно заключить, что с точки зрения формально-морфологического выражения соответствующих значений глагола способы действия охватывают достаточно разнородные явления. Общая черта этих глагольных значений, которая позволяет их объединить, заключается в том, что они относятся к характеристике протекания действия во времени.

Однако и в этом плане еще много неясного и дискуссионного. Основная трудность состоит в том, что в лингвистической литературе не определены достаточно четко критерии выделения так называемых аспектуальных (акционсартных, акциональных) значений глаголов, не решен до конца вопрос о семантических границах способов действия [38, с. 8]. Думается, прав М. А. Шелякин, замечая: «Общее определение способов действия как особенностей

* Характеристику современного состояния изучения данного вопроса см. в статье М. А. Шелякина [38, с. 3—13].

лексического значения тех или иных глаголов, относящихся к протеканию и распределению действий этих глаголов во времени, слишком широко, чтобы, с одной стороны, отделить способы действия от любой адвербиальной характеристики действия и, с другой стороны, включить способы действия в функционально-семантическую категорию аспектуальности» [38, с. 8].

Одной из актуальных задач общей и сопоставительной славянской аспектологии является установление более точных границ семантической зоны аспектуальности, особенно той ее части, которая связана со значениями способов глагольного действия (независимо от их «широкого» или «узкого» понимания).

При этом, по нашему мнению, поиски решения могут вестись в двух взаимосвязанных направлениях: а) по пути более четкой соотнесенности значений способов действия с собственно видовыми значениями глагола в рамках единого функционально-семантического поля аспектуальности, б) по пути более четкого отграничения значений способов действия от лексических значений глагола, никак не связанных с семантикой категории вида.

В связи с первым направлением можно отметить стремление М. А. Шелякина подчеркнуть, что способы действия интересны для аспектолога «как такое семантическое явление, которое обладает „объяснительной силой“ при изучении видовых свойств глаголов» [38, с. 9]. Он даже предлагает назвать способы действия аспектуальными способами действия, что нам представляется в терминологическом отношении избыточным, поскольку способы действия, являясь составной частью семантического поля аспектуальности, не могут быть «неаспектуальными». Наибольшая трудность как раз в том и состоит, чтобы выяснить, как, на основе каких критериев отграничить «аспектуальные» значения способов действия от других неаспектуальных лексических значений глагола. В частности, если говорить о приставочных глаголах, то важно установить критерии, по которым значение, привносимое приставкой, может быть определено как новое («чисто») лексическое значение или как значение аспектуальное (акциональное). Например, можно ли считать, что и глагол *перебросить* (*через что-л.*), и глагол *перебросить* (повторно, еще раз) выражают значения способов действия (или в первом случае мы имеем дело с новым лексическим значением, отличным от значения глагола *бросить*). Другой пример: *отлежать* (*руку*) и *полежать* (немного). Лексическая модификация исходного бесприставочного глагола *лежать* несомненна в обоих глаголах, однако только во втором случае обычно усматривается аспектуальное (акциональное) значение (ограничительного способа действия). Неясно, можно ли относить к сфере способов глагольного действия такое лексическое значение, характерное для группы глаголов, как «направленность действия сверху вниз», ср.: *сбежать*, *сбросить*, *слететь* и т. п.

Более точное определение границ семантической зоны аспектуальности имеет большое значение для проведения классифика-

ции способов глагольного действия в славянских языках (пока же существует несколько вариантов классификации, построенных по разному принципу).

Если признать, что функционально-семантическое поле аспектуальности в славянских языках составляют неоднородные семантические элементы (грамматические, лексико-грамматические и лексические), то встает задача их терминологического разграничения. В связи с этим представляется целесообразным термином «аспектуальные значения» определить все типы семантических компонентов, входящие в это поле. В рамках семантического континуума аспектуальности по степени грамматикализованности и абстрагированности можно было бы выделить три основных типа значений: видовые (грамматические) значения, значения способов действия (лексико-грамматические) и значения акциональные (лексические). Такое распределение «аспектуальных значений» представляется нам характерным для славянских языков. Как известно, к числу аспектуальных значений относят иногда и такие семантические оппозиции, как динамика : статика, предельность: непредельность действия [23, с. 10]. По нашему мнению, названные семантические признаки не обязательно считать «аспектуальными», так как это универсалии более широкого плана. В славянских языках они составляют своего рода семантическую базу, находящую то или иное проявление во всех типах аспектуальных значений.

В соответствии с указанной выше дифференциацией аспектуальных значений способы глагольного действия следует рассматривать как лексико-грамматическую категорию, репрезентантами которой являются разряды глаголов, объединенные общностью формально (морфемно) выраженного аспектуального семантического признака.

Опираясь на такое понимание способов глагольного действия, можно наметить ряд задач по их синхронно-сопоставительному исследованию.

Необходимым этапом в этом плане является установление состава способов глагольного действия в современных славянских языках, описание их распределения в отдельных языках и межъязыковых сходств и различий. При этом могут быть обнаружены отдельные расхождения в плане охвата глагольной лексики эквивалентными способами действия, а также выявлены специфические способы действия, характерные для отдельных славянских языков.

Важной задачей является определение сходства и различия в формальных средствах выражения способов глагольного действия. По этому вопросу мнения аспектологов расходятся: одни считают, что способы глагольного действия во всех славянских языках обслуживаются аналогичными словообразовательными типами [24, с. 49], другие полагают, что между славянскими языками имеются значительные различия в формальных средствах выражения способов глагольного действия [21, с. 148]. Детальный сопоставительный анализ на материале всех славянских язы-

ков поможет дать более точный ответ на этот вопрос. Однако уже и сейчас можно привести немало примеров расхождений между славянскими языками в данной сфере.

Известно, что в чешском и словацком языках (в несколько меньшей степени также и в польском) специальное формальное выражение получил многократный способ действия, ср.: чеш. dělávati, chválivati, nosívati и т. п., словац. čítavat', hovorievat', robievat'. В чешском и словацком языках глаголы этого типа имеют развернутую парадигму и широко употребляются в различных временных планах. В современном русском языке формы типа *гащивал*, *говаривал*, *хаживал* непродуктивны и редкоупотребляемы. Для болгарского языка подобные многократные глаголы не типичны [29, с. 43].

Интересен в этом плане также начинательный способ действия, который представлен во всех славянских языках. Инвентарь формальных средств выражения значения начинательности в славянских языках не вполне совпадает, а сходные форманты в отдельных славянских языках распределяются по-разному.

Покажем это на примере приставки *за-* (za-). Как известно, в русском языке среди формальных показателей начинательного способа действия (*за-*, *по-*, *воз-*, *вз-*) доминирующую роль играет приставка *за-* (ср.: *забегать*, *заволноваться*, *заплакать* и др.). Производные глаголы с приставкой *за-* (za-), в которых усматривается начинательное значение, представлены и в других славянских языках, ср., например: чеш. zaplakat, словац. zaplakat', польск. zapłakać, болг. *заплáча*, схрв. *заплáкати*. Из этого нельзя, однако, делать вывод, что во всех названных языках приставка *за-* (za-) играет аналогичную роль в плане выражения аспектуального значения начинательности. Сходство с русским наблюдаем в болгарском и сербскохорватском языках, в которых указанная приставка является основным средством передачи начинательного значения [10, с. 94; 17, с. 461]. В свою очередь, однако, болгарский и сербскохорватский языки различаются по степени продуктивности образования начинательных глаголов с приставкой *за-* (в болгарском языке продуктивность подобных образований значительно выше, чем в сербскохорватском [17, с. 461]). Иное положение обнаруживается в западнославянских языках. Так, в польском, чешском и словацком языках начинательное значение не характерно для приставки za-. В соединении с бесприставочным глаголом несовершенного вида она обычно или передает различные чисто лексические значения, или же выступает в качестве показателя значения совершенности; ср., например: чеш. zaklepat (na dveře) 'постучать, постучаться', zabručet 'пробурчать, проворчать' — zabručel si do vousů 'буркнул себе под нос', zalichotit 'польстить'; словац. zabubnovat' 'ударить в барабан, пробарабанить' и др. Правда, в лексико-семантической структуре некоторых глаголов наряду с грамматическим значением совершенности может выступать и сема начинательности, ср.: чеш. zahrát 1. (на чем-л.) 'заиграть' и 'сыграть'; 2. (что) 'сыграть', 'исполнить'

(zahrat si šachy 'сыграть в шахматы'), словац. zakašlat' 'покашлять' и 'закашлять'; польск. zadzwonić 'зазвонить' и 'позвонить'. Все же в названных языках начинательное значение передается, как правило, при помощи глаголов иной словообразовательной структуры, ср.: словац. rozhovorit' sa, rozosmiat' sa, чеш. rozplakat se, rozbrečet se, rozlětet se (при этом выражается и значение определенной меры интенсивности действия) или аналитическим способом, например: словац. začat' zavýjat' 'завыть', začat' hovorit' 'заговорить', польск. zacząć gwizdać 'засвистеть' и т. п.

Все это показывает важность детальной разработки вопроса о межъязыковой эквивалентности способов глагольного действия, о соотношении способов действия и акциональных значений глагола.

Одной из задач синхронно-сопоставительного изучения способов глагольного действия в славянских языках является анализ общих и отличительных черт их взаимосвязи с категорией глагольного вида. Видовая характеристика глаголов, принадлежащих к одним и тем же способам глагольного действия, в славянских языках не всегда совпадает. Это уже неоднократно отмечалось на материале разных способов действия [16—20, 24, 26]. Так, если словацкие глаголы с приставкой na-, относящиеся к кумулятивному способу действия, являются одновидовыми (перфектива тантум) — ср. nahádzat' 'набросать (много чего-л.)', nakopat' 'накопать', naprat' 'настирать', nalámat' 'наломать' и др., то семантически эквивалентные им глаголы в русском языке вполне допускают вторичную имперфективацию: *накапывать (много картофеля)*, *наламывать (много веников)*, *настирывать (много белья)* и т. п. С другой стороны, например, в русском языке глаголы аугментативного способа действия (*раскапризничаться*, *расплакаться* и т. п.) являются одновидовыми, а в польском языке в этом случае возможно образование формы вторичного имперфектива (rozkaprysić się — rozkapryszać się, rozpłakać się — rozpłakiwać się).

Что касается начинательного способа действия, то в русском языке подавляющее большинство начинательных глаголов с приставкой *за-* выступает только в совершенном виде [3, с. 5]. В отдельных случаях имеются корреляты несовершенного вида, например: *заболеть—заболевать*, *заговорить—заговаривать*, *зацвести—зацветать*. Однако такие образования являются нерегулярными и непродуктивными. В сербскохорватском языке большинство начинательных глаголов с приставкой *за-* также относятся к группе перфектива тантум, но все же значительное число таких глаголов может иметь коррелят несовершенного вида [17, с. 461], например: *зайграти* 'начать танцевать, начать играть' — *заигра́вати* 'начинать танцевать, начинать играть', *закашљати се* 'начать кашлять' — *закашљáвати се* 'начинать кашлять', *закосити* 'начать косить (косой)' — *закошáвати* 'начинать косить' и мн. др. Болгарский язык в этом отношении еще более отличается от русского: болгарские начинательные глаголы с приставкой *за-*, как

правило, имеют коррелят несовершенного вида, ср.: *зàхкам* 'начать ахать, заахать' — *зàхквам*, *забеснѐя* 'начать бесноваться' — *забеснѐвам*, *заблѝкам* 'забить ключом', 'заструиться' — *заблѝквам*, *заборѝчкам се* 'начать возиться, бороться' — *заборѝчквам се*, *заплàча* 'заплакать' — *заплàквам*, *запѝша* 'начать дымить' — *запѝшвам* и т. д. В польском языке среди немногочисленных глаголов с приставкой za-, имеющих начинательное значение, представлены и перфектива тантум (zadreptać 'начать семенить (ногами)', zaintonować 'запеть, начать хоровое произведение'), и глаголы парно-соотносительные по виду (zakwitnąć 'зацвести' — zakwitać, zamarzyć 'начать мечтать, возмечтать' — zamarzać и др. [5, с. 184—187]).

В докладе были освещены лишь некоторые вопросы сопоставительной славянской аспектологии. Дальнейшая разработка данной проблематики, имеющей большое теоретическое и прикладное значение (в частности, сопоставительный анализ способов глагольного действия может дать немало полезных наблюдений для двуязычной переводной лексикографии), будет способствовать углубленному изучению грамматического строя современных славянских языков.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Маслов Ю. С.* Морфология глагольного вида в современном болгарском литературном языке. М.—Л., 1963.
2. *Маслов Ю. С.* Система основных понятий и терминов славянской аспектологии. — В кн.: Вопросы общего языкознания. Л., 1965.
3. *Бондарко А. В.*, *Буланин Л. Л.* Русский глагол. Л., 1967.
4. *Авилова Н. С.* Вид глагола и семантика глагольного слова. М., 1976.
5. *Стрекалова З. Н.* Морфология глагольного вида в современном польском литературном языке. М., 1979.
6. *Широкова А. Г.* О категории многократности в чешском языке. — В кн.: Исследования по чешскому языку. М., 1963.
7. *Фетискина М. Д.* К проблеме связи способов действия и видовой соотносительности. — В кн.: Функциональный анализ грамматических категорий. Л., 1973.
8. *Шелякин М. А.* Терминативно-продолжительные и терминативно-интенсивные способы действия в современном русском языке. — В кн.: Категория вида и ее функциональные связи. Вопросы русской аспектологии IV. Тарту, 1979.
9. *Иванчев Св.* Българските дистрибутивни глаголи във видово отношение. — Изв. на Ин-та за български език, кн. 19. София, 1970.
10. *Иванова К.* Начини на глаголното действие в съвременния български език. София, 1974.
11. *Бондарко А. В.* К проблематике функционально-семантических категорий. — ВЯ, 1967, № 2.
12. *Бондарко А. В.* Вид и время русского глагола. М., 1971.
13. *Шелякин М. А.* Приставочные способы глагольного действия и категория вида в современном русском языке (к теории функционально-семантической категории аспектуальности). Автореф. докт. дис. Л., 1972.
14. *Ломов А. М.* Очерки по русской аспектологии. Воронеж, 1977.
15. *Sekaninová E.* Ekvivalenty slovesnej predpony *pre-* v slovenčine, pol'štine, češtine a ruštine. — Slavia, 1972, 41.

16. *Šekaninová E.* Sémantická analýza predponového slovesa v ruštine a slovenčine. Bratislava, 1980.
17. *Деянова М.* Из сърбохърватско-българската съпоставителна аспектология. — Български език, 1976, кн. 6.
18. *Деянова М.* За атенуативния начин на действие при българския и чешския глагол. — Български език, 1979, кн. 4.
19. *Стрекалова З. Н.* Аугментативный способ глагольного действия в русском, польском и словацком языках. — Slavica Slovaca, 11. Bratislava, 1976, č. 3.
20. *Соколов О. М.* К характеристике способов глагольного действия (на материале русского и болгарского языков). — В кн.: Вопросы сопоставительной аспектологии, вып. 1. Л., 1978.
21. *Иванчев Св.* За някои основни сходства и разлики между славянските езици в областта на глаголния вид. — В кн.: Славянска филология, т. 12. София, 1973.
22. *Маслов Ю. С.* Из проблематиката на съпоставителната аспектология. — Език и литература, 1976, № 6.
23. *Маслов Ю. С.* К основаниям сопоставительной аспектологии. — В кн.: Вопросы сопоставительной аспектологии, вып. 1. Л., 1978.
24. *Сигалов П. С.* Задачи и возможности сопоставительного и сравнительно-исторического изучения способов действия славянского глагола. — В кн.: Вопросы сопоставительной аспектологии, вып. 1. Л., 1978.
25. *Sekaninová E.* Konfrontačná analýza kategórie aspektuálnosti v slovanských jazykoch. — In: Příspěvky pro VIII mezinárodní sjezd slavistů. Záhřeb, 1978. Praha, 1978.
26. *Смирнов Л. Н.* К проблематике сопоставительной славянской аспектологии. — In: Materiály z II sympozia o bohemistice v zahraničí. Praha, 1980.
27. *Молошная Т. Н.* Непарные глаголы совершенного и несовершенного вида в русском языке в сопоставлении с болгарским. — В кн.: Проблемы грамматического моделирования. М., 1973.
28. *Молошная Т. Н.* О морфологических средствах глагольной имперфективации в русском языке в сопоставлении с болгарским. — В кн.: Структурная типология языков. М., 1966.
29. *Bačvarov J.* Rozsah sekundární imperfektivace v bulharštině, češtině a ruštině. — In: Materiály z II sympozia o bohemistice v zahraničí. Praha, 1980.
30. *Смирнов Л. Н.* Глагольное видообразование в современном словацком литературном языке. М., 1970.
31. *Kopečný F.* Slovesný vid v češtině. Praha, 1962.
32. Очерки по исторической грамматике русского литературного языка XIX века. Глагол, наречие, предлоги и союзы в русском литературном языке XIX века. М., 1964.
33. *Стрекалова З. Н.* К вопросу о грамматикализации глагольных приставок в польском языке (видовая функция приставки *po-*). — В кн.: Исследования по польскому языку. М., 1969.
34. *Лебедь С. А.* Глаголы с заимствованной основой в современном чешском языке. Автореф. канд. дис. М., 1979.
35. *Лебедь С. А.* К вопросу о видовой дифференциации двувидовых глаголов с иноязычной основой в чешском языке (в сопоставлении с русским). — In: Konfrontační studium ruské a české gramatiky a slovní zásoby. Praha, 1974.
36. *Мучник И. П.* Развитие системы двувидовых глаголов в современном русском языке. — ВЯ, 1966, № 1.
37. *Тихонов А. Н.* Чистовидовые приставки в системе русского видового формообразования. — ВЯ, 1964, № 1.
38. *Шелякин М. А.* Основные проблемы современной русской аспектологии (2). — Учен. зап. Тартуского гос. ун-та. Вып. 434. Вопросы русской аспектологии II. Тарту, 1977.
39. *Маслов Ю. С.* Значение данных болгарского языка для общей теории славянского глагольного вида. — В кн.: Славянское языкознание. Доклады советской делегации. V Международный съезд славистов (София, 1963). М., 1963.

Т. М. Судник, Т. В. Цивьян

К ТИПОЛОГИЧЕСКОМУ СОПОСТАВЛЕНИЮ МЕХАНИЗМОВ ДВУЯЗЫЧИЯ

(балто-славянский и балканский языковые союзы)

В течение ряда лет в секторе структурной типологии Института славяноведения и балканистики АН СССР выполняется программа по изучению языковых контактов. Здесь предполагается подвести некоторые итоги в той мере, в какой они являются общими, уделив специальное внимание — в соответствии с тематикой съезда — вопросам, касающимся балто-славянского материала.

Предметом изучения были два ареала: балканский (ограниченный балканским языковым союзом — БЯС) и балто-славянский (охватывающий территорию балто-славянского пограничья, где происходят контакты балтийских и славянских этнолингвистических и культурных комплексов).

Для БЯС речь шла о дальнейшем исследовании внутренней структуры этого общепризнанного языкового сообщества, о системном описании языковых уровней — от фонологического через морфологию и синтаксис к семантическому — и об экстраполяции полученных результатов на другие ареалы с аналогичным типом языкового взаимодействия. Анализ балканских языков в аспекте БЯС привел к выработке его общей структуры, которая помогает высветить как суть данного языкового союза, так и обычно скрытые особенности балканских языков sub specie балканистики.

В программу исследования балто-славянского контактного ареала было включено исследование южной и юго-восточной частей балтийско-славянского языкового союза (БСлЯС) [1] — зоны литовско-белорусского пограничья (юго-восток Литвы и северо-запад Белоруссии), где взаимодействуют наиболее значительные компоненты БСлЯС: литовский, белорусский, польский. В основных пунктах эта программа совпадала с соответствующей программой для БЯС (с учетом общей теории языковых союзов): наиболее существенным представлялось «вертикальное» описание структуры БСлЯС от фонологии до семантики, позволяющее сделать шаги к исследованию этнокультурных аспектов данного ареала.

Учитывая единый теоретический подход, анализ обоих языковых сообществ — БЯС и БСлЯС — при всей автономности на некотором уровне объединяется; происходит как бы взаимное дополнение, обогащение, позволяющее сделать достаточно достоверные выводы по общим проблемам языковых контактов. Если позволить довольно большой масштаб приближения, то в определенном смысле можно говорить о своего рода взаимном верифи-

цировании исследований БЯС и БСлЯС, когда теория проверяется практикой, а практика питается теорией (разумеется, это лишь одна из возможных линий взаимодействия). Это тем более ценно, что исследования обоих языковых союзов ведутся по-разному, в частности, из-за реальных возможностей. Для БЯС — центра балканистических исследований — берется готовый материал, как по отдельным языкам, так и по их сопоставлению; считается допустимым использовать данные литературных языков как экстракта, вобравшего в себя основные результаты балканистических процессов. Одним словом, здесь, скорее, уровень дедукции, когда описание механизма контактов ведется не на конкретных ситуациях, а уже на их результатах. Иное дело БСлЯС: здесь речь идет прежде всего об уровне индукции, о теоретической интерпретации материала полевых исследований, которые позволяют не только выявить ситуации контактов hic et nunc, но и проследить в известной мере их пространственную и временную динамику.

Другое отличие принципиального характера связано с особенностями языковых отношений в пределах БЯС и БСлЯС. В БЯС входят два близкородственных языка — болгарский и македонский; общая типологическая по преимуществу структура этим не нарушается, поскольку оба языка в своем развитии ориентируются не друг на друга, а на некий внеположный образец, соответствующий общей структурной схеме БЯС. О сохранении «генеалогического отсвета» в БЯС можно говорить постольку, поскольку генезис балканизмов в конце концов восходит к общему источнику — индоевропейским языковым моделям, либо продолжающим старое индоевропейское наследие, либо являющимся рекурсиями, типологически близкими к индоевропейскому состоянию. Иное дело БСлЯС, образованный долгое время сосуществующими на одной территории языками со сложными генеалогическими отношениями. Балтийский (литовский, латышский) и славянский (белорусский, польский) компоненты представлены близкородственными языками-«братьями», в свою очередь между этими компонентами существует преемственная связь: балтийский по отношению к славянскому выступает как представитель более архаичной генерации — как «предок», сосуществующий во времени (и в пространстве) со своим «потомком» по прямой линии [2]. Этот факт существенным образом отражается на самом характере конвергенции — ср. хотя бы необходимость трактовать как ее непосредственный результат не только разного рода инновации, но и общие архаизмы в языковых системах. В целом эта ситуация, если иметь в виду ее исчерпывающее описание, требует одновременного сопоставления, исходя из типологического, генетического и ареального принципов.

Известно, что бесспорное основание для введения понятия языкового союза и его суть заключаются не только в структурных схождениях, проходящих по всем языкам, но и в заложенной как бы извне тенденции к конечному единству, к общей структур-

ной схеме, построенной на основе этих схождений. К настоящему моменту описаны и техника этого процесса (выработка приемов для успешного осуществления коммуникации в сложных условиях многоязычия), и пути, по которым языки движутся к предполагаемому единству (прежде всего, «минимизация» или «оптимизация» грамматики, в терминах Вайнрайха). Заданное таким образом направление в чем-то ограничивает типологические исследования языковых союзов: их основная цель — зарегистрировать на всех уровнях максимальное число системных схождений и построить на их основе язык-посредник, как бы «конечный результат». Иначе говоря, если языковой союз — это «многое, становящееся единым», то его типологическое изучение только и имеет смысл, если оно ориентировано на объединение контактирующих языков в один, — в противном случае это будет просто регистрация схождений, неизбежных для любых языков, контактирующих либо непосредственно, либо опосредованно (например, культурные контакты).

Но надо ли полагать, что формирование единого языка является обязательным или возможным результатом языкового союза (ср. креолизованные языки или понятие langue mixte как продукта двуязычия)? И что вообще следует считать продуктом языкового союза? Пока это как будто может быть решено только в конвенциональном плане (что, впрочем, соответствует конвенциональности самого понятия языкового союза). В свое время Трубецкой предлагал считать общеиндоевропейский язык результатом взаимодействий типа языкового союза. Это позволяет высказать некоторые соображения относительно субстрата, т. е. разноязычных слоев в одном языке: возможно, это явление, обычно рассматриваемое в генеалогических рамках, можно интерпретировать как результат слияния контактирующих языков (ср. хотя бы романский, дакийский, славянский пласты в румынской лексике при хорошо известной истории и хронологии контактов соответствующих народов).

Когда было предпринято описание синтаксической структуры БЯС [3], в его основе лежала презумпция, что в синтаксисе балканских языков так много схождений, что они образуют единую систему и что переход с одного балканского языка на другой осуществляется через эту систему, сформировавшуюся на подсознательном уровне у носителей языка в условиях многоязычия. Эта презумпция в целом оправдалась. Были составлены однородные синтаксические описания балканских языков по ЭСК (элементарным синтаксическим конструкциям), установлены наборы ЭСК для каждого балканского языка, их комбинаторика и семантические трансформации; далее, был выделен набор ЭСК, проходящих по всем балканским языкам, т. е. набор ЭСК для БЯС. Он оказался равным 21, в то время как наборы ЭСК для конкретных балканских языков распределились следующим образом: по 23 для албанского и болгарского, 22 для македонского, 25 для новогреческого, 26 для румынского. Коэффициент совпадения чрезвы-

чайно высок, и одно это может говорить о том, что БЯС достаточно продвинулся к конечному результату: неслучайно о системе БЯС уже давно говорится как об одном языке с несколькими терминами, т. е. с несколькими лексическими наборами.

И однако почти неожиданно и сначала на уровне непосредственного восприятия оказывается, что несмотря ни на что балканские языки сохранили свое основоположное различие, свою индивидуальность и в определенном смысле, — как странно это ни звучит, — несмешанность. Эта особенность настолько сильна, что побудила выдвинуть в качестве критерия описания *похожесть/непохожесть*. Оба члена этой оппозиции взаимодействуют друг с другом таким образом, что в конце концов можно говорить, что механизм БЯС основан на симбиозе похожести и непохожести балканских языков. Наблюдение, состоящее в том, что похожесть балканских языков не была бы столь яркой и прочной, если бы не подкреплялась непохожестью, и наоборот, позволяет сделать следующий шаг (и здесь уже можно выйти за рамки БЯС к языковым союзам вообще). Если в основе языкового союза лежат не только сходства, но и различия его членов, значит, не только сходства, но и различия являются необходимым условием, или характеристикой языкового союза. В самом деле, сопоставлять и сравнивать объекты имеет смысл тогда, когда они разные: сольются они в один, и сопоставлять будет нечего, языковой союз прекратит свое существование, образовав общий язык. Языковой союз, следовательно, сохраняет свой статус и нормально функционирует лишь постольку, поскольку и пока в нем сохраняется системное различие его членов. Возникает парадокс: объединение в языковой союз предполагает и означает, что языки не теряют, но тщательно оберегают индивидуальность и самостоятельность.

Эти кажущиеся умозрительными рассуждения обретают реальность, если их поместить в пространственно-временные рамки. Речь идет при этом не о синхронии и диахронии: будучи по сути дела оторваны от категории времени, эти оси дают своего рода регистрацию результатов. В случае языкового союза результаты ориентированы прежде всего на схождения, отчего общая картина получается несколько односторонней. Отказавшись от понимания языка (и тем более языкового союза) как монолитного объекта и признавая в нем сосуществование разных, вплоть до противоположных состояний (ДП, явлений и т. п.), мы помещаем его в другое временно́е поле, отличное от осей синхронии и диахронии: поле, где «время — это определенная форма существования языка», где «язык — мера времени» [4]. Здесь прежде всего выделяются два аспекта, связанные с оппозицией *статичности* (неизменяемости)/*динамичности* (изменяемости), как она выражается в языке. Взятая в плане одновременности, эта оппозиция снимает противоречие между двумя основными свойствами языкового союза: тенденцией к унификации и сохранением различий. В рамках понимаемого таким образом времени мы в сущности имеем дело с «веком» языка

(языкового союза), подобным человеческому веку, т. е. с «проживанием» предназначенного срока. В историческом масштабе этот срок мгновенен, но в непосредственном восприятии мгновенность осознается только в конце, при истечении срока, ощущение неограниченности которого поддерживается стабильностью объекта, в каждый данный момент тождественного самому себе. Как было сказано выше, прогнозировать хронологически конечный этап развития языкового союза весьма сложно. В общем трудно определима и исходная точка: БЯС, например, регистрируется как языковой союз тогда, когда в нем выделен полный набор основных балканизмов; многочисленные дискуссии о генезисе и датировке балканизмов, как представляется, и показывают нецелесообразность поисков «начала». В определенном смысле здесь парадокс кучи зерна: начало и конец процесса неустановимы, но следует учитывать любое минимальное изменение, поскольку сумма таких изменений, определяемая мерой времени, приведет к новому статусу.

Сочетание стабильности/динамичности приводит к сосуществованию в языке разных состояний: в общем плане диахроническое развитие языка как бы запечатлено на синхроническом уровне. Это известное свойство языка в языковых союзах, где контакты, интерференция являются своего рода катализаторами, проявляется особенно ярко: эволюция языкового союза «от разного к единому»; некое «усредненное» состояние, по которому и идентифицируется языковой союз; архаизмы, реликтовые явления; инновации; все возможные сочетания этих состояний, — таков в общих чертах статус языкового союза в каждый данный момент. Здесь и вступает мера языкового времени, определяющая «проживание» каждого из этих состояний, границы перехода от одного к другому и т. п.

Поэтому представляется особенно важной регистрация максимального числа языковых состояний, что в данном случае позволит на достаточно долгий срок определить степень смешанности—несмешанности контактирующих диалектов.

В данном случае анализ одного из таких состояний будет показан на материале БСлЯС. Этот выбор определяется как тематикой съезда, обращенного прежде всего к славянским языкам, так и темой сообщения, предполагающего проверку положений, для БЯС установленных in vitro (по литературным языкам, строго говоря, друг с другом не контактирующим), на материале полевых записей, сделанных в последние годы на территории БСлЯС.

Здесь следует сказать, что перед исследованием БСлЯС стоит задача, для БЯС уже в основном решенная, — установление набора того, что по аналогии с балканизмами можно было бы назвать балто-славизмами, т. е. набора системных схождений на разных уровнях. В этой перспективе отправным пунктом служит изучение первичных лингвогеографических единиц БСлЯС — ситуаций балто-славянского би- и полилингвизма, позволяющих в ограниченной области пространства—времени контроли-

ровать координацию механизмов и результатов конвергенции, наблюдая на фоне спорадических или узко локальных явлений функционирование и тех черт, которые распространяются на широкий пространственно-временной континуум диалектов, соответствующий языковому союзу. Иначе говоря, в этих ситуациях на наших глазах происходит, так сказать, с и н т е з балтославизмов, и языковой союз оказывается доступным наблюдению in statu nascendi.

Таким полем исследований являются, в частности, характеризуемые литовско-белорусским двуязычием или же литовско-белорусско-польским трехъязычием реликтовые литовские острова на территории Белоруссии. Примечательно, что своего рода идея языкового союза стихийно присутствует здесь в лингвистическом сознании самих говорящих. Будучи и носителями, и наблюдателями симбиоза и постоянной конфронтации разных языковых систем, говорящие проникнуты убеждением в их абсолютном подобии: «*па-просту воўк і па-літоўску тое самое — вілкас, эта такі самы язык, адзінакавы, просты, мяшанцы мы — так сама гаворым па-літоўску і па-просту. . .*» [5]. Лингвистическая психология билингвов смещает межъязыковые и междиалектные границы, объединяя в одно целое «свои» говоры и противопоставляя это целое запредельному языковому пространству. «Материковый» литовский воспринимается как другой язык: «*Мы з ліцвякамі згаворымся, але наш язык не такі, як на Літве, просты, яны гаворяць граматычне, а мы тут па-літоўску гаворым па-просту*» (д. Пеляса Вороновского р-на Гродненской обл.) — последние слова значат не что иное, как «мы тут по-литовски говорим по-белорусски»! С неменьшим основанием могло быть, вероятно, сказано и обратное: «мы по-белорусски говорим по-литовски», во всяком случае свой белорусский говор двуязычные необычно резко отделяют от окружающего ареала, ощущая как контраст междиалектные различия, которые на деле носят скорее «точечный» характер (ср.: *у іх свая гавенда, а ў нас свая — мы кажам рыдляўка, а яны рыдзяль. . .*»).

Было бы, однако, заблуждением, исходя из категоричности этих суждений, считать, что двуязычные вообще не разграничивают используемые ими языки. Практика билингвизма обнаруживает не только строгие правила языкового поведения, но и нормативность самих языков, как бы блокирующую их взаимодействие и охраняющую их границы. Соответствующий тест, несомненно, показал бы общепринятость и эксплицитность именно разграничения прежде всего. Но в том-то и дело, что разграничение и отождествление языков существуют в сознании их носителей симультанно, и именно эта в определенном смысле «протеичность» — способность квалифицировать (и реализовать) один язык то как автономный, тождественный себе, то как подобный и едва ли не тождественный другому — и составляет содержание лингвистического кредо билингвов, обеспечивая возможность мгновенных языковых переключений.

Парадоксальные представления о языковой типологии в данной ситуации, разумеется, основаны прежде всего на субъективных, чисто психологических началах: параллельно используемые двуязычными языки сближаются в их сознании более всего тем, что на них говорят одни и те же люди, различия же между языками меняют свой масштаб, ибо воспринимаются сквозь призму не просто наблюдаемых, но, так сказать, обжитых или переживаемых сходств. Но верно и то, что за подобными представлениями стоит и вполне объективное основание — органическая взаимная адаптация сосуществующих языков, заходящая иногда столь далеко, что в предельных случаях их разграничение становится поистине проблематичным. С наибольшей наглядностью картину достигнутого единства способов выражения позволяет представить сравнительный анализ параллельных текстов, т. е. различных кодовых версий одного и того же сообщения. Пользуясь этим методом, можно засвидетельствовать своего рода континуум диалектных текстов, располагающихся вдоль непрерывной шкалы «смешанности» в диапазоне от предельно смешанных (включая материальную, лексическую конгруэнтность) до текстов несмешанных, сохраняющих максимум языковых различий.

Образцы смешанных текстов, отнюдь не редкие в спонтанной речи, могут служить иллюстрацией того типа двуязычного узуса, когда, выражаясь словами информанта, «по-литовски говорят по-белорусски» et vice versa:

Белорусский	Литовский
строўбл'áк — знак, што‿патóпы н'а‿бýдз'а	stroublỹs — znókas, kad‿patãpos n'abùs

'радуга — знак того, что потопа не будет'; или:

пóўна шуршблаў на‿м'áндрах — нáт кнíбжджыц'	pilnaĩ šoršólu an‿m'ándru — nát kníbžda

'полно шершней на тростнике — аж кишит (-ат)' (Пеляса); ср. и тексты большей протяженности (Гервяты Островецкого р-на Гродненской обл.):

На‿балатáх былí кýдры. Там кáчкі дзíкія, пímпы пладзíліся, бацяны́ жыравáлі. Бацян непадóбным паскýдствам жывé: жабáмі, áдзінамі. Трэ́ба ямý ўсцягнýць благýю баранý, каб‿ён зацягнýў‿бы жагарáмі ты́я шчы́ліны. Клякятáя, у‿гэ́тых рэ́згінах сéджучы!	Un‿bálu búvo kúdros. Ti kóčkos dzíkos, pímpės pládzijos, bacánai žygrújo. Bacánas nepadabnú paskudstvú giv'ána: žəbom, ódzinom. Rəik'a jam ustís'c'a blogàs ak'éc'as, kad‿ánas aštíst žagaraĩs tós skilàs. Kl'ak'atója, itósa rázgin'œsa sədédamas!

В текстах этого типа переход от одного языка к другому предельно прост: он может сводиться по существу к фономорфологическому преобразованию по автоматическим

правилам пересчета, ср. в первом примере: заменить в корне *а* на *о* (*знак-* → znok-), *о* на *а* (*патоп-* → patap-), заменить концовки слов: *-ак* на -ys (*строўбл'ак* → stroublys); нулевую флексию на -as (*знак* → znokas), *-ы* на -os (*патопы* → patapos), *-дзе* на -s (*будзе* → bus); единственной точкой расхождения в лексике является незнаменательное слово: *што* → kad. В кругу диалектов БСлЯС подобные тексты обозначают масштаб и пределы конвергенции, фиксируя состояние языковой системы, когда область интерференции затрагивает все уровни, включая лексику.

Противоположные им несмешанные тексты представляют не меньший интерес для изучения механизма двуязычия: они свидетельствуют степень сохранности каждого диалекта, поддерживая строгое отношение дополнительности между сходством и различием, интерференцией и стационарным состоянием систем, которое обеспечивает статус как самих языков, так и их союза. Они, кроме того, регистрируют то протяженное во времени состояние, которое, благодаря аспекту длительности, соединяет в себе и черты исходной «несмешанности», и то единство, в котором генетическая и типологическая близость структурно слилась с результатами языкового взаимодействия.

Суть и цель анализа приводимого ниже примера состоит в том, чтобы показать, как один и тот же текст в разноязычных версиях может быть одновременно похожим и не похожим:

1. *двóі ты́л'ко мájу пшчóлы.*	1. dvejàs cìk turù bitès.
2. *каб‿былá‿б н'а‿аблажы́ўшы ўвосен', былí‿б н'а‿вы́жыўшы, былí‿б пасты́хшы‿б.*	2. kad‿butáu n'aabdëjus rùd'ani, bút n'aižbùvi, bút pašãlys.
3. *jáблына вы́сахла — падбáла марóзу.*	3. obelìs iždžúvo — padbójo šal̃'c'o.
4. *адну́ мéла слíву, і‿тáя вы́м'арзла.*	4. víenu turéjau slīvu ir‿tói iššãlo.
5. *снéгу наснéжыла — тру́дна былó дайсцí да‿в'óскі за‿снéгам*[6].	5. sniẽgo prıisnígo — sunkù bùvo dav'œ̃ic' ulīčon žu‿sniẽgo[6].

В условной записи, калькирующей морфо-синтаксическую структуру (т. е. представляющей синтаксический разбор, записанный конкретными лексемами), этот текст передается следующим образом:

1. *двое* [Acc., белор. Acc. =Nom.] *только пчел* (белор. Acc.=Nom.] *имею.*
2. *кабы была не обложивши осень* [Acc., белор. *у*+Acc.], *были бы не выживши, были бы померзши.*
3. *яблоня высохла — побоялась мороза.*
4. *одну имела сливу, и та вымерзла.*
5. *снегу наснежило — трудно было дойти* [лит. *деревню* (Ill.), белор. *до деревни* (*до*+Gen.)] *за снегом.*

При отсутствии полной (или почти полной) материальной конгруэнтности, которая наблюдается в смешанных текстах, формальный уровень обнаруживает здесь глубинный структурный изоморфизм. Существенны схождения, которые правомерно квалифицировать как балто-славизмы, поскольку они свидетельствуют не об универсальном упрощении системы (хотя бы стимулируемом ситуацией контакта), но о выработке общего набора морфо-синтаксических конструкций. К ним относятся: наличие особой формы числительного, обозначающей совокупность (белор. собирательно-разделительное=лит. множественное); Part. perf. act. в составе формы Cond., утратившее родовые и числовые характеристики, — ср. в лит.: 'была обложивши', а не 'была обложившая', или: 'выживши', 'померзши', а не 'выжившие', 'померзшие'; Figura etymologica 'снегу наснежило'. Структурное сходство (единый набор и порядок морфо-синтаксических конструкций) находит продолжение и поддержку в материальном совпадении грамматических формантов — ср. хотя бы флексии глагола *мájу*—turù, существительного: *слíву*—slĩvu, или числительного: *аднý*—vienu.

На этом фоне при анализе лексического уровня двуязычные проявляют максимализм в поисках общего, выражающийся в стремлении зацепиться за любую опору. Список лексических соответствий, устанавливаемых двуязычными, свидетельствует о том, что ключ к отождествлению кодовых единиц подбирается ими через процедуры сопоставления, близкие к лингвистическим, ср.:

двóі — dvejàs	*да(йсцí)* — da(v'œic')
аднý — vienu	*падбáла* — padbójo
jáблына — obelìs	*былá б, былí б, былó* — butáu, búť, bùvo
слíву — slĩvu	*тыл'ко* — cìk
снéгу, снéгам — sniẽgo, sniẽgu	*каб* — kad
(на)снéжыла — (prы)snígo	*mája* — tói
аб(лажыўшы) — ab(dějus)	*і* — ir
па(стыхшы) — pa(šãlы)	*н'а* — n'a

Самостоятельность и обособленность текстов сохраняется благодаря слою несовпадающей лексики: *мájу* — turù, *пшчóлы* — bitès, *(аб)лажыўшы* — (ab)dějus, *увóсен'* — rùd'ani, *выжыўшы* —ižbùvi, *(па)стыхшы* — (pa)šãlы, *вым'арзла* — iššãlo, *высахла* — iždžúvo, *марóзу* — šal'c'o, *трýдна* — sunkù. Таким образом, даже на примере короткого текста можно видеть отображение характерного для языкового союза баланса между подобием / различием и функционирование механизма конвергенции, который, не нарушая баланса, синтезирует устойчивые черты сходства взаимодействующих языков.

Черты сходства, являющиеся результатом не только исконного типологического подобия, но и интенсивной конвергенции, охватывают все уровни языковых систем. Основные признаки фонетико-фонологической конвергенции литовских, белорусских и польских говоров в ситуации полилингвизма были изложены в докладе

к предыдущему съезду славистов [7], опыт экспериментально-фонетического исследования вскрыл глубину и строгие закономерности межъязыковых фонетических соответствий в процессах литовско-белорусской интерференции [8].

Ниже представлены некоторые предварительные итоги наблюдений над синтаксической и морфологической интерференцией. В качестве первого шага к установлению общей картины предлагается краткий обзор тех явлений, которые отражают балтийский (литовский) вклад в синтаксис и морфологию славянских (белорусских и польских) говоров в условиях полилингвизма.

К числу синтаксических особенностей в белорусских и польских говорах, зависящих от контакта с литовским, могут быть отнесены:

1) именительный падеж прямого дополнения при инфинитиве [9], главным образом для существительных на *-а*: белор. *замкнуць хата*, *даіць карова*, *содзіць бульба*, *прадаваць карова ці кабанчык*, *пашыць сукенка* и т. п. (Пеляса, Гервяты, Игнатишки Браславского р-на Витебской обл.); польск. voda nosic', z'em'a zaγorac', spšedac' krova и т. п. — здесь, однако, можно говорить о совпадении результатов влияния литовского оборота nominativus cum infinitivo и внутреннего изменения, ср. фонетическое неразличение форм им.-вин. в говорах этих мест: voda nosil, kupil xustka, myja podloga и т. п.[10];

2) широкая экспансия литовских генитивных конструкций, функционирующих на правах не просто допустимых трансформаций, но основных форм выражения; таковы, в частности:

а) приименный Gen. possessivus или Gen. partitivus с характерной его препозицией (вместо конструкций с постпозицией генитива или соответствующих адъективных сочетаний), ср.: белор. *бацькі хата*, *чалавека душа*, *рук праца*, *поўначы вецер*, *воўка ока*, *бярозы кара*, *адлігі снег*, ср. цепь Gen.: *Пелясы касцёла вежа*, *з хвоі сука жорнаў жолаб* (Пеляса), *Янака пісьмо*, *Валэйкі хата*, *цялюка пойла* (Гервяты), *алтобуса шофар*, *свентай Агаты хлîб* (Зетела = Засецце Дятловского р-на Гродненской обл.)[11], польск. kos'c'ola v'eža, sv'entai Agaty xl'eb, matki kufar (в тех же местах); следует отметить бóльшую факультативность этих форм в польском по сравнению с белорусским, где они регулярны в речи двуязычных;

б) Gen. auctoris при страдательном причастии в качестве определяемого слова. ср.: *чалавек пяруна забіты* ('человек, убитый перуном'), *чалавек бога створаны* ('человек, созданный богом'), *ручнік маткі вытканы*, *хата дзеда пабудавана* и т. д. (Пеляса); изредка в польск.: xala ojca zbudovana, člov'ek boga stvožony (там же);

в) Gen. finalis при глаголах движения: белор. *пайшла травы*, *прыходзіў каня*, *прыходзіць малака*, *грошай прыбягала*, польск. pšyxodzi m'odu, ml'ečka;

г) Gen. quantitatis при глаголе *быць*, byc': белор. *ест грыбоў, ягадаў; было людносці* (Пеляса); *шчупакоў, плоткаў, вангораў ёсць* (Гервяты)[12], и т. п.; польск. jest s'v'ežego ml'ečka, jest svojix vnukuf и т. п. (Игнатишки);

3) колебания в распределении функций Acc. и Loc. в белорусском, т. е. употребление этих падежей и в направительном и в местном значении (как отражение асимметричности белорусских и литовских парадигм — в частности, отсутствия в белорусском аналога архаичным литовским локативно-направительным формам), ср.: *сядзець на зямлю, ляжала ў бальніцу, скаціна ў хлеу гаворыць у куцю* (Складанцы Вороновского р-на Гродненской обл.); *у дзежку расце хлеб, нясе ў прыпол вішні* (Пеляса); *прышла ў тую адзежу, вышла на ганку* (Гервяты), и: *лятуць гусі ў цёплым краі* (Складанцы), *снег па поясі* (Пеляса) и т. д.

4) беспредложный Loc., регулярный для оборота *канцы* + Gen.: *канцы вёскі крыж, хлеў канцы каморы*, фолькл. *канцы століка настаялася...* (Пеляса, Зетела);

5) смешение Instr. и Dat. pl. (под влиянием полного или почти полного совпадения этих форм для некоторых основ в литовском: *тэраз і дарослымі, і дзецьмі зубы баліць; маткі дзецьмі байкі казалі* (Пеляса); *жабракамі дае, убагамі* (им. *ўбаг*) *пад касцёлам* (Складанцы);

6) разнообразные частные случаи калькирования литовских моделей падежно-предложного управления, ср. в белор.: *аб* + Acc. *чуў аб тую кабету; аб душу, аб грэх не думая; пытаўся аб песні, аб байкі* (Пеляса, Складанцы, Гервяты и др.); *з* = лит. iš + Gen. *з сястры іду; з маткі ягадаў узяла; з бацькі чамадан, з мяне сумку забраў* и т. п. (Пеляса, Складанцы, Гервяты и др.); Acc. + *балець*: *баліць галаву, руку, нагу, сярэдзіну баліць — і чаго мне яе баліць* (Пеляса, Складанцы); твор. п. причины: *не хваробаю, а голадам паміралі* и т. п. (Пеляса); и мн. др. примеры;

7) предикативное употребление причастий: белор. *слонца абышоўшы; бура дубы палажыўшы, дубоў карэні строма пашоўшы, лес на зямле палажыўшыся* (Пеляса и др.[13]); польск. curka pšyjexafšy, pani zmenčyfšys'a и т. п.[14] (см. ниже о перифрастических перфектных формах); реже в предикативной функции отмечаются причастия наст. вр. в белор.: *хмары з усіх бакоў грымлючы* (Пеляса); *яны адна аднэй ахвоты паддаючы; я думаючы сабе...* (Гервяты); ср. в фольклорном тексте: *я ад гора ўцякаючы, мяне гора даганяючы, ... за ліхім мужам жыючы, сама дрова і лучыну колючы, да ніколі ж я не вячэраючы* (Пеляса, Зетела); характерны союзные препозитивные сочетания с Verb. fin., ср.: *чалавек конна едучы і мне кажа...; матка хварэючы і прасіла прыпамагчы* (Пеляса) и т. п., где первая часть имеет значение, сопоставимое с абсолютным временным оборотом (первое действие — протяженное во времени, второе — точечное);

8) конструкция предложения с разносубъектными деепричастием и Verb. fin., ср. белор.: *нарадзіўся ярыну жнучы, жыта пажаўшы вайна пачалася, праднеўшы памёр* и т. п.; конструкции, близкие к трансформациям Dat. absolutus: *яму ідучы змеркла, чалавеку палюючы спатыкаецца чорт ў ройсце* и т. п. (Пеляса и др.);

9) инверсия в отрицательных конструкциях (как прием усиления): *ні мне людзі замінаюць* (лит. n'œi man sviẽtas maĩšo); *ні я там чаго ўвіджу; ні цвятка было, (а)ні слівы ест* (Пеляса);

10) выражение субъекта действия беспредложными локативными формами числительных в предложениях типа: *пяцёх касілі, чатырох малаціли лён, трох ткалі* (Пеляса) — ввиду различения в говоре форм Gen. и Loc (*пяці — пяцёх*) эти формы трактуются как локативные (а не генитивные) и могут быть поставлены в соответствие аналогичным конструкциям в литовском (ср.: penkíesa šienavo, k'aturosà kula linus).

В плане морфологии с литовским влиянием связаны следующие явления:

1) признаки затухания среднего рода в ориентации на литовскую модель распределения по грамматическим родам: *слонца абышла, (в)озяр разліўся, сыры пален* (лит. pagalỹs) и т. п.[15]; характерна суффиксация, способствующая стабильности согласования: *паленчык, сіток, гняздок, -очак, бярэмчык, вымчук, зярнюк, вядзёрчык* (Пеляса и др.); реже выравнивание затрагивает сущ. муж. и жен. р.: *гарачы кроў* (лит. kraũjas), *зламаны косць* (лит. káulas), *шчурка* (лит. žiùrkė) и т. п.; ср. также в польск.: ta m'asta, sercy n'ema, jaiku zn'esla, kref goroncy, koś'c' začol bol'ec' и т. п.;

2) изменение характеристик некоторых существительных по числу, ср. sg. *грабяль* (лит. grėblys), pl. tantum *печані* (лит. kẽpenys), *лёны/ляны* (лит. linaĩ), *зявы* (лит. žiótys), появление двояких форм: ед. *сéна* — мн. *сяна́*, и т. д. (Пеляса и др.)[16];

3) изменения в акцентной системе — в частности, расширение списка имен на *-а*, имеющих ударения на флексии: *муха́, скура́, буда́, матка́* и т. д., включая группу слов, объединенную семантическим признаком: *груша́, ліпа́, рабіна́, каліна́, асіна́, альшына́* (полного параллелизма с литовской схемой ударения нет: конечное ударение распространяется на все формы ед. ч., во мн. ч. ударение на основе);

4) выравнивание падежных флексий, затронувшее тот же наиболее открытый аналогиям морфологический класс имен с *а*-основой, ср. оформление Dat. sg. в говорах Браславщины: белор. *сена каровай, купіў хустку маткай, жонкай, сястрой, дачкой* (синкретизм дат. и твор. п.); польск. kupił suk'enka s'ostraj, gos'cin'ac bapc'aj и т. п. (Игнатишки и др.);

5) калькирование способов выражения степеней сравнения прилагательных и наречий: *штонайбялéйшы, чымладнéйшы, чым раней, чым бліжай, чым найвыжай* и т. п. (Пеляса и др.); ср. также

эвентуальные образования с использованием литовского аффикса типа: *даўняснія* (//*даўнейшыя*) *песні* (Зетела) и т. п.;

6) сохранение архаичных разрядов числительных, нашедших опору в литовском, — в частности, собирательно-разделительных числительных: *двоі*, *троі*, *чацвёры*, ... *дзесяцёры* (*лякарствы*, *суткі*, *кросны* и т. п.) при *двоя*, *троя*, *чацвёра*, ... *дзесяцёра* (*дзяцей*, *паршукоў* и т. п.), ср. различения в литовском множественных и собирательных числительных; дробных числительных, отражающих счет половинами: *паўтара*, *поўтраця*, *поўчварта*, ... *поўдзесята*, *поўадзінаццатаго* и т. д. (Пеляса);

7) упрощение системы склонения количественных числительных, симметричное литовскому: список склоняемых форм ограничивается единицами первого десятка *адзін—дзевяць*, остальные числительные, начиная с indeclinabile *дзесяць*, не изменяются по падежам, ср.: *з дзесяць рублямі*, *у дваццаць хатах* и т. п. (Пеляса);

8) наличие перифрастических перфектных форм 'быть (иметь) + действ. причастие' в сочетании с граммемами настоящего, прошедшего, будущего времени и сослагательного наклонения, ср. белор. *жыта даспеўшы* (в наст. вр. связка, как правило, опускается, но может и присутствовать — ср.: *веля тут згінуўшы ест ячменю*; *палова крыві памёршы ест* и т. п.); *жыта было даспеўшы*, *жыта будзе даспеўшы*, *жыта было б даспеўшы* и т. п.; *я маю* (*меў*, *буду мець*, *меў бы*) *набраўшы ягадаў* и т. п.; польск. on (jest) pšyjexafšy, on byl (ben'dz'e, bylby) pšyjexafšy и т. п.;

9) калькирование морфологического способа выражения косвенно-возвратного значения глаголов — ср. возвратный аффикс как показатель медиальности в составе не только непереходных, но и переходных глаголов: *купіцца* ('купить себе') *карову*, *зварыцца вячэру*, *закалоцца паршука* и т. п.; польск. s'p'ekc's'a xl'eba, pšyn'oslas'a vody и т. п.;

10) нейтрализация числовых различий в 3 л. глаголов наст. и буд. вр. — использование формы 3 л. ед. ч. как единой, ср.: *людзі гавора*, *скажа*, *жне*, *косіць* (Гервяты); *яны ідзець*, *яны робіць*, *што хочыць* (Игнатишки); *гвязды блішчыць — аж гаворыць*, *транціць* (Пеляса) и т. п.; польск. l'udzi muvi, pačšy, s'pi, puidz'e и т. п. (там же).

Изложенные наблюдения при их заведомой неполноте могут быть все же иллюстрацией того, каким образом славянский в условиях длительного контакта с балтийским языком преодолевает разлад структур, приводя к единству несхожие способы выражения. На многочисленных примерах можно было бы показать, как встречным путем к той же цели приходит и балтийский. Отлаженный механизм двуязычия стремится к полному изоморфизму между сосуществующими языковыми системами, обеспечивающему их равновесие и стабильность. Вместе с тем тот же механизм кладет строгий предел допустимой интерференции, поддерживая постоянный уровень несмешанности, автономности

контактирующих языков. Так устанавливается динамическое соотношение дополнительности между силами взаимного структурного притяжения и противостояния, равнодействующая которых всегда оказывается направленной в сторону расширяющейся области пересечения языковых систем. В этом смысле частная проблематика двуязычия вводится в более широкий контекст, задаваемый понятием языкового союза, в рамках которого схождения и различия между языками рассматриваются как дополнительные и одинаково необходимые аспекты одного и того же явления.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] На основе предварительного анализа БСлЯС был постулирован для ареала, включающего юго-восток Латвии, восток и юго-восток Литвы, юго-западные районы Псковской обл., западные районы Витебской обл., северо-западные районы Минской обл., Гродненскую обл., северо-восточную окраину Польши (Сувалкия, земли по Нареву и Бебже). См.: *Топоров В. Н.* К характеристике балто-славянских языковых отношений. — В кн.: Актуальные проблемы славяноведения. М., 1961, с. 211—218; *Судник Т. М., Толстая С. М., Топоров В. Н.* К характеристике южной части балтийско-славянского языкового союза. — Советское славяноведение, 1967, № 2, с. 38—45. В диахронии район усиленного взаимодействия балтийских и славянских элементов уходил дальше на запад (прусские и польско-поморские говоры) и на юг (ятвяжские и восточнославянские говоры).

[2] См.: *Топоров В. Н.* Категории времени и пространства и балтийское языкознание. — В кн.: Балто-славянские исследования. 1980. М., 1981, с. 11—15.

[3] *Цивьян Т. В.* Синтаксическая структура балканского языкового союза. М., 1979.

[4] См.: *Топоров В. Н.* Выступление на дискуссии «Соотношение синхронного анализа и исторического изучения языков». — В кн.: О соотношении синхронного анализа и исторического изучения языков. М., 1960, с. 84; *Он же.* Санскрит и его уроки. — В кн.: Культура древней Индии. М., 1982.

[5] Этот уже приводившийся ранее пример — своего рода motto, определяющее лингвистическое сознание двуязычных, когда можно говорить даже не об одном языке с несколькими терминами, но о языке с алломорфами одного термина.

[6] Литературные варианты (курсивом выделены морфо-синтаксические и лексические отличия от диалектного текста):

Толькі *дзве калоды* нчол маю. Каб не аблажыла ўвосень, не выжылі б, памерзлі б. Яблыня высахла — *пабаялася* марозу. Адну мела сліву, і тая вымерзла. Снегу найшло — *цяжка* было дайсці да вёскі *з-за снегу*.	Dvejas tik turiu bites. *Jei* būčiau *neapdengusi* rudenį, būtų *neišbuvusios*, būtų *iššalusios*. Obelis iždžiūvo — *pabūgo* šalčio. Vieną turėjau slyvą, ir ta [pati] iššalo. Sniego prisnigo, — sunku buvo *per tokią daugybę sniego į kaimą nueiti*.

[7] *Невская Л. Г., Судник Т. М.* Диалектные контакты в зоне современного балтийско-славянского этноязыкового пограничья. — В кн.: Славянское языкознание. VIII Международный съезд славистов. Доклады советской делегации. М., 1978, с. 285—295.

[8] *Чекман В. Н.* К проблеме литовско-белорусской фонетической интерференции в Пелясе. — В кн.: Балто-славянские этноязыковые контакты. М., 1980, с. 202—226.

[9] См. посвященную этой конструкции работу: *Ларин Б. А.* Об одной славяно-балто-финской изоглоссе. — Lietuvių kalbotyros klausimai, VI. Vilnius, 1963, p. 87—107.

[10] См. подробнее: *Судник Т. М.* Из синтаксических наблюдений над говорами литовско-славянского пограничья. — Acta Baltico-Slavica, 1982, XIV.
[11] Ср. также: *Гринавецкене Э. Й., Мацкевич Ю. Ф.* Некоторые необычные микросистемы в диалектной структуре белорусского говора окрестностей Опса. — Baltistica, XV (1), p. 52—65.
[12] См. также: там же, с. 64.
[13] См. также: там же, с. 63.
[14] См. также: *Паршута Ю. М.* Употребление причастия на -szy, -wszy в роли сказуемого в польском говоре Вильянского р-на Латвийской ССР. — Kalbotyra, 8. Vilnius, 1964, p. 80—86.
[15] См. также: *Гринавецкене Э. Й., Мацкевич Ю. Ф.* Указ. соч., с. 57—58.
[16] См. также: там же, с. 58.

Н. И. и С. М. Толстые

ПРИНЦИПЫ, ЗАДАЧИ И ВОЗМОЖНОСТИ СОСТАВЛЕНИЯ ЭТНОЛИНГВИСТИЧЕСКОГО СЛОВАРЯ СЛАВЯНСКИХ ДРЕВНОСТЕЙ

Из истории вопроса. Проект этнолингвистического словаря славянских народных древностей был выдвинут еще на I Международном съезде славистов в Праге в 1929 г. Проф. Эдмунд Шнеевайс предложил рабочий план «Настольного словаря славянских народных верований и обычаев», предусмотрев участие в его составлении таких ученых, как К. Хотек (чехи и словаки), В. Чайканович (сербы, хорваты, словенцы), А. Фишер (поляки), Д. К. Зеленин (русские, украинцы и белорусы), М. Арнаудов (болгары), Э. Шнеевайс (лужицкие сербы)[1]. Несколько лет спустя на II съезде славистов в Варшаве и Кракове (1934 г.), а затем на IV съезде славянских географов и этнографов в Софии (1936 г.) замысел такого словаря горячо поддержал Х. Вакарелский, предложив круг тем, связанных с семейными обычаями и повериями, хозяйственными обрядами, народным календарем, растительным и животным миром [2]. Однако события второй мировой войны отложили осуществление этого замысла на неопределенный срок.

Идея создания этнолингвистического словаря для отдельного славянского этноса и разработка его принципов принадлежит русскому диалектологу С. Еремину, который еще в 1926 г. выступил с проектом «Словаря русской этнографической диалектологии» и с соответствующей проекту «Программой» [3]. По мнению С. Еремина, «самой удобной формой для изложения изысканий этнологической лингвистики как в смысле изучения языка, процесс развития которого до сих пор заключает в себе много не поддающегося точному анализу, так и в смысле прикладного применения лингвистических данных и добытых посредством их выводов к целям исторической географии, этнографии, народной

психологии и к вопросам русской культуры, является форма словаря, и не только в начальном периоде нового лингвистического направления, предусматривающем в первую очередь меры и способ накопления и собирания материала для лингвистической географии, но и по существу требования научной мысли, находящей лучшее осуществление своих задач, в развитии лексикографической работы» (проект, с. 26). Помимо подробно разработанных разделов материальной культуры, социальной организации и юридического уклада, в проекте большое место отводилось духовной культуре: народным воззрениям на природу и человека (небо, земля, душа, судьба, счастье, счет, число, страх, радость), семейным обрядам, играм, развлечениям, церковному обиходу, праздникам, постам, народной демонологии, приветствиям и прочим словесным клише и т. д. К сожалению, этот проект остался неосуществленным, хотя он был закономерным продолжением характерной для русской диалектной лексикографии тенденции излагать словарный материал «в его бытовом и этнографическом применении» (Н. В. Подвысоцкий, Г. Куликовский и др.). Такой подход не был чужд и первым крупным славянским лексикографам — Вуку Ст. Караджичу, В. И. Далю и др.

В неславянских странах крупнейшим лексиконом, посвященным народной духовной культуре, является десятитомный «Настольный словарь немецких народных поверий» [4], содержащий богатый, но не всегда однородно представленный этнографический материал. Лингвистические факты, относящиеся к обрядам и народным представлениям, нашли в нем, однако, далеко не полное отражение, в отличие от известного, ныне уже во многом устаревшего «Словаря реалий индоевропейских древностей» О. Шрадера [5]. Во многом дополняют друг друга «Словарь реалий германских древностей» Й. Хоопса и «Словарь немецкого народоведения» под ред. О. Эриха и Р. Байтла [6], излагающие с разных научных позиций сведения исторические и современные. Германоязычная фольклорно-этнографическая лексикография достаточно богата и разнообразна (мифологические, сказочные и другие словари); менее специальный характер носят романоязычные словари того же типа, однако их рассмотрение не входит сейчас в нашу задачу тем более, что имеется подробный обзор интересующих нас словарей, выполненный С. Сташчак [7].

В славянской лексикографии последнего времени появились серьезные труды, посвященные народной культуре и славянским древностям. В 1980 г. было завершено монументальное издание «Словаря славянских древностей» [8], носящего ярко выраженную археологическую направленность, но включающего и некоторые лингвистические и этнографические факты. Новостью для славянской фольклористики было появление «Словаря польского фольклора» под ред. Ю. Кшижановского [9]. Эти словари, хотя они имеют энциклопедический характер и снабжены хорошим научным аппаратом, не ставили задачей полную систематизацию археологического и фольклорного материала. Новым типом фольк-

лорного словаря будет подготавливаемый в Люблине «Словарь народных языковых стереотипов», как можно судить по его проспекту [10]. Задуманный сначала как компендиум языка польского песенного фольклора, этот словарь в процессе работы расширил свои рамки за счет привлечения обрядового, мифологического и иного этнографического материала, без которого оказалось невозможным дать адекватное и полное описание семантики и символики фольклорного языка.

Особую категорию составляют так называемые мифологические словари. Популярный «Словарь мифологии европейских народов» Г. Готшалка [11] содержит преимущественно теонимические и демонологические статьи. Недавно вышедшая двухтомная энциклопедия «Мифы народов мира» [12] дает широкий обзор мифологических систем разных народов, в том числе и славян. Собственно славянский материал нашел отражение в «Сербском мифологическом словаре» [13] трех авторов, посвященном не только мифологии, но и другим сторонам сербской традиционной культуры (обрядам, обычаям, представлениям), что придает ему характер этнографического словаря. К сожалению, он лишен необходимой документации и точных географических сведений о приводимых фактах.

Проектируемый словарь славянских народных древностей связан с определенным этапом в развитии этнолингвистического направления в изучении славянских языковых и культурных древностей и подчинен задаче реконструкции древнеславянской духовной культуры и в конечном счете — этногенеза и этнокультурной истории славян [14]. Разумеется, словарь не ставит своей целью саму реконструкцию, которая может быть осуществлена лишь комплексными усилиями лингвистов, фольклористов, этнографов, археологов, историков и т. д., но должен, по замыслу составителей, представить определенным образом препарированный и систематизированный материал для такой реконструкции. Постановка такой задачи на данном этапе стала возможной благодаря своего рода «экспансии» лингвистических методов и понятий в область традиционно этнографических и фольклорных фактов [15], приведшей к значительному сдвигу в осмыслении этих фактов, их семиотической и сравнительно-исторической интерпретации. Идея реконструкции древней славянской духовной культуры могла возникнуть как реальная научная проблема лишь на базе развитой системы понятий и приемов языковой реконструкции. Реконструированные даже в самых общих чертах древнейшие формы славянской духовной культуры могли бы сыграть такую же важную роль в исследовании славянских древностей и славянской культуры в целом, какую сыграла в свое время в истории славянского языкознания реконструкция праславянского языка. Как и в лингвистике, здесь важно определить соотношение методов внутренней реконструкции и внешнего сравнения. В ряде последних опытов реконструкции славянских культурных древностей как бы пропускается этап

внутренней реконструкции славянского материала, а факты «современного» состояния, т. е. состояния XIX—начала XX в. непосредственно сопоставляются с другими индоевропейскими и иными традициями. В отдельных случаях архаичность славянских традиционных культурных форм оправдывает такое «перескакивание», но в целом как методический прием оно вряд ли приемлемо. Сначала должно быть реконструировано праславянское (пралехитское, праюжнославянское и т. д.) состояние, а затем проведено внешнее сравнение — на уровне реконструированных форм. Однако исследователи славянской культуры, в отличие от исследователей славянских языков, не располагают еще самой системой формальных соответствий между отдельными славянскими этнокультурными традициями. Поэтому одной из наиболее актуальных задач следует считать задачу систематизации и обработки имеющегося славянского материала для целей внутренней реконструкции.

Профиль словаря и общие принципы его составления. Парадигматический подход. Совершенно очевидно, что задачу систематизации и интерпретации сведений из области древнейших культурных представлений и обычаев славян можно было бы решать в рамках разных научных жанров. Чем вызвано обращение именно к форме словаря? Выбор этой формы не случаен. Словарь в данном случае понимается не только как наиболее экономная, компактная и удобная форма систематического представления огромного по объему фактического материала, но и как особый жанр исследования, опирающийся на определенную концепцию.

Сама возможность создания словаря такого типа появилась как следствие осознания «морфологии» и структуры обрядовых и других форм народной культуры, разложимости сложных культурных образований на простые элементы, повторяемости отдельных элементов или целых их блоков в разных фрагментах культурной традиции. Когда В. Я. Пропп показал на примере волшебной сказки, что набор возможных функций, из которых составлено бесконечное многообразие сказочных сюжетов, конечен и даже невелик [16], когда он позднее продемонстрировал свою идею морфологии на материале русских календарных праздников, выделив некоторые ритуальные действия, повторяющиеся в составе разных обрядов [17], метод разложения сложного целого на простые составляющие, столь элементарный во всяком научном анализе, был признан приложимым к такой сложно организованной области, как духовная культура — обычаи, обряды, верования, мифология.

Известно, что «морфология» Проппа родилась из его практической работы по составлению алфавитного указателя к сборникам сказок [18]. Однако между указателем, дающим перечень всех функционально значимых элементов сказочного действия, и набором выделенных Проппом функций большая разница. Набор функций — это уже не просто инвентарь значимых элементов,

а определенное обобщение одной категории этих элементов — функции действующих лиц, которая оказалась наиболее релевантной для сюжетной систематизации. В области обрядов и других форм духовной культуры, несравненно более сложной, чем сказочная «действительность», пока еще не выделены аналогичные ведущие элементы и функции. И это вряд ли возможно без систематических перечней или указателей всех значимых элементов для разных разделов, жанров и форм культурной традиции. Создание таких перечней могло бы стать основой для описания парадигматики культуры, т. е. инвентаря основных единиц, их классификации и системной характеристики.

Все теоретические и методические положения В. Я. Проппа, разработанные им применительно к сказке, сохраняют свое значение и для других сюжетных жанров фольклора (песен, преданий, быличек, драмы), а также для несловесных форм народной культуры, таких как обряд. Будучи записан в виде связного рассказа (а именно в такой форме обычно имеет дело с обрядом исследователь), обряд мало чем в принципе отличается от сказки. Это тоже текст со своим сюжетом, своими персонажами и их функциями, своим предметным оснащением и т. д.

Другая идея, облегчающая возможность парадигматического подхода, состоит в том, что культура, как показали новые исследования архаических культурных традиций, в том числе и славянских, представляет собой иерархически организованную систему разных кодов, т. е. вторичных знаковых систем, использующих разные формальные и материальные средства для кодирования одного и того же содержания, сводимого в целом к мировоззрению данного социума (для древних славян — к язычеству). Эти разные коды (напр., космогонический, растительный, энтомологический, ономастический и т. д.) оказалось возможным соотносить друг с другом по способу перевода с языка на язык через общий для них содержательный план, служащий как бы языком-посредником.

Задачи словаря. При таком понимании устройства культуры задача систематизации материала сводится к тому, чтобы каждый конкретный факт приписать сначала к его собственному коду и локализовать в нем, а затем соотнести его с содержательно тождественными (синонимичными) ему элементами других кодов. Главная трудность, однако, заключается в том, что это общее для разных кодов содержание, на базе которого должны интерпретироваться и идентифицироваться элементы разнокодовых «сообщений», не дано эксплицитно и само должно быть реконструировано из множества культурных «текстов». Можно, однако, предположить, что это содержание вряд ли окажется сводимым к столь жесткой сюжетной схеме, как так называемый основной миф о борьбе Громовержца с его противником.

Таким образом, первой практической задачей является выделение инвентаря основных значимых элементов, что, ра-

зумеется, никак нельзя считать задачей механической. Опыт изучения отдельных славянских обрядов и составления этнолингвистических словарей этих обрядов [19] говорит о том, что выделение значимых элементов возможно только на фоне полного представления о структуре обряда в каждой локальной традиции, о парадигматических отношениях и иерархии его компонентов. Далее, должна быть установлена вся область функционирования, все сферы вхождения каждого элемента, т. е. все случаи его значимого участия в том или ином обряде, тексте, веровании и т. п. И наконец, должна быть дана интерпретация каждого элемента, т. е. определена его общая функция, семантика и символика в терминах плана содержания.

Тип словаря. Как и лингвистические словари, словарь культурных древностей может преследовать разные цели. Это может быть словарь «этимологического» типа, указывающий генетические истоки тех или иных форм и элементов, их связь с родственными культурными традициями. Это может быть словарь «толкового» типа, раскрывающий семиотические функции и семантику элементов культуры, т. е. ставящий им в соответствие определенные элементы плана содержания. Это может быть, наконец, словарь-указатель, определяющий лишь сферу функционирования и основные культурные контексты выделенных единиц. Как кажется, задача составления словаря этимологического типа для славянского материала пока еще не может быть поставлена в полном объеме из-за недостатка систематических исследований отдельных фрагментов славянской культуры и сравнительных этнокультурных исследований славянских древностей, несмотря на имеющиеся яркие образцы трудов такого плана, т. е. как бы отдельные фундаментальные разработки для будущего словаря такого типа, включающие славянские факты в широкий индоевропейский или даже ностратический этнокультурный контекст [20]. Словари толково-функциональные, вероятно, целесообразно создавать сначала на материале отдельных семантически цельных фрагментов культурной традиции, в рамках которых может быть обеспечена необходимая степень полноты материала.

Словарь, о котором здесь идет речь, предполагается сделать словарем-указателем с элементами толково-функционального словаря. Этимологические задачи, требующие выхода за пределы славянского материала, здесь, таким образом, решаться не будут. Однако все, что можно сделать в направлении реконструкции праславянских форм, семантики и символики толкуемых культурных фактов на почве собственно славянской, т. е. методом внутренней реконструкции, кажется целесообразным отразить в словаре.

Принципиально важным для любого словаря является вопрос о его направлении: от значения (смысла) к форме или от формы к значению. Для этнокультурного словаря этот вопрос оказывается более сложным, чем для языковых словарей, ибо само

отношение между планом содержания и планом выражения в сфере явлений культуры оказывается несравненно более сложным, чем в языке. Если говорить о плане содержания, то в нем можно выделить несколько уровней: непосредственное содержание, определяемое функцией данного элемента в том или ином культурном контексте (напр., свадебное деревце как объект определенных действий в свадебном обряде), его символическое содержание, выявляемое из всего ритуального и фольклорного контекста (символ девичества) и его глубинно-мифологическое содержание, соотносительное с идеей мирового дерева. В плане выражения тоже можно различить формальные признаки самого объекта (напр., свадебное деревце может быть срубленным деревцем елки, сосны, березы и т. д., веткой дерева, сухим прутом, изделием из теста; стоящим на лавке или воткнутым в каравай и т. п.), его языковое или иное символическое обозначение или изображение (свадебное деревце может называться *воля*, *красота*, *елка*, *вильце* и т. д.). Какой из этих планов следует выбрать в качестве исходного, т. е. объекта словаря? Описывать ли формы, функции или смыслы? Названия или их референты, т. е. факты реальной действительности, участвующие или изображающиеся в разного рода культурных текстах? Эти вопросы вряд ли следует понимать альтернативно. Вернее было бы считать, что нужно и то, и другое, и третье. Нужны и словари смыслов, и словари функций, и словари форм, и словари терминологии и т. д. Вопрос в том, с чего целесообразнее начать. Поскольку предметный (в широком смысле) мир, т. е. собственно предметы, явления внешнего мира, лица, действия и т. д. либо доступны прямому наблюдению и изучению, либо были доступны наблюдателям недавнего прошлого, в то время как смысл, функции и прочие элементы содержания относятся к интерпретации исследователя или даже являются продуктом реконструкции, разумно исходить во всяком случае из плана выражения. Тогда остается выбрать между предметом (вещью) и его названием (термином). Все явления культуры и их компоненты так или иначе называются, имеют обозначение в языке. В принципе весь корпус славянских культурных фактов может быть описан и в словаре терминологического типа, т. е. в словаре терминологии славянской традиционной культуры. Такой словарь, однако, не даст представления о структуре духовной культуры, а даст лишь картину славянской культурной лексики (что, конечно, тоже важно). Например, можно было бы составить словарь славянской демонологической лексики (по некоторым славянским зонам материал уже имеется: по севернорусской, белорусской, чешской и словацкой, кашубской). Излишне здесь говорить о том, как много ценного мог бы дать такой словарь для выяснения этимологии, генезиса и истории демонологической лексики и соответствующих народных представлений. Однако в данном случае еще важнее, жертвуя, может быть, полнотой языкового материала, попытаться выделить все или основные типы демонологических персонажей, получающих

специальные наименования в славянских языках и диалектах, и охарактеризовать их в формальном, функциональном и семантическом отношении.

Мы предполагаем, таким образом, исходить не из языка, не из термина, а из реалий, т. е. избрать направление от предмета, формы к смыслу, функции. Реалии будут выступать как объект толкования, их названия — как элемент формальной характеристики; их функции и семантика — как элемент содержательной дефиниции. Это не исключает, однако, возможности вынесения термина в заглавие словарной статьи, если это термин особой культурной значимости, концентрирующий в себе семантику целого обряда или определенного круга представлений, являющийся ключом к их мифологической интерпретации (напр., *русалка*, *коляда*, *Купала*, *бадняк*, *Марена* и т. п.). Наконец, неизбежны отдельные отступления и от самого принципа «от предмета к значению»: так, в словаре будут толковаться некоторые наиболее общие функциональные категории, с помощью которых интерпретируются конкретные ритуальные действия (напр., оберег, порча, жертва, запреты, гадания и т. п.). В таких случаях задача будет состоять в обратном — очертить ту область реалий, с которой соотносится данная функциональная или семантическая категория.

Ареальная характеристика фактов. Поскольку главная задача словаря — представить систематический материал для реконструкции древнейшей системы славянской народной культуры, большое значение приобретает ареальная характеристика толкуемых в словаре фактов, ибо надежная реконструкция может быть произведена только с учетом всех территориальных разновидностей каждого элемента или фрагмента культуры в пределах славянского мира и их внеславянских связей. Из истории лингвистики хорошо известно, сколь велика роль географических показателей (т. е. показателей распространения, границ, территориальных соотношений) в решении вопросов о происхождении и истории любого языкового явления, в вычленении архаизмов и инноваций, исконного и заимствованного и т. д. К сожалению, в области изучения славянской духовной культуры ареальный подход еще не получил должного применения. Во всяком случае, мы не имеем здесь столь же систематических представлений о культурном ландшафте, культурных ареалах, границах отдельных явлений и их разновидностей, как в языке. Конечно, словарь — это не тот жанр, который может компенсировать отсутствие ареальных исследований и заменить этнолингвистические и этнокультурные атласы, но выделение основных территориальных разновидностей и указание границ описываемых в словаре фактов мы считаем и принципиально необходимым, и возможным. В словаре, кроме того, могут быть выделены основные признаки, по которым противопоставлены территориальные разновидности отдельных явлений, разные формы, соотносимые с одним и тем же содержанием, и обозначены их ареалы [21].

Словник. При том понимании материала и задач этнолингвистического словаря древностей, которое было сформулировано выше, тематические границы его словника оказываются очень широкими. Если объектом описания являются все формы, разновидности и «жанры» традиционной культуры: обряды и обычаи, верования и фольклор (план выражения), восходящие к языческому мировоззрению славян (план содержания), то словник словаря должен отразить практически необозримое множество элементов реального мира, получающих то или иное значение в сфере культуры, хотя далеко не все факты реальной действительности и человеческого существования получают «культурную отмеченность», т. е. приобретают знаковую функцию в культурных текстах. Критерий значимости, таким образом, является главным в решении вопроса о включении того или иного факта в словник словаря. Здесь, однако, возникают две сложности. Во-первых, функция того или иного элемента не всегда может быть легко установлена, а во-вторых, этот критерий, будучи необходимым, не является достаточным, так как словарь не может включить все культурно значимые факты. В специальных работах (напр., по свадебному обряду) должны быть учтены все, даже малозначительные или неясные, периферийные факты, ибо их роль и смысл могут проясниться в дальнейших сопоставительных исследованиях. Но в словаре общего типа ими приходится пренебрегать, отдавая предпочтение тем явлениям, культурная значимость которых несомненна и подтверждена многократно. Таким образом, вторым критерием отбора (кроме значимости) может быть повторяемость того или иного факта в разных разделах духовной культуры в пределах одной локальной традиции либо в контекстах разных традиций. Так, например, тот факт, что борона используется у восточных славян для того, чтобы выследить ведьму (смотрят через борону), чтобы увидеть игру солнца на пасху, на Купалу или на Петра, что на бороне катают молодых или тещу, что в виде бороны пекут весенние хлебцы и т. д., безусловно, свидетельствует о культурной, знаковой функции этого предмета, его мифологической отмеченности. С другой стороны, если в Полесье существует поверие, что палкой, которой вызволяли лягушку из пасти змеи, можно отогнать тучу, и если точно такое же поверие отмечено у южных славян, то такая параллель, повторяемость на разных, удаленных друг от друга территориях заставляет признать такой факт не случайным и нуждающимся в интерпретации.

Все многообразие заслуживающих внимания фактов может быть упорядочено с помощью системы общих понятийных категорий, таких как «предмет», «действие», «качество» и др. Именно эти три категории выделил В. Я. Пропп как «некоторый минимум, без которого не может обойтись указатель» (до этого указатели к сказкам были в узком смысле слова предметными, т. е. почти не включали действий и качеств [22]. Конечно, каждый конкретный указатель к фольклорным текстам или к описаниям обрядов может

систематизировать материал по каким-то своим рубрикам и параметрам, но анализ имеющихся указателей и опыт составления таких указателей к новым материалам показывает, что практически эта рубрикация оказывается единой [23].

Для систематизации словника проектируемого словаря предполагается ввести следующие рубрики:

I. Субстантивы. 1. Орудия труда, 2. Посуда и утварь, 3. Одежда, 4. Пища, 5. Предметы — атрибуты человека и животных (волосы, шерсть, ногти, рога, пот, слюна, след и т. п.), 6. Культовые предметы (напр., надгробия), 7. Ритуальные предметы (напр., дожинальная борода или свадебное деревце), 8. Вещества (металлы, пыль, сало и т. п.), 9. Стихии и природные явления (огонь, вода, земля, ветер, гром, туча; радуга, град и т. д.).

II. Растения.

III. Животные. Птицы. Рыбы. Насекомые.

IV. Лица. Персонажи. Имена. 1. Лица (реальные): а) люди по их семейному, социальному и т. п. статусу (напр., близнецы, сирота, мать, мачеха, хозяин, гость, инородец, пастух и т. п.), б) исполнители обрядов (колядники, додолы, свадебные чины, полазник и т. п.); 2. Персонажи (Купала, Баба Яга, Марена, Макарка и т. д.), в том числе и исторические личности; 3. Святые; 4. Демоны: а) колдуны, б) ходячие покойники, в) собственно демоны (напр., русалки, полудницы, вилы и т. п.).

V. Время. Календарь: а) годовые периоды и календарные даты, б) неделя (дни недели, женские и мужские дни и т. д.), в) сутки (день и ночь, полночь и полдень, восход и закат, рябиновая ночь и т. п.).

VI. Локативы. 1. Пространство (правое и левое, верх и низ, восток и запад, граница и т. д.); 2. Географические объекты (лес, болото, озеро, река, источник, пещера и т. д.). 3. Ритуально значимые места (кладбище, церковь, гумно, баня, колодец, хлев, дорога, перекресток и т. д.); 4. Помещения и их части (дом, печь, чердак, окно, дверь, порог, красный угол и т. д.); 5. Мифические места (вырей, тот свет, край света, ад и рай, тридевятое царство, Сионская гора, Татарские горы и т. д.).

VII. Атрибутивы (качества, признаки). 1. Свойства и способности человека и животных (черты физического облика — цвет волос, глаз и т. д.; сверхъестественные способности и свойства — дурной глаз, двоедушие, оборотничество, ясновидение и т. п.); 2. Число. Порядок. (1, 2, 3, 9, 40 и т. д., первый, последний, четный, нечетный и т. д.); 3. Цвет; 4. Прочие признаки: левый/правый, верх/низ, мужской/женский, старый/молодой, свой/чужой, прямой/обратный, сырой/вареный и т. д.

VIII. Действия. 1. Обряды, ритуалы, игры, обычаи (свадьба, похороны, жертва, танец, кумовство и т. д.); 2. Обрядовые действия (напр., обход, опахивание, битье, осыпание, пролезание и т. д.); 3. Формы речевого поведения (молчание, крик, брань, проклятия, пение, плач, голошение, смех, заумь и т. п.); 4. Обереги; 5. Запреты; 6. Порча, сглаз; 7. События (встреча,

смерть, брак, сон, обмирание, чудо, болезнь и т. п.); 8. Имя, именование.

Каждая выделенная здесь категория и подкатегория соответствует одному из фрагментов народной модели мира и характеризуется своей особой структурной, семантической и «стилистической» организацией в общей системе народного мировосприятия. Так, можно говорить об особой «мифологии» и ритуальном осмыслении пространства, времени, предметного мира, о мифологии обрядов, мифологии растений, животных и т. д. Словарная обработка каждого отдельного факта должна учитывать как особенности соответствующей узкой области народных представлений, так и структуру мифологии в целом. Поскольку словарь будет построен по алфавитному принципу, приведенная систематизация будет иметь лишь рабочее значение, но, во-первых, она необходима для адекватного отражения в словнике структуры и пропорций самого объекта; во-вторых, без нее невозможна последовательная словарная обработка материала, так как каждая категория фактов требует особых приемов и способов лексикографического оформления.

Типы словарных статей. Структура словарных статей. В соответствии с намеченной иерархической структурой словника проектируемый словарь должен включать статьи разных типов — общие и частные, причем эта иерархия может иметь не только две, но и большее число ступеней и подразумевает как отношение типа «род—вид», так и отношение типа «целое—часть». Так, например, предусматривается общая статья «О д е ж д а» (род) и согласованные с ней, как бы конкретизирующие ее отдельные статьи «Платок», «Подол», «Пояс», «Рубаха», «Штаны» и т. д. (виды). Задача общей статьи — дать сжатую характеристику народных представлений об одежде, очертить ее ритуальные функции и применение. Примерный план этой статьи мог бы быть следующим: I. Значимые виды и элементы одежды. Повседневная и праздничная одежда, одежда больных и т. д. II. Ритуальная одежда: крестинная рубаха, рубаха невесты, жатвенная рубаха, смертная одежда; костюмы ряженых — шкуры, маски, ветки, ботва, лохмотья, рогожи, бубенцы, обувь и т. п.; обыденные рубахи и полотенца. III. Ритуальные головные уборы девушки, невесты, женщины; венец, венок и т. п. IV. Магические и обрядовые действия с одеждой: выворачивание, раздевание (нагота), переодевание (ряжение), применение в лечебной и любовной магии (закапывание, сжигание, вывешивание на дереве, «относ», протаскивание через прокоп в земле, через дупло и т. п.), обтирание одеждой (людей, скота), «пересушивание» одежды весной, вывешивание одежды в качестве оберега (напр., в хлеву, на воротах), размахивание одеждой (напр., для отгона тучи), волочение по пашне, по траве, гадание (напр., с поясами), ряжение в одежду предметов, животных, растений, оплакивание одежды и т. д. V. Обряды, обычаи и запреты, связанные с изготовлением одежды — тканьем, шитьем, вышивкой и т. д. VI. Вторичная ритуальная

функция предметов одежды (напр., печение в виде штанов). VII. Одежда в фольклорных текстах — загадках, толкованиях снов и др.

Общая статья «О б е р е г» должна дать обзор и систематизацию, во-первых, предметов, употребляемых в качестве оберега (растения, металлы, острые и режущие предметы, соль, уголь, красный лоскут, нитка и т. д.); во-вторых, действий охранительного назначения (обход, переворачивание, обсыпание, окуривание и т. д.); в-третьих, основных ситуаций, в которых применяются обереги и охранительные действия (стихийные бедствия — мор, засуха и т. д., особые «нечистые» дни и «нечистые» места, защита от нечистой силы, сглаза и т. п.); наконец, источников или причин опасности (нечистая сила, колдун, зверь, ходячий покойник, люди с дурным глазом, нечистые предметы, напр., залом и т. п.).

Статья «С в а д е б н ы й о б р я д» должна дать представление об общей структуре обряда, его главных составных частях и их последовательности (сватовство, прощание с девичеством, брак, свадебное торжество и т. д.), общей семантике обряда (переход из одного состояния в другое), символике предметов, действий и лиц, его временной и пространственной упорядоченности, системе действующих лиц, об особенностях его предметного оснащения (свадебное деревце, каравай, вывернутая шуба и т. п.), о функции и месте вербального компонента обряда, об основных чертах его терминологии и «стилистике», а также об основных локальных разновидностях обряда в пределах славянского мира. Такая общая схема облегчит читателю восприятие соответствующих частных статей, трактующих функции и смысл конкретных элементов этого обряда (напр., «Каравай», «Свадебное деревце», «Пародийная свадьба», «Свадьба предметов» и т. п.). В данном случае общая статья трактует целое, а частные статьи — части целого. Таково же соотношение между статьями «Дом» (целое) и «Порог», «Печь», «Окно» и т. д. (части целого).

Структура частных статей различна для разных категорий словника. Естественно, что «действие» описывается иначе, чем «предмет» или «животное», однако структура и содержание словарной статьи каждого типа должны быть не только адекватны описываемому объекту, но и определенным образом согласованы друг с другом. Об одном типе согласования — между частными (видовыми) и общими (родовыми) статьями — только что шла речь. Общая статья должна давать некоторую рамку и схему, позволяющую поместить в ней каждый частный факт, а частные статьи должны опираться и в содержательном и в формальном отношении на общую статью. Иного характера согласованность между частными статьями разных категорий, относящихся к разным разделам словника. Простейшим образом это можно показать на примере «предмета», «действия» и «лица». Характеристика предмета предполагает перечень основных действий, которые производятся с ним в тех или иных обрядовых ситуациях. То же касается и

характеристики лиц, для которой главными будут их функции, прежде всего связанные с совершаемыми ими действиями. И, наконец, описание действия должно включать как сведения о предметах — орудиях или объектах действия, так и сведения о действующих лицах. Таким образом, действие, помимо специально посвященной ему статьи, будет фигурировать в статьях о соотносимых с ним предметах и лицах (а также, возможно, в статьях категории «Время» или «Локативы»), а предмет и лицо будут упомянуты в статьях о связанных с ними действиях. Такие повторения совершенно естественны и никак не должны считаться избыточными. Наоборот, такая перекрестность служит известной гарантией полноты и систематичности представления материала и сама по себе проясняет и делает более наглядной морфологию описываемой системы культуры.

Словарные статьи, посвященные предметам, предполагается строить по следующей схеме: 1. Описание формы предмета с рисунком (для ритуальных предметов, т. е. специально изготавливаемых, напр., свадебный каравай, купальское деревце, герман, чучело ведьмы, рождественская маска козы, пасхальная «пальма», дожиночная борода и т. п., а также культовых предметов и объектов почитания, напр., источников, надгробий, камней и т. п.); 2. Названия предмета (основные типы названий, бытующие у славян, напр., для дожиночной бороды — *борода*, *Спасова борода*, *божја брада*, *дедова борода* и т. д.) и связанная с ним фразеология; 3. Семантическая и символическая характеристика; 4. Сфера функционирования, т. е. перечень основных обрядовых ситуаций, в которых употребляется данный предмет, и самих совершаемых с ним действий; 5. Вторичное ритуальное функционирование предмета (напр., изображение его на писанках, вышивках или ритуальных хлебах); 6. Фольклорные данные (загадки, снотолкования, приметы, гадания, легенды о происхождении и т. д.).

Статьи, посвященные лицам, предусматривают помимо языковой характеристики перечень обрядов и действий, в которых данное лицо участвует как субъект или объект, обзор связанных с данным лицом представлений (напр., представление об особой отмеченности первого ребенка или близнецах, инородцах, сиротах и т. д.), а также характеристику фольклорных контекстов и мотивов, касающихся данного лица.

Демонологические персонажи должны быть охарактеризованы по 1) их названиям и фразеологии, 2) внешнему облику, 3) происхождению и превращениям, 4) месту обитания, 5) времени появления, 6) характерным действиям, 7) фольклорным сведениям о них.

Статья, описывающая какое-либо культурно значимое растение, должна содержать обзор 1) названий и фразеологии, 2) поверий и легенд о происхождении данного растения, 3) его магических функций и ритуальных применений в обрядах, народной медицине и т. п., 4) его изображений на вышивках, писан-

ках, деталях построек, 5) его отражения в фольклоре (загадках, песнях, легендах и т. д.).

Схема статьи, посвященной животному, включает большое число пунктов, из которых в каждой отдельной статье, описывающей конкретное животное, учитываются не все. Это объясняется тем, что дикие и домашние животные в народном сознании имеют довольно мало общих параметров восприятия. Полная схема содержит следующие пункты: 1. Названия и фразеология, в том числе данные об использовании названий животных в других терминологических сферах, напр., в ботанической терминологии, в названиях предметов и т. п.; 2. Для мифических животных — описание внешнего облика; 3. Поверия. Легенды о происхождении (напр., легенды о происхождении аиста от человека); 4. Оборотничество и превращения; 5. Демонологические функции (напр., ласка в роли домового); 6. Связанные с ним запреты и обереги; 7. Участие в обрядах и магических действиях (в качестве объекта, жертвы и т. д.); 8. Посвященные животному дни и места (напр., волчьи праздники у болгар); 9. Маски и персонажи в обрядах, играх, танцах; 10. Использование частей тела в обрядах, магии, народной медицине и т. п. (напр., конский череп как символ ведьмы в купальском обряде, волчий зуб как оберег, свиная селезенка в гаданиях о погоде и т. п.); 11. Изображение животного на вышивках, писанках, хлебах, постройках и т. д.; 12. Фольклорные данные (загадки, сказки, толкования снов, приметы, гадания и т. д.).

Чрезвычайно важным разделом словаря являются статьи, посвященные действиям. На примере сказки В. Я. Пропп показал принципиальное значение действий как элементов сказочного сюжета, наиболее тесно связанных с функцией действующих лиц, составляющей структурную основу сюжета. Это в полной мере может быть отнесено и к обрядовой реальности и мифологическим текстам. Сами по себе предметы, персонажи и прочие субстантивы получают мифологическое истолкование только через предикаты, т. е. прежде всего через характерные для них или направленные на них действия, так как именно действия сопровождаются мотивировками, приоткрывающими скрытый, «глубинный» смысл, приписываемый народным сознанием различным фактам действительности. Разумеется, даваемые носителями традиции мотивировки не являются непосредственными составляющими глубинного смысла, но они, взятые вместе, помогают реконструировать этот смысл и служат своего рода контрольными типологическими ориентирами. Словарная статья, посвященная действию, должна включать сведения о 1) названиях действия, 2) времени и обстоятельствах его совершения (когда, в составе каких обрядов, в сочетании с какими другими действиями?), 3) месте исполнения, 4) исполнителях и других участниках действия, 5) используемых предметах (орудиях и объектах), 6) мотивировке и семантике, 7) вербальных компонентах действия.

Источники. Традиционный вопрос об источниках применительно к словарю рассматриваемого типа оказывается достаточно сложным. Не задуманный как компендиум, словарь не предполагает систематической эксцерпции каких бы то ни было общих или специальных работ по славянской духовной культуре. Он должен, по замыслу составителей, отразить определенные результаты по систематизации и осмыслению лингвистического, этнографического, фольклорного и т. д. материала, относящегося к древнейшему пласту славянской народной культуры. Поэтому непосредственными источниками при составлении словника должны послужить для авторов прежде всего их собственные специальные исследования разных сторон и фрагментов этой культуры, направленные на выявление их структуры и семантики и выделение основных значимых единиц и их функций. При работе над словником признано целесообразным сначала составить автономные «словники» для каждого тематического раздела (напр., для рождественской обрядности, свадебного обряда, жатвенного обряда, представлений о животных и птицах и т. д.), а затем слить полученные списки в единый словник словаря, включив в него кроме ключевых для отдельных тем понятий и реалий те из второстепенных единиц, которые встретятся в нескольких тематических словниках.

Если же говорить об источниках, которые будут привлечены для разработки словарных статей, т. е. для характеристики выделенных словником фактов, то это должны быть источники трех основных групп: языковые, фольклорные и этнографические. К первой группе относятся этимологические словари славянских языков, диалектные словари и атласы, фразеологические словари и исследования по отдельным словам и тематическим группам. Из фольклорных источников будут использованы публикации текстов, имеющиеся указатели к ним и исследования по фольклору. Этнографические источники включают материалы и описания обычаев, обрядов, поверий, народного искусства, относящиеся преимущественно к концу XIX—началу XX в., указатели, этнографические атласы и исследования.

Еще одним источником, которому принципиально придается особенно важное значение, являются собственные полевые исследования членов коллектива, работающего над словарем (прежде всего в Полесье [24]). Конечно, новый полевой материал при всем его богатстве не может перекрыть огромную массу накопленных в литературе, архивах и т. д. фактов, добытых другими собирателями. Но работа по сбору полевого материала с помощью специально составленных программ дает возможность изучить с необходимой полнотой и систематичностью, пусть только в рамках одной локальной славянской традиции, отдельные фрагменты традиционной народной культуры, притом в естественных условиях их бытования в контексте всего культурного целого, сохраняющегося до сих пор, несмотря на стертость некоторых деталей, в памяти старшего поколения. Доступ к живому мате-

риалу не только обогащает фактическую базу, но и «оживляет» свидетельства книжных источников, позволяет проверить собственные наблюдения, интерпретации и выводы.

Отношение к языковому материалу. В отношении языковых данных и прежде всего терминологии славянской духовной культуры составители словаря придерживаются той точки зрения, что она является неотъемлемой частью плана выражения духовной культуры, причем частью, наиболее непосредственно связанной с планом содержания. Эта связь двусторонняя. С одной стороны, факты языка служат важнейшим источником для реконструкции элементов культуры, народного сознания, мифологии; с другой стороны, решение многих собственно лингвистических задач (прежде всего в области этимологии, семасиологии, исторической лексикологии, фразеологии, реконструкции праславянского текста и др.) требует обращения к широкому культурно-историческому и этнографическому контексту. Так, например, реконструкция мифологического содержания народных представлений о божьей коровке в работах В. Н. Топорова [25] основывается в значительной мере на анализе типов наименования этого насекомого у славян и балтов (рус. *божья коровка*, укр. *сонечко*, *бедрик* и др.); анализ славянских названий радуги (напр., *божья дуга*, *божий пояс*, *бабин пояс*, укр. и белор. *смок*, *цмок*, болг. и макед. *вино—жито* и др.) позволяет сделать немало этнографических наблюдений, касающихся народных метеорологических представлений и поверий[26]. С другой стороны, без учета народных обычаев и поверий невозможно было бы этимологизировать даже такие слова, как глагол *петь* [27], объяснить такие названия ласки, как болг. *невестулка*, *калманка*, луж. knjenička и др.[28] Широкий этнокультурный контекст является необходимым условием для этимологизирования собственно «культурных» слов и имен, таких как *бадняк*, *Перун*, *Вильно*, *Макарка* и т. д.[29]. Еще большее значение имеет культурный фон для изучения фразеологии, ср. анализ выражений *перемывать косточки* [30], *пьян*, *как земля* [31], *здоров*, *как рыба* [32] и др., внутренний смысл которых, их мотивировка и происхождение выясняются только на базе обрядового, фольклорного, мифологического материала. К имеющимся примерам приведем лишь несколько из возможных дополнений: 1) *куда Макар телят не гонял* — как смысл всего выражения, так и семантика его составляющих (*Макар*, *телята*, *гнать*) объясняется через славянские народные метеорологические представления и основанные на них ритуалы отгона градовой тучи, вызывания и останавливания дождя [33]; 2) *жив Курилка!* — объясняется из одноименной детской игры и сопровождающей ее песни, содержащей это выражение (запись П. Шейна в Рязанской губ.); 3) *променять кукушку на ястреба* связано с народным поверием о том, что кукушка кукует только до Петрова дня, после чего она превращается в ястреба (это поверие известно, в частности, в Полесье).

Таким образом, терминология славянской духовной культуры (т. е. названия основных культурно значимых реалий, ритуаль-

ных действий, персонажей, мифологических существ и т. д.) непременно войдет в словарь, однако не в качестве объекта описания, а как один из важных признаков трактуемых элементов культуры. При этом, конечно, не будет преследоваться цель исчерпывающего охвата соответствующей славянской лексики во всем ее диалектном и историческом разнообразии, но все известные лексические и фразеологические факты, проливающие свет на культурную семантику и функции описываемых явлений, будут по возможности учтены при разработке каждой словарной статьи.

Место фольклорного материала в словаре. Собственно фольклорный материал, т. е. непосредственно тексты славянских песен, сказок, преданий, загадок и других жанров специально не будут расписываться и включаться в словарь, так как, по нашему представлению, они должны были бы составить предмет специальных лексикографических трудов — словаря фольклора, имеющего свои особые задачи (систематизация всего содержания фольклорных текстов, т. е. сюжетов и их элементов, мотивов, персонажей, реалий и т. д.), и словаря языка фольклора, который мог бы быть построен по тому же принципу, что и словари языка писателей, т. е. содержать толкования всех слов, употребляющихся в фольклорных произведениях, со специальным вниманием к их специфически фольклорной семантике или форме, отличной от общеязыковой нормы.

Таким образом, проектируемый словарь славянских древностей не будет систематически привлекать фольклорный материал, но отказаться от него вовсе было бы и неоправданно, и невозможно. Принцип, которым намерены руководствоваться составители словаря и который вытекает из задач словаря, состоит в том, чтобы использовать фольклорные источники лишь в той мере, в какой это необходимо для характеристики обрядового и мифологического круга фактов, т. е. в первую очередь обрядовый фольклор, неразрывно связанный с самими обрядами и нередко концентрирующий в себе семантику обряда, затем былички, предания, заговоры и другие жанры, наиболее непосредственно отражающие народное мировоззрение и древнейшие мифологические представления, и наконец, так называемые малые жанры фольклора, т. е. загадки, пословицы, приговоры, заклинания, словесные формулы и клише, которые благодаря своей устойчивости часто сохраняют черты чрезвычайной культурной архаики [34].

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] *Schneeweis E.* Sur l'élaboration d'un dictionnaire-manuel des croyances et des usage populaires slaves. — I Sjezd slovanských filologů v Praze 1929. These a poznámky k diskusi. Propositions. Sekce I. Praha, 1929, N 12.

[2] *Вакарелски Х.* По въпроса за речника на славянските вярвания. — В кн.: Сборник на IV Конгрес на славянските географи и етнографи в София. 1936. София, 1938, с. 354—357.

[3] *Еремин С.* Проект словаря русской этнографической диалектологии. — Язык и литература, т. I, вып. 1—2. Л., 1926, с. 20—52; *Он же.* Программа

для собирания материалов по народным говорам, местному словарю и бытовым названиям. Л., 1926.

4 Handwörterbuch des deutsch Aberglaubens. Herausgegeben von H. Bächtold-Stäubli, E. Hoffman-Krayer. Bd 1—10. Berlin—Leipzig, 1927—1942.

5 *Schrader O.* Reallexikon der indogermanischen Altertumskunde. Bd 1—2. I. Aufl. Strassburg, 1901; II. Aufl. Strassburg, 1917—1929.

6 *Hoops J.* Reallexikon der germanischen Altertumskunde. Bd. 1—4. Berlin—Leipzig, 1917—1929; Wörterbuch der deutschen Volkskunde. Herausgegeben von O. U. Erich, R. Beitl. I Aufl. Leipzig, 1936; II Aufl. Stuttgart, 1955.

7 *Staszczak Z.* O powojennej leksykografii etnograficznej. — Lud, t. LVIII. Wrocław—Poznań, 1974, s. 131—148.

8 Słownik starożytności słowiańskich. Encyklopedyczny zarys kultury Słowian od czasów najdawniejszych. t. I—VI. Wrocław—Warszawa—Kraków, 1961—1980.

9 Słownik folkloru polskiego. Pod red. J. Krzyżanowskiego. Warszawa, 1965.

10 Słownik ludowych stereotypów językowych. Zeszyt próbny. Wrocław, 1980.

11 *Gottschalk H.* Lexikon der Mythologie der europäischen Völker. Berlin, 1973.

12 Мифы народов мира. Энциклопедия. М., т. 1, 1980; т. 2, 1981.

13 *Кулишић Ш., Петровић П. Ж., Пантелић Н.* Српски митолошки речник. Београд, 1970.

14 *Толстой Н. И., Толстая С. М.* К реконструкции древнеславянской духовной культуры (лингво- и этнографический аспект). — В кн.: Славянское языкознание. VIII Международный съезд славистов. Доклады советской делегации. М., 1978; *Толстой Н. И.* Этногенетический аспект исследований древней славянской духовной культуры. — В кн.: Комплексные проблемы истории и культуры народов Центральной и Юго-Восточной Европы. Итоги и перспективы исследований. М., 1979; *Он же.* О предмете этнолингвистики и ее роли в изучении языка и этноса (в печати).

15 *Толстые Н. И.* и *С. М.* О целесообразности применения некоторых лингвистических понятий к описанию славянской духовной культуры. — В кн.: Вторичные моделирующие системы. Тарту, 1979; *Толстой Н. И.* Из грамматики славянских обрядов. — В кн.: Труды по знаковым системам. Σημειωτική, вып. 15. Тарту, 1983.

16 *Пропп В. Я.* Морфология сказки. 2-е изд. М., 1969.

17 *Пропп В. Я.* Русские аграрные праздники. Л., 1963.

18 *Пропп В.* О составлении алфавитных указателей к собраниям сказок. — В кн.: Сказочная комиссия в 1927 г. Обзор работ. Л., 1928.

19 *Терновская О. А.* Лексика, связанная с обрядами жатвенного цикла (материалы к словарю). — В кн.: Славянское и балканское языкознание. Карпато-восточнославянские параллели. Структура текста. М., 1977; *Гура А. В.* Из севернорусской свадебной терминологии. Хлеб и пряники— словарь. — Там же.

20 *Топоров В. Н.* Πόθων, Áhi Budhyà, *бадњак* и др. — В кн.: Этимология. 1974. М., 1976; *Иванов В. В., Топоров В. Н.* О языке древнего славянского права (к анализу нескольких ключевых терминов) — В кн.: Славянское языкознание. VIII Международный съезд славистов. Доклады советской делегации. М., 1978. См. также статьи этих авторов в энциклопедии «Мифы народов мира» и другие работы.

21 Подробнее об ареальном изучении славянской духовной культуры см. в нашей статье «О задачах этнолингвистического изучения Полесья» (в кн.: Полесский этнолингвистический сборник. М., 1983), где указана и литература вопроса.

22 *Пропп В. Я.* О составлении алфавитных указателей. . ., с. 65.

23 Так, в указателе к описанию сербских обрядов борьбы с градом и отгона тучи были введены следующие рубрики: 1. Предметы. 2. Действия. 3. Признаки. 4. Лица. 5. Животные и мифические существа. 6. Вокативы в текстах заклинаний. 7. Локативы. 8. Время. 9. Календарь. 10. Числа. 11. Географические зоны. (*Толстые Н. И.* и *С. М.* Заметки по славянскому язычеству. 5. Защита от града в Драгачево и других сербских зонах. — В кн.: Славянский и балканский фольклор. Обряд. Текст. М., 1981). Указатель к программе полесского этнолингвистического атласа (рукопись)

содержит рубрики: 1. Субстантивы (предметы). 2. Лица. Персонажи. Имена. 3. Животные. Птицы. Насекомые. 4. Растения. 5. Атрибутивы (признаки, качества). 6. Локативы. 7. Время. Календарь. 8. Действия. 9. Абстракта. 10. Болезни.

[24] См.: Полесский этнолингвистический сборник.

[25] См.: *Топоров В. Н.* Божья коровка. — В кн.: Мифы народов мира, т. 1. М., 1980; *Он же.* Балтийские и славянские названия божьей коровки (Coccinella septempunctata) в связи с реконструкцией одного из фрагментов основного мифа. — В кн.: Этнолингвистические балто-славянские контакты в настоящем и прошлом. М., 1978.

[26] *Толстой Н. И.* Из географии славянских слов: 8. 'Радуга'. — В кн.: Общеславянский лингвистический атлас. 1974. М., 1976.

[27] *Трубачев О. Н.* Следы язычества в славянской лексике. 1. Trizna. 2. Pěti. 3. Kobь. — Вопросы славянского языкознания, 1959, вып. 4.

[28] *Гура А. В.* Ласка (Mustela nivalis) в славянских народных представлениях. 1. — В кн.: Славянский и балканский фольклор. Обряд. Текст. М., 1981.

[29] См. указ. статью В. Н. Топорова о бадняке (примеч. 20); *Иванов В. В.* К этимологии балтийского и славянского названия бога грома. — Вопросы славянского языкознания, 1958, вып. 3; *Топоров В. Н.* Vilnius, Wilno, Вильна: город и миф. — В кн.: Балто-славянские этноязыковые контакты. М., 1980; *Он же.* Др.-греч. Μακαρ, Μακαριος, и под. (Marginalia к статьям о маке и вызывании дождя). — В кн.: Balcano-balto-slavica. Симпозиум по структуре текста. Предварительные материалы и тезисы. М., 1979.

[30] *Виноградов В. В.* Из истории русской лексики и фразеологии. — Докл. и сообщ. Ин-та языкознания АН СССР, 1954, № 6; *Кипарский В.* Еще раз о выражении «перемывать косточки» — В кн.: Исследования по славянской филологии. М., 1974.

[31] *Талстой М. І.* Rutheno-serbica. — В кн.: Беларускае і славянскае мовазнаўства. Мінск, 1972.

[32] *Толстой Н. И.* Заметки по славянской фразеологии: *здрав као риба.* — In: Zbornik radova povodom 70. god. života akad. Jovana Vukovića. Sarajevo, 1977.

[33] *Толстые Н. И. и С. М.* К семантике сербских заклинаний градовой тучи. — В кн.: Balcano-balto-slavica. Симпозиум по структуре текста. Предварительные материалы и тезисы. М., 1979. с. 74.

[34] Доклад представляет собой первое изложение принципов этнолингвистического словаря славянских народных древностей, подготавливаемого в секторе этнолингвистики и фольклора Института славяноведения и балканистики АН СССР. В работе над словарем помимо авторов доклада принимают участие Л. Н. Виноградова, А. В. Гура, Э. И. Зеленина, О. А. Терновская, В. В. Усачева, с которыми многократно обсуждались и совместно разрабатывались многие из затронутых в докладе вопросов.

О. Н. Трубачев

ЯЗЫКОЗНАНИЕ И ЭТНОГЕНЕЗ СЛАВЯН. ДРЕВНИЕ СЛАВЯНЕ ПО ДАННЫМ ЭТИМОЛОГИИ И ОНОМАСТИКИ

Настоящая работа посвящена проблеме лингвистического этногенеза славян, — вопросу старому и неизменно актуальному. Тема судеб славянских индоевропейцев не может не быть широка и сложна, и она слишком велика для

одного вынужденно краткого очерка, поэтому необходимо заранее отказаться от подробного и равномерного освещения, сообщив лишь некоторые наиболее, как мне представляется, интересные результаты и наблюдения, главным образом из новых этимологических исследований слов и имен собственных, перед которыми поставлена высшая цель — комбинации и реконструкции моментов внешней языковой и этнической истории.

Собственно, задача проста, насколько может быть проста монументальная задача: отобрать и реконструировать форму, значение и происхождение древнего лексикона славян и извлечь из этого лингвистического материала максимум информации по истории этноса. Над воссозданием праславянского лексического фонда работают в Москве и в Кракове [1], если говорить только о новых больших этимологических словарях. Разумеется, над этими и близкими вопросами работает значительно больший круг лиц у нас и во многих других странах. Надежная реконструкция слов и значений — путь к реконструкции культуры во всех ее проявлениях. Почему славяне заменили индоевропейское название бороны новым словом? Как сложилось обозначение действия 'платить' у древних славян? Что следует думать относительно ситуации 'славяне и море'? Как образовалось название корабля у славян? На эти и на многие другие вопросы мы уже знаем ответы (к вопросу о море мы еще обратимся далее). Однако многие слова по-прежнему неясны, другие вообще вышли из употребления, забыты, в лучшем случае сохраняются на ономастическом уровне. Отсюда наш острый интерес к ономастическим материалам и новым трудам вроде Словаря гидронимов Украины [2], которые углубляют наши знания древней славянской апеллятивной лексики и дают пищу для рассмотрения новых принципиальных вопросов по ономастике, например о славянском топонимическом наддиалекте, о существовании славянских генуинных гидронимов, т. е. таких, у которых апеллятивная стадия отсутствует, напр. *morica и его продолжения в разных славянских гидронимиях.

Наконец, древний ареал обитания, прародину славян тоже нельзя выявить без изучения этимологии и ономастики. Как решается этот вопрос? Есть прямолинейные пути (найти территорию, где много или все топонимы-гидронимы чисто славянские) и есть также, должны быть более тонкие, более совершенные пути. Что происходило с запасом лексики и ономастики, когда мигрировал древний этнос? Называл ли он только то, что видел и знал сам? Но «словарь народа превосходит действительный (актуальный) опыт народа» [3], а значит, он хранит еще свой древний петрифицированный опыт, но также и чужой, услышанный опыт. Это тоже резерв нашего исследования. Славянская письменность начинается исторически поздно — с IX в. Но славянское слово или имя, в том числе отраженное в чужом языке, — это тоже запись

без письменности, меморизация. Например, личное имя короля антов rex Boz у Иордана (обычно читают *Бож* 'божий') отражает раннеславянское *vozъ или *vožь, рус. нар. *вож* (калька rex= *вож*), книжн. *вождь*, уже в IV в. с проведенной палатализацией, слово вполне современного вида.

Славяне и Дунай. Чем были вызваны вторжения славян в VI в. в придунайские земли и далее на юг? — Союзом с аварами? Слабостью Рима и Константинополя? Или толчок к ним дали устойчивые предания о древнем проживании по Дунаю? Может быть, тогда вся эта знаменитая дунайско-балканская миграция славян приобретет смысл реконкисты, обратного завоевания, правда, в силу благоприятной конъюнктуры и увлекающегося нрава славян, несколько вышедшего из берегов. . . Чем иным как не памятью о былом житье на Дунае отдают, например, старые песни о Дунае у восточных славян — народов, заметим, на памяти письменной истории никогда на Дунае (scil. — Среднем Дунае) не живших и в раннесредневековые балканские походы не ходивших. Если упорно сопротивляться принятию этого допущения, то можно весьма затруднить себе весь дальнейший ход рассуждений, как это случилось с К. Мошинским, который, слишком строго понимая собственную концепцию среднеднепровской прародины славян, пришел даже к утверждению, что в русских былинах Дунаем назывался Днепр [4]. . . Ненужное и неестественное предположение. Еще более трудным оказывается положение тех ученых, которые с Лер-Сплавинским пытаются доказать, что у славян был широко распространен первоначально не гидроним Dunaj, а апеллятив dunaj 'лужа', 'море', якобы из и.-е. *dhou-nā [5]. В последние годы эту неудачную этимологию повторил Ю. Удольф [6]. Заметим, что все трое ученых ищут прародину славян в разных местах: Лер-Сплавинский — в междуречье Одера и Вислы, Мошинский — в Среднем Поднепровье, а Удольф — в Прикарпатье. Их объединяет, пожалуй, лишь стремление опровергнуть древнее знакомство славян с Дунаем — гидронимом и рекой, настойчиво подсказываемое языком. А стоило, наверное, прислушаться к голосу языка.

«Прародина» — «взятие родины». Термин «прародина» крайне неудачен и обременен биологическими представлениями, которые сковывают мысль и уводят ее на неверные пути (есть, правда, словоупотребление еще более романтичное и соответственно менее научное, чем прародина, Urheimat — польск. prakolebka 'древняя колыбель' [7], англ. cradle). Отсюда можно заключить, что если у человека родина — одна, то и у народа, языка — одна прародина. Однако небольшой типологической аналогии достаточно, чтобы задуматься всерьез над другой возможностью. Пример — венгры, у которых родин или прародин было несколько: приуральская, где они сформировались и выделились из угорской ветви, севернокавказская, где они общались с тюрками-булгарами, южноукраинская, где начался их симбиоз с аланами, и наконец, «взятие родины» на Дунае — венг. honfoglalás, нем. Landnahme,

термин, кстати, очень деловой и весьма адекватный, не содержащий иллюзию изначальности, которая неизбежно присутствует в слове «прародина». Исландцы тоже хорошо помнят свое «взятие родины» (landnáma). Поэтому методологически целесообразнее сосредоточиться не на отыскивании одной ограниченной прародины, а на лингвоэтногенезе, или лингвистических аспектах этногенеза. Четкой памяти о занятии родины у славян не сохранилось, о чем, с одной стороны, можно пожалеть, имея в виду доказанную эффектную траекторию древних венгров из Приуралья на Дунай и память о ней, а с другой стороны — нужно научиться правильно интерпретировать сам факт отсутствия памяти о приходе славян издалека. Ведь существуют примеры тысячелетней памяти о ярких событиях в жизни народа (в первую очередь — об этнических миграциях) даже в условиях полного отсутствия письменности. Отсутствие памяти о приходе славян может служить одним из указаний на извечность обитания их и их предков в Центрально-Восточной Европе в широких пределах.

Мне кажется, я не ошибусь, если скажу, что в настоящее время надо считать законченным (исчерпавшим себя) предыдущий период или направление прямолинейных исканий прародины славян, когда с усилением темпа миграций прямо ассоциировали убыстрение изменений языка и лексики, когда исходный характер этнической области старались обосновать, всеми силами доказывая славянскую принадлежность ее (макро)гидронимии или обязательное наличие в ней «чисто славянской топонимики», будь то висло-одерская с постепенным расширением в одерско-днепровскую [8], или правобережно-среднеднепровская [9], или припятско-полесская [10].

Первоначально ограниченная территория? Прежде чем мы приступим к пересмотру распространенной аргументации прародины, полезно вспомнить мудрые слова Брюкнера, который давно ощутил методологическую неудовлетворительность постулата о ограниченной прародины: «Не делай другому того, что неприятно тебе самому. Немецкие ученые охотно утопили бы всех славян в болотах Припяти, а славянские — всех немцев в Долларте (устье реки Эмс. — *О. Т.*); совершенно напрасный труд, они там не уместятся; лучше бросить это дело и не жалеть света божьего ни для одних, ни для других» [11]. Это, конечно, была шутка, но проблема размера прародины имеет серьезное научно-методологическое значение. Верно замечено, что идея ограниченной прародины (в немецкой этногенетической литературе активно пользуются еще термином Keimzelle, букв. 'зародышевая клетка', что совсем уводит нас в биологию развития) — это пережиток теории родословного древа [12]. Необходимо считаться с подвижностью праславянского ареала, с возможностью не только расширения, но и сокращения его, вообще — с фактом сосуществования разных этносов даже внутри этого ареала, как и в целом — со смешанным характером заселения древней Европы, далее — с неустойчивостью этнических гра-

ниц и проницаемостью праславянской территории [13]. Вспомним поучительный пример прохода венгров в IX в. сквозь восточнославянские земли уже в эпоху Киевского государства. Отдельность этноса не исключала его дисперсности [14], а для древней поры просто обязательно предполагала ее.

Изначальность диалектного членения. Хотя современное изучение индоевропейских диалектов ведут обычно от Мейе, он вполне отдавал дань унитаристской концепции индоевропейского праязыка [15], а славянские языки тем более производил из «почти единого наречия» [16], забывая в данном вопросе завет своего учителя Ф. де Соссюра о диалектном членении внутри первоначального ареала. Стоит ли удивляться, что до последнего времени говорят о «единстве» общеславянского языка [17]; покойный З. Штибер пришел даже к выводу, что до 500 г. н. э. в славянском имелась только одна (!) диалектная особенность, в чем ему тут же вполне резонно возразили, что так просто не могло быть в тех условиях [18]. Малые размеры праславянской территории, как и первоначальная бездиалектность праславянского языка — это не доказанные истины, а предвзятые идеи. В науке накоплен большой материал, свидетельствующий об ином. Индоевропеистика давно считается с диалектными различиями внутри первоначального ареала [19]. Современная романистика уже не держится за идею единой народной латыни [20]. С разных сторон указывают на то, что язык есть интеграция [21], что славянский языковой тип — результат консолидации [22], что уместно говорить о многокомпонентности каждого языка [23], наконец, доступные письменные свидетельства о древних эпохах прямо показывают, что, чем дальше в глубь веков, тем языков было больше, а не меньше. В духе понимания этих или подобных фактов в современной литературе по истории русского и славянских языков можно чаще встретить выражения вроде «славянское этноязыковое объединение» [24]. Верно замечено, что праславянский язык — не искусственная модель, а живой, многодиалектный язык [25].

Праславянский — живой язык или «непротиворечивая» модель? Эпоха структурного моделирования в последние два десятилетия ощутимо коснулась и праславянского языка, в чем-то притормозив полноту постижения его оригинальных особенностей, потому что в моделировании, в конструировании «непротиворечивой» модели как нигде проявляется это reductio ad unum [26], упрощающее, а не обогащающее наши представления о предмете.

Принимая во внимание авторитетность языкознания, можно понять, что такая унитаристская концепция праславянского языка не могла не влиять негативно на историю и археологию, ср. напр. высказывание историка о едином «государстве» (!) всех славян перед их экспансией [27], распространение среди археологов преувеличенных мнений об общности материальной культуры древних славян, тогда как славянство в действительности археологически не монолитно [28]. Архаизм языка отнюдь не проистекает прямо от автохтонизма народа, как, впрочем, и инновации необя-

зательно связаны с миграциями. Все это самостоятельные лингвистические вопросы. Что же касается этнического автохтонизма, то это особая проблема: Хирт, например, считал, что славяне и балты дольше других оставались в пределах индоевропейской прародины [29], а археолог Косинна утверждал, что славяне и арийцы (балтов он вообще в расчет не принимал) были дальше всех от центра на восток [30].

Унитаристская концепция рассматривала лингвистическую дифференциацию (Мейе: «свой собственный тип») как результат внешнего импульса — субстрата [31]. Мы еще коснемся разных моделей праславянского языка в духе сложения—вычитания. А в вопросе о субстрате нам больше импонирует точка зрения Покорного о том, что «каждый народ реагирует на свой субстрат по-разному» [32].

Таким образом, на смену представлению о первоначально бездиалектном праславянском языке приходит учение о диалектно сложном древнем языке славян с сильно развитым древним диалектным словарем [33]. Неверным оказывается популярное деление истории праславянского языка на два периода — консервативный (якобы оседлый) период и период коренных изменений (миграционный). Существуют серьезные доводы, что как раз оседлая жизнь создает условия для дифференциации языка, тогда как кочевая жизнь сглаживает различия [34].

Из верного общего положения о конечности также языкового развития не следует вывод, что в условиях праязыка и прародины один язык можно объяснить, лишь возведя его к другому подобно тому как это нередко делается в археологии путем объяснения одной культуры из другой.

«Метод исключения». Возможна ли чисто славянская гидронимическая область? Нет, это наивная концепция. В пределах славянского ареала всегда были дославянские и неславянские элементы, как были они, бесспорно, и в Прикарпатье [35], что вынужден признать и Удольф. Стерильно чистое (бессубстратное) этническое пространство — исключительное и сомнительное явление. Нет чисто славянских топонимических территорий [36], и одна эта выразительная констатация бесповоротно зачеркивает «метод исключения» немецкой школы (Фасмер, сейчас — Удольф), который, если применять его прямолинейно («где не жили праславяне?»), исключит славян из Европы совсем, что, конечно, не соответствует действительности и не может отменить факта древнего обитания славян в Центрально-Восточной Европе в достаточно широких (и подвижных) пределах.

Подвижность древнего ареала. Как исследовать древнюю подвижность славянского ареала средствами языкознания — ономастики и этимологии? Важнейшим материалом для этого служат состав и происхождение местных (водных) названий. При этом обращают внимание на кучность однородных названий, а район кучности водных названий исконного славянского вида объявляется районом древнейшего распространения славян, иначе —

их прародиной. Именно такой прямолинейный вывод относительно Прикарпатья (бывшая Галиция) сделал в своей новой большой книге (см. примеч. 6) Ю. Удольф. Однако динамика этнических передвижений отражается в топонимии не прямо, а преломленно. Кучность однородных славянских названий как раз характеризует зоны экспансии, колонизованные районы, а отнюдь не очаг возникновения, который по самой логике должен давать неяркую, смазанную картину, а не вспышку. Это положение обосновал В. А. Никонов [37], Удольф обнаружил в Прикарпатье, по-видимому, один из районов освоения славянами, но не искомую их прародину. Второе положение Никонова — об относительной негативности топонимии («в сплошных лесах бессмысленны названия Лес. . .» [38]) — тоже имеет самое прямое отношение к вскрытию динамики заселения через анализ топонимии, но оно, к сожалению, прошло незамеченным как для Удольфа, так и для его рецензента Дикенмана [39]. Оба они удивлены, почему в гидронимии болотистого Полесья не встретишь термина *Болото*, а, между тем, в Полесье, как мы теперь знаем, все в порядке. В современной индоевропеистике было бы полезно шире применять эти положения, что помогло бы избежать ошибок или явных преувеличений, одно из которых мы специально рассмотрим далее.

Славянский и балтийский. Важным критерием локализации древнего ареала славян служат родственные отношения славянского к другим индоевропейским языкам и прежде всего — к балтийскому. Принимаемая лингвистами схема или модель этих отношений коренным образом определяет их представления о местах обитания праславян. Например, для Лер-Сплавинского и его последователей тесный характер связи балтийского и славянского диктует необходимость поисков прародины славян в непосредственной близости к первоначальному ареалу балтов [40]. Неоспоримость близости языков балтов и славян подчас отвлекает внимание исследователей от сложного характера этой близости. Впрочем, именно характер отношений славянских и балтийских языков стал предметом непрекращающихся дискуссий современного языкознания, что, согласимся, делает балто-славянский языковой критерий весьма ненадежным в вопросе локализации прародины славян. Поэтому сначала необходимо хотя бы кратко остановиться на самих балто-славянских языковых отношениях.

Сходства и различия. Начнем с лексики как с важнейшей для этимологии и ономастики. Сторонники балто-славянского единства указывают большую лексическую общность между этими языками — свыше 1600 слов [41]. Кипарский аргументирует эпоху балто-славянского единства общими важными инновациями лексики и семантики: названия 'голова', 'рука', 'железо' и др.[42]. Но железо — самый поздний металл древности, отсутствие общих балто-славянских названий более древней меди (бронзы) наводит на мысль о контактах эпохи железного века, т. е. последних столетий до нашей эры (ср. аналогию кельтско-германских отношений). Новообразования же типа 'голова', 'рука' принадлежат

к часто обновляемым лексемам и тоже могут относиться к более позднему времени. Вышеупомянутый «аргумент железа» уже до детальной проверки показывает шаткость датировки выделения праславянского из балто-славянского временем около 500 г. до н. э. [43].

Существует немало теорий балто-славянских отношений. В 1969 г. их насчитывали пять [44]: 1) балто-славянский праязык (Шлейхер); 2) независимое, параллельное развитие близких балтийских и славянских диалектов (Мейе); 3) вторичное сближение балтийского и славянского (Эндзелин); 4) древняя общность, затем длительный перерыв и новое сближение (Розвадовский); 5) образование славянского из периферийных диалектов балтийского (Иванов—Топоров). Этот перечень неполон и не совсем точен. Если теория балто-славянского праязыка или единства принадлежит в основном прошлому, несмотря на отдельные новые опыты, а весьма здравая концепция независимого развития и вторичного сближения славянского и балтийского, к сожалению, не получила новых детальных разработок, то радикальные теории, объясняющие главным образом славянский из балтийского, переживают сейчас свой бум. Впрочем, было бы неверно возводить их все к № 5 (выше), поскольку еще Соболевский выдвинул теорию о славянском как соединении иранского языка *-x* и балтийского языка *-c* [45]. Аналогично объяснял происхождение славянского Пизани — из прабалтийского с иранским суперстратом [46]. По мнению Лер-Сплавинского, славяне — это западные протобалты с наслоившимися на них венетами [47]. По Горнунгу, наоборот — сами западные периферийные балты оторвались от «протославян» [48]. Идею выделения праславянского из периферийного балтийского, иначе — славянской модели как преобразования балтийского состояния, выдвигают работы Топорова и Иванова [49]. Эту точку зрения разделяет ряд литовских языковедов [50]. Близок к теории Лер-Сплавинского, но идет еще дальше Мартынов, который производит праславянский из суммы западного протобалтийского с италийским суперстратом — миграцией XII в. до н. э. (?) — и иранским суперстратом [51]. Немецкий лингвист Шаль предлагает комбинацию: балто-славяне=южные (?) балты+даки [52]. Нельзя сказать, чтобы такой комбинаторный лингвоэтногенез удовлетворял всех. В. П. Шмид, будучи жарким сторонником «балтоцентристской» модели всего индоевропейского (об этом — ниже), тем не менее, считает, что ни балтийский из славянского, ни славянский из балтийского, ни оба — из балтославянского объяснить нельзя [53]. Методологически неудобными, ненадежными считает как концепцию балто-славянского единства, так и выведение славянских фактов из балтийской модели Г. Майер [54]. Довольно давно замечено наличие многочисленных расхождений и отсутствие переходов между балтийским и славянским [55], выдвигалось мнение о балто-славянском языковом союзе [56] с признаками вторичного языкового родства и разного рода ареальных контактов. За этими контактами и сближениями стоят глубокие внутренние различия.

Еще Лер-Сплавинский, выступая с критикой произведений славянской модели из балтийской, обращал внимание на неравномерность темпов балтийского и славянского языкового развития [57]. Балто-славянскую дискуссию следует настойчиво переводить из плана слишком абстрактных сомнений в «равноценности» балтийского и славянского, в одинаковом количестве «шагов», проделанных одним и другим (чего, кажется, никто и не утверждает) — в план конкретного сравнительного анализа форм, этимологий слов и имен. Фактов накопилось достаточно, в чем убеждает даже беглый взгляд.

Глубокие различия балтийского и славянского очевидны на всех уровнях. На лексико-семантическом уровне эти различия обнаруживают древний характер. По данным Этимологического словаря славянских языков (сплошная проверка вышедших вып. 1—7), такие важнейшие понятия, как 'ягненок', 'яйцо', 'бить', 'мука', 'живот', 'дева', 'долина', 'дуб', 'долбить', 'голубь', 'господин', 'гость', 'горн (кузнечный)' выражаются разными словами в балтийских и славянских языках. Список этот, разумеется, можно продолжить, в том числе на ономастическом уровне (этнонимы, антропонимы).

Элементарны и древни различия в фонетике. Здесь надо отметить передвижение балтийских рядов чередования гласных в противоположность консервативному сохранению индоевропейских рядов аблаута в праславянском [58]. Совершенно независимо прошла в балтийском и славянском сатемизация рефлексов палатальных задненебных, причем прабалтийский рефлекс и.-е. ḱ—š, неизвестен праславянскому, проделавшему развитие ḱ > c > s [59]. Найти здесь «общую инновацию системы согласных» элементарно невозможно, и недавняя попытка Шмальштига прямо соотнести š в слав. pišetь 'пишет' (из sj!) и š в лит. piešti 'рисовать' [60] должна быть отвергнута как анахронизм.

Еще более красноречивы отношения в морфологии. Именная флексия в балтийском более архаична, чем в славянском, впрочем, и здесь отмечаются праславянские архаизмы вроде род. п. ед. ч. *ženy < *gʷenŏm-s [61]. Что же касается глагола, то его формы и флексии в праславянском архаичнее и ближе индоевропейскому состоянию, чем в балтийском [62]. Даже те славянские формы, которые обнаруживают преобразованное состояние, как, напр., флексия 1 л. ед. ч. наст. вр. -ǫ (< и.-е. -ō + вторичное окончание -m?), вполне самобытны и не допускают объяснения на балтийской базе. Распределение отдельных флексий резко отлично, ср., напр., -s- как формант славянского аориста, а в балтийском — будущего времени [63]. Старый аорист на -ē сохранен в славянском (мѧнѣ), а в балтийском представлен в расширенных формах (лит. minėjo) [64]. Славянский перфект *vědě, восходящий к индоевропейскому нередуплицированному перфекту *u̯oida(i), — архаизм без балтийского соответствия [65]. Славянский императив *jьdi 'иди' продолжает и.-е. *i-dhí, неизвестное в балтийском. Славянские причастия на -lъ имеют индоевропейский фон (армянский, тохарский); балтий-

ский не знает ничего подобного [66]. Целую проблему в себе представляют флексии 3 л. ед.—мн. ч.[67], причем славянский хорошо отражает форманты и.-е. -t : -nt, полностью отсутствующие в балтийском; если даже считать, что в балтийском мы имеем дело с древним невключением их в глагольную парадигму, то тогда в славянском представлена ранняя инновация, связывающая его с рядом индоевропейских диалектов, за исключением балтийского. Ясно, что славянская глагольная парадигма — это индоевропейская модель, несводимая к балтийскому [68]. Реконструкция глагола в славянском имеет бóльшую глубину, чем в балтийском [69].

Что касается именного словообразования, то на его глубокие отличия как в балтийском, так и в славянском обращали внимание и сторонники, и противники балто-славянского единства [70].

Поздние балты в Верхнем Поднепровье. После такой краткой, но как можно более конкретной характеристики балто-славянских языковых отношений, естественно, конкретизируется и взгляд на их взаимную локализацию.

Эпоха развитого балтийского языкового типа застает балтов, по-видимому, уже в местах, близких к их современному ареалу, т. е. в районе Верхнего Поднепровья. В начале I тысячелетия н. э. там во всяком случае преобладает балтийский этнический элемент [71]. Считать, что верхнеднепровские гидронимы допускают более широкую — балто-славянскую характеристику [72], нет достаточных оснований, равно как и искать ранний ареал славян к северу от Припяти. Развитый балтийский языковой тип — это система форм глагола с одним презенсом и одним претеритом, что весьма напоминает финские языки [73]. После этого и в связи с этим можно привести мнение о гребенчатой керамике как вероятном финском культурном субстрате балтов этой поры; здесь же уместно указать на структурные балто-финские сходства в образовании сложных гидронимов со вторым компонентом 'озеро' прежде всего [74].

Подвижность балтийского ареала.

Но к балтийскому ареалу мы должны подходить с тем же мерилом подвижности (см. выше), и это весьма существенно, поскольку ломает привычные взгляды в этом вопросе («консервативность»= «территориальная устойчивость»). При этом вырисовываются разные судьбы этнических балтов и славян по данным языка.

Балто-дако-фракийские связи III тысячелетия до н. э. (славянский не участвует). «Праколыбель» балтов не извечно находилась где-то в районе Верхнего Поднепровья или бассейна Немана [75], и вот почему. Уже довольно давно обратили внимание на связь балтийской ономастической номенклатуры с древней индоевропейской ономастикой Балкан. Эти изоглоссы особенно охватывают восточную — дако-фракийскую часть Балкан, но касаются в ряде случаев и западной — иллирийской части Балканского полуострова. Ср. фрак. Σέρμη — лит. Sérmas, названия рек; фрак. Κερσης — др.-прусск. Kerse, названия лиц [76]; фрак. 'Εδεσσα, название города, — балт. *Ведоса*, верхнеднепровский гидроним; фрак.

Ζάλδαπα — лит. Žeĩtupė и др.[77]. Из апеллятивной лексики следует упомянуть близость рум. doină (автохтонный балканский элемент) — лит. dainà 'песня'[78]. Особенно важны для ранней датировки малоазиатско-фракийские соответствия балтийским именам, ср. выразительное фрак. Προῦσα, название города в Вифинии — балт. Prūs-, этноним[79]. Малоазиатско-фракийско-балтийские соответствия могут быть умножены, причем за счет таких существенных, как Καῦνος, город в Карии, — лит. Kaũnas, Πριήνη, город в Карии, — лит. Prienai, Σινώπη, город на берегу Черного моря, — лит. Saũpė < *San-upe, название озера. Затронутые фракийские формы охватывают не только Троаду, Вифинию, но и Карию. Распространение фракийского элемента в западной и северной части Малой Азии относится к весьма раннему времени (вероятно, II тысячелетие до н. э.), поэтому можно согласиться с мнением относительно времени соответствующих территориальных контактов балтийских и фракийских племен — примерно III тысячелетие до н. э.[80]. Нас не может не заинтересовать указание, что славянский в этих контактах не участвует[81].

Раннюю близость ареала балтов к Балканам позволяют локализовать разыскания, установившие присутствие балтийских элементов к югу от Припяти, включая случаи, в которых даже трудно различить непосредственное участие балтийского или балканско-индоевропейского — гидронимы *Церем*, *Церемский*, *Саремский* < < *serma-[82]. Западнобалканские (иллирийские) элементы необходимо также учитывать (особенно в Прикарпатье, на верхнем Днестре), как и их связи с балтийским[83].

Когда появился праславянский язык? Решить или во всяком случае поставить вопрос, когда появился праславянский язык, наиболее склонны были те лингвисты, которые связывали его появление с выделением из балто-славянского единства, приурочивая это событие к кануну новой эры или за несколько столетий до него (так — Лямпрехт, см. примеч. 43, а также Лер-Сплавинский, Фасмер). В настоящее время отмечается объективная тенденция углубления датировок истории древних индоевропейских диалектов, и это касается славянского как одного из индоевропейских диалектов. Однако вопрос сейчас не в том, что древняя история праславянского может измеряться масштабами II и III тысячелетия до н. э., а в том, что мы в принципе затрудняемся даже условно датировать «появление» или «выделение» праславянского или праславянских диалектов из индоевропейского именно ввиду собственных непрерывных индоевропейских истоков славянского. Последнее убеждение согласуется с указанием Мейе о том, что славянский — это индоевропейский язык архаического типа, словарь и грамматика которого не испытали потрясений в отличие, например, от греческого (словаря)[84].

Славяне и Центральная Европа (балты не участвуют). Для древнейшей поры, условно — эпохи упомянутых балто-балканских контактов, видимо, надо говорить о преимущественно западных связях славян, в отличие от балтов. Из них древнее других

ориентация праславян на связи с праиталийскими племенами. Эти связи в лексике, семантике и словообразовании отражают несложное хозяйство и общие моменты условий жизни и среды обитания на стадии раннепраязыкового развития без признаков заметного превосходства партнера или четкого одностороннего заимствования. Ср. соответствия лат. hospes — слав. *gospodь, favēre — *gověti (общество, обычаи), struere (*stroi̯-u̯-?) — *strojiti (домохозяйство), palūdes — *pola voda (среда обитания) [85]. В этих отношениях, как правило, не участвуют балты, собственные отношения которых к италийскому (латинскому) характеризуются такими признаками, как полигенез, совпадение явлений, т. е. отсутствие непосредственных контактов [86], несмотря на наличие отдельных (более поздних?) культурных заимствований вроде лит. áuksas 'золото', если из италийского *ausom [87], так и не ставшего общебалтийским термином. Более позднему времени, видимо, эпохе развитой металлургии принадлежат западные контакты праславян, охватывающие не только италийцев, но и германцев, обозначаемые понятием центральноевропейского культурного района [88]. Ср. праслав. *ěstěja (: герм.), *vygnь (: герм., кельт.), *gъrnъ (: итал.), *kladivo (: итал.), *moltъ (: итал.). Эти фрагменты германо-славянских отношений, возможно, древнее (и сохранились хуже) тех более известных германо-славянских языковых отношений, которые представлены бо́льшим числом слов (германизмов в славянской лексике) и отражают эпоху после проведения германского передвижения согласных, а в плане этнической истории — симбиоз (тесное сосуществование) германцев и славян, принимаемый некоторыми учеными для пшеворской археологической культуры [89]. Но этому предшествовали другие контакты славян на других территориях.

Славяне и иллирийцы. II тысячелетие до н. э. застает италиков на пути из Центральной Европы на юг (вот почему нам трудно согласиться с отождествлением италиков с носителями лужицкой культуры и с утверждением, что в XII в. до н. э. именно италики с западными балтами генерировали праславян). В южном направлении двигаются около этого времени и иллирийцы, не сразу превратившиеся в «балканских» индоевропейцев. Я в основном принимаю теорию о древнем пребывании иллирийцев к югу от Балтийского моря [90] и считаю, что она еще может быть плодотворно использована. Вполне возможно, что иллирийцы прошли через земли славян на юг, а славяне, в свою очередь, распространяясь на север, находили остатки иллирийцев или остатки их ономастики. Это дает нам право говорить об иллирийско-славянских отношениях. Иначе трудно объяснить несколько собственных имен: Doksy, местное название в Чехии, ср. Daksa, остров в Адриатическом море и глоссу δάξα· θάλασσα. Ἠπειρῶται (Гесихий) [91], *Дукля*, перевал в Карпатах, ср. *Дукља* в Черногории, Δόκλεα (Птолемей) [92], наконец, гапакс ранней польской истории — Licicaviki, название, приписываемое славянскому племени, но объяснимое только как иллир. *Liccavici, ср. иллирийские лич-

ные имена Liccavus, Liccavius и местное название Lika в Югославии[93]. На основании названия местного ветра, дующего в Апулии, — Atābulus (Сенека), ср. иллир. *bul-, βόριον 'жилье', сюда же 'Αταβυρία, (Ζεὺς) 'Αταβύριος, реконструируется иллир. *ata-bulas, аналитический препозитивный аблатив 'от/из дома', ср. параллельное слав., др.-русск. ѿ рода Рускаго (Ипат. лет., л. 13), наряду с постпозитивной конструкцией аблатива и.-е. *u̯lk̑ᵘo-at 'от волка'. Здесь представлена иллирийско-славянская изоглосса, ценная ввиду неизвестности иллирийской именной флексии[94].

Кентумные элементы в праславянском. Кроме ранних италийско-славянских связей, участия в общих инновациях центральноевропейского культурного района и других изоглоссах (например, иллирийско-славянских), именно в Центральной Европе праславянский язык обогатился рядом кентумных элементов лексики, носящих бесспорно культурный характер[95]. Ответственность за них несут, видимо, в значительной степени контакты с кельтами. Так, праслав. *korva, название домашнего животного, восходит, видимо, через стадию *kărăvā[96] к форме, близкой кельт. car(a)vos 'олень', исконно славянское слово ожидалось бы в форме *sorva, с правильным сатемным рефлексом и.-е. k̑[97], который в славянском есть в форме *sьrna, обозначающей дикое животное, что придает эпизоду с *korva культурное звучание. Праславянский передал, видимо, далее, свое *kărăvā, или *koravā вместе с его акутовой интонацией балтийскому (лит. kárvė), в котором это слово выглядит тоже изолированно.

Балты на Янтарном пути. Что касается балтов, то их контакт с Центральной Европой или даже скорее — с ее излучениями, не первичен, он начинается, видимо, с того, впрочем, достаточно раннего времени, когда балты попали в зону Янтарного пути, в низовьях Вислы. Только условно можно датировать их обоснование здесь II тысячелетием до н. э., не раньше, но и едва ли позже, потому что этрусск. ἄριμος 'обезьяна' могло попасть в восточнобалтийский диалект (лтш. erms 'обезьяна'), очевидно, до глубокой перестройки самого балтийского языкового ареала и до упадка Этрурии уже в I тысячелетии до н. э. Прибалтика всегда сохраняла значение периферии, но благодаря Янтарному пути по Висле двусторонние связи с Адриатикой и Северной Италией фрагментарно проявлялись и могут еще вскрываться сейчас. Любопытный пример — предлагаемое здесь новое прочтение лигурийского названия реки По в Северной Италии — Bodincus, которое приводит Плиний, сообщая также его апеллативное значение: . . . Ligurum quidem lingua amnem ipsum (scil. — Padum) Bodincum vocari, quod significet fundo carentem. cui argumento adest oppidum iuxta Industria vetusto nomine Bodincomagum, ubi praecipua altitudo incipit (C. Plinius Sec. Nat. hist. III, 16, ed. C. Mayhoff). Таким образом, Bodincus, или Bodinco- значило по-лигурийски 'fundo carens, бездонный' и может быть восстановлено по снятии вероятных кельтских (лепонтских) наслоений как

*bo-dicno-/*bo-digno- < *bo-dugno- 'бездонный, б е з д н а', что довольно точно соответствует лит. be dùgno 'без дна', bedùgnis 'бездна', также в гидронимии — Bedùgnė, Bedùgnis и позволяет внести корректив в известную географию соответствий балт. be(z), слав. bez (и индо-ир. параллели).

Балтийский и «древнеевропейская» гидронимия. По долине Вислы к балтам распространялись и изоглоссы древнеевропейской гидронимии, обрывающиеся к западу (лакуна между Одером и Вислой). Краэ отмечал добалтийский характер древнеевропейской гидронимии [98], и, я думаю, этот тезис сохраняет свое значение, имея в виду не столько додиалектный, сколько наддиалектный статус этой гидронимии (выработка различными контактирующими индоевропейскими диалектами общего гидронимического фонда). В. П. Шмид плодотворно расширил понятие «древнеевропейской» гидронимии до объема индоевропейской, но он допускает явное преувеличение, стремясь в своих последних работах утвердить идею ее центра в балтийском и даже выдвигая балтоцентристскую модель всего индоевропейского [99]. Однако кучность «древнеевропейских» гидронимов на балтийской языковой территории допускает другое объяснение в духе уже изложенного нами ранее. Балтийский (исторически) — не центр древнеевропейской гидронимии (В. П. Шмид: «Ausstrahlungszentrum»), а фиксированная вспышка в зоне экспансии балтов на восток, куда они распространялись, унося с собой и размноженные древнеевропейские гидронимы.

Сближение балтов и славян. Лишь после самостоятельных ранних миграций балтов и славян стало намечаться их последующее сближение (ср. установленный факт наличия в балтийском раннепраславянских заимствований до окончательного проведения славянской ассибиляции и.-е. ḱ > *c > s, напр., лит. stirna < раннепраслав. *cirna, праслав. *sьrna и др.[100]. Хронологически это было близко к славянскому переходу s > x в известных позициях, который некоторые авторы рассматривают даже как «первый шаг» на пути обособления праславянского от балтийского, что из общей перспективы выглядит очень странно. В плане абсолютной хронологии эти балто-славянские контакты (сближения) относятся уже к железному веку (см. выше «аргумент железа»), т. е. к последним векам до новой эры.

Этому предшествовала длительная эпоха жизни праславян в Центральной Европе, — жизни, далекой от герметизма в ареале с размытыми границами и открытом как западным, так и восточным влияниям.

Славянский и «древнеевропейская» гидронимия. Далеко еще недостаточно изучен вопрос об отношении славян к «древнеевропейской» гидронимии. Автор этой концепции Краэ несколько априористически, на основании неполноты сведений выразил в своих работах тенденцию как бы «вытолкнуть» славян из «древнеевропейского» гидронимического ареала [101]. В последнее время это положение коренным образом пересматривается в науке, и

выдвигаются данные, свидетельствующие об участии славянского в древнеевропейской гидронимии [102], о вхождении также топонимии Правобережной Украины в центральноевропейский топонимический ареал к северу от Альп [103]. В свое время мы уже указывали на это, приводя конкретные соответствия: др.-европ. Oumena — укр. *Умань* [104]; Talamone (Италия), Tolmin (Словения) — *Телемень/Товмень* (Украина) [105]; др.-европ. *Arman-tia, Armeno (Триент), лит. Armenà — *Ромен* (Украина) [106]. Название *Солучка* на верхнем Днестре реконструирует как др.-европ. *Salantia с соответствием в Швейцарии Удольф вслед за Трубачевым [107]. Некоторые факты в этом духе можно найти в работах В. П. Шмида, однако к его преувеличенной балтоцентристской ориентации всей древней индоевропейской гидронимии Европы следует сделать некоторые критические замечания, отметив в первую очередь наличие в наиболее фондовом минимуме «древнеевропейской» гидронимии (еще у Краэ) ряда случаев, которые в ответ на дилемму — балтийский или славянский — соотносятся только со славянскими апеллятивами, причем в балтийском точные лексические соответствия отсутствуют, напр., др.-европ. *alisā, *amā — слав. «Wasserwörter» *olьxa (*alīsā), *(j)ama (*amā). К отмечаемому В. П. Шмидом на балтийской территории важному гидрониму Venta, который он в общем верно относит к рус. («Fluß im Gebiet von Minsk») *Вяча* < *Ventiā [108], необходимо добавить, что предыдущие исследователи убедительно указывали на небалтийское, славянское происхождение данного гидронима [109]. Лакуна между древнеевропейской гидронимией и славянским постепенно заполняется, и вместе с тем обогащается само понятие древнеевропейской (=древнеиндоевропейской) гидронимии Европы. Одновременно крепнет сознание древних связей славян с Центральной Европой, с локализацией и судьбами всего древнеиндоевропейского языкового конгломерата.

Праиндоевропейский ареал. Несмотря на неутихающие споры вокруг «древнеевропейской» гидронимии (этому понятию летом 1982 г. исполнилось 20 лет), нам ясно принципиальное значение этого достижения и связанные с ним далеко идущие перспективы, их важность в решении вопроса всего индоевропейского лингвоэтногенеза. Поскольку последний, в свою очередь, теснейшим образом связан со славянским лингвоэтногенезом и пространственной локализацией праславянского (отныне не скованной схемами балто-славянского языкового единства или постулируемых отношений западнобалтийского «отца» — праславянского «сына»), здесь уместно высказаться кратко и по этому вопросу вопросов, ограничившись лишь самым главным. Дело в том, что для древней локализации славян вовсе не безразлично, как казалось бы, откуда задолго до того пришли индоевропейцы и приходили ли они вообще в Европу издалека. Небезразличны, например, теории вторичной «курганизации» (=индоевропеизации) якобы первоначально неиндоевропейской Европы с Востока в V тысячелетии до н. э.[110]; по этому поводу мы не станем повторять, что культура

и этнос не идентичны, а напомним лишь, что распространение культурных волн (которые всегда были больше сродни моде [111], чем обычно думают) не предполагает всякий раз перемещения самих носителей культуры, самой среды. Небезразличны для нас, далее, и новые или реновированные теории малоазиатско-передневосточной прародины индоевропейцев [112]. Индоевропейский и даже архаический характер отдельных хеттских гидронимов древней Анатолии мало что меняет, и он не может отменить дохеттской (западнокавказской?) принадлежности субстратного языка хаттов. Допускаемая и по этой теории вторичная северопонтийская, европейская прародина индоевропейцев Европы, пришедших сюда очень давно будто бы в результате миграции путем West by East в обход Каспийского моря или через Кавказ, тоже не удовлетворит нас, потому что при этом не объясняется главное: образование древнеевропейской гидронимии. Существенно, что ничего отдаленно напоминающего этот компактный ономастический ландшафт нет ни в Малой, ни в Большой Азии, хотя там ее зафиксировали бы древнейшие письменные традиции передневосточных цивилизаций. Компактный древнеиндоевропейский ономастический ареал мы находим только в Европе, и диагностическое значение этого факта трудно переоценить в вопросе древней локализации индоевропейцев. Его не могут ослабить попытки отыскать доиндоевропейские элементы в индоевропейском слое [113], сами по себе не очень убедительные (почему, например, нужно считать *kar- 'камень' доиндоевропейским?), хотя, как мы теперь знаем (см. выше), инородные включения в праязыковом ареале — нормальное явление. Его не могут дискредитировать, с другой стороны, наивные попытки найти «das letzte Indogermanisch» в «северо-западном блоке» на нижнем Рейне (ареал гидронимов на -ара, некельтских и негерманских), который (Indogermanisch) якобы не выдержал трудных условий жизни в зоне германско-римских военных действий к началу н. э.[114].

Дунайский регион. Предполагая, таким образом, тесную взаимосвязь и значительное совпадение ареалов древнеевропейской гидронимии и собственно праиндоевропейского ареала заселения, мы считали бы целесообразным прислушаться к мнениям тех ученых разных специальностей, которые давно обратили внимание на дунайский регион, ср. констатируемую антропологами иррадиацию дунайского круга еще в неолите [115], вскрываемые археологами балканско-дунайские влияния и распространение отсюда в Северное Причерноморье злаков, скота, металла в V—IV тысячелетиях до н. э.[116]. Существенно, что на Среднем Дунае и на Украине отмечается раннее одомашнивание лошади (V—IV тысячелетие до н. э.) [117]. Конечно, здесь ведутся споры, причем по самому главному вопросу — считать древний придунайский (дунайско-балканский) очаг цивилизации этнически индоевропейским или доиндоевропейским. Однако мнения об индоевропейской принадлежности, скажем, ареала линейно-ленточной керамики V—IV тысячелетий до н. э. (в том числе — трипольской куль-

туры) не единичны. Наиболее радикальное выражение этих взглядов — теория дунайской прародины индоевропейцев [118]. Разумеется, сознаваемая ныне с особенной остротой сложность проблемы реконструкции древних лингвоэтнических отношений, а также сложность самих этих отношений (а не простота и исходное единство, о чем — выше) побуждают не идти дальше признания несколько расплывчатого древнего ареала обитания, т. е., скажем, допущение древнего индоевропейского дунайско-балканского ареала отнюдь не исключает отнесения сюда же части территории Украины и, возможно, других соседних областей, как не исключает оно и присутствия неиндоевропейских элементов хотя бы в части этого ареала. Но дилемма — праиндоевропейская Европа или Азия — лингвистически решается все-таки в пользу Европы. Центральноевропейская локализация отвечает и структурно-типологической характеристике индоевропейского — между уральскими и северн окавказскими языками [119]. Весьма существенные ограничительные критерии получаем мы и с другой стороны. До тех пор, пока датировки индоевропейской дифференциации и расселения не шли вглубь дальше II—III тысячелетия до н. э., археологи и индоевропеисты особенно немецкой школы (или школ) всерьез считались с возможностью северноевропейской (прибалтийской) прародины, полагая, что конец оледенения на Севере очень далек и его можно не принимать в расчет [120]. Но сейчас индоевропейские датировки углубляются и удревняются, они практически современны концу очищения Северной Европы ото льда — около 4000 г. до н. э., а это делает просто невозможной северную локализацию прародины. Север стал заселяться только после этой даты и только с юга [121], что лишь усиливает шансы Центральной Европы.

Праславяне на Дунае. С концепцией центральноевропейского ареала древних индоевропейцев связана и теория дунайской прародины славян, как она традиционно называлась и по распространенному мнению отвергалась наукой нового времени [122]. Между тем заложенное в ней рациональное ядро дает право возвратиться сейчас к рассмотрению ее фактической возможности и к исторической увязке с другими разновременными ареалами обитания славян. Дунайская теория, впрочем, никогда не утрачивала полностью своей привлекательности, и голоса в пользу ее реабилитации раздавались и прежде, и недавно в нашей литературе, но это были, например, выступления этнографов, слабо или просто недоброкачественно обоснованные лингвистически [123]. Предмет объективно труден, и не приходится думать о едином решении всех сложных вопросов, но материал для конкретных суждений и для пересмотра все-таки накопился, и не в интересах науки надолго откладывать его обсуждение.

Славяне восточные, западные, южные. О восточных славянах справедливо сказано (Б. А. Рыбаков), что для них история начиналась на юге. В самом начале мы уже говорили о народной памяти о Дунае, все еще живущей среди восточных славян.

Конечно, вопрос о древнем среднеднепровском ареале славян продолжает стоять и сохраняет свое значение, особенно как исходный ареал для дальнейшего развития собственно восточного славянства. Единственное, на чем, видимо, не следует настаивать — это (в свете изложенного ранее) на его четкой отграниченности и универсальности для всех времен и для всех славян. Не исключено, что для каких-то предшествующих периодов (см. отчасти выше) среднеднепровский ареал славян был лишь частью (периферией) более крупного, иначе локализованного пространства [124].

Польские (и шире — лехитские) территории были освоены славянами лишь вторично, и обратного не удалось доказать польской этногенетической и лингвистической школе, несмотря на наличие здесь ярких достижений и эффектных разработок, по степени оснащенности комплексной аргументацией почти не имеющих себе равных. Однако есть серьезные доводы, которые сводят на нет результаты польского автохтонизма. Меньше всего могут рассчитывать на успех крайние точки зрения, например, стремление обязательно доказать славянское происхождение названий рек Wisła, Odra, Noteć и др.[125]. Впрочем, и среди польских сторонников прародины славян по Одеру и Висле признается спорность происхождения и вторичная славизация ряда гидронимов этого района [126], указывается на неоспоримость единственно того факта, что гидронимия по Одеру и Висле носит индоевропейский характер [127], а это равносильно допущению возможности пребывания здесь также других племен [128]. Конечно, мы далеки от мысли прибегать в этом дискуссионном вопросе о висло-одерской прародине славян к старой (и не оправдавшей себя) аргументации, доказывавшей автохтонность этноса через отсутствие инородных названий в ареале обитания; мы знаем, что и присутствие таковых не исключает само по себе возможной исконности пребывания данного этноса. Просто ставка Лер-Сплавинского и его школы на исконно славянскую принадлежность макрогидронимов Польши оказалась вдвойне ненадежной: 1) гидронимы эти допускают более широкую индоевропейскую (скорее всего — не славянскую) мотивацию, 2) макрогидронимы, как указывается в последнее время, этногенетически не показательны [129]. Таким образом, возможность исконно славянского пребывания и тем более — конституирования славянского этноса на польских землях — не самая вероятная из возможностей. В этой связи приобретают значимость различные сигналы о вторичности появления славян на польских и шире — большей части западнославянских земель, ср., например, выдвинутый нами ранее тезис о вторичной окцидентализации серболужицких языков, прослеживаемой на составе лексики, отличном от других западнославянских [130]. Серболужицкие территории заселялись славянами в значительной степени с юга [131], а не с востока, как ожидалось бы по висло-одерской теории. Видимо, и польские земли заселялись славянами с юга, как об этом рассказывает Повесть временных лет в эпизоде о во-

лохах, древним характером которого мы займемся ниже. Отношение этнонима вислянских (польских) полян и схожего, но темного, дославянского племенного названия *буланы*, Βούλανες (Птолемей) [132] говорит о славизации, а не об автохтонности. Тем более сомнительны попытки трактовать северо-западное славянство как родину сначала восточных, а потом — южных славян [133]. Отсутствие пражской керамики, земляночных жилищ и урновых погребений — сожжений между Одером и Вислой [134] довершает сомнительность изначально славянского характера именно этих территорий.

Славянская ономастика Подунавья; сравнительный возраст этнонимии и антропонимии. Южные славяне — пришельцы на Балканах, но пришли они, по-видимому из относительно ближайших мест, откуда они могли проникать путем ранней инфильтрации и на Восток и на Север. Еще Копитар думал о праславянах на Дунае и о Паннонии как центре их миграции [135]. Считается, что Нидерле положил конец этой старой теории, хотя, строго говоря, ни археология, ни историческое языкознание (ономастика) не могли тогда (да вряд ли смогли бы и позже) предоставить в распоряжение Нидерле систематическую и полную отрицательную аргументацию. Впрочем, и Нидерле готов был допустить существование островов славян среди иллирийцев и фракийцев с первых веков нашей эры и признавал славянское происхождение названий Vulka, Vrbas, Tsierna, Pathissus [136], как и опровергаемый им Шафарик [137]. Версия о приходе славян «откуда-то» родилась в свое время из неправильно истолкованного молчания греческих и римских авторов о славянах как таковых. Шафарик справедливо оспорил ложный вывод о том, что славян в ту эпоху не было вообще [138]. Мы сейчас в состоянии достаточно конкретно оценить эту ситуацию, считая, что этноним (аутэтноним) *славяне* (который, кстати, уже у Шафарика правильно связан со *слово* при помощи аналогии др.-рус. *кличане* [139]) — категория историческая, он существовал не всегда, был естественный период в жизни праславян, когда такой макроэтноним еще не требовался, без него прекрасно обходились. Этнонимия моложе антропонимии и вообще представляет собой относительно самый молодой раздел ономастики, потому что предполагает развитое коллективное самосознание. Здесь уместно напомнить, что у славян и антропонимия оказывается более новой, молодой по составу и образованию на индоевропейском фоне [140], что вполне уживается с архаической характеристикой языка славян. Эту историческую особенность антропонимии, пожалуй, упускают из виду даже сами ономасты, делая прямые заключения на основе, скажем, отсутствия славянских личных имен в античной северопонтийской эпиграфике об отсутствии в этих местах самих славян. Точнее было бы теперь сказать так: славянская антропонимия в нашем понимании тогда еще не сложилась, а сами славяне бывали и в этих местах, о чем, кажется, говорят славяно-иранские связи скифского времени, а также возможные славяно-индоарийские связи приблизи-

тельно той же эпохи. Молодость славянской антропонимии удобна для нас своей датирующей потенцией: наличие в ней иранских влияний говорит о том, что эти влияния (славяно-иранские контакты) не следует слишком рано датировать. Относительно не устоявшийся характер как этнонимии, так и антропонимии дунайских славян уже в довольно позднее время явствует из примера личного имени моравского князя Pribina, которое мы реконструируем и этимологизируем как кличку *prijěbina, поскольку о Прибине доподлинно известно, что он — filius ex alia coniuge [141], ср. сюда же словен. prijebiš 'внебрачный' (Pleteršnik).

Таким образом, в жизни славян (на Дунае и в прилегающих землях) был период, когда этноним *slověne отсутствовал, и это зафиксировали античные писатели. Когда писатели византийского времени упоминают о славянах-склавенах, они связывают это имя опять-таки с населением околодунайских районов; особенно четко это представлено у Иордана, где говорится, что севернее склавен живут венеты, а к востоку, за Данастром, — анты. Периферийные венеты, венеды и анты — тоже славяне, но они названы заимствованными именами, как часто бывает в пограничных районах, а срединные склавены-славяне носят свой исконный аутэтноним.

Венгры, осваивая свою страну, застали там густое славянское население и славянскую топонимию. Разнообразие типов последней показывает ряд примеров из книги Я. Станислава (в венгерской, румынской графике и реконструкции автора): Tîrnava, Sztruga, *Bъrzъ, *Rěčina, *Bystrica, *Sopot, *Toplica, *Kaliga, *Bělgrad, *Prěvlak, *Konotopa, *Dьbricinъ, *Požega, *Črъnъgradъ [142]. Эти и подобные им названия распространены в Паннонии и Потисье, т. е. по обе стороны Дуная. Особенно обращает на себя внимание водная номенклатура, топонимия Потисья, ее преемственность с давнего времени. Основной гидроним района — название реки Тиса, левого притока Дуная, затем группа территориально и структурно близких гидронимов — *Марош*, левый приток Тисы, *Самош*, также приток Тисы, *Темеш*, река в Банате. Название *Тиса* (венг. Tisza, рум. Tisa, нем. Theiß), очевидно, продолжает форму *Tīsā, индоевропейского происхождения, скорее всего неславянского [143]. Весьма любопытно, что древняя запись Pathissus, -um у Плиния (I в. н. э.) отражает не столько название реки, сколько название местности на ней, типично славянское сложение с префиксом pa- = po-, ср. *Поморье*, *Полабье*, *Подунавье*, *Посулье* [144] (прочие записи, скорее дефектные, и иные объяснения здесь опускаем). *Марош* (венг. Maros, рум. Mureş) известен, начиная с геродотовской формы Μάρις, и в общем единогласно возводится к и.-е. *mori 'море' [145], а суффикс, также индоевропейского происхождения, имеет, по-видимому, славянскую огласовку (-is-i̯o- > -išь), к тому же объединяющую несколько гидронимов только этого района, а именно упомянутые также *Темеш* (венг. Temes) с не вполне ясной историей, но, по-видимому, через промежуточное слав. *tьm-išь 'темная (река)', связанное с близким

иноязычным индоевропейским названием, ср. англ. Thames, древнее, доанглосаксонское Tamesis; наконец, *Самош* (венг. Szamos, рум. Someş), без соответствий за пределами славянского; в последнем случае Георгиев допускает образование от слав. *somъ 'сом, Silurus glanis'[146].

Древний возраст этой гидронимической группы очевиден, а также вероятно конкретное участие славянских основ и формантов в ее образовании, как, впрочем, и тесное славянско-индоевропейское взаимодействие, затрудняющее даже различение разноязычных компонентов и их атрибуцию (балканско-индоевропейский? кельтский?). Необходимо отметить, что современный исход на -š (*Марош*, *Самош*, *Темеш*) унаследован венграми от прежде живших здесь славян [147], в языке которых он явился преобразованием более древнего -sjo-.

К славянскому топонимическому фонду относится, вероятно, название населенного пункта «на границе Венгрии и Валахии» Tsierna (римская надпись II в. н. э.), Δίερνα (Птол.), Tierna (Tab. Peut.), на что обратил внимание уже Шафарик в связи с местонахождением Tsierna на реке Черна [148], хотя Георгиев видит здесь дакское Tsierna, Tierna < и.-е. *kʷer(ə)sna 'черная'[149].

Совершенно особую проблему в этом ряду представляет венгерское название исторической области в верховьях Тисы — комитата Máramaros, *Мармарош*, рум. Maramureş, первоначально — название небольшой местной реки. Высказывалось мнение, что здесь представлено удвоение все того же и.-е. *mori 'море'[150]. Конечно, близость вышеназванного гидронима Maros бросается в глаза, но состав целого требует объяснения, которое может оказаться несколько иным. Невольно вспоминается тут загадочное название «северного океана», которое Плиний с чужих слов приписывает кимбрам — Morimarusa: Philemon Morimarusam a Cimbris vocari, hoc est mortuum mare 'Филемон ‹сообщает›, что он (северный океан) у кимбров называется Morimarusa, то есть мертвое море' (C. Plin. Sec. Nat. hist. IV, 13). Кимбры — германское племя, но выражение Morimarusa — явно негерманское. Описываемые Плинием здесь же «берега Скифии» и выбрасываемый волнами янтарь свидетельствуют о том, что речь идет о Балтийском море, а сведения получены с Янтарного пути, который пролегал через Среднее Подунавье. Отсюда, видимо, и происходит в результате неточно паспортизованной информации и плиниевское Morimarusa, о котором можно довольно уверенно сказать, что это выражение на индоевропейском (негерманском) языке и глоссируется оно у Плиния весьма правдоподобно: 'mortuum mare, мертвое море'. На основании глоссы членить его следует как mori marusa, выражение из двух слов, первое из них — и.-е. *mori, а второе, видимо, носитель значения 'мертвое', без натяжек идентифицируется как прич. прош. вр. на -us- ('умершее'). Название моря в этой форме могло быть у кельтов, которые были на Среднем Дунае, но в кельтском не было причастий на -u̯es, -u̯os, -us, известных в индоиранских, греческом, балтийских, славянских [151]. Нам оста-

ется лишь высказать гипотезу, что Máramaros = Morimarusa и что здесь отражено праслав. *mor'e mьrъše (или раннепраслав. *mari mrŭsja?) 'умершее море'. Исследователи отмечают существование в Потисье значительного района затопления вплоть до недавнего времени [152]. Очень близкую к славянской форму названия моря имел, по-видимому, также фракийский, ср. сложный этноним Μαριανδυνοί, Mariandyni, название обитателей приморского района Малой Азии — от *marian 'море', но Morimarusa — не фракийское название. Морская семантика и.-е. *mori применена в нем к внутриконтинентальному разливу фигурально, ср. и (фигуральное) употребление здесь причастия 'умершее'.

Мнение о том, что праславянская территория была значительно ближе к балканско-анатолийским культурам, чем принято обычно думать, высказывал Будимир [153]. Вообще проблема дунайской прародины славян имеет сторонников в югославской исторической и археологической науке [154]. К этому следует добавить отмечавшееся и в нашей литературе большое совпадение ареала пражской (достоверно славянской) керамики и распространения склавен по Иордану в основном на Среднем Дувае [155].

Кельты и славяне. С середины I тысячелетия до н. э. для славян, как и для других племен, живших в Дунайской котловине, возникла кризисная ситуация в связи с экспансией кельтов. На территорию Чехии и Подунавья проникли бои и вольки-тектосаги (вольки — «любители странствий»). Последние, выйдя из Галлии и двигаясь на восток вдоль южных границ тогдашнего германского ареала, приобрели известность под германизированным именем (герм. *Walhōz < галльск. Volcae [156]). Экспансии кельтов сопутствовал их культурный подъем в гальштатское и позднее — в латенское время IV—III вв. до н. э. В Чехии, Моравии и Паннонии возник симбиоз местного населения с кельтами [157]. С этого момента начался контакт славян с волохами, как назвала кельтов начальная русская летопись, отразив германскую форму. Верную мысль Шафарика о том, что волохи — это кельты [158], не смогло расшатать позднейшее комментаторство. Помимо культурного влияния кельтов в условиях мирного симбиоза, дело не обошлось и без военного нажима, в результате чего значительная часть славян была потеснена на север. Этот важнейший фрагмент славянской и европейской истории запомнила славянская народная традиция и отразила спустя больше тысячи лет в русской летописи. Лаврентьевская летопись. Повесть временных лет (ПСРЛ, т. I. 2-е изд. Л., 1926), л. 2 об.—3: Волхомъ бо нашедшемъ на Словѣни на Дунайскиꙗ. [и] сѣдшемъ в ни^х^. и насилающемъ им^ъ^. Словѣни же ѡки пришедше сѣдоша на Вислѣ. и // прозвашася Лахове. Ипатьевская летопись (ПСРЛ, т. II, вып. 1. 3-е изд. Пг., 1923), л. 4: Волохомъ бо нашедши^м^ на Словены. на Дунайскые. и сѣдшимъ в нихъ. и насилающимъ имъ. Словѣни же ѡки пришедше и сѣдоша. на Вислѣ и прозвашася Лаховѣ. — Ушли не все славяне, и летопись, далее, рассказывает, что угри (венгры), придя сюда долгое время спустя, —

(Лавр. лет., л. 8 об.). . . почаша воевати на жиоуцяа ту. Волхі. и Словѣни сѣдаху во ту преже Словѣни. и Волъхве. приіаша землю Словеньску посемъ же Оугри прогнаша Волъхи. и наслѣдиша землю [ту]; Ипат. лет., л. 10: . . . и почаша воевати на жвуцяа ту сѣдаху во ту преже Словене. и Волохове. переіаша землю Волыньскую (вар. словенскоую). по семъ же Оугре прогнаша Волохы. и наслѣдиша землю ту.

Ко времени венгерского пришествия содержание этнонима *волохи*, конечно, могло измениться, но сводить его только к обозначению романизированного населения[159] было бы не совсем верно, как о том свидетельствуют возможные кельтские остатки в языке самих венгров. Так, в венгерском сохранилось старое обозначение славян, живущих в Венгрии, словом tót < *tout, первоначально '(простой) народ', ср. др.-ирл. tūath 'народ, племя, страна', кимр. (уэльск.) tūd 'страна' (*teutā); слово прослеживается и в иллирийской ономастике, но венграми вполне могло быть перенято у кельтов-волохов, обозначавших им местных славян. Другой возможный реликт — венг. mén 'жеребец', стар. Menu-, считаемое неясным[160]; ср. mannus, галльское название низкорослой лошади (в латинском), также с возможными иллирийскими связями.

Славяне, отступившие к северу, на Вислу, увлекли за собой кельтов. В Южной Польше констатируются сильные кельтские влияния, в частности в металлургии, следы сосуществования кельтов со славянами[161], топонимия кельтского происхождения, например, название гор Pieniny, которое происходит, конечно, не от славянского названия пены, а занесено кельтами и этимологически тождественно названию гор Pennine в Англии от кельт. pennos 'голова'. Археологи связывают прямо с кельтами наблюдаемый в погребениях пшеворской культуры обычай сгибания загробных даров и прежде всего — оружия, мечей[162]. Невольно при этом вспоминается лексическая группа слав. *gybnǫti, *gybělь 'гибнуть', 'гибель' из первоначального 'сгибать', 'сгибание'. Не ограничиваясь этим районом, кельты и кельтские влияния шли также на восток, на территорию Правобережной Украины и Северного Причерноморья. Галатов, т. е. галлов, упоминает буквально у стен Ольвии эпиграфический декрет Протогена III в. до н. э.[163]. Спицын обнаружил много предметов гальштатской культуры на Немировском городище скифского типа в Подолье, уместно вспомнив при этом, что Эфор называл кельтов соседями скифов[164]. Неудивительно поэтому наличие на Украине древних следов кельтов в географических названиях, как, например, Καρροδοῦνον (букв. 'каменный город', кельт.), отождествляемое с Каменец-Подольском[165]. В этой связи название *Галич*, *Галичина*, *Галиция* вероятно сближать с именем галатов[166]. Присутствие определенного латенского компонента также в среднеднепровской зарубинецкой культуре[167] вызывает у исследова-

телей предположение о ранней инфильтрации кельтов вместе со славянами и в пределы Правобережной Украины.

Кельтско-славянские языковые и этнические отношения — традиционно весьма дискуссионная проблема. Для их обсуждения явно недоставало реальной исторической базы, чем была вызвана неудача обширных построений Шахматова [168], отождествившего кельтов с венедами древних авторов и поместившего кельтско-славянские контакты у Балтийского моря. Висло-одерская теория Лер-Сплавинского тоже, скорее, противоречила его же допущению кельтско-славянских контактов, которые могли стать тесными только на более южных территориях. В результате можно сказать, что мы все еще плохо представляем себе эти отношения. Выше уже говорилось кратко, что «кентумными» элементами своего словаря славянский обязан в значительной степени кельтам, что было продемонстрировано на вероятном примере кельт. carvos 'олень' — праслав. *korva 'корова'. Еще одним возможным случаем этого рода является праслав. *konь 'конь, лошадь', до сих пор не имеющее удовлетворительной этимологии (каковой едва ли можно считать попытку объединить в одной парадигме «kom(o)nь, *kobnь, *kobyla). Кажется более перспективным привлечь кельт. (галльск.) *kankos/*konkos 'лошадь', сохранившееся в остаточных формах и в антропонимах и родственное др.-исл. Há- 'лошадь', hestr, др.-в.-нем. hengist, нем. Hengst 'жеребец' [169], сюда же лит. šankùs 'проворный, быстрый', все вместе — из и.-е. *k̑a(n)k- 'скакать', с носовым инфиксом. Кельт. *kanko-/*konko- 'скакун' было интерпретировано при заимствовании как славянский деминутив на -k- суффиксальное, почему первичными можно считать славянские формы *konikъ, *konьkъ, откуда лишь вторично, на славянской языковой почве — слав. *konь. Кельтский мир не однажды обогащал своих соседей лошадиной терминологией, ср. уже упоминавшееся галльско-латинское название пони — mannus из кельт. *mandos и, конечно, нем. Pferd из греческо-кельтского гибрида paraverēdus.

Проблема нервов. Без обращения к кельтскому, видимо, не решить важнейшую проблему древней истории и этногенеза славян — проблему невров. Кто были невры? — В ответах на этот вопрос царит удивительное разнообразие.

В древней этногеографии Северного Причерноморья, дошедшей до нас благодаря Геродоту, невры располагались на запад от скифов, на рубеже с агафирсами, т. е. балканским миром. Это определяло этническую идентификацию невров последующими учеными. Шафарик видел в них «виндов», т. е. славян [170], как и в наше время — Лер-Сплавинский, Мошинский, ряд советских археологов [171]. Кипарский и вначале Чекановский, сопоставив названия Νευροί и ziemia Nurska на границе Польши и Украины, сочли невров неразделившимися балтославянами эпохи до перехода дифтонга eu в балт. jau и слав. (j)u, причем Кипарский даже проэтимологизировал название этих балто-славян как 'понурый, печальный', ср. лит. niaurus [172]. В последнее время все больше

видят в неврах балтов, даже — восточных балтов [173]. А между тем после изложенного выше о кельтах и их передвижениях всего естественнее допустить кельтскую принадлежность геродотовских невров, указав на связь их названия с названием племени Nervii в Галлии [174] тем более, что ни у балтов, ни у славян мы не знаем этнонима, близкого имени невров. Различие форм Νευροί и Nervii — скорее диахронического и диалектного характера. К тому же в литературе уже указывалось, что у Аммиана Марцеллина упоминаются неврии у истоков Борисфена (Припяти?), а у Плиния в тех же местах — невры [175].

Кроме того, из античной поэзии известно весьма любопытное и показательное описание невра: te modo viderunt iteratos Bactra per ortus,/ te modo munito Neuricus hostis equo. Sex. Propertii. Elegiarum IV, 3, 7—8 (recensuit M. Schuster. Lipsiae, MCMLIV, p. 142); в русском переводе: Видели Бактры твое многократное в них появленье, Видел и невр-супостат, в броню одевший коня. . . — Согласимся, что невр, восседающий на бронированном коне (munitus equus), о котором пишет «нежная Аретуза» в письме своему Ликоту на восточный фронт, мало похож на раннего славянина по данным, которыми располагает наука. Зато известно, что кельты латенского времени были искусными металлургами, железоделателями и кузнецами. И германцы, и затем — славяне переняли кельтское название нагрудного панциря [176].

Как уже было сказано выше, из Галлии в Подунавье проникают бои и вольки-тектосаги. Дальше — на Висле и в Галиции, на Волыни — вольки прямо уже не прослеживаются, выступают невры, племя под другим названием. Однако вот что рассказывает о неврах Геродот: «Скифы и эллины, живущие в Скифии, говорят, что раз в год каждый из невров превращается в волка на несколько дней и снова обратно становится тем, чем был» (Herodoti historiae IV, 105. Recognovit C. Hude. Oxonii, 1976). Можно, конечно, как это нередко и делается, находить здесь корни славянских поверий о волколаках, вурдалаках. Но вполне вероятно, что дело здесь не столько в суевериях вокруг ликантропии, сколько в ритуально поддерживаемой и обновляемой памяти этноса о своих родственных связях. Периодическое «превращение» невров в волков обращает наше внимание на тот факт, что кельтский этноним Volcae этимологически значил 'волки' (иные объяснения, напр., к ирл. folg 'проворный, живой' [177], неубедительны), и это несмотря на то, что и.-е. *u̯lk^wos 'волк' почти повсеместно и очень рано вытеснено в кельтских языках, очевидно, по мотивам табуизации, за вычетом слабых реликтов в антропонимии и т. д., а также несмотря на то, что собственно кельтское (древнеирландское) продолжение индоевропейского слова для волка имело бы форму *flich-/*flech- [178]. Табуизация и вообще маркированность этнонимии объясняют присутствие в таких случаях как бы «перекрестных изоглосс» (термин В. И. Абаева), объясняющих построение термина 'волк' и этнонима 'Волки' как бы не совсем по правилам

своего языка (вспомним «неправильное» лат. lupus вместо правильного *volcus, *vulcus). Вольки-тектосаги р[illegible] в Подунавье неподалеку от племен даков (этим[illegible] 'волки'). У даков, как позднее и у румын, в[illegible] у почву легли представления о волках-оборотнях [17][illegible]шено интереса то, что слав. *vьlkъ 'волк', полностью от[illegible]ствующее в антропонимии большинства славянских языков, выступает в личных именах части южных славян — у сербов, хорватов [180].

Языковые связи и культура (славяне, кельты, иранцы, индоарийцы). Кельты к северу и к востоку от Карпат совершенно растворились среди славян. В этом конечный смысл эпизода невров, в котором не участвовали балты. Очень многое сгладилось за тысячелетия, прошедшие с тех пор, хотя несколько слов, которые породило кельтское влияние, до сих пор занимают важное место в славянском словаре. Эта лексика и это влияние, как мы отчасти рассмотрели выше, касались почти исключительно материальной культуры, почти не затронув идеологии, и в этом — полное отличие от славяно-иранских контактов, которые, сохраняя также свою проблематичность в ряде вопросов, несомненно затронули в первую очередь идеологию, религиозную и социальную сферу жизни праславян, но не их материальную культуру. Не очень отличаясь по времени от кельтско-славянских отношений (особенно если учесть реальность даже непосредственных кельтско-скифских контактов, как бы перекрывающих славянское пространство, ср. выше свидетельство Эфора и данные археологии), славяно-иранские отношения не только фиксировались на восточной периферии славянства, где постепенно, как полагают, дело дошло до симбиоза славян и иранцев в черняховской культуре первых веков нашей эры [181], но и проявлялись в результате глубоких проникновений иранских племен в славянский ареал, что ярким образом, хотя и косвенно продемонстрировало существование ранних праславянских диалектов задолго до того времени, для которого о них считала возможным говорить славистика 50—60-х годов [182]. Часть древних иранизмов не вышла за пределы (части) предзападнославянских диалектов. В этом смысл феномена, который был в свое время мной описан и приблизительно обозначен как «polono-iranica» [183], когда, например, лексический (социальный) иранизм *(gъ)panъ 'господин' охватил только часть западнославянского (без серболужицких). Иранских влияний ожидали только с востока и на востоке, поэтому понятна реакция Кипарского, который в беседе о моих polono-iranica сказал мне: «Вы поставили все с ног на голову». Однако археологии давно известны набеги скифов в область лужицкой культуры (заходившей и на территорию современной Чехословакии), которые были вызваны, как полагают, походом персидского царя Дария на скифов в 512 г. до н. э.[184].

Славяно-иранские отношения начались, по-видимому, в основном около середины I тысячелетия до н. э. Они заметно коснулись славянской антропонимии, которая в это время только еще кон-

ституировалась, отделяясь от апеллятивной лексики; во всяком случае, если в славянском и существовали унаследованные древне-индоевропейские двучленные антропонимические модели, их [illegible]днение (и грамматическая модификация) испытали в [illegible]ранское влияние [185]. Характер этого влияния отражал в[illegible]е религиозно-социальной сферы, свойственной иранцам, скиф[illegible]ого времени. Но до глубокого воздействия на строй и звуковой состав праславянского языка дело, по-видимому, не дошло. Славянское *x*, которое нередко рассматривают как продукт славяно-иранских контактов [186], в значительной степени случайно совпало с иранским h, χ. Достаточно сказать, что в иранском это результат абсолютного перехода старого s (аспирация), в славянском — позиционно обусловленный процесс, объяснимый только условиями славянского языкового развития, которое привело к возникновению новых согласных, причем отчасти — в условиях сходных (стадия аффрикаты): ks > x; (и.-е. k̑ >) ts > s. Тенденция к постепенному повышению звучности, впоследствии так ярко выразившаяся в гласном облике славянской речи, задолго до того проявила себя в праславянских консонантных инновациях (здесь — дезаффрикация).

Правобережная Украина по крайней мере в I тысячелетии до н. э. уже была частью (периферией) праславянского лингвоэтнического пространства. Поскольку сейчас сложность древней этногеографии Скифии вырисовывается все более настойчиво и мы приходим к констатации реального сохранения на части (частях) ее территории, наряду с иранским (скифским), индоарийского (праиндийского) ее компонента или его реликтов, встает уместный вопрос о реальности также славяно-индоарийских контактов приблизительно в скифское время [187]. Эта констатация, опирающаяся на систематизированные аргументы и факты, при всех спорах, которые она породила и еще может породить, способна продвинуть науку вперед в этом вопросе, проливая новый свет на известные факты и выявляя новые. Достаточно назвать славянский теоним *Svarogъ и его выразительно древнеиндийское соответствие (источник) svargá- 'небо' [188]. Отмечается, таким образом, индоарийский вклад в праславянскую теонимию, что само по себе характеризует уровень этих контактов, отчасти напоминающих славянско-иранские; далее, отмечается такой индоарийский компонент в составе ранней славянской этнонимии, как название народа *sьrbi, *сербы* [189], его возможное вхождение (при сколько угодно крутой смене этнического состава самих носителей) в праславянский ареал со стороны Побужья (геродотовская Старая Скифия с ее индоарийскими, «староарийскими» связями). Иную крутую траекторию проделал славянский этноним *хъrvati, *хорваты* — от иранского (сарматского) Приазовья до средиземноморской Адриатики, от иранского антропонима — до славянского этнонима. Основной корпус остальных славянских этнонимов своими структурными особенностями (-n-, -t-суффиксация) тяго-

тает к иллирийской и фракийской этнонимии, возвращая нас, таким образом, в Подунавье [190].

В славяно-иранских (и славяно-индоарийских?) отношениях был возможен момент симбиоза. Иначе складывались пограничные контакты балтов, обосновавшихся в Верхнем Поднепровье, и иранцев, — контакты, лингвистически и археологически вполне реальные [191] как финал относительно поздней экспансии балтов в юго-восточном направлении, но в чем-то отличные, скажем, от славяно-иранских (схождения в лексике материальной культуры, высокая сфера не затронута).

На этом можно закончить очерк древних и древнейших языковых и этнических отношений праславян, их лингвоэтногенеза по данным языкознания, главным образом — этимологии и ономастики, — очерк, вынужденно краткий и схематичный, но с установкой на максимальную конкретность и выяснение отдельных узловых моментов, например, балто-славянских отношений и некоторых других, от которых подчас зависело решение всего комплекса вопросов. О решении всех вопросов говорить, естественно, не приходится, но можно сказать, что проблему собственного индоевропейского прошлого славян мы ставим более уверенно.

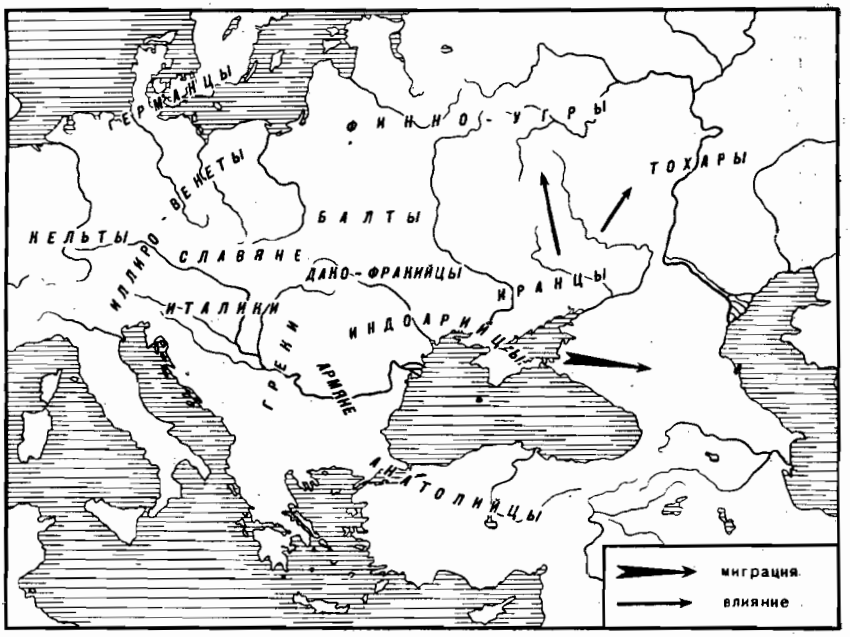
Хотя праславянские индоевропейцы видятся нам прежде всего как носители языка и мы, лингвисты, выяснив древнюю языковую ситуацию (как мы ее себе представляем), можем считать свою задачу выполненной, было бы крайне неутешительно остановиться только на этом, а тем более — декларировать, что мы бессильны восстановить древнюю жизнь и культуру через язык, что мы лишь подтверждаем уже известное из истории (крайне несправедливое мнение!) и имеем дело только с лингвистическими понятиями. Словом, было бы неутешительно останавливаться, когда так велик соблазн пойти дальше. Конечно, идти дальше (или в глубь веков) целесообразно, лишь прислушиваясь к трезвому разуму, а не к экстравагантным суждениям, на каждом шагу отдавая себе отчет в достижимости реконструкции, возможностях метода (или методов). Эти возможности велики, ответим мы охотникам их преуменьшать, но пока не беспредельны. В общем, я согласен с мнением, что «. . .для палеолита и мезолита. . . нет оснований допускать образования языковых общностей, следы которых дожили до исторических времен» [192].

Спорность определенного (значительного) числа этимологий — не повод для скепсиса или иронического неверия, но лишь обычная ситуация для наук объясняющих (не описательных). А для нас это сигнал, что надо упорно искать дальше. Конечно, в случаях диаметрально противоположных выводов прав скорее всего кто-то один; так, и.-е. *g^{u}er-n- 'жернов' — классический пример исконной лексики ввиду комплектности аблаута и полной мотивированности [193] или и.-е. *g^{u}er-n- менее мотивировано, чем его предполагаемое соответствие в семитском и потому заимствовано оттуда [194]? Этимология апеллятивной лексики и ономастики может

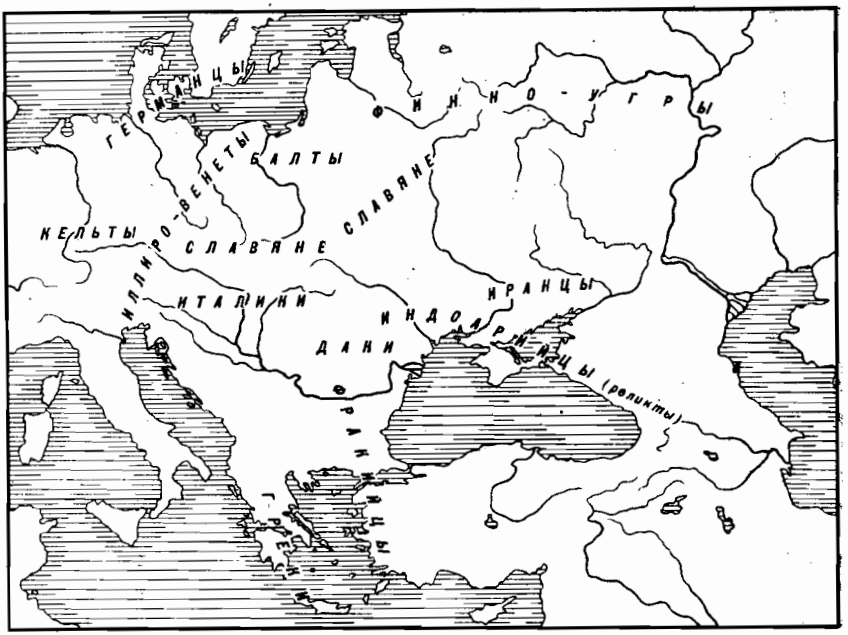
очень многое и уже сделала многое, поэтому мы должны быть внимательнее и бережливей к традиции, чем это имеет место. Например, в современной индоевропеистской литературе мы едва ли встретим указание, что славянский сохранил следы и.-е. *aḱu̯ā 'вода' или *eḱu̯os, -ā 'лошадь', а между тем еще Розвадовский довольно убедительно показал наличие слав. *osva 'вода', а также вероятность связи *eḱu̯os и *aḱu̯ā, причем и то и другое — к и.-е. *ōḱu- 'быстрый'; эти следы были выявлены в гидронимах *Осва*, *Освица* на балтийской периферии от Припяти до Западной Двины, но ничто не мешает принять славянский характер *osva из и.-е. *aḱu̯ā, поскольку древний балтийский рефлекс и.-е. ḱ был шипящим[195]. Не требует особых доказательств, что название реки *Ока* сюда не относится[196].

В случае с некоторыми другими словами традиция, наоборот, упорно держится неверного пути или ищет неверный выход из тупиковой ситуации, как, например, с этимологией слав. *korabjь '(преимущественно морское) судно' — из греч. καράβιον[197], из семитских[198]. Единственно вероятное здесь — предположить развитие ложного полногласия *kor-a-bjь < *korb-i̯o- 'корзиночный', ср. лат. corbita 'грузовое судно' < corbis 'корзина'. Относительно названного фонетического и словообразовательного явления могут быть приведены такие примеры, как схрв. *корак* 'шаг' : *крак* 'нога', польск. kołatać : kłócić и др., предполагающие еще праславянский возраст явления — до метатезы плавных. Это — из области отношений праславян к воде, морю, водному транспорту. На суше жили праславяне в селениях нередко круглой формы, о чем наряду с археологией[199] свидетельствует этимология праслав. *obьtjь из первоначального 'круглый'[200].

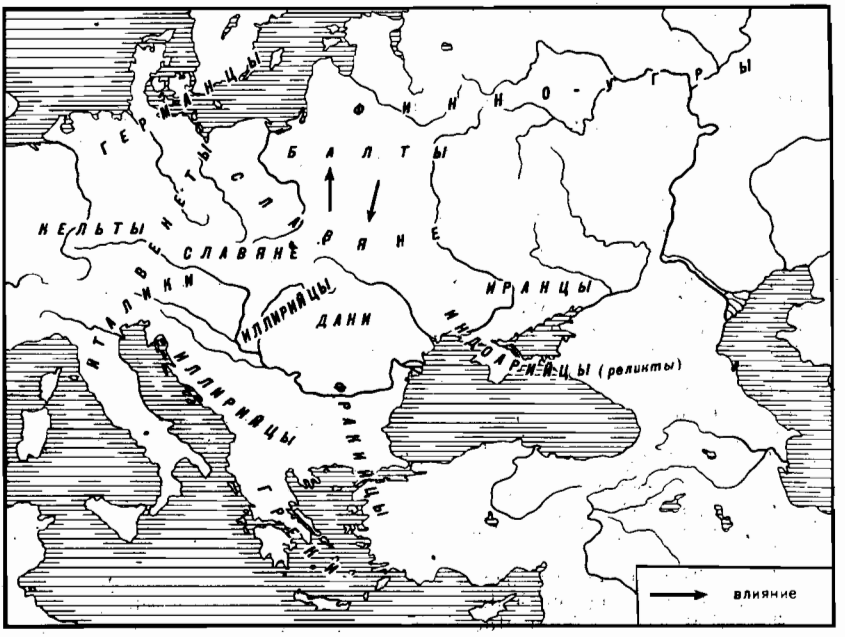
Начальные города славян (Киев). Актуален вопрос о городах у славян. Точка зрения, согласно которой лишь с X в. у них стабилизируется оседлый образ жизни, а с ним и топонимы, обозначающие города[201], несколько устарела. Сейчас наличие славянских городов, вернее — укрепленных городищ, предполагается уже в VI в.[202], в науке активно разрабатывается понятие зародышей городов («предгорода»), «протогородских» поселений, ранних городов у славян[203]. Весьма перспективным представляется исследовать проблему «начальных городов» у славян, оперируя понятием «полицентрический тип»[204]. Ситуация «полицентрического типа», конечно, возникала при образовании старых крупных городских центров — например, Киева. Это объясняет — на первый взгляд — странные показания древней ономастики, когда вначале до нас доходят (довольно смутные) сведения как будто о нескольких названиях древнего города, по крайней мере — двух (*Kyjevъ — *sǫvodъ), потом второе рано исчезает и остается единое — *Киев*. Объяснение может быть только одно: первоначально это были обозначения топографически разных мест, *Kyjevъ — городища Кия, а *sǫvodъ — Σαμβατάς Константина Багрянородного — местности (населенной) близ слияния Десны с Днепром (ср. там гидроним *Сувид*). Слившись, они (а вероятно,



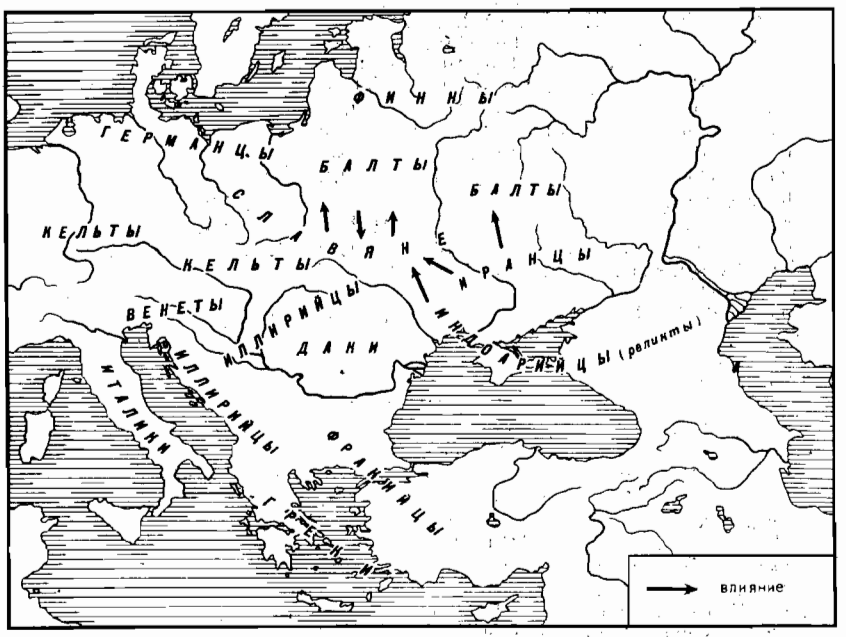
КАРТА 1. I период (III тысячелетие до н. э.)



КАРТА 2. II период (II тысячелетие до н. э.)



КАРТА 3. III период (1-я пол. I тысячелетия до н. э.)



КАРТА 4. IV период (2-я пол. I тысячелетия до н. э.)

еще и другие с ними) образовали единый город, один из ранних городов славян.

Пространственная проекция описанных древних и древнейших языковых отношений славян дана на четырех приложенных картах.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Этимологический словарь славянских языков. Под ред. О. Н. Трубачева. Вып. 1—8. М., 1974—1981; Słownik prasłowiański. Pod red. F. Sławskiego. T. 1—4. Wrocław—Warszawa—Kraków—Gdańsk, 1974—1981.

[2] Словник гідронімів України. Ред. кол.: А. П. Непокупний, О. С. Стрижак, К. К. Цілуйко. Київ, 1979.

[3] *Mallory J. P.* A short history of the Indo-European problem. — In: Hehn V. Cultivated plants and domesticated animals in their migration from Asia to Europe. Amsterdam, 1976, p. XLVII. (Amsterdam studies in the theory and history of linguistic science. Ser. I, vol. 7).

[4] *Moszyński K.* Pierwotny zasiąg języka prasłowiańskiego. Wrocław—Kraków, 1957, s. 152—153.

[5] *Lehr-Spławiński T.* O pochodzeniu i praojczyźnie Słowian. Poznań, 1946, s. 74—75.

[6] *Udolph J.* Studien zu slavischen Gewässernamen und Gewässerbezeichnungen. Ein Beitrag zur Frage nach der Urheimat der Slaven. Heidelberg, 1979, S. 367. (Beiträge zur Namenforschung. Neue Folge. Beih. 17).

[7] *Rudnicki M.* O prakolebce Słowian. — In: Z polskich studiów slawistycznych, ser. 4. Warszawa, 1973, s. 321 i nast.

[8] *Лер-Сплавинский Т.* — ВЯ, 1958, № 2, с. 45—49.

[9] *Кипарский В.* — ВЯ, 1958, № 2, с. 49.

[10] *Vasmer M.* Die Urheimat der Slaven. — In: Der ostdeutsche Volksboden. Herausg. von W. Volz. Breslau, 1926, S. 118—143.

[11] Цит. по: *Labuda G.* Alexander Brückner und die slavische Altertumskunde. — In: Bausteine zur Geschichte der Literatur bei den Slawen. Bd. 14, 1. Fragen der polnischen Kultur im 16. Jahrhundert. Vorträge. . . zum ehrenden Gedenken an A. Brückner. Bonn, 1978. Bd. 1. Giessen, 1980, S. 23, Anm. 28.

[12] *Solta G.* Gedanken zum Indogermanenproblem. — In: Die Urheimat der Indogermanen. Herausg. von A. Scherer. Darmstadt, 1968, S. 342.

[13] *Hensel W.* Etnogeneza Słowian. — In: Mały słownik kultury dawnych Słowian. Pod red. L. Leciejewicza. Warszawa, 1972, s. 438—439, 443—444; *Idem.* Etnogeneza Słowian. — Slavía Orientalis, 1974, roczn. XXIII, N 1, s. 85 i nast.

[14] *Королюк В. Д.* К исследованиям в области этногенеза славян и восточных романцев. — В кн.: Вопросы этногенеза и этнической истории славян и восточных романцев. М., 1976, с. 19.

[15] *Solta G.* Op. cit., S. 330.

[16] *Meйe A.* Общеславянский язык. М., 1951, с. 1.

[17] *Pătruţ I.* О единстве и продолжительности общеславянского языка. — RS, 1976, t. XXXVII, cz. I, s. 3 i nast.

[18] *Stieber Z.* Problem najdawniejszych różnic między dialektami słowiańskimi. — In: I Międzynarodowy kongres archeologii słowiańskiej. Warszawa, IX. 1965. Wrocław—Warszawa—Kraków, 1968, s. 97; Dyskusja. S. Urbańczyk. — Ibid., s. 171—172.

[19] *Порциг В.* Членение индоевропейской языковой области. М., 1964, с. 84.

[20] *Solta G.* Op. cit., S. 326.

[21] *Pisani V.* Indogermanisch und Europa. München, 1974, passim.

[22] *Polák V.* Konsolidace slovanského jazykového typu v širších východoevropských souvislostech. — Slavia, 1973, ročn. XLVI.

[23] *Solta G.* Op. cit., S. 334.

[24] *Филин Ф. П.* О происхождении праславянского языка и восточнославянских языков. — ВЯ, 1980, № 4, с. 36, 42.
[25] *Popowska-Taborska H.* Rola i zakres argumentów językowych w badaniach etnogenezy Słowian. — In: Z polskich studiów slawistycznych, ser. 5. Warszawa, 1978, s. 377.
[26] *Silvestri D.* La varietà linguistica nel mondo antico. — Annali Istituto Orientale di Napoli, 1979, 1, p. 19, 23.
[27] Мнение Г. Лябуды см. в кн.: *Moszyński K.* Pierwotny zasiąg języka prasłowiańskiego, s. 115—116.
[28] *Рыбаков Б. А.* Новая концепция предыстории Киевской Руси (тезисы). — История СССР, 1981, № 1, с. 57.
[29] *Hirt H.* Die Heimat der indogermanischen Völker und ihre Wanderungen. — In: Die Urheimat der Indogermanen. Herausg. von A. Scherer. Darmstadt, 1968, S. 23.
[30] *Kossinna G.* Die indogermanische Frage archäologisch beantwortet. — Ibid., S. 97.
[31] *Мейе А.* Введение в сравнительное изучение индоевропейских языков. М.—Л., 1938, с. 59; *Lehr-Spławiński T.* O pochodzeniu i praojczyźnie Słowian, s. 95.
[32] *Pokorny J.* Substrattheorie und Urheimat der Indogermanen. — In: Die Urheimat der Indogermanen, S. 209.
[33] О древней диалектной сложности праславянской лексики см. впервые: *Трубачев О. Н.* Принципы построения этимологических словарей славянских языков. — ВЯ, 1957, № 5, с. 69 и след.; *Popović J.* Les noms slaves de 'printemps'. — Annali [del] Istituto universitario orientale. Sez. lingu. 1, 2. Roma, 1959, p. 184: слав. vesna, праиндоевропейского происхождения, никогда не было общеславянским, в южнославянском оно отсутствует.
[34] *Solta G.* Op. cit., S. 340.
[35] *Bednarczuk L.* Zagadnienie przedsłowiańskiej hydronimii Karpat. — Rocznik naukowo-dydaktyczny WSP w Krakowie. Prace językoznawcze II, 1973.
[36] *Polák V.* Slovanská pravlast s hlediska jazykového. — In: Vznik a původ Slovanů, I. Praha, 1956, s. 13, 23.
[37] *Никонов В. А.* — В кн.: IV Международный съезд славистов. Материалы дискуссии, т. II. М., 1962, с. 478.
[38] Там же.
[39] *Dickenmann E.* — Onoma, 1980, XXIV, S. 279. — Rec. ad op.: Udolph J. Studien zu slavischen Gewässernamen und Gewässerbezeichnungen.
[40] *Lehr-Spławiński T.* O pochodzeniu. . ., s. 28; *Sławski F.* Die Urheimat der Slaven im Lichte der Etymologie. — In: VIII Međunarodni slavistički kongres. Knjiga referata. Sažeci II. Zagreb, 1978, s. 812; *Idem.* Lexikalische Neuerungen im Baltisch-Slavischen. — In: Donum Balticum to Prof. Ch. S. Stang on the occasion of his seventieth birthday 15 March 1970. Stockholm, p. 501 a. follow.
[41] *Lehr-Spławiński.* Op. cit., s. 25 i nast.
[42] *Кипарский В.* — ВЯ, 1958, № 1, с. 50.
[43] *Lamprecht A.* Praslovanština a její chronologické členění. — In: Československé přednášky pro VIII mezinárodní sjezd slavistů v Záhřebu. Praha, 1978, s. 150.
[44] *Karaliūnas S.* — In: Frenkelis E. Baltų kalbos. Vilnius, 1969, p. 13.
[45] *Соболевский А.* Что такое славянский праязык и славянский пранарод? — Изв. II Отд. Российской АН, 1922, т. XXVII, с. 321 и след.
[46] *Pisani V.* Baltisch, Slavisch, Iranisch. — Baltistica, 1969, V (2), p. 138—139.
[47] *Lehr-Spławiński.* Op. cit., s. 114.
[48] *Горнунг Б. В.* Из предыстории образования общеславянского языкового единства. М., 1963, с. 49.
[49] *Иванов В. В., Топоров В. Н.* К постановке вопроса о древнейших отношениях балтийских и славянских языков. — В кн.: Исследования по славянскому языкознанию. М., 1961, с. 303; *Топоров В. Н.* К проблеме балто-славянских языковых отношений. — В кн.: Актуальные проблемы славяноведения. М., 1961, с. 213 (КСИС 33—34).

[50] Например: *Mažiulis V.* Apie senovės vakarų baltus bei jų santykius su slavais, ilirais ir germanais. — In: Iš lietuvių etnogenezės. Vilnius, 1981, p. 7.

[51] *Мартынов В. В.* Балто-славяно-италийские изоглоссы. Лексическая синонимия. Минск, 1978, с. 43; *Он же.* Балто-славянские лексико-словообразовательные отношения и глоттогенез славян. — В кн.: Этнолингвистические балто-славянские контакты в настоящем и прошлом. Конференция 11—15 дек. 1978 г. Предварительные материалы. М., 1978, с. 102; *Он же.* Балто-славянские этнические отношения по данным лингвистики.— В кн.: Проблемы этногенеза и этнической истории балтов. Тезисы докладов. Вильнюс, 1981, с. 104—106.

[52] *Schall H.* Südbalten und Daker: Väter der Lettoslawen. — In: Primus congressus studiorum thracicorum. Thracia II. Serdicae, 1974, S. 304, 308, 310.

[53] *Schmid W. P.* Baltisch und Indogermanisch. — Baltistica, 1976, XII (2), p. 120.

[54] *Mayer H. E.* Kann das Baltische als Muster für das Slavische gelten? — ZfslPh, 1976, XXXIX, S. 32 u. folg.; *Idem.* Die Divergenz des Baltischen und des Slavischen. — ZfslPh, 1978, XL, S. 52 u. folg.

[55] *Булаховский Л. А.* — ВЯ, 1958, № 1, с. 41—45.

[56] *Трост П.* Современное состояние вопроса о балто-славянских языковых отношениях. — В кн.: IV Международный съезд славистов. Материалы дискуссии, т. II. М., 1962, с. 422; *Бернштейн С. Б.* — ВЯ, 1958, № 1, с. 48—49.

[57] *Лер-Сплавинский Т.* — В кн.: IV Международный съезд славистов. Материалы дискуссии, т. II. М., 1962, с. 431—432.

[58] *Mayer H. E.* Die Divergenz des Baltischen und des Slavischen. — ZfslPh, 1978, XL, S. 57: прямое отражение вокализма и.-е. *prō-, *pō->слав. pra-, pa- и преобразование и. -е. *prō-, *pō->балт. *prā-, *pā-, иначе ожидалось бы регулярное балт. (лит.) *pruo-, *puo-.

[59] См., вслед за О. Н. Трубачевым: *Pohl H. D.* Baltisch und Slavisch. Die Fiktion von der baltisch-slavischen Spracheinheit. — Klagenfurter Beiträge zur Sprachwissenschaft, 1980, 6, S. 68—69.

[60] *Schmalstieg W.* Common innovations in the Balto-Slavic consonantal system. — IV Всесоюзная конференция балтистов 23—25 сент. 1980 г. Тезисы докладов. Рига, 1980, с. 86.

[61] См., вслед за Кноблохом: *Топоров В. Н.* Несколько соображений о происхождении флексий славянского генитива. — In: Bereiche der Slavistik. Festschrift zu Ehren von J. Hamm. Wien, 1975, S. 287 u. folg., 296.

[62] *Топоров В. Н.* К вопросу об эволюции славянского и балтийского глагола. — Вопросы славянского языкознания, вып. 5. М., 1961, с. 37.

[63] *Мейе А.* Общеславянский язык, с. 200.

[64] *Курилович Е.* О балто-славянском языковом единстве. — Вопросы славянского языкознания, вып. 3. М., 1958, с. 40.

[65] *Kuryłowicz J.* The inflectional categories of Indo-European. Heidelberg, 1964, p. 80.

[66] *Мейе А.* Общеславянский язык, с. 211.

[67] *Kortlandt F.* Toward a reconstruction of the Balto-Slavic verbal system. — Lingua, 49 (1979), p. 64 a. follow.

[68] *Иванов Вяч. Вс.* Отражение в балтийском и славянском двух серий индоевропейских глагольных форм. Автореф. докт. дис. Вильнюс, 1978. — Естественный вывод об индоевропейской самобытности и большей, сравнительно с балтийским, архаичности славянского глагола, несводимости его к балтийскому состоянию в работе, к сожалению, не сделан.

[69] *Савченко А. Н.* Проблема системной реконструкции праязыковых состояний (на материале балтийских и славянских языков). — Baltistica, IX (2), 1973, p. 143.

[70] *Meillet A.* Études sur l'étymologie et le vocabulaire du vieux slave. 2-e partie. Paris, 1905, p. 201—202; *Эндзелин И. М.* Славяно-балтийские этюды. Харьков, 1911, с. 1=*Endzelīns J.* Darbu izlase. II. Rīgā, 1974, l. 170; *Vaillant A.* Grammaire comparée des langues slaves. T. IV. La formation des noms. Paris, 1974, p. 13—14.

[71] *Топоров В. Н., Трубачев О. Н.* Лингвистический анализ гидронимов Верхнего Поднепровья. М., 1962, с. 236.
[72] *Birnbaum H.* O możliwości odtworzenia pierwotnego stanu języka prasłowiańskiego za pomocą rekonstrukcji wewnętrznej i metody porównawczej. — In: American contributions to the Seventh International congress of Slavists. Warsaw, Aug. 21—27, 1973. Vol. I, p. 57.
[73] *Pokorny J.* Die Träger der Kultur der Jungsteinzeit und die Indogermanenfrage. — In: Die Urheimat der Indogermanen. Herausg. von A. Scherer. Darmstadt, 1968, S. 309: автор указывает на глагольную систему финского (один презенс — один претерит) в связи с упрощением системы времени в германском. О финском субстрате теперешнего балтийского ареала см.: *Prinz J.* — Zeitschrift für Balkanologie, 1978, XIV, S. 223.
[74] *Топоров В. Н., Трубачев О. Н.* Указ. соч., с. 169—171: лит. Akležeris, Baltežeris, Gùdežeris, Juodežeris, Klẽvžeris, лтш. Kalnezers, Purvezers, Saulezers и другие сложения на -ežeris, -upe, -upis «финского» типа, ср. *Выгозеро, Пудозеро, Топозеро* на русском Севере.
[75] Так см.: *Milewski T.* Dyferencjacja języków indoeuropejskich. — In: I Międzynarodowy kongres archeologii słowiańskiej. Warszawa, 1965. Wrocław—Warszawa—Kraków, 1968, s. 67—68.
[76] *Duridanov I.* Thrakisch-dakische Studien. I. Die thrakisch- und dakisch-baltischen Sprachbeziehungen. Sofia, 1969, S. 93, 100. (Linguistique balkanique, XIII, 2).
[77] *Топоров В. Н.* К фракийско-балтийским языковым параллелям. — В кн.: Балканское языкознание. М., 1973, с. 51, 52.
[78] *Pisani V.* Op. cit., S. 51.
[79] *Топоров В. Н.* К фракийско-балтийским языковым параллелям. II. — В кн.: Балканский лингвистический сборник. М., 1977, с. 81—82.
[80] *Duridanov I.* Op. cit., S. 100.
[81] Ibid.
[82] *Трубачев О. Н.* Названия рек Правобережной Украины. М., 1968, с. 284.
[83] *Трубачев О. Н.* Указ. соч., с. 276 и след.; *Топоров В. Н.* Несколько иллирийско-балтийских параллелей из области топономастики. — В кн.: Проблемы индоевропейского языкознания. М., 1964, с. 52 и след.
[84] *Мейе А.* Общеславянский язык, с. 14, 38, 395.
[85] См., с использованием работ О. Н. Трубачева и др.: *Pohl H. D.* Slavisch und Lateinisch. — Klagenfurter Beiträge zur Sprachwissenschaft, 1977, 3.
[86] *Ademollo Gagliano M. T.* Le corrispondenze lessicali balto-latine. — Archivio glottologico italiano, 1978, 63, p. 1 e seg.
[87] *Hirt H.* Die Heimat der indogermanischen Völker und ihre Wanderungen, S. 8.
[88] *Трубачев О. Н.* Ремесленная терминология в славянских языках. М., 1966, с. 331 и след.
[89] *Седов В. В.* Происхождение и ранняя история славян. М., 1979, с. 71, 74.
[90] *Krahe H.* Die Sprache der Illyrier. I. Teil: Die Quellen. Wiesbaden, 1955, S. 8; *Idem.* Sprache und Vorzeit. Heidelberg, 1954, S. 169. Отрицание значительного распространения иллирийцев и их соседства со славянами см. *Georgiev V. I.* Illyrier, Veneter und Urslawen. — In: Linguistique balkanique, XIII, 1, 1968, p. 5 ff.
[91] *Трубачев О. Н.* Illyrica. — В кн.: Античная балканистика (в печати).
[92] *Трубачев О. Н.* Названия рек Правобережной Украины, с. 282.
[93] *Трубачев О. Н.* Illyrica.
[94] Там же.
[95] *Gołąb Z.* «Kentum» elements in Slavic. — Lingua Posnaniensis, 1972, XVI, p. 53 a. follow.; *Idem.* Stratyfikacja słownictwa prasłowiańskiego a zagadnienie etnogenezy Słowian. — RS, 1977, XXXVIII, 1, s. 16 (Warstwa «kentumowa»).
[96] Такие раннеполногласные варианты для нерусских территорий см.: *Mareš F. V.* The origin of the Slavic phonological system and its development up to the end of Slavic language unity. Ann Arbor, 1965, p. 24—25, 30—31.
[97] *Moszyński K.* Pierwotny zasiąg języka prasłowiańskiego, s. 18—19.

98 *Krahe H.* Vorgeschichtliche Sprachbeziehungen von den baltischen Ostseeländern bis zu den Gebieten um den Nordteil der Adria. — In: Akademie der Wissenschaften und der Literatur. Abhandlungen der Geistes- und Sozialwissenschaftlichen Klasse, N 3. Mainz, 1957, S. 120.

99 *Schmid W. P.* Baltische Gewässernamen und das vorgeschichtliche Europa. — Indogermanische Forschungen, 1972, Bd. LXXVII, S. 1 u. folg. (карта — S. 11; S. 13 — досадная ошибка: гидронимы Tain в Шотландии и Tean в Англии возводятся к *Taniā, которое автор этимологизирует с помощью слав. tonja 'tiefe Stelle im Wasser', но последнее происходит только из *top-nja и к остальным европейским названиям отношения не имеет); *Idem.* Baltisch und Indogermanisch. — Baltistica, 1976, XII, 2; *Idem.* Alteuropäisch und Indogermanisch. — In: Probleme der Namenforschung im deutschsprachigen Raum. Darmstadt, 1977, S. 98 u. folg.; *Idem.* Indogermanistische Modelle and osteuropäische Frühgeschichte. — In: Akademie der Wissenschaften und der Literatur. Abhandlungen der Geistes- und Sozialwissenschaftlichen Klasse. Jahrgang 1978, Nr. 1. Mainz—Wiesbaden, 1978, S. 11; *Idem.* Das Hethitische in einem neuen Verwandtschaftsmodell. — In: Hethitisch und Indogermanisch. Herausg. von E. Neu und W. Meid. Innsbruck, 1979, S. 232—233. — Между прочим, балтоцентристскую теорию индоевропейской прародины отстаивал уже Poesche более ста лет назад; см.: *Mallory J. P.* A short history of the Indo-European problem, p. XXXII.

100 *Трубачев О. Н.* Лексикография и этимология. — В кн.: Славянское языкознание. VII Международный съезд славистов. М., 1973, с. 311.

101 *Krahe H.* Unsere ältesten Flussnamen. Wiesbaden, 1964, S. 33.

102 *Udolph J.* Alteuropa an der Weichselmündung. — Beiträge zur Namenforschung, 1980, 15, S. 25; *Idem.* Ex oriente lux. Zu einigen germanischen Flußnamen. — Beiträge zur Namenforschung, 1981, 16, S. 105.

103 Гідронімія України в її міжмовних і міждіалектних зв'язках. Відп. ред. О. С. Стрижак. Київ, 1981, с. 32.

104 *Трубачев О. Н.* Названия рек Правобережной Украины, с. 113—114.

105 Там же, с. 232.

106 Там же, с. 209.

107 *Udolph J.* Studien zu slavischen Gewässernamen und Gewässerbezeichnungen, S. 635.

108 *Schmid W. P.* Indogermanistische Modelle und osteuropäische Frühgeschichte, S. 16.

109 *Moszyński K.* Pierwotny zasiąg języka prasłowiańskiego, s. 309 и сн. 10.

110 *Gimbutas M.* The first wave of Eurasian steppe pastoralists into Copper Age Europe. — The Journal of Indo-European studies, 1977, p. 277 a. follow.

111 *Мерперт Н. Я.* Древнеямная культурно-историческая область и вопросы формирования культур шнуровой керамики. — В кн.: Восточная Европа в эпоху камня и бронзы. М., 1976, с. 121—122.

112 *Гамкрелидзе Т. В., Иванов В. В.* Проблема определения первоначальной территории обитания и путей миграции носителей диалектов общеиндоевропейского языка. — Конференция по сравнительно-исторической грамматике индоевропейских языков. Предварительные материалы. М., 1972, с. 19 и след.; *Они же.* Древняя Передняя Азия и индоевропейские миграции. — Народы Азии и Африки, 1980, № 1, с. 64 и след.; *Они же.* Древняя Передняя Азия и индоевропейская проблема. Временные и ареальные характеристики общеиндоевропейского языка по лингвистическим и культурно-историческим данным. — ВДИ, 1980, № 3, с. 3 и след.; *Они же.* Миграции племен — носителей индоевропейских диалектов — с первоначальной территории расселения на Ближнем Востоке в исторические места их обитания в Евразии. — ВДИ, 1981, № 2, с. 11 и след.

113 *Tovar A.* Krahes alteuropäische Hydronymie und die westindogermanischen Sprachen. Heidelberg, 1977. См. рец.: *Schmid W. P.* — IF, 82, 1977, S. 314 u. folg.; *Udolph J.* — Kratylos, XXII, S. 123 u. folg.

114 *Kuhn H.* Das letzte Indogermanisch. Mainz—Wiesbaden, 1978, S. 22, 26. (Akademie der Wissenschaften und der Literatur. Abhandlungen der Geistes- und Sozialwissenschaftlichen Klasse. Jahrg. 1978, Nr 4).

115 *Kóčka W.* Zagadnienie etnogenezy ludów Europy. Wrocław, 1958, s. 100.

116 *Кузьмина Е. Е.* О балканском или центральноазиатском пути миграции индоевропейских народов. — Античная балканистика. Этногенез народов Балкан и Северного Причерноморья. Предварительные материалы. Тезисы докладов. М., 1980, с. 35.

117 *Bökönyi S.* The earliest waves of domestic horses in East Europe. — The journal od Indo-European studies, 6, 1978, p. 17 a. follow.

118 *Горнунг Б. В.* К вопросу об образовании индоевропейской языковой общности. (Протоиндоевропейские компоненты или иноязычные субстраты?). М., 1964, с. 19 (с литературой).

119 *Scherer A.* Das Problem der indogermanischen Urheimat vom Standpunkt der Sprachwissenschaft. — In: Die Urheimat der Indogermanen. Darmstadt, 1968, S. 301 (аналогично раньше — Трубецкой).

120 *Neckel G.* Die Frage nach der Urheimat der Indogermanen. — In: Die Urheimat der Indogermanen. Darmstadt, 1968, S. 160—161.

121 *Nalepa J.* Miejsce uformowania się Prasłowiańszczyzny. — In: Slavica Lundensia, 1. Lund, 1973, s. 60.

122 *Jażdżewski K.* Etnogeneza Słowian. — In: Słownik starożytności słowiańskich, I, s. 456 i nast.; *Rospond S.* Prasłowianie w świetle onomastyki. — In: I Międzynarodowy kongres archeologii słowiańskiej. Warszawa, 1965. Wrocław—Warszawa—Kraków, 1968, s. 109.

123 *Толстов С. П.* «Нарцы» и «волхи» на Дунае. (Из историко-этнографических комментариев к Нестору). — Советская этнография, 1948, № 2, с. 8 и след.; *Кобычев В. П.* В поисках прародины славян. М., 1973.

124 Ср. указание антропологии на высокий процент средиземноморского типа у восточных славян (*Алексеева Т. И.* Этногенез восточных славян по данным антропологии. М., 1973, passim), как, впрочем, и в Польше.

125 *Rudnicki M.* O prakolebce Słowian. — Z polskich studiów slawistycznych, ser. 4. Warszawa, 1973, s. 323.

126 *Rospond S.* Prasłowianie w świetle onomastyki. — I Międzynarodowy kongres archeologii słowiańskiej. Warszawa, IX. 1965. Wrocław—Warszawa—Kraków, 1968, s. 116.

127 *Поповская-Таборская Г.* Ономастическая проблематика в этногенетических исследованиях. — Советское славяноведение, 1981, № 1, с. 40.

128 *Rysiewicz Z.* O praojczyźnie Słowian. — In: *R-cz Z.* Studia językoznawcze. Wrocław, 1956, s. 81.

129 *Поповская-Таборская Г.* Указ. соч., с. 41.

130 *Трубачев О. Н.* Ремесленная терминология в славянских языках, с. 391—392.

131 *Eichler E.* Die slawische Landnahme im Elbe/Saale- und Oder-Raum und ihre Widerspiegelung in den Siedlungs- und Landschaftsnamen. — In: Onomastica Slavogermanica, 1976, X, S. 70.

132 Ср.: *Шафарик П. И.* Славянские древности, т. I, кн. II. М., 1837, с. 45.

133 *Eichler E.* Beziehungen zwischen Südslawisch und Westslawisch im Lichte der Toponomastik. — Македонски јазик, 1974, XXV, S. 87 и след.; *Idem.* Westslawisch-südslawische Beziehungen im Lichte der Toponomastik. — Onomastica Jugoslavica, 1976, 6, S. 71 и след.

134 *Herrmann J.* Probleme der Herausbildung der archäologischen Kulturen slawischer Stämme des 6.—9. Jh. — In: Rapports du III-e Congrès International d'archéologie slave. Bratislava, 7—14.IX.1975. Bratislava, 1979, p. 53.

135 *Куркина Л. В.* Некоторые вопросы формирования южных славян в связи с паннонской теорией Е. Копитара. — ВЯ, 1981, № 3, с. 85 и след.

136 *Нидерле Л.* Славянские древности. М., 1956, с. 56.

137 *Шафарик П. И.* Указ. соч., т. I, кн. II, с. 118 и след.

138 Там же, кн. I, с. 77, 79.

139 Там же, т. II, кн. I. М., 1848, с. 73.

140 *Milewski T.* Indoeuropejskie imiona osobowe. Wrocław—Warszawa—Kraków, 1969, s. 216.

141 *Гавлик Л.* Моравская народность в эпоху раннего феодализма. — В кн.: Вопросы этногенеза и этнической истории славян и восточных романцев. М., 1976, с. 170.

142 *Stanislav J.* Slovenský juh v stredoveku. I diel. Turčiansky sv. Martin, 1948, passim.
143 *Georgiev V.* Theiss, Temes, Maros, Szamos (Herkunft und Bildung). — Beiträge zur Namenforschung, 1961, XII, N 1, S. 87 u. folg.
144 *Шафарик П. И.* Указ. соч., т. I, кн. II, с. 118 и след.
145 *Georgiev V.* Op. cit., S. 92; *Kiss L.* Földrajzi nevek etimológiai szótára. Budapest, 1978, o. 408.
146 *Georgiev V.* Op. cit., S. 93.
147 *Moór E.* Die slawischen Ortsnamen der Theissebene. — Zeitschrift für Ortsnamenforschung, 1930, VI, N 2, S. 131; *Stanislav J.* Op. cit., s. 162.
148 *Шафарик П. И.* Указ. соч., т. I, кн. II, с. 118 и след.
149 *Georgiev V.* Sur l'ethnogenèse des peuples balkaniques: le dace, l'albanais et le roumain. — Studie clasice, 1961, III, p. 24.
150 *Kiss L.* Op. cit., o. 404 (с литературой).
151 *Brugmann K.* Kurze vergleichende Grammatik der indogermanischen Sprachen. Strassburg, 1904, S. 316.
152 *Stanislav J.* Op. cit., s. 164 (со ссылкой на Э. Моора).
153 *Будимир М.* Protoslavica. — В кн.: Славянская филология. II. IV Международный съезд славистов. М., 1958, с. 134.
154 *Trbuhović V.* Južne kulture i narodi prema lužičkoj kulturi, Praslovenima i Slovenima. — In: I Międzynarodowy kongres archeologii słowiańskiej. Warszawa, IX. 1965. Wrocław—Warszawa—Kraków, 1968, c. 255 и след. с. 260: о находках в Северной Венгрии и на средней Тисе материальных следов культуры «скифского характера»; с. 267: симбиоз Urnenfelderkultur и элементов скифской культуры в Паннонии, откуда — народ, «называющий себя паннонцами» (Dio Cass. XLIX, 36), в котором автор видит славян, сопротивляющихся римской оккупации I в. н. э., частично остающихся или уходящих; отсюда — стремление ушедших вновь вернуться в старую отчизну.
155 *Седов В. В.* Ранний период славянского этногенеза. — В кн.: Вопросы этногенеза и этнической истории славян и восточных романцев. М., 1976, с. 106—107; *Кобычев В. П.* В поисках прародины славян. М., 1973, с. 77.
156 *Krahe H.* Sprache und Vorzeit, S. 43.
157 Słownik starożytności słowiańskiej, t. I, s. 226; Mały słownik kultury dawnych Słowian. Warszawa, 1972, s. 60 i nast.
158 *Шафарик П. И.* Славянские древности, т. I, кн. II, с. 80, 99, 103. См. еще: *Толстов С. П.* «Нарцы» и «волхи» на Дунае (Из историко-этнографических комментариев к Нестору). — Советская этнография, 1948, № 2, с. 13, 37.
159 Так см.: *Королюк В. Д.* Волохи и славяне «Повести временных лет». — Советское славяноведение, 1971, № 4, с. 41 и след.; *Он же.* К вопросу о месте известий о волохах в «Повести временных лет». — Советское славяноведение, 1972, № 1, с. 76 и след.
160 A magyar nyelv történeti-etimológiai szótár. II k. Budapest, 1970, o. 887.
161 *Hensel W.* Etnogeneza Słowian. — In: Mały słownik kultury dawnych Słowian, s. 442; *Филип Я.* Кельтская цивилизация и ее наследие. Прага, 1961, с. 115.
162 *Kostrzewski J.* Celtyckie elementy w kulturze słowiańskiej. — Słownik starożytności słowiańskiej, t. I, s. 228; *Bukowski Z.* Op. cit., s. 62; *Третьяков П. Н.* Восточнославянские племена. 2-е изд. М., 1953, с. 132—134.
163 *Latyschev B.* Inscriptiones orae septentrionalis Ponti Euxini. Vol. I. Petropoli, MDCCCLXXXV, p. 38 (N 16), 39—40.
164 *Спицын А.* Скифы и Гальштатт. — В кн.: Сборник археологических статей, поднесенный А. А. Бобринскому. СПб., 1911, с. 160—161, 164, 166.
165 *Vasmer M.* Schriften zur slavischen Altertumskunde und Namenkunde. Herausg. von H. Bräuer. Bd. II. Berlin, 1971, S. 565—566.
166 *Мачинский А. Д.* Кельты на землях к востоку от Карпат. — В кн.: Кельты и кельтские языки. М., 1974, с. 35, 36 (об обнаружении в Галиции кельтского археологического комплекса, со ссылкой на работу Л. И. Крушель-

ницкой); объяснение др.-рус. *Галичь* от *галица* (*Фасмер* I, с. 388) все-таки не бесспорная этимология; еще более сомнительна этимология *Галиция* < балт. *gal- 'предел' (*Иванов В. В.*, *Топоров В. Н.* О древних славянских этнонимах. — В кн.: Славянские древности. Этногенез. Материальная культура Древней Руси. Киев, 1980, с. 43—44).

167 *Максимов Е. В.* Зарубинецкая культура. — В кн.: Проблемы этногенеза славян. Киев, 1978, с. 55 (с литературой).

168 *Schachmatov A.* Zu den ältesten slavisch-keltischen Beziehungen. — AfslPh, 1911, XXXIII, S. 51 u. folg.

169 *Birkhan H.* Germanen und Kelten bis zum Ausgang der Römerzeit. Wien, 1970, S. 428: к кельт. *konko- относит, вслед за А. Шерером, laetum equino sanguine C o n c a n o у Горация, Carm. III, 4, 34; S. 429, примеч. 1150: к галльск. *kankos 'лошадь' относит собственные имена Cancius, Cancilus, Cancia.

170 *Шафарик П. И.* Указ. соч., т. I, кн. II, с. 25.

171 *Lehr-Spławiński T.* O pochodzeniu i praojczyźnie Słowian. Poznań, 1946, s. 13.; *Moszyński K.* Pierwotny zasiąg języka prasłowiańskiego, s. 98 i nast.; *Мельникозская О. Н.* Племена Южной Белоруссии в раннем железном веке. М., 1967, с. 175; *Рыбаков Б. А.* Геродотова Скифия. М., 1979, с. 146, 189.

172 *Кипарский В.* — В кн.: IV Международный съезд славистов. Материалы дискуссии. Т. II. Проблемы славянского языкознания. М., 1962, с. 488 (со ссылкой на Чекановского); *Czekanowski J.* Wstęp do historii Słowian. Wyd. 2. Poznań, 1957; с. 124: о своей точке зрения 1927 г. относительно невров как недифференцированных балто-славян; с. 116: невры — предки восточных балтов, ср. также с. 123: невры — балты по языку, по мнению «большинства ученых».

173 *Седов В. В.* Славяне верхнего Поднепровья и Подвинья. М., 1970, с. 36; *Nalepa J.* Miejsce uformowania się Prasłowiańszczyzny, s. 88.

174 *Менгес К. Г.* Восточные элементы в Слове о полку Игореве. Л., 1979. Гл. I. Очерк ранней истории славян, с. 30; *Кобычев В. П.* В поисках прародины славян, с. 30.

175 *Мельниковская О. Н.* Указ. соч., с. 172, примеч. 38.

176 *Kluge F.* Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache, 20 Aufl., S. 104—105; Brünne; ЭССЯ, вып. 3, с. 55: *brъn'a.

177 *Holder A.* Alt-celtischer Sprachschatz, Bd. III. Graz, 1962, S. 436.

178 *Birkhan H.* Germanen und Kelten bis zum Ausgang der Römerzeit. Wien, 1970, S. 380.

179 *Свешникова Т. Н.* Волки-оборотни у румын. — В кн.: Balcanica. Лингвистические исследования. М., 1979, с. 208 и след.

180 *Milewski T.* Indoeuropejskie imiona osobowe. Wrocław—Warszawa—Kraków, 1969, s. 73: схрв. Vukobrat, Vukoman, Vukomil, Vukomir, Vukosav, Vukovoj, Bjelovuk, Dobrovuk, Milovuk.

181 *Седов В. В.* Происхождение и ранняя история славян. М., 1979, с. 100.

182 Ср.: *Бернштейн С. Б.* Очерк сравнительной грамматики славянских языков. М., 1961, с. 68.

183 *Трубачев О. Н.* Из славяно-иранских лексических отношений. — В кн.: Этимология. 1965. М., 1967, с. 78 и след.

184 *Minns E. H.* Scythians and Greeks. Cambridge, 1913, p. 150, 236, 237: клад скифских вещей начала V в. до н. э. в Феттерсфельде (Нижняя Лужица), исследованный Фуртвенглером; *Lehr-Spławiński T.* O pochodzeniu i praojczyźnie Słowian, s. 112: о скифских находках в области лужицкой культуры, даже в Чехии и Моравии.

185 *Milewski T.* Op. cit., s. 63, 99, 206, 218.

186 *Gołąb Z.* The initial *x*- in Common Slavic: a contribution to prehistorical Slavic-Iranian contacts. — In: American contributions to the Seventh International congress of slavists. Warsaw, Aug. 21—27, 1973. Vol. I, p. 129 a. follow.

187 *Трубачев О. Н.* Лингвистическая периферия древнейшего славянства. Индоарийцы в Северном Причерноморье. — ВЯ, 1977, № 6, с. 24 и след.;

Он же. «Старая Скифия» (Ἀρχαίη Σκυθίη) Геродота (IV, 99) и славяне. Лингвистический аспект. — ВЯ, 1979, № 4, с. 41—42.

188 *Enrietti M.* Slavo Svarogŭ. — In: Studi in onore di Ettore Lo Gatto, p. 75: автор отводит обычно принимаемую версию об иранизме *Svarogъ (ожидалось бы начальное h-, x-) и говорит о возможности прямого заимствования в славянский из индоарийского в Северном Причерноморье, ср. др.-инд. svargá- 'небо'; при этом он опирается на теорию О. Н. Трубачева об индоарийском лингвоэтническом компоненте Скифии, давая довольно полный и объективный обзор работ Трубачева на эту тему. Сближение *Svarogъ — svargá- в духе заимствования из индоарийского в Северном Причерноморье уже дано у меня в статье для журнала «Ponto-Baltica», I, 1981, p. 127.

189 *Трубачев О. Н.* Некоторые данные об индоарийском языковом субстрате Северного Кавказа в античное время. — ВДИ, 1978, № 4, с. 41—42.

190 *Трубачев О. Н.* Ранние славянские этнонимы — свидетели миграции славян. — ВЯ, 1974, № 6, с. 59.

191 *Топоров В. Н., Трубачев О. Н.* Лингвистический анализ гидронимов Верхнего Поднепровья. М., 1962, passim; *Абаев В. И.* Скифо-европейские изоглоссы. На стыке Востока и Запада. М., 1965, с. 134; против теории балто-иранских контактов — *Arumaa P.* Baltes et Iraniens. — In: Studi linguistici in onore di V. Pisani. Brescia, s. a., p. 73 e seg. (мнение автора о том, что археологи до сих пор не нашли в Посемье следов скифов, устарело, ср. работы В. В. Седова).

192 *Горнунг Б. В.* К вопросу об образовании индоевропейской языковой общности. (Протоиндоевропейские компоненты или иноязычные субстраты?). М., 1964, с. 16.

193 *Dressler W.* Methodische Vorfragen bei der Bestimmung der «Urheimat». — Die Sprache, 1965, Bd. XI, S. 43—44.

194 *Гамкрелидзе Т. В., Иванов В. В.* — ВДИ, 1980, № 3, с. 13.

195 *Rozwadowski J.* Studia nad nazwami wód słowiańskich. Kraków, 1948, s. 176 i nast.: вскрывает следы др.-инд. *aśvā, ир. *aspā 'вода'.

196 *Фасмер* III, с. 127.

197 *Фасмер* II, с. 321.

198 *Hyrkkänen J., Salonen E.* Über die Herkunft des slawischen *korabjь, griechischen karabos/karabion (машинопись).

199 *Рыбаков Б. А.* Новая концепция предыстории Киевской Руси (тезисы). — История СССР, 1981, № 1, с. 60.

200 *Трубачев О. Н.* История славянских терминов родства. М., 1959, с. 168.

201 *Шмилауэр В.* — В кн.: IV Международный съезд славистов. Материалы дискуссии. Т. II. Проблемы славянского языкознания. М., 1962, с. 483.

202 *Королюк В. Д.* «Вместо городов у них болота и леса. . .» (К вопросу об уровне славянской культуры в V—VI вв.). — Вопросы истории, 1973, № 12, с. 198.

203 *Котляр Н. Ф.* К вопросу о генезисе восточнославянских городов (на материалах Галичины и Волыни). — В кн.: Славянские древности. Этногенез. Материальная культура Древней Руси. Киев, 1980, с. 132; *Седов В. В.* Конгресс по славянской археологии. — Вестник АН СССР, 1981, № 5, с. 98, 101.

204 *Hensel W.* The beginnings of the towns of the Slavdom. — In: Rapports du III-e Congrès International d'archéologie slave. Bratislava, 7—14 septembre 1975, t. I. Bratislava, 1979, p. 37 ff., 45.

Ф. П. Филин

ПРОБЛЕМЫ ИСТОРИЧЕСКОЙ ЛЕКСИКОЛОГИИ РУССКОГО ЯЗЫКА
(древний период)

Что значит историческая лексикология языка? Ответ на этот вопрос может быть только один: надо показать, каковы были истоки словарного состава языка во всем его объеме еще в дописьменную эпоху, какими были инновации лексики этого языка после его обособления от других родственных языков, включая новообразования на унаследованной лексической базе и заимствования, чем отличался возникший язык от других родственных соседей, каким было его диалектное членение, какие процессы происходили в лексике и лексической семантике после возникновения и развития письменности, непрерывные изменения (обогащение из разных источников и отмирание архаизмов), имевшие место в течение столетий вплоть до нашего времени во всех разновидностях языка, письменного и устного. Нам должны быть известны основные закономерности, пути развития всего словарного состава языка от его начала до современного состояния. Более того, мы должны знать причины сложения каждого слова, время его возникновения (хотя бы приблизительно), изменение его значений и оттенков значений, их связей со значениями других слов. Ведь каждое слово представляет собою особый микромир, в котором отражается какой-то кусочек реальной действительности или отклонений от нее (нередко весьма значительных), средство коммуникации.

Возможно ли выполнение такой грандиозной задачи? На этот вопрос можно ответить пока отрицательно. Мы, вероятно, еще очень долго не сумеем исследовать историю колоссального количества слов и их значений во всей их совокупности. Не сумеем, но стремиться к этому должны. На первых порах надо попробовать наметить пути развития словарного состава языка хотя бы в общем, приблизительном виде. Этого пока еще никем не сделано, хотя работ по исторической лексикологии опубликовано огромное, практически необозримое количество.

В данном случае речь идет об исторической лексикологии русского языка. Попытки создать ее были, но они не могут быть признаны удовлетворительными. Первой такой попыткой является книга П. Я. Черных, задуманная как учебное пособие для филологических факультетов университетов [1]. П. Я. Черных пишет: «Главная задача русской исторической лексикологии заключается в том, чтобы выяснить, как происходило развитие лексических средств русского языка в целом, во всех его разновидностях — литературного языка и говоров, включая и профес-

сиональную терминологию; в том, чтобы установить, с чего это развитие началось, как протекало, какие этапы прошло, установить хронологические рамки появлений отдельных слов или целых групп и категорий слов; в том, чтобы объяснить, почему некоторые слова вовсе исчезли из живого языка, некоторые лишь выпали из ныне действующего словаря, почему одни слова сохранились без каких-либо заметных изменений их внешней формы или их обычного значения, другие изменились и в том и в другом отношении; в том, чтобы выяснить общие линии и тенденции, направления в движении словарного состава русского языка, т. е., другими словами, изучить внутренние законы развития этого словарного состава в связи с историей народа. Такова задача. И нужно прямо сказать, что в настоящее время мы еще очень далеки от ее осуществления» [1, с. 3].

Последние слова П. Я. Черных справедливы. На той же странице в примечании он определяет свой «Очерк» как «всего лишь собрание некоторых материалов, наблюдений, этимологий, лексикологических эскизов (в определенных хронологических рамках, главным образом до начала XVIII века)» [1, с. 3, примеч.]. Этапы истории русской лексики чисто внешне намечены: общеславянский словарный фонд и его развитие в древнерусскую эпоху; диалектные явления общеславянской эпохи, общеславянская лексика; лексические явления древнерусского периода, эпоха Киевской Руси и, наконец, изменения в словарном составе русского языка XVI—XVII вв. Но в рамках указанных хронологических делений содержатся разрозненные очерки отдельных тематических и иных групп слов, без соблюдения хронологии, не более того. Так, в первой, самой большой главе «Общеславянский словарный фонд и его развитие в древнерусскую эпоху» примеры из праславянского языка чередуются с поздними образованиями, включая и современные слова, к праславянскому лексическому фонду не имеющие никакого отношения. Очерки не зависят друг от друга, последовательно изложенной истории словарного состава с большим охватом материала и взаимосвязями лексических явлений нет, хотя отдельные наблюдения представляют интерес и сегодня. В 1975 г. вышел в свет третий том «Русской исторической грамматики» В. Р. Кипарского, посвященный истории словарного состава русского языка [2]. Автор сообщает, что в этой книге он подводит итоги своих многолетних исследований в области этимологии исконных русских слов, заимствований и суффиксально-префиксальных новообразований на русской почве. Русских слов исконного индоевропейского происхождения (берется условная дата возраста слов: не позже 3500 лет, когда хетты стали самостоятельной этноязыковой единицей и праиндоевропейская общность окончательно распалась) в современном русском языке обнаруживается 454. Следуя гипотезе балто-славянского единства, В. Р. Кипарский выделяет русские слова балто-славянского происхождения (их возраст не менее 2500 лет). Таких слов оказывается около 300. Далее сообщаются сведения о праславянском

лексическом слое не менее полуторатысячелетней давности (распад праславянского языка, таким образом, приурочивается к V в. н. э.), состоящем из 420 слов. К указанным цифрам прибавляются древние заимствования: 55 германизмов, около 20 иранизмов и 23 тюркизма. А всего древнерусский язык унаследовал от своего предка — праславянского — около 1272 слова, образовавшихся или заимствованных в разные доисторические эпохи (все подсчеты произведены мною), причем имеются в виду только непроизводные слова. Эта цифра близка к подсчетам Т. Лер-Сплавинского, который находил в польском языке «немного более 1700 праславянских слов», причем свыше восьми десятых их «касается внешнего (физического) мира и внешней (материальной) жизни человека» [3].

Для удобства подачи материала В. Р. Кипарский, как и П. Я. Черных, располагает слова в виде отдельных тематических групп. Что касается дат, то автор указывал на их условность. Они скорее служат целям педагогическим, а не строго научно-исследовательским.

Далее в книге идет неопределенно суммарное изложение наблюдений над новообразованиями и заимствованиями в русском языке, начиная с древнерусского периода и кончая нашим временем («спонтанными русизмами», церковнославянизмами, грецизмами, финноугризмами, балтизмами и т. п., а также заимствованиями петровской и послепетровской эпох). Добрая половина книги состоит из комментированного списка суффиксов, префиксов и сложносоставных слов (с примерами), представленных в алфавитном порядке. Автор широко использовал славистическую литературу и работы по истории русского языка и русской исторической лексикологии, в том числе и советских языковедов. Труд В. Р. Кипарского, безусловно, полезное справочное пособие, но это еще не история русской лексики, а только заготовки к ней. Развитие словарного состава, весьма сложное и противоречивое, в алфавитный порядок не укладывается и является предметом описания совсем другого жанра исследований.

Ставя перед собой задачу изучения проблем исторической лексикологии русского языка, мы должны исходить из наследия, которое осталось древнерусскому языку от языка праславянского, а для этого нужна реконструкция праславянского словарного состава. Главным методом такой реконструкции является этимология в сочетании с лингвистической палеогеографией. Восстанавливать лексику дописьменного мертвого языка — дело чрезвычайно трудное и трудоемкое, но возможное. Отдельные фрагменты праславянской лексики мы находим в каждом этимологическом словаре любого славянского языка, поскольку в этих словарях даются этимологии древних слов. Однако отдельные этимологические словари общую задачу не решают.

Во-первых, установка таких словарей — описать происхождение не только древних, но и поздних слов (новообразований и заимствований), включая современные. В самом лучшем закон-

ченном «Этимологическом словаре русского языка» М. Фасмера, переведенном с немецкого языка на русский и существенно дополненном О. Н. Трубачевым [4], очень много статей отведено объяснению происхождения поздних и новейших слов, причем не обошлось дело без курьезов. Так, например, у Фасмера находим этимологии слов-однодневок, не вошедших в словарный состав современного русского литературного языка, созданных писателями для определенных целей художественного изображения или бытовавших в просторечии в определенный промежуток времени: *горловщина* 'фразерство неспособных офицеров' (по фамилии генерала Горлова из пьесы А. Корнейчука «Фронт», 1942 г.), *путеводница* 'путеводная звезда' (шутливое образование С. Михалкова, см. «Новый мир», 1945 г.), *керенка* 'денежный знак достоинством 40 рублей и 20 рублей в 1917 г.' (по фамилии Керенского) и др. Знаменитому немецкому слависту трудно было из Западного Берлина оценивать значимость новообразований новейшего времени. Таких курьезов в «Этимологическом словаре русского языка» под ред. Н. М. Шанского (всего в свет вышло 6 выпусков) мы, естественно, не встречаем [5]. Слова праславянского языка в этимологических словарях отдельных славянских языков надо выискивать среди множества поздних новообразований и заимствований.

Во-вторых, в таких словарях представлены главным образом непроизводные слова (с точки зрения поздней праславянской словообразовательной системы), к тому же мы находим в них, как правило, скудные сведения об их географическом распространении в славянской языковой области.

Однако совершенно очевидно, что в любом языке на любой ступени его развития кроме исходных слов существовали и производные в формальном и семантическом отношениях. Разумеется, праславянский язык не был исключением. Для нас необходимо представить (конечно, в приближенном виде) словарный состав праславянского языка во всей его совокупности, что можно сделать только путем этимологизации древних слов всех славянских языков и диалектов и на широком фоне индоевропейского материала. Опыты создания этимологических словарей славянских языков имеются. Еще в 1886 г. опубликован словарь Ф. Миклошича [6], а в 1908—1913 гг. — незавершенный словарь Э. Бернекера [7]. Однако указанные словари в значительной своей части устарели и опирались на недостаточные сведения. Кроме того, ни Миклошич, ни Бернекер не ставили своей задачей реконструкцию праславянской лексики, включая в свои словари явно поздние новообразования и заимствования, имевшие место в разных славянских языках. В этом отношении они мало чем отличаются от этимологических словарей отдельных славянских языков, появившихся или начатых во множестве в XX в., особенно в наше время.

В 50—60-х годах начинают подготавливаться новые обширные этимологические словари славянских языков, так или иначе учитывающие как старое этимологическое наследство, так и

огромные вновь накопленные материалы [8], из которых по техническому оформлению и целям реконструкции именно праславянского лексического фонда на первое место нужно поставить московский «Этимологический словарь славянских языков. Праславянский лексический фонд» под ред. О. Н. Трубачева (ЭССЯ) и краковский «Słownik prasłowiański» под ред. Фр. Славского. Впервые в истории славистики была выдвинута столь грандиозная задача, выполнение которой может уже теперь коренным образом изменить наши представления о словарном составе праславянского языка, его сложном происхождении и развитии, его диалектном членении и наследии в отдельных славянских языках, в частности, — что нас интересует прежде всего, — о специфических особенностях лексики общевосточнославянского (дописьменного прарусского и древнерусского эпохи письменности). Сравнивая оба словаря, я бы сказал, что словарь О. Н. Трубачева гораздо четче решает проблему, чем словарь Фр. Славского, ставя перед собой задачу выявить реальные (насколько это возможно сделать) праславянские лексические единицы и располагая их в строгом алфавитном порядке, тогда как в словаре Фр. Славского используется наряду с алфавитным также частично гнездовой способ расположения материала, при котором возможность включения в словарные статьи поздних деривационных образований заметно возрастает. Да и сам выбор слов в некоторых случаях вызывает сомнение. Особенно это относится к экспрессивно-эмоциональным словам и междометиям achъ, achati, achъkati *, cu! cu! cu! 'подзывание собак' (у русских *ц! ц! ц!* с причмокиванием), cucati 'произносить *цу*', cuськъ 'собака, щенок' (рус. *дрожит как цуцик* — праславянское слово?); čača : caca (рус. *цаца* впервые засвидетельствовано в словаре 1847 г.) и т. п. Разумеется, мы не намерены снижать научную ценность словаря Фр. Славского, без которого не может обойтись ни один славист.

В словаре Фр. Славского прежде всего богато представлены данные польского языка (с них и начинаются словарные статьи), в брненском словаре — чешско-словацкие материалы, а в словаре О. Н. Трубачева шире представлены сведения восточнославянских языков и диалектов (хотя в словарных статьях они помещаются в конце вслед за южнославянскими и западнославянскими), что вполне естественно. Специалисты по истории восточнославянской лексики прежде всего должны ориентироваться на словарь О. Н. Трубачева, дополняя его содержание всеми другими источниками. Когда я попытался установить по словарю О. Н. Труба-

---

* Фр. Копечный (указ. соч., с. 11) о такого рода словах пишет: «Разумеется, праславяне, как и большинство других людей, каким-то образом *ахали* и *ахкали*, но вопрос в том, произносилось ли это *ах* с редуцированным. По нашему мнению, статей этого типа (или bе- как основа для bekati/bečati) надо в праславянском словаре избегать или давать петитом». К замечанию Фр. Копечного следует отнестись с вниманием. Не все слова, распространенные (с их вариантами) во всей славянской языковой области, обязательно были праславянскими.

чева праславянские слова, зафиксированные только на восточнославянской территории, то в словаре Фр. Славского к моим выпискам нашлось очень мало дополнений, причем эти дополнения в ряде случаев вызывают сомнения. Можно ли, например, реконструировать cělovъ только на основании помещенного в словаре Даля *целовбй* (стоит рядом с *целостный*) 'целый, цельный'? Вряд ли оправдывают это образование взятые из польского языка старопольск. całowity (XVI в.), кашуб. calowni и проч. явно поздние слова с продуктивными сложными суффиксами -ovit-, -ovьn-. Нужно с большой осторожностью относиться к примерам, имеющимся только у Даля без географических помет, поскольку известно, что Даль охотно сочинял слова по продуктивным словообразовательным моделям, которые могли бы существовать в русском языке, но на самом деле их не было, о чем он открыто писал сам.

Чем замечателен фундаментальный труд О. Н. Трубачева и его сотрудников? Этот труд как бы подводит итоги славянской лексикологии и лексикографии в ее исходной праславянской части. В нем учтены огромная литература предмета, все важнейшие славянские словари литературной и диалектной речи, данные славянской письменности, многие картотеки словарей, опубликованных только частично, некоторые словарные архивы. Конечно, пропуски источников неизбежны, но это самое лучшее и полное собрание всего, что сделано в этой области. Статьи словаря написаны высококвалифицированным компаративистом, причем многие из них представляют собой небольшие сжатые монографии с указанием важнейшей литературы предмета и изложением разных, часто противоречивых, точек зрения. На мой взгляд, главное в отборе словника — непротиворечивость реконструированных слов фонетическим, морфологическим и словообразовательным закономерностям праславянского языка, известных современной науке, соответствие значений слов уровню культуры того времени и географическое распространение лексических единиц. Все заведомо поздние новообразования и заимствования исключаются (а они-то и составляют подавляющее большинство словарного состава письменно засвидетельствованных и современных языков).

В семи опубликованных выпусках словаря О. Н. Трубачева содержится 3771 словарная статья на буквы A—G (фактически слов в этих статьях несколько больше, так как в некоторых случаях приводятся слова с иными формантами, не указанные в заглавных словах) [9]. А сколько всего будет выявлено праславянских лексем в этом словаре? Точно на этот вопрос пока ответить невозможно. Все же я попытался произвести сугубо предварительные подсчеты. Отыскивая в словаре М. Фасмера слова, засвидетельствованные только в восточнославянских языках и диалектах (включая древние письменные источники), я обнаружил их около 150, а в статьях на буквы, соответствующие буквам напечатанных выпусков словаря О. Н. Трубачева, их оказалось около 25, при-

чем распределение восточнославянизмов по сравниваемым статьям обоих словарей более или менее равномерно. Если указанная пропорция будет сохраняться и дальше, то в словаре О. Н. Трубачева, вероятно, должно быть около 22 626 словарных статей, соответственно и лексических праславянизмов. Значит, в праславянском языке, по современным данным, было что-то около 22 000 слов.

Правда, О. Н. Трубачев не так уж редко высказывает сомнения в древности ряда слов, т. е. в их принадлежности к праславянскому языку, ставя знаки вопроса (например, *adera?: рус. диал. *я́дера* 'сварливый, неуживчивый человек') или делая примечания: «возраст проблематичен», «в древности слова нет уверенности» и т. п. (ср. *avorišče: серб.-хорв. jàvorište 'место, где растут яворы'. «Ввиду популярности данного суфф., в частности, в серб.-хорв., древность образования скорее проблематична» и т. д.). Вообще мы далеко не всегда можем быть уверены в принадлежности к праславянской эпохе слов, образованных посредством словообразовательных формантов, которые были активными («популярными») после распада праславянского языка в отдельных славянских языках, особенно если эти слова не засвидетельствованы в ранних памятниках письменности. Ср., например, *bukadlo: серб.-хорв. *бу̏кало* 'ревун, крикун', диал. *бу̏кало* 'омут', рус. диал. *букало* 'колокольчик, подвязываемый скоту на шею'; *čeliti, словен. čéliti 'стесывать (напр., ствол дерева), гладко обрезать (нижний конец снопа)', рус. *чели́ть ворох* 'разделывать (делить) на чело и озадок или охвостье' (кстати, зафиксировано пока что только у Даля и без географической пометы вместе с другими 25 производными от слова *чело*); *čelьnikъ: болг. *че́лник* 'главарь, вожак', рус. диал. *чельни́к* 'головной наряд' (опять только у Даля и без географической пометы, следовательно, не диалектное); *grebadlo/*grěbadlo: болг. *гребáло* 'то, чем загребают', рус. диал. *гребáлка* 'лопата с широкими, загнутыми, как у совка, краями; деревянная гребенка с длинными зубьями и ручкой посредине для вычесывания пуха' и т. д. и т. п. Распространенность этих производных образований в разных славянских языках сама по себе еще не гарантирует их праславянскую древность, так как они могли возникнуть, имея одну и ту же исходную основу и одинаковые словообразовательные форманты, в разных языках и диалектах независимо друг от друга. Мы были бы более уверенными в древности этих слов, если бы они были зафиксированы в самых ранних памятниках славянской письменности. Но чего нет, того нет.

Из сказанного следует, что какое-то число слов, помещенных в словаре, вероятно, следует вычесть из 22 626 предполагаемых праславянизмов. Однако следует иметь в виду, что не все материалы еще собраны. Ежегодно в разных изданиях выдвигается множество новых славянских этимологий, в том числе и слов, которые раньше не подвергались этимологизации, особенно в диалектных записях, обнаруживаются неизвестные ранее праславян-

ские слова [10]. В самом словаре О. Н. Трубачева можно найти немало таких примеров. Любопытно, что когда О. Н. Трубачев привлекает данные «Словаря русских народных говоров», количество ссылок на него очень значительно, а когда используется только картотека СРНГ (на неопубликованные еще материалы букв Ц, Ч, Я, т. е. латинские c, č, ę), ссылки на него резко падают. Одним словом, возможности обнаружения не известных еще праславянских лексем далеко не исчерпаны. После завершения «Этимологического словаря славянских языков. Праславянский лексический фонд» безусловно потребуются дополнительные выпуски к нему. Надо также иметь в виду, что какое-то число праславянизмов в длительной истории славянского этноса утрачено безвозвратно. Кроме того, всем лексикографам хорошо известно, что по техническим причинам не всегда бывает возможно находить приставочные образования на буквы, словарные статьи на которые еще не составлялись или уже были составлены, но пропущены. Ср. отсутствие в словаре О. Н. Трубачева статей на возможные праславянизмы *dobiti (рус. *добить*, польск. dobić, чеш. dobíti и прочие соответствия в других славянских языках), *doliti (к. *liti), *dovoditi и другие аналогичные. Когда такого рода префиксальные производные распространены в славянских языках, шансов у них быть зачисленными в штат праславянизмов не меньше, чем у производных с активными суффиксами. Кстати, не очень понятно, почему не выделен в самостоятельную статью глагол *dožinati, хотя есть *dožinъ, *dožinъky, при которых стоит указание: «Отглаг. производное от итер. *dožinati. См. *do, *žęti».

В отличие от известного антиисторического высказывания А. Мейе, согласно которому реконструируемые праформы — всего лишь удобный способ устанавливать соответствия между родственными словами, а сами праформы — только условные знаки, не более того, О. Н. Трубачев твердо стоит на исторической почве и видит в своих реконструкциях не пустышки, а реальные факты, которые существовали или могли существовать. Если бы это было не так, то сравнительно-историческое языкознание во многом (если не во всем) теряло бы свой смысл. Тем более в данном случае речь идет о близкородственных языках, когда возможности реконструкции резко увеличиваются.

Одним словом, если из указанных выше 22 626 праславянизмов нужно что-то вычесть, к ним надо и кое-что прибавить, так что в дальнейшем мы будем исходить из названной цифры.

Но прежде нам надо уточнить, что мы понимаем под термином «праславянский язык». Этот термин удобен, но условен. Как нация (соответственно национальный язык) является категорией, возникающей во время становления капиталистических отношений в обществе, так и народность и язык народности появляются в процессе разложения родоплеменного строя и перехода его к классовому. Не было праславянского народа или народности, а было этническое сообщество праславянских племен, объединен-

ное общностью происхождения и близостью племенных диалектов. Поскольку язык или диалект — не только структурно-системная, но и коммуникативная единица, праславяне говорили на близкородственных диалектах, каждый из которых и был реальной коммуникативной единицей, а праславянского языка (в современном понимании термина «язык») не существовало: на нем никто не говорил, а говорили на диалектах. Распад праславянского этноязыкового единства совпал с разрушением родового строя, зарождением классовых различий, возникновением первичных государственных образований. Племенные объединения перерастали в древние славянские народности с их особыми языками. Когда это было? О. Н. Трубачев воздерживается от определения хронологических границ своего словаря. Однако, если ориентироваться на формы реконструируемых им слов, то верхняя временная граница словаря приходится на позднее праславянское состояние и начало его распада: сохранение носовых гласных, сочетаний типа *tort, начальных *a* без протетического *j* (типа *avorъ > др.-рус. *яворъ* 'кладь сена') и т. п., но уже наличие первого и второго (также — третьего) смягчения заднеязычных согласных, монофтонгизация дифтонгов, переразложение древнейших основ склонения и других фонетических и морфологических явлений позволяет приурочивать верхнюю границу словаря примерно к VI—VII вв. н. э. Праформы такого типа обычно выставляются и в других этимологических словарях славянских языков. Иное дело — отбор слов с лексикологической точки зрения. В словаре имеются и слова более поздние (помимо тех, о которых говорилось выше). Например, *сьrky получило широкое распространение несомненно только с принятием христианства. Это заимствование из герм. *kirkō или *kirikō истолковывают как пример второго смягчения заднеязычных согласных (а это время до VI—VII вв. н. э.). Но, как правильно отмечает О. Н. Трубачев, *k* перед гласным *ь* должно было измениться в *č*, поэтому *c* можно объяснить только особенностью произношения иноязычного слова-источника (ср. палатализацию *k* перед *i* в *c* в поздней латыни, *k* > *z* (*ts*) в немецких диалектах, антропоним в некоторых германских странах Zilliacus < лат. *cyriacus < греч. κυριακός).

Можно сказать, что в словник включены реконструированные слова праславянской эпохи, начиная с раннего периода истории праславянского языка и кончая его распадом, плюс некоторое количество слов, относящихся ко времени непосредственно перед распространением славянской письменности и может быть даже самого ее начала. Словарь открывает огромные и заманчивые возможности освещения жизни праславян, материальной и духовной, решения сложных проблем славянского этно- и глоттогенеза, но это не входит в компетенцию русской (восточнославянской) лексикологии. Для нас в данном случае важно другое. Что дает словарь для анализа истоков древнего восточнославянского словарного состава, чем отличался язык прарусской и древнерусской народности от своих родственных инославянских

соседей в лексическом отношении, какими были его диалектные зоны?

Важно подчеркнуть, что история праславянских диалектов и возникновения современных славянских языковых групп не укладывается в примитивную, но до сих пор широко распространенную схему «родословного древа», согласно которой языковое развитие представляет собой прямолинейное членение исходного праязыка на отдельные праязыки, которые в свою очередь тоже делились на отдельные языки и диалекты, состоящие всегда из поздних новообразований. Мысль о наличии в любом языке диалектных особенностей, которые древнее самого этого языка и отражают сложные членения более ранних исторических эпох, считалась (да, пожалуй, считается многими и в наше время) крамольной. Однако посмотрим на факты, которые в таком изобилии содержатся в словаре О. Н. Трубачева.

Лингвогеографические сведения, имеющиеся в словаре, указывают на чрезвычайное разнообразие изоглосс праславянских слов в славянской языковой области. Сам О. Н. Трубачев иногда помещает карты распространения древних слов (см. карту *bl'udo/ *bl'udъ во 2-м вып. и карту *devętъ na desęte, *devę(t)nosъto в 4-м вып.). Остается только пожелать, чтобы в следующих выпусках словаря такие карты помещались бы почаще. Автор настоящих строк попробовал посмотреть все словарные статьи семи выпусков с точки зрения лингвогеографической. И вот что получилось в огрубленном виде: 1) слова, распространенные во всех славянских языках (включая и диалектные в некоторых языках), насчитываются в количестве 804, что составляет около 21% всего словника; 2) слов, имеющихся в южных, западных и восточнославянских языках, но не во всех из них — 964, или около 28%; 3) слов, зафиксированных только в южнославянских языках или их диалектах (нередко узколокальных), — 423, или 11, 2%; 4) слов, отмеченных только в западнославянских языках или их диалектах (вместе с узколокальными) — 204, или 5,4%; 5) слов, найденных только в восточнославянских языках или их диалектах (включая также узколокальные) — 270, или 6,8%; 6) слов южнославянских и восточнославянских (отмеченных преимущественно в отдельных языках или их диалектах, т. е. не покрывающих всю юго-восточную область) — 468, или 12,4%; 7) слов западнославянских и восточнославянских (с тем же примечанием, что и в предыдущем пункте) — 314, или 8,3%; 8) наконец, слов, только южнославянских и западнославянских (с тем же примечанием) — 260, или 6,9%.

Конечно, новые подсчеты такого рода могут уточнить приведенные цифры (в чем-то я мог ошибиться — работа эта весьма трудоемкая), но не думаю, что общая картина от этого существенно изменится. Разумеется, мы полностью отдаем себе отчет о том, что изоглоссы всех праславянских слов за тысячу с лишним лет могли неоднократно изменяться. Чтобы быть совершенно уверенным в своих выводах, надо тщательно изучить историю и рас-

пространение каждого из предлагаемых 22 626 слов, что практически невыполнимо ни теперь, ни в будущем. Могут быть только отдельные исправления и дополнения. Чем отдаленнее от нас время и соответственно беднее фактические материалы, тем гипотетичнее наши палеолингвогеографические реконструкции. В то же время чем обширнее ареал обследования и чем больше на нем размещается языковых и диалектных единиц, тем больше повышается правдоподобность реконструируемых изоглосс. К тому же праславянизмы в словаре О. Н. Трубачева рассматриваются на широком индоевропейском фоне, в нем привлекаются данные не только современных славянских языков, но и старой славянской письменности, в том числе и наиболее ранние ее памятники. Если, например, локализм *dorbъ, представленный в белор. *дóроб* 'короб', рус. диал. и белор. производное *дорóбóк* 'коробок', рус. диал. *дóробья* 'лукошко с выбитым дном' и др., имеет праиндоевропейскую этимологию и восходит к праиндоевроп. *dorbho-, мы вправе считать такой локализм древним осколком праиндоевропейской эпохи. Хотя нам не известна точная его изоглосса в праславянском, дружные отрицательные показания всех других славянских языков и диалектов позволяют нам утверждать, что и в праславянскую эпоху (по крайней мере до VI—VII вв. н. э.) это слово было локализмом (пусть даже с иными границами его распространения). И уж во всяком случае общеславянские данные гораздо надежнее с исторической точки зрения, чем, скажем, сведения диалектологического атласа современных северновеликорусских говоров, на основании которых некоторые диалектологи пытаются решить проблему происхождения и развития северновеликорусского наречия, не привлекая общеславянских (даже общевосточнославянских) фактов и показаний древней письменности. Попытка освещения основных исторических изменений в языке какого-либо региона на основании только современного лингвистического атласа этого региона похожа на гадание на кофейной гуще. Узкодиалектологический подход позволяет узнать кое-что об изменениях заведомо поздних, не более того.

Охват фактов на большой лингвогеографической территории похож на наблюдения поверхности Земли с космических спутников, которые выявляют древние разломы, трещины и иные особенности земной коры, совершенно незаметные, когда они наблюдаются с самой поверхности.

Из сказанного выше мы можем заключить, что словарь О. Н. Трубачева и другие реконструкции праславянского лексического фонда (теперешние и будущие) представляют собой сводные словари лексики различных праславянских коммуникативных единиц — диалектов и групп диалектов. 22 000 слов могли характеризовать богато развитые языки (вспомним, что в произведениях Пушкина оказалось около 21 000 слов) с высоким уровнем цивилизации. На самом же деле ни одно праславянское племя не владело всем запасом праславянского словаря. Собственно

общеславянских слов праславянской эпохи оказывается что-то около 21% (среди этих слов наиболее высок удельный вес лексем, обозначающих жизненно важные явления типа *bělъ(jь), *běda, *běžati, *biti и т. п. и имевших многие производные). К ним нужно прибавить какое-то число слов 2-й группы (см. выше), с наиболее высоким удельным весом лексем, образованных посредством продуктивных аффиксов, какая-то часть которых, возможно, возникла в отдельных славянских языках независимо друг от друга, т. е. не относящихся к праславянской эпохе, а также какое-то число слов других групп. Это число нам не известно и вряд ли оно когда-нибудь будет установлено. Во всяком случае, общеславянских слов было не более половины всего выявленного словарного состава диалектов праславянской эпохи, а скорее всего менее половины. Большая часть слов представляла собой локализмы.

Что же унаследовал язык древней восточнославянской (прарусской и ранней древнерусской) народности из праславянской лексики? В него, несомненно, вошли все общеславянские слова, надежно засвидетельствованные в древнерусском и современных восточнославянских языках. К ним нужно прибавить слова 2-й группы (часть их могла быть образована после распада праславянского единства), слова только восточнославянские и слова, общие с южнославянскими и западнославянскими языками (6-й и 7-й групп). По нашим подсчетам, получается что-то около 17 000 слов, в число которых входит большое количество праславянских локализмов, сохранившихся только в отдельных диалектных областях. К этому запасу нужно прибавить несомненные поздние восточнославянские новообразования и заимствования (общие для всех восточных славян и частные диалектные). Примерно таков был объем лексики исконно народной восточнославянской речи до появления на Руси письменности и раннего этапа ее истории. Эта исходная для русского (как и для украинского и белорусского языков) лексика нуждается во всестороннем ее изучении, что является одной из важнейших задач исторической лексикологии русского языка (аспекты ее исследования еще следует наметить).

Один из принципиальных вопросов — чем отличались восточные славяне от своих южных и западных родственников в словарном отношении. Если особенности восточнославянской речи в фонетическом и морфологическом строе более или менее выявлены, то в синтаксисе и лексике они до сих пор оставались неизвестными даже в самых общих чертах. Исследователи исторического синтаксиса, изучая типы простого и сложного предложений, всерьез и не ставили перед собой такой задачи, подчеркивая только генетическую общность синтаксического строя славянских языков. Вероятно, трудно найти различия между славянскими (в том числе и восточнославянскими) языками на уровне предложения — везде имеются разные типы простых и сложных предложений, а внутри предложений подлежащие, сказуемые и другие структурные элементы предложения. Однако если бы был создан сравнительно-исторический синтаксис на уровне словосочетаний (некоторые

опыты в этой области имеются), лексического разнообразия союзов, синтаксической валентности слов, то картина, безусловно, стала бы иной.

Исстари в славистике установилось мнение, что даже непосредственно после распада праславянского языка лексические различия между ранними славянскими языками были ничтожными. Славяне свободно понимали друг друга, как современные архангелогородцы — курян. Соответственно лексических диалектизмов в древнерусском языке было очень мало. Моя попытка наметить круг словарных диалектизмов [11, 12] в 50-е годы получила резко отрицательную оценку, хотя после этих работ появилось немало исследований, существенно дополняющих мои наблюдения. Эти исследования нуждаются в критическом обобщении. Между тем уже в старых этимологических словарях славянских языков были накоплены сведения, которые должны были бы привести к пересмотру традиционной точки зрения. По-видимому, свою роль здесь сыграло распространенное мнение, что словарный состав очень неустойчив, быстро изменяется, поэтому историко-генетические вопросы могут решаться только на основании фонетико-морфологических данных, в которых прослеживаются устойчивые исторические закономерности. Верно, конечно, что словарный состав более изменчив, чем фонетический и морфологический строй, поскольку в нем непосредственно отражаются перемены в жизни общества. Однако верно также и то, что в лексике тоже сохраняются древнейшие элементы, в течение тысячелетий передающиеся от одного поколения к другому. Это и понятно, если не забывать, что именно в словах, стоящих в соответствующих контекстах, содержатся лексические значения, без чего язык перестал бы быть средством общения. В современных языках сохраняются слова, которые древнее египетских пирамид, которые древнее всех фонетических и морфологических закономерностей. Именно лексика наиболее перспективна для решения важнейших этногенетических проблем. Кстати говоря, если бы в лексике не сохранялось устойчивых пластов, то было бы невозможно составление этимологических словарей.

В связи со сказанным становится понятным, почему характеристика словарных особенностей древнерусского (прарусского) языка давала более чем скромные результаты даже в специальных историко-лексикологических исследованиях. П. Я. Черных упоминает как бы между прочим о словах, свойственных только восточным славянам, и приводит всего 10 примеров: *семья* (в современном значении), *собака*, *бѣлъка*, *селезень*, *ковшъ*, *дешевый*, *хороший*, *смуглый*, *смага*, *сизый*. Что касается словарных диалектизмов древнерусского языка, то тоже приводится только несколько примеров, а моя попытка расширить состав этих диалектизмов определяется как «неудачная», навеянная «новым учением о языке» Н. Я. Марра [1, с. 15, 102—107] (хотя почти все примеры, одобренные П. Я. Черных, взяты из моих работ). В. Р. Кипарский восточнославянизмами считает *бабочка*, *балагур*, *врач*,

дешевый, *жесткий*, *жестокий*, *зеремя*, *зеремено* 'жилище бобров' (со ссылкой на О. Н. Трубачева), *подражать*, *сорок*, *хороший* [2, с. 173—174], а о древнерусских диалектизмах вообще ничего не упоминает. В общих пособиях по древнерусскому языку лексика, как правило, не представлена вовсе.

Анализу особой восточнославянской лексики и восточнославянских словарных диалектизмов мною была посвящена специальная глава в книге [13] и раздел «Диалектные явления в лексике» (древнерусского языка) в книге [14], в которых приводятся сотни примеров, разумеется, нуждающихся в проверке. Программную статью в 1963 г. опубликовал О. Н. Трубачев. Он писал: «Триумфом исследования состава праславянского словаря следует считать выявление в словаре следов группировок и связей, предшествующих последующей конвергенции и консолидации в существующие славянские языки». И далее: «Внутриславянские изоглоссы носят весьма сложный характер и представляют для нас не меньшую ценность, чем славянско-неславянские. Основное положение, из которого важно исходить, изучая проблему состава праславянского словаря, — это автономность праславянских состояний лексики славянских диалектов (языков). . .» [15, с. 168]. Те же положения повторяются в статье «От редактора», помещенной в 1-м выпуске ЭССЯ [9, с. 3—9].

С этими положениями нельзя не согласиться: в праславянскую эпоху в течение весьма длительного времени племенные диалекты претерпевали многочисленные перегруппировки, входили в контакт с самыми различными этноязыковыми объединениями (родственными и неродственными), пока с разрушением родоплеменного строя не возникли языки славянских народностей. Далее, О. Н. Трубачев считал, что в каждом славянском языке сохранилось в среднем 5000 праславянских слов и что можно рассчитывать, что в современных восточнославянских языках и диалектах найдется 200—300 праславянских лексических диалектизмов (приводятся списки таких диалектизмов: в русском языке 70, а в белорусском их 67). Но это писалось в 1963 г., когда только излагались принципы задуманного словаря. В то время О. Н. Трубачев полагал, что праславянский лексический фонд всего составит 6000 слов, из них диалектизмов будет 1000—1500, или около 20—25% указанного фонда [15, с. 170—186]. Действительность намного превзошла эти предположения. Приведем здесь только некоторые восточнославянизмы из первых семи выпусков ЭССЯ: *baba ęga 'баба-яга' (древнее дохристианское образование); *balaguriti 'балагурить' («исключительно вост.-слав. и вместе с тем, видимо, старый праслав. лексический диалектизм»); *ba(d)ly (рус. диал. *бáлы* 'россказни', *балы́* 'болтовня', укр. *бáли* 'разговоры, россказни' — «Plurale tantum от незасвид. имени *ba(d)la ж. р., тождественного лат. fābula ж. р. 'речь, рассказ; басня' < и.-е. *bhā-dhl-ā»); *bebrěnъ (др.-рус. *бебрянъ* 'бобровый, fibrinus'); *bergyni (др.-рус. *берегыни* 'русалка' — из языческой древности); **bersto* (др.-рус. *бересто* 'березовая кора' сохранилось

в современных говорах — «словообразовательно-морфологический вариант ср. р. к форме ж. р. *bersta»); *bezmьzdьnъjь (др.-рус. *безмьздьный* 'безвозмездный'); *bezpalъjь 'без пальца, пальцев' («несомненный архаизм» от основы *palъ, тогда как польск. bezpalcy — инновация от *palьcь); *blizozorkъ(jь) 'близорукий' («здесь праслав. реликт»); *bugъrъ/*bugorъ 'бугор' (имеет индоевропейскую этимологию, тюркское заимствование «менее вероятно»); *bur'elomъ/*burolomъ 'бурелом'; *ci (др.-рус. *ци*, *цы* 'разве', 'или' и другие значения); *čara (др.-рус. и совр. вост.-слав. *чара* 'чара', польск. czara только с XVII в. и скорее всего заимствовано у восточных славян; имеет индоевропейскую этимологию); *četverikъ 'четверик', *cetvьrgъ 'четверг' («знач. 'четвертый день недели по христианскому календарю' сменило, надо полагать, какое-то более древнее знач.»; во всяком случае, это слово засвидетельствовано только в древнерусском и современных восточнославянских языках); *čęšča 'чаща' (в древнерусском засвидетельствовано с XI в.), *deševъ(jь) 'дешев(ый)' («слово неясной структуры, для которого допускается древнее происхождение», но оно известно только в древнерусском и современных восточнославянских языках), *devę(t)nosto 'девяносто' кроме древнерусского и современных восточнославянских языков засвидетельствовано в ст.-польском (XV в.) dziewiętnosto; *dičina 'дичина' (с XII в.) и *dičь (в разных значениях в восточнославянских языках и их диалектах); *dosǫgъ 'досуг' (с его производными; вокализм *o* к *dosęg(a)ti); *drъgъva (в рус., укр. и белор. говорах *дрегвá*, *дрогвá*, *дрягва*, *драгвá* 'трясина; топь, болото' и другие сходные значения: производным от этого слова является племенное название *дреговичи*, связанное с другувитами в северной Греции), *ęča, *ęčaja 'ячея' (в др.-рус. и вост.-слав. диалектах в этом и связанных с ним других значениях); *galъ (рус. диал. *гал* 'голый, безлесный', укр. и белор. диал. *гал* 'поляна в лесу'; от *galъ произведено *прогалина*), *gasati (др.-рус. *гасати* 'угасать', сюда же, конечно, *угасать* и производные), *godъjь (вост.-слав. *гожий*, *гожый*, *гожы* и производные), *goldati 'голодать', *gulъ 'гул, эхо' и т. д.

Примеров древних лексических восточнославянизмов, обособляющих древнерусский (прарусский) язык от словарного состава других славянских языков, в указанных выпусках ЭССЯ очень много. Разумеется, их будет выявлено гораздо больше во всем ЭССЯ. Еще больше праславянских слов, которые с древнерусской эпохи были диалектизмами внутри самой восточнославянской территории. Многие восточнославянские диалектизмы выходили за пределы этой территории и имели причудливые изоглоссы в южных и западных славянских областях. Все это нуждается в подробном исследовании. Но уже и теперь можно сказать, что большинство лексических диалектизмов, имеющих надежную праславянскую (а тем более индоевропейскую) этимологию, восходит ко времени, когда язык восточнославянской (древнерусской) народности еще не сформировался.

Как уже говорилось, слов, свойственных только языку древних восточных славян, в первых семи выпусках ЭССЯ, по моим подсчетам, нашлось 270, или 6,8% словника. Можно полагать, что во всем словаре их будет что-то около 1220. Нужно также учитывать слова, вовсе не засвидетельствованные на восточнославянской территории, так как отсутствие слова тоже является характерным признаком языка, когда этот язык сопоставляется с родственными языками. Таких слов оказалось 887, или 23,5%. Вероятно, во всем словаре их будет около 5322. Следовательно, полных расхождений в лексике древних восточных славян и их южно- и западнославянских родственников было 30% всего реконструируемого праславянского словарного фонда. Не нужно также забывать и о частных диалектных схождениях (следовательно, и расхождениях), которых тоже было свыше 20% указанного фонда. И, наконец, очень многие слова в разных славянских языках и диалектах имели неодинаковые значения, что не могло не затруднять общения между ранними славянскими народностями. Ср., например, *bělǫga/*bělogъ — в южнославянских языках 'белая свинья; названия разных животных белой масти; вид сорной травы', в западнославянских языках 'названия животных и растений белого цвета', а у восточных славян 'белуга', в их диалектах также 'чайка; подзолистая почва' и другие значения, *bělъka — общеславянское слово с разными значениями и только у древних русских *бѣлъка* 'белка', а также 'меновая и позже денежная единица' и т. д. Конечно, не все значения одних и тех же славянских слов восходят к праславянскому времени, древность многих из них вообще трудно установить (реконструкция значений еще очень далека от надежности [16]), но несомненно, что какая-то часть лексико-семантических расхождений восходит к праславянской и раннеславянской эпохе.

Из всего сказанного следует, что раннеславянские народности имели уже серьезные расхождения между своими языками в лексике и лексической семантике. Отчетливо осознавая общность своего происхождения, они понимали и не понимали друг друга. Их языки по степени расхождения похожи были на современные русский, украинский и белорусский языки (русский, не изучавший украинский и белорусский языки, плохо понимает беглую украинскую или белорусскую речь), а не на современные русские говоры. Одним словом, после распада праславянской общности образовались родственные, но самостоятельные и неповторимые языки, а не диалекты одного языка, вроде современных. Это положение совершенно разрушает традиционные представления о языковой ситуации в славянском этносе после VI—VII вв. н. э. Чтобы с ним не согласиться, надо опровергнуть данные современных этимологических словарей славянских языков. Разумеется, такое опровержение, как говорится, никому не заказано, но оно должно строиться не на голословном отрицании, а на исследовании огромного количества фактов. Что ж, пусть кто-нибудь попробует это сделать.

Лексика и лексическая семантика языка древних восточных славян показывает его оригинальность и самобытность, значительное его отличие от южных и западных славянских языков, причем в гораздо большей степени, чем фонетика и морфология. И тут напрашивается вопрос, как понимало древнерусское население перенесенный из древней Болгарии на Русь старославянский язык, было ли с X в. на Руси двуязычие или старославянский язык был всего лишь своим культурным диалектом, доступным для каждого. Данные ЭССЯ О. Н. Трубачева весьма усиливают доказательность моего ответа на этот вопрос в книге [17].

ЛИТЕРАТУРА

1. *Черных П. Я.* Очерк русской исторической лексикологии. Древнерусский период. М., 1956.
2. *Kiparsky V.* Russische historische Grammatik. Bd. III. Entwicklung des Wortschatzes. Heidelberg, 1975.
3. *Лер-Сплавинский Т.* Польский язык. М., 1954, с. 64.
4. *Фасмер М.* Этимологический словарь русского языка. Пер с нем. и доп. О. Н. Трубачева. Т. I—IV. М., 1964—1973.
5. Этимологический словарь русского языка. Автор-составитель Н. М. Шанский. Т. I (вып. 1—5); т. II (вып. 6). М., 1963—1975.
6. *Miklosich F.* Etymologisches Wörterbuch der slavischen Sprachen. Wien, 1886.
7. *Berneker E.* Slavisches etymologisches Wörterbuch. Heidelberg, 1908—1913.
8. *Копечный Фр.* О новых этимологических словарях славянских языков. — ВЯ, 1976, № 1.
9. Этимологический словарь славянских языков. Праславянский лексический фонд. Вып. 1—7. М., 1974—1980.
10. *Козлова Р. М.* К проблеме реконструкции праславянской лексики. — Советское славяноведение, 1980, № 6.
11. *Филин Ф. П.* Очерк истории русского языка до XIV столетия. Л., 1940, с. 77—85.
12. *Филин Ф. П.* Лексика русского литературного языка древнекиевской эпохи. (По материалам летописей). Л., 1949, с. 226—284.
13. *Филин Ф. П.* Образование языка восточных славян. М.—Л., 1962, с. 275—290.
14. *Филин Ф. П.* Происхождение русского, украинского и белорусского языков. Л., 1972, с. 516—624.
15. *Трубачев О. Н.* О составе праславянского словаря. (Проблемы и задачи). — В кн.: Славянское языкознание. V Международный съезд славистов (София, сентябрь 1963). Доклады советской делегации. М., 1963.
16. *Трубачев О. Н.* Реконструкция слов и их значений. — ВЯ, 1980, № 3.
17. *Филин Ф. П.* Истоки и судьбы русского литературного языка. М., 1981.

Р. М. Цейтлин

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ЛЕКСИКОЛОГИЯ СЛАВЯНСКИХ ЯЗЫКОВ X-XI — XIV-XV вв. (проблемы и методы)

Сравнительная лексикология как особый раздел современного языкознания только еще формируется (здесь и в дальнейшем имеется в виду сравнительная лексикология эпохи письменности, а не праязыковые состояния).

Задачей сравнительной лексикологии (в пределах сопоставляемых языков) является определение типов конвергентных и дивергентных лексических процессов, выделение как общих, так и частных лексико-семантических и лексико-стилистических особенностей (двух или более языков), классификация языков по лексическим признакам.

Общие элементы в лексике двух (или более) языков могут быть троякого происхождения: 1) наличествовать в результате общего происхождения данных языков; 2) возникать одновременно или в различные исторические эпохи как результат аналогичных лексико-семантических и лексико-стилистических процессов, происходящих в языках независимо друг от друга (по действию так называемого закона языковых универсалий); 3) появляться в результате контактов народов (носителей сопоставляемых языков), контактов как непосредственных (смежные территории), так и культурно-исторических (чему может сопутствовать и смежность территорий, непосредственное общение населения).

Успехи сравнительной лексикологии неразрывно связаны с уровнем изученности лексики каждого из сопоставляемых языков, зависят от уровня этимологических исследований отдельных языков и их семей, от состояния изученности истории, этнографии, археологии, истории культуры и особенностей международных связей народов (носителей сопоставляемых языков).

Задачи сравнительной лексикологии славянских языков слагаются как из общеязыковых, присущих сопоставлению любых языков (термины «сравнение» и «сопоставление» употребляем как дублеты), так и из специфичных для данной семьи языков, собственно славистических. Стоит заметить, что исключительная близость славянских языков, в частности их словарного состава, породила, с одной стороны, множество ошибочных представлений (преимущественно в области семантики), с другой, недостаточно используется в теории языкознания как исключительное явление, весьма содержательное в эксперименте.

Сравнительная лексикология славянских языков — один из разделов славянского языкознания. Конечные результаты сравнительного изучения словаря славянских языков (такие, как классификация языков и их групп, типологическая характеристика языков по релевантным лексическим признакам и ряд более

частных вопросов лексико-семантического и лексико-стилистического планов) предполагают сопоставление с результатами соответствующих исследований на других языковых уровнях.

Для сравнительной лексикологии (как и для лексикологии вообще) чрезвычайно важны также результаты исследований на промежуточных языковых уровнях — на стыке фонетики и лексики, морфологии и лексики, словообразования и лексики, синтаксиса и лексики. Это особенно актуально при изучении древних языков, когда ограниченность прямых источников и не всегда четкое разграничение древнего и современного (при кажущейся идентичности) создают как дополнительные трудности в интерпретации явления, так и дополнительные дифференциальные признаки при классификации идентичных фактов в различных ареалах. Таковы, например, в славянских языках многие явления начала слова, сочетания согласных, полногласия и неполногласия, когда некогда чисто фонетические процессы впоследствии вторгаются в область лексики, в результате чего появляются слова-варианты фонетического происхождения, которые начинают различаться по значениям (или их составу) или по стилю в разных типах языка или в различных языках.

Аналогичные варианты возникали на стыке словообразовательных и лексических процессов, когда появлялись однокоренные слова-варианты с различными формантами (префиксами, суффиксами), постепенно дифференцировавшиеся по значению или употреблению. Подобные варианты возникали и на стыке морфологии и лексики, когда слово как бы раздваивалось из-за различного набора отдельных словоформ, отличающихся друг от друга своеобразием употребления или семантического оттенка. Наблюдаются также слова-варианты (и шире — слова-дублеты), различающиеся по конкретной сочетаемости лексем, по различным синтаксическим отношениям. Особое место занимают орфографические варианты слов, характерные для различных школ письменности.

Слово может содержать одновременно несколько признаков (генетически относящихся к различным уровням), по которым и определяется его ареал.

Число слов-вариантов, интерпретация которых требует анализа на стыке лексики с явлениями других языковых уровней, достаточно велико. В сравнительной лексикологии древних славянских языков эта категория лексем является предметом специального изучения и нуждается в уточнении приемов исследования.

Важным источником характеристики слов в языке древних рукописей является лексикологическое изучение текстологических дублетов в памятниках идентичного содержания [1].

В области палеославистики сравнительная лексикология делает первые шаги, а потому исследователи сталкиваются с рядом существенных трудностей. Вместе с тем следует подчеркнуть, что вычленение самой проблематики сравнительной лексикологии древних славянских языков, опре-

деление состава источников, приемов и методов анализа, необходимых практических рекомендаций на данной, начальной стадии работы в этой области существенно облегчается тем, что в последние десятилетия появился ряд важных лексикологических и сопредельных с ними исследований, посвященных отдельным общеславянским процессам или анализу явлений конкретных славянских языков, ряд фундаментальных лексикографических и этимологических трудов.

Совершенно очевидно, что создание сравнительной лексикологии древних славянских языков, в которой были бы описаны результаты сопоставления лексических систем конкретных языков (по определенным микросистемам), выделены релевантные лексические признаки различных степеней (от характерных черт отдельных культурных школ до групп языков и семьи славянских языков в целом), — дело коллективов ученых. Важно иметь в виду, что такая работа была бы значительно эффективнее, если бы велась по общему для всех участников плану, детально продуманному и четко сформулированному.

Разработка такого плана коллективных исследований предполагает решение ряда предварительных вопросов. Предлагаемые в дальнейшем рекомендации возникли у автора доклада на начальной стадии работы в данном направлении. Эти рекомендации не только не окончательны — они предварительны. Дальнейшая работа над материалом, несомненно, внесет в них свои коррективы. Тем не менее нам представляется своевременным их обсудить уже на данной стадии исследования. «Наука строится не рассуждениями о ней, — писал Г. О. Винокур, — а практической работой над материалом. Но эта практическая работа в очень сильной степени облегчается, когда исследователь ясно представляет себе, какой именно материал и для какой цели он изучает» [2].

На начальной стадии исследования проблем сравнительной лексикологии древних славянских языков кардинальными являются следующие вопросы: 1) состав языков; 2) их хронологические границы; 3) состав прямых и косвенных источников; 4) приемы и методы выделения релевантных лексических признаков как основы сопоставления.

I. Состав языков. В принципе должна быть изучена лексика всех языков всех славянских народов. Целесообразно, видимо, ступенчатое исследование (сравнение двух, а затем и более языков): 1) по отдельным языковым группам (южные, восточные и западные языки); 2) по языкам различных групп; 3) по языкам, относящимся к одному культурному ареалу (в различные исторические эпохи имели место разнообразные контакты славянских народов между собой в области культуры, нашедшие свое выражение в языках контактирующих народов, в частности в их лексике); 4) итоговое — по всем славянским языкам древности.

В период становления и развития славянской культуры, славянских литератур и литературно-письменных языков действовали

многообразные центростремительные и центробежные силы. Они находили непосредственное выражение в особенностях словоупотребления каждого конкретного языка. Уже в эпоху раннего средневековья в различных славянских землях существовали многочисленные культурные центры, школы письменности, отдельные скриптории общеславянского значения. Назовем хотя бы: болгарские — в Охриде и Преславе, в Великом Тырнове; сербские — в Рашке и в Боснии; чешские — в Великой Моравии и в Праге (Сазавский монастырь, Эмаусский монастырь, Пражский университет); русские — в Киеве, в Галицко-Волынских землях, в Новгороде и в Пскове. Были и другие.

В настоящее время получила известное распространение тенденция (наметившаяся еще в XIX в.) рассматривать славянские языки прошлого преимущественно по двум ареалам (особенно в плане их изучения как литературных языков донационального периода их развития). Эти ареалы выделяются по типу вероисповедания народов-носителей изучаемых языков (православие по византийскому образцу, так называемый греко-славянский мир, и католичество по римскому образцу). Но в равной степени должны изучаться все без исключения славянские языки в их взаимодействии и в других соотношениях, обусловленных глубокими этническими и разновременными и разнохарактерными культурно-историческими связями.

Анализ всех доступных исследователю данных по всем славянским языкам совершенно необходим при решении ряда проблем общеславянского и локального значений. Таковыми прежде всего являются: 1) уточнение признаков и установление свода моравизмов, паннонизмов, болгаризмов, чехизмов, русизмов в отдельных славянских языках древности; 2) уточнение содержания понятий «старославянский язык» и «церковнославянский язык» (или «церковнославянские языки», по другой концепции). Эти языки как наддиалектные явления — понятия крайне неопределенные (и остро дискуссионные) [3].

Сравнительная лексикология древних славянских языков может строиться только на данных этнически определенных языков, языков определенных славянских народов.

II. Хронологические границы. Сравнительная лексикология древних славянских языков — первая эпоха сравнительной лексикологии этих языков в целом.

Выделение определенных периодов в истории языка и тем более группы языков на начальной стадии исследования той или иной проблемы неизбежно условно и тем не менее необходимо. В данном случае возможно исходить только из уже существующих периодизаций в истории отдельных славянских языков и их групп, из членения общеславянских и локальных историко-культурных процессов.

Применительно к задачам сравнительной лексикологии славянских языков древности нижняя хронологическая граница обусловлена экстралингвистическими причинами: наличием непосред-

ственных источников исследования. Изучение вполне определенных источников определенного языка и времени написания — принцип исследования, поэтому нижняя временна́я граница определяется эпохой, от которой дошли до нас первые славянские рукописи и надписи. Так, для болгарского, словенского и чешского[4] языков это X в., для русского — XI в., для сербохорватского — конец XII в., для польского — конец XIII—XIV вв.

Самые ранние серболужицкие рукописи датируются XVI в., словацкие — XVII в., а потому данные этих источников применительно к первому выделяемому периоду являются косвенными, а серболужицкий и словацкий языки должны явиться объектом непосредственного изучения только в следующем периоде истории славянской лексикологии.

Верхний хронологический рубеж определяется внутренней периодизацией каждого отдельного языка, обусловленной существенными языковыми и историко-культурными процессами. Так, для болгарского и сербохорватского языка — это конец XIV в. (период ряда кардинальных языковых процессов и время турецкого нашествия); для словенского языка — XIV—XV вв. (первая попытка создания словенского литературного языка относится к XVI в.); для русского языка — XIV в. (время активизации так называемого второго южнославянского влияния и оформления украинского, белорусского и собственно русского языков как самостоятельных языков восточнославянской группы); для чешского и польского — XV в. (XVI в. выделяется историками обоих языков как новая эпоха в их развитии).

Таким образом, суммарно по всем языкам предварительно выделяется эпоха с X-XI вв. (нижняя граница) по XIV-XV вв. (верхняя граница). Возможно, результаты сравнительных исследований славянских языков выделенного хронологического периода на всех языковых уровнях, в том числе и на лексическом, внесут определенные уточнения в данную периодизацию. Следует также учитывать, что в названных временны́х границах исследователи выделяют среднеболгарский период XII-XIV вв., древнерусский период XI-XIII вв., древнечешский с конца XIII по XIV вв., древнепольский XV в.

При сопоставлении языков (и лексики в частности) необходимо иметь в виду, что в ряде случаев важна относительная хронология, а не абсолютная, особенно в сфере культурных влияний, в области литературных языков как таковых.

Сопоставительное изучение языка немногих датированных рукописей с языком недатированных манускриптов в общеславянском масштабе должно способствовать уточнению времени написания последних (имеем в виду в этом случае выявление новых признаков датирования, в частности лексических). В настоящее время наметилась тенденция относить ряд недатированных рукописей (преимущественно древнеболгарских) к более раннему периоду, чем это обычно принято. Для окончательного решения

важны результаты лексического сопоставления, например, болгарских рукописей с их восточнославянскими списками и с русскими оригинальными рукописями, в том числе и с датированными (с учетом редакций и школ письменности сопоставляемых источников).

III. Состав источников. Определив состав языков и хронологические границы древнейшего периода истории славянской лексикологии, мы тем самым уже определяем и принципы отбора прямых источников исследования.

Объектом изучения в сравнительной лексикологии древних славянских языков является слово во всем многообразии его особенностей, лексика всех известных рукописей и надписей X-XI—XIV-XV вв. всех редакций и изводов.

При исследовании словарного состава языка конкретных рукописей уже на начальном этапе работы должны быть учтены типы и особенности рукописей по языкам, школам письменности, а также по их содержанию. Оригинальные славянские памятники сохранились преимущественно в поздних списках, при этом в рукописях различных редакций и изводов. Для начального периода славянской письменности характерно обилие переводных сочинений (чаще с греческого, но также и с латинского и немецкого языков), при этом также дошедших до нас в поздних списках различного типа. Характерной особенностью текстов данного периода является обилие памятников идентичного содержания (например, книги Ветхого и Нового заветов), тематически однородных (таковы, например, жития и гомилии). Известны также переводные хроники и оригинальные летописи; памятники юридического характера — многочисленные списки кормчей, судебники, грамоты. Имеются тексты совершенно уникальные, например, болгарские граффити и русские берестяные грамоты. Все эти источники должны быть определенным образом сгруппированы и сопоставлены, чтобы при учете особенностей их словоупотребления получить возможно более объективные собственно языковые (а не только текстологические!) данные.

Во множестве случаев анализа употребления конкретного слова по всем имеющимся источникам, непосредственно относящимся к выделенному периоду, последних будет недостаточно, так как лексиколог-древник преимущественно имеет дело с редкоупотребляемыми словами. Особенно в сфере семантики исследователь располагает ограниченными данными. Целый ряд слов представлен немногими контекстами, часто единичными или однородными, при этом не всегда достаточно ясными, требующими специального истолкования. Вследствие этого очень велико значение косвенных источников. Таковы прежде всего данные поздних списков древних памятников, факты диалектной лексикологии, лексикологии литературных языков последующих эпох во всем многообразии их материалов, а также данные этимологических исследований. Существенным косвенным источником интерпретации значения славянского слова в переводном памятнике является

анализ соответствующего ему слова (или словосочетания) в языке оригинала.

Разумеется, все эти косвенные источники не могут быть непосредственно приобщены к прямым источникам (т. е. к рукописям и надписям изучаемой эпохи), их использование требует определенной методики, специального рассмотрения каждого привлекаемого языкового факта во избежание хронологического или ареального искажения изучаемой лексической системы.

Мы не говорим здесь о неязыковых источниках, о всем том неограниченном арсенале средств, которые бывают необходимы при толковании темных мест, о возможно более глубоком и разностороннем знании природы и культуры (в широком понимании этих понятий) изучаемой эпохи, об обязательном владении филологическим мастерством [5].

IV. Приемы и методы выделения релевантных лексических признаков как основы сопоставления. Проблемы лексикологии (в том числе сравнительной лексикологии) не могут быть решены сопоставлением отдельных лексем, сравниваться должны определенные микросистемы. Таковыми являются лексико-семантические группы различных типов.

Так как слово — двусторонняя единица, то и лексико-семантические группы возможны двух типов. Во-первых, такие, которые выделяются в лексической системе относительно реальной действительности. Это группы слов, объединенные, например, значениями «видения», «говорения», «цветового признака», названиями частей тела, орудий, оружия и т. п. и т. д. Есть несколько способов выделения таких групп. Можно исходить из так называемых «ключевых слов». Л. Ельмслев писал: «Обнаруживая „ключевые слова“, характерные для данного общества в данную эпоху, и устанавливая как функциональную сеть подчиненных слов, зависящих от этих „ключевых слов“, так и иерархию, определяющую эту сеть, семантика. . . должна стать венцом исторической науки и в более общем виде социальной антропологии» [6].

Второй тип лексико-семантической группы выделяется по собственно языковым признакам. Это группы слов, объединенные между собой общей морфемой как общим компонентом значения. По типу морфемы эти группы можно назвать корневыми или аффиксальными (префиксальными и суффиксальными). Если морфемные корневые и префиксальные группы объединяют слова различных лексико-грамматических классов, то суффиксальные — слова одного класса. Корневые и аффиксальные группы различаются по характеру семантического объединения, так как «никакой аффикс сам по себе не имеет значения в том смысле, в каком мы говорим о значении основ. Он обладает значением только в той мере, в какой он изменяет значение первичной основы в значение производной основы, вносит в значение первой ту или иную модификацию» [7].

Морфемных корневых групп значительно больше, чем аффиксальных, но последние включают несравненно большее число

слов, чем корневые. Встречаются морфемные группы (в том числе и аффиксальные) с ограниченным числом составляющих их слов, но так как слово одновременно является членом нескольких лексико-семантических групп, то его семантические и стилистические свойства уточняются совокупным анализом всех групп, в которые оно входит. Ограничимся одним примером. Так, общеславянская суффиксальная «группа» с глубоко архаичным формантом *-еха* состоит (насколько можно судить по имеющимся источникам) из локальных модификаций праславянского *matjeха (mat-jeха) — болг. *мащеха*, серб. *мађеха*, словен. mačecha, рус. *мачеха*, чеш. macecha. По корню эти варианты входят в группу -matj- (*-мащ-*, *-мач-*, *-мађ-*, -mac-, -mač-) и должны быть рассмотрены на фоне смежной корневой группы -mat- (ср. хотя бы др.-рус. мати, матъка, матерьство, материзна; рус. диал. *матиха*, *матица*, *матка*, *матунька*, *матуша*, *матоха*, *паматерь*, *мамушка* и мн. др.). Эти группы должны быть сопоставлены с группой названий родства и через нее с корневыми группами: *-нан-*, *-нен-*, *-нин-*, *-нян-* (ср. хотя бы диал. болг. *нана*, *неня*, *нина*; серб., кашуб., польск. *нана*, *нена*; укр. *неня*; рус. *няня*) и *-мам-* (например, рус. *мама*, *мамка*, *маменька*, *мамушка*). Последняя группа в свою очередь в числе других связана с суффиксальными группами типа *-енька*, *-ушка*, стилистически антонимичными пейоративным группам с формантами *-еха*, *-оха*, *-аха*, *-иха*, *-уха*, характерными для слов со значением 'мачеха' (ср. хотя бы диалектные — рус. *мачиха*, *мачуха*, *мачоха*; серб. *мађаха*; чеш. и словац. macocha; литературные польск. и серболуж. macocha). Через рус. *паматерь* слова со значением 'мачеха' должны быть сопоставлены с префиксальной группой на pa- (ср. хотя бы рус. диал. *паотец*, *пасерб* и литерат. *пасынок*, *падчерица*; чеш. pastorek, pastorkyňe), которая в свою очередь синонимична группе с начальным sq- (сж-, *соу-*, sou-, *су-* (ср. хотя бы серб. *суродица*, *сузетица*). Называем только эти группы, хотя слово *мачеха* и его модификации связаны также с рядом других лексико-семантических групп.

Анализ лексико-семантических групп, в которые входит слово со значением 'мачеха', а также групп, опосредствованно связанных с ними, показывает, что это значение в славянских языках, как правило, выражается корнем -matj- и его модификациями [8], оформленными различными аффиксами, вносящими в слово семантический оттенок ослабления или отрицания того, что выражено корнем, и при этом обладающими пейоративным обертоном. В каждом языке наблюдаются ареальные особенности употребления — отмечены специфические модификации данного слова; постепенно выделяется свой стилистически нейтральный вариант литературного употребления на фоне его маркированных вариантов — архаичных, книжных и диалектных. Так, в русском литературном языке *мачеха* долгое время было собственно книжным словом (в др.-русском языке употреблявшимся параллельно с болгаризмом мащеха), а *мачиха* — обиходным. Эти соотношения сохранялись еще в карамзинско-пушкинскую эпоху.

Анализ показывает, что слово *мачеха* (и его варианты в славянских языках), несмотря на единичность и обособленность по корню и форманту, связано с другими лексемами разнообразными и глубинными отношениями, является членом определенной лексической системы.

Язык рукописей неполно отражает состояние словарного состава изучаемого периода, так как не фиксирует язык во всем разнообразии его стилей. К тому же древние списки дошли до нас в значительно меньшем количестве, чем их было в свое время. При этом большинство сохранившихся манускриптов идентично по содержанию, т. е. лексически однообразно. Целый ряд лексико-семантических групп древних языков представлен поэтому лишь отдельными лексемами и в ограниченных контекстах. Это существенно затрудняет исследование и одновременно ставит задачи восстановления утраченного [9]. Такими лакунами отличаются прежде всего предметные группы экстралингвистического типа. Так, например, известная по трудам палеоботаников и палеобиологов номенклатура флоры и фауны древнего мира, в частности славянского, далеко не полностью фиксируется словарем известных нам древних славянских рукописей. В этом отношении морфемные лексико-семантические группы значительно более информативны. В ряде случаев анализ таких групп позволяет восстановить утраченные значения известных лексем и даже восстановить целые слова, не зафиксированные непосредственно в дошедших до нас прямых источниках изучаемой эпохи [10]. Существенно и то, что состав аффиксов и даже корней языков первых веков славянской письменности нам в целом известен. Вновь открытые рукописи умножают наши сведения об отдельных словах (и их сочетаниях), но до сих пор не прибавили неизвестных морфем (последние возможны, но число их не может быть значительным).

При изучении лексико-семантических групп рационально, видимо, идти обоими путями одновременно, как бы навстречу друг другу — анализировать группы обоих типов (и предметные и морфемные) в их многообразных связях.

При выделении морфемных групп целесообразно исходить из данных одного языка, постепенно обогащая их фактами из других сравниваемых языков. Практическую помощь исследователям при определении лексического состава морфемных групп на начальном этапе работы может оказать Словарь древнецерковнославянского языка Л. Садник и Р. Айтцетмюллера [11], во второй части которого лексемы сгруппированы в этимологические гнезда, а в третьей — по концу слова. Разумеется, следует учитывать отсутствие в этом труде ряда слов из позднее опубликованных рукописей, а также специфику этимологического подхода к слову (этимологическое гнездо и лексико-семантическая группа — неадекватные понятия). В языке 17 древнеболгарских рукописей известно более 1200 различных корневых морфем, которые представлены в 7838 словах (грецизмы не учитываются). При этом около 350 корней известно только по одному древнеболгарскому

слову (простому или производному), а более 7000 остальных слов образуют около 850 лексико-семантических групп по общему корню. В языке древнеболгарских рукописей имеется также около ста аффиксов — префиксов и суффиксов, которые также объединяют слова в лексико-семантические группы.

Необходимо подчеркнуть, что лексиколог-древник не может ограничиваться в своей работе данными словарей, словоуказателей и других пособий, так или иначе уже обработанных в определенном ракурсе. Для семантического и стилистического анализа необходимы значительные контексты, т. е. анализ первоисточников. Важны количественные подсчеты, показывающие, если не абсолютную, то относительную степень типичности наблюденных явлений. Сам факт частого и повсеместного употребления морфемы, а тем более слова обычно рассматривается как признак общеславянского происхождения. Вместе с тем нужно иметь в виду, что для языка древних славянских рукописей характерно наличие в словаре большого числа гапаксов. Так, в лексике 17 древнеболгарских рукописей их число составляет более 2000 слов, т. е. примерно четвертую часть всего словаря этих манускриптов. При этом в составе др.-болг. гапаксов мало окказионализмов, а преобладают первые письменные фиксации славянских слов. Таковы, например, весна, заяць, къмотра, братати, разбостѣти, сватаць, челядь, чеснота, чрѣвии, шапъгати, а такие слова, как пер-ѧнатъ, ин-окъ, пѣст-оунъ содержат и гапаксы-суффиксы -ѧнатъ, -окъ, -оунъ. Гапаксы, изученные не изолированно, а в составе лексико-семантических групп, существенно умножают наши знания о словаре первых славянских рукописей, о языках древних славянских народов в целом и на остальных языковых уровнях. При оценке различных количественных показателей древних языков важно учитывать одну из языковых универсалий: увеличение словарного состава языка происходит тем интенсивнее, чем ближе данная эпоха истории языка к его современному состоянию.

Опыт показывает, что при изучении одной какой-либо морфемной группы непременно выделяются и другие лексико-семантические группы, иначе организованные, но семантически связанные с первой. Анализ каждой такой группы скрывает часто не выявленные ранее или недостаточно четко определенные особенности слов, ее составляющих. Чем бо́льшее количество таких взаимосвязанных групп будет вовлечено в исследование, тем определеннее предстанет перед нами каждое слово и в своих системных отношениях с другими лексемами и как неповторимое семантико-стилистическое языковое явление.

Анализ слова в составе лексико-семантических групп различных типов — таков один из наиболее эффективных путей изучения как лексической системы отдельного языка, так и соотношения данных систем сопоставляемых языков.

В качестве примера анализа слова в аспекте и приемами сравнительной лексикологии древних славянских языков изложим результаты изучения корневой группы *-обид-* (к сожалению, суммарно и предельно кратко). Выделяем преимущественно не значения отдельных слов по языкам, а семантическое ядро, их объединяющее. Оно иллюстрируется, по необходимости, единичными и преимущественно разнохарактерными примерами, по возможности из разных языков, из разных типов памятников, словами различных лексико-грамматических классов. В примерах идентичного содержания цитируется наиболее древняя рукопись, затем указываются более поздние списки различных редакций и изводов, а также тексты иного содержания, в которых приводится данное место. Учитываются также текстологические дублеты, которые рассматриваются как косвенный источник информации об анализируемом слове [12].

Для определения модификаций значений слов группы *-обид-* (*-ob-vid-) важно учитывать ее этимологическое родство с корневыми группами *-вид-* и *-вѣд-* (ср. хотя бы др.-болг. и др.-рус. съвидѣтєль и съвѣдѣтєль [13]; рус. диал. *видка* 'правда', Филин 4, 275). У них общий и.-е. корень *ueid- (аналогичные данные отмечены и на ностратическом уровне [14]). Связь с праславянским корнем сохраняется отдельными словами — типа серб. *обид* 'взгляд, свидетельство' и чешск. obid 'осмотрительность' (Сравн. сл. 4, 296).

Не менее информативен для слов группы *-обид-* и анализ префиксальных групп на *о-(об-)*. Эта приставка в лексемах с *-обид-* затемнена праславянским изменением ьv в ь на стыке морфем и выделяется в них только этимологически. Ср. производные приставочные глаголы типа по-, при-, прѣ-, оу-обидѣти в древних рукописях различных изводов и редакций, мотивированные синхронно уже беспрефиксальным гл. обидѣти. Показательна и неустойчивость вида гл. обидѣти в древнейших источниках (см. СЯС II, 465—466), отчасти связанная с судьбой его исконной приставки [15].

Семантически выделяются три префиксальных группы с *о-(об-)*. В первой (вербальной) группе приставка вносит в глагол лексико-грамматический оттенок совершенного вида. Например, др.-болг. облєстити при лєстити. Во второй группе лексемы объединяются оттенками 'все, всё кругом; полностью (то, что выражено корнем)'. Например, др.-болг. обноштанъ '(продолжающийся) всю ночь'. В третьей группе слова объединяются оттенками 'вокруг, около, мимо, по касательной; без (того, что выражено корнем)'. Например, др.-болг. обиновати сѧ (*ob-vinovati sę) 'уклоняться; избегать, сторониться'. Ср. рус. *обнести* (кушаньем и т. п.) в отличие от *обнести* (забором); *оземльствованьи* 'изгнанный из родной земли' (Жит. Вацлава, рус. список XVI в. с чеш. оригинала, СЯС II, 523—524); словен, obglaviti 'обезглавить'. Из всех трех данная группа наиболее архаична и малочисленна. Она синонимична префиксальным группам на мимо-, прѣ-, чрѣз-. Именно с третьей

семантической группой на *о-(об-)* исторически связаны слова группы *-обид-*. Сопоставительное рассмотрение всех имеющихся источников позволяет считать, что одним из древнейших слов этой группы был глагол *обидѣти* в значении 'обойти взглядом, видеть вскользь, боковым зрением, непрямо'. Это значение (насколько можно судить по доступным нам источникам) в славянских языках не зафиксировано.

Наиболее близким к выделенному значению является смысл выражения (нѣстъ же) обидѧно '(не) просмотрено, (не) упущено из виду' в серб. рук. 1263 г. Шестоднева (список со ср.-болг. рук.): нѣстъ же обидѧно. ѥгоже то ѥсмъ забыли. нъ третѧѧ часть ѥстъ въ животѧнѣи твари 185в 24 (реконструкция Р. Айтцетмюллера, ср. Сравн. сл. 4, 295—296). Аналогично: нич'тоже нѣс(тъ)ве строѧ. нич'тоже нѣс(тъ) прѣобидѣно от(ъ) б(ог)а. вѣсе видитъ бесъмѧное око 180д 14 (в этом контексте примечательно употребление гл. видѣти как антонима к прѣобидѣти, возможно, в последнем еще ощущался корень *-вид-*). Ср. также: не обидливъ бо б(ог)ъ забыти дѣла вашего Евр 6, 10 Ен Охр Слепч Мак; Шиш; Христ; СЯС II, 465). Именно со значением 'не заметить, не обратить внимания, обойти вниманием (без намерения, без злого умысла)' связаны русские выражения *обижен богом, природой, судьбой* (аналогично в болг. литерат. языке), т. е. первоначально — 'не замечен, непреднамеренно обойден вниманием бога, природы, судьбы' (без злого умысла).

Следующее значение 'пренебрегать, оставлять без внимания' широко представлено глаголами данного корня в южно- и восточнославянских рукописях. Например: како крѣстиѧни сѧмрьтъ прѣобидѣти навыкохомъ Супр 254, 4—5; покаѧ сѧ блаженьи петр'. и зъльи июда. нъ петръ добрѣ покаѧвъ сѧ. и плакавъ сѧ и отъвръжение слѣзами омывъ. . . а июда обидѣ покаѧние. . . обаче не въста ни въсплака сѧ. ни сътвори ничсоже добры покаѧзни Супр 362, 28; ис очиштаѥтьсѧ. а ты прѣобидиши очиштение Гр. Наз. XI в., л. 12 (Срезн. II, 1676); азъ не навыкохъ прѣобидѣти огнь и водоу Жит. Стеф. Перм. 710 (там же); о оучащихъ преобидѣти дом б(о)жии, рекше црькь. и не сбиратисѧ въ црькь на пѣние и на мѧтвоу Ряз. крм. 1284 г., л. 33 (там же); воле како дша чльвка сего оуплѣнѧѥма ѥстъ от(ъ) бѣса. ѩко преобидитъ страхъ гнь. а не имѧть стоуда ни соумнѣниѧ Выг. св. Жит. Ниф. 4а 17; — ; . . . смьрть и всѧку бѣду обидѧть веледушьствующе Иуд. война, 262, 9, аналогично 308,1. Употребление гл. обидѣти и его производных в данном значении характерно для рукописей Преславской школы и для восточнославянских манускриптов. Характерны текстологические дублеты обидѣти и неродити в этом значении в различных списках одного из Слов Иоанна Златоуста: тоу въскочи въ нѧ диѧволъ. не плѣть обида господьнѫ. нъ стоудъ обида июдинъ Супр 421,3 и 4 (не о тѣлеси гни не рода. нъ о июдѣ не ро(д)а Клоц 8а 34). Слова

группы -нерад- (нерод-) чаще употреблялись в др.-болг. рукописях охридской школы письменности (см. хотя бы СЯС II, 402—403). Соответственно в рукописях преславской школы чаще встречаются глаголы не брѣци, не пещи, обидѣти и их производные; в др.-чеш. рукописях — neroditi и ne pécí (см. Ст.-чеш. сл. 5, 681—682 и др.). Один пример из многих: никоторы же бо раба можеть двѣма гонома работати... или единого дражить се а дроугаго прѣобидить Л 16, 13 Вук; Тырновское ев. 1273 г. (...о дроузѣмь не брѣшти начьнетъ Зогр Сав Добр; Остр; не родити Мар Ас Врач, не радити Добром Ив-Ал; hrdaty Ст.-чеш. библия, Драж Олом). Похоже Мт 18, 10. Ср. Ягич, 370—371.

Непосредственно производным от предыдущего, видимо, является значение 'обидеть, выказав пренебрежение, презрение'. Например: никогоже обидите. ни оклеветаите Л 3, 14 Зогр Мар Ас Сав Добром Добр; Остр; Ižádného nenuzte ani násilé činte Ст.-чеш. библия, Олом Драж; да не прѣобидимъ дроугъ дроуга. да не навыкнемъ оу ба прѣобидѣвати Вост. II, 127 (Златостр. XII в.). Непосредственно с этим значением связано значение 'надругаться, оскорбить (каким-либо действием, поступком)'. Гл. обидѣти и его производные в данном случае употребляются преимущественно при описании позорной казни Христа. Например: о мртвѣмъ мла бъсѣми обидимоу. отъ дроуга. проданоу. отъ оученика прѣдана Герм. сб. 181б 5—6 (ср. в той же гомилии в Супр: отъ власѣхъ обидѫ приим'шоу 455, 14); даждъ ми мрткое къ погребению тѣло оного иса... обидима бъсѣми и висяща там же 180б 7—8 (в Супр: небрѣгома 454, 21). В болг. и рус. списках Беседы Козмы Пресвитера: тѣла же хва никтоже вас обидою да не приемлет (по изд. Попруженко 65а 24, по изд. Бегунова 56б 7); ср.: дай ми... обыднаго мрьтъв'ца Троянский дамаскин, 239. Ср. описание этого же события другими средствами в Усп. сб. 240а. Ср. в др.-чеш. евангелиях: dadiet' jej (Krista) na obyedu (m. obidu) a na bičovánie a na křižovánie Мт 20, 19 Ev Rajhr 110b (na posmievanie, k tryzňovaní, ku pošpílení, aby jím klamali, pošpíleli — в других списках, но прѣдадатъ и на поржгание Мар Зогр-б Добр Ив-Ал; Вук Ник Хрв апр). Ср. также: však tě ona (Maria Magdaléna Krista)... viděla v obid lidem všěm... na kříži oběšeného Hrad Magd 42a; silný jím (Kristem) smiech pobíjiechu, jako lotra obydiechu Umuč Rajhr 134 (Ст.-чеш. сл. 8, 1114—1115; ср. klamati Гебауэр II, 37—38).

Слова группы *-обид-* в др.-чеш. рукописях отмечены только в этом круге значений, но они не сохранились в современном чешском литературном языке (в доступных нам чешских диалектных источниках слова этого корня не встретились). В современном словацком литературном языке obida 'неприятность, огорчение, досада' имеет помету «экспрессивно», а образованное от него obidný еще и «редкое» (Акад. сл. слвц. яз., II, 417).

Следующая семантическая ступень в словах с *-обид-* связана с выражением понятия несправедливости. Например: слъньце свое сиꙗетъ. на злаго. и на добраго. и дъждитъ на правьдьныꙗ. и обидьливыꙗ Мт 5, 45 Сав (неправьдъны Зогр Мар Ас Ив-Ал; Вук Хрв апр; не на правьдъныꙗ Врач; Остр); не любодѣи во ни клеветьници. ни обидьливи цсрствие бжие наслѣдъствоуѭтъ Клоц 2а 37 (1 Кор 6, 10 — неправьд'нии Христ; Шиш; неправедъници Слепч); . . . обидьливы и непобѣдимыи мѫчитеѩ Супр 460, 7—8; бѫди. . . въ обидьливъства мѣсто. ницелюбець Евх 70б 11—12; аще которыи попъ небрежетъ о своюмь еппѣ. . . да извержеть с(ѧ). ꙗко прозоривъ и обидливъ ѥсть Уст. крм. л. 24 (Срезн. II, 504; прозоривъ 'высокомерный' и обидьливъ 'несправедливый' часто встречаются в одном контексте); въ всемь же обидѣнии не дръжи гнѣва на искраняаго своего Панд. Ант. XI в. (Срезн. II, 505); не прелюбы дѣи. не въсхити чюжего обидою Кир. Тур. сп. XIV в. В др.-чеш. текстах в этом значении часто находим křivda и однокоренные с ним слова в сопредельных значениях. Например: krzywotu činí Otc. 343b (Гебауэр II, 148; см. также II, 146—149); кривага мысль Бес 34, 238 (СЯС II, 64; ср. там же крикина и др., II, 63—64); dščí na pravé i na křivé Мт 5, 45 Ст.-чеш. библия Олом, у ne na prawe Драж (ср. выше этот же стих в Сав и других евангелиях); neczinym tobie bezprawie Мт 20, 13 там же Драж, nečinímt' křivdy Олом; знаменательно оукривлѣа Тырновск. ев. 1273 г.; не обиждѫ тебе Мар Ас Добр Врач; Вук, Хрв апр; Остр.

В этом круге значений в древних текстах значительно более употребительными были слова группы *неправ-*. Лексемы групп *-обид-*, *неправ-*, *-лжк-*, *-крив-* должны быть сопоставлены между собой, а также с антонимичными словами групп *-прав-*, *-прѣмъ-* (*-прꙗм-*) и *-сжд-*.

Если перечисленные выше значения слов группы *-обид-* характерны преимущественно для собственно книжного словоупотребления, то значения 'причинять вред, ущерб (материальный), страдания (физические); обсчитывать, обманывать (в делах)' получили широкое распространение в различных стилях речи в древних славянских языках. Например: богатыи обидоу сътворивъ и самъ прогнѣваеть сѧ. оубогыи же обидимъ и самъ примолить сѧ Изб. 1076 г., 150а 8—12 (цитата из Библии, часто встречается в различных рукописях); кѫж обидѫ намъ сътворивъше. тако мѫчиши. и прѣбываваши биѧ. и поудиши отъстѫпити отъ бога живааго Супр 50, 4; не продадим божиѧ слова на лъжи, крадуще, грабаще, обидаще, на игумена злое мыслаци, клатвою сѧ оправдающе Кир. Тур., л. 318а—319; аште есмь кого чимь обидѣлъ. възвраштѫ четворицеѫ Л 19,8 Зогр Мар Врач Добр Ив-Ал; Вук Хрв апр; Остр (оуобидѣлъ Ас, пообидѣлъ Добром; oklamal Ст.-чеш. библия Драж Олом); — ;

Цамблак, 47, 5; да отъженѫтъ в'се зло. . . и в'се еже обидитъ кина (т. е. 'виноградные лозы, виноградник'. — *Р. Ц.*). и нивы и врътограды Евх 59а 12—13; ион златоустаго слово ꙗкоже сама себе не обидитъ. никтоже не можетъ обидѣти Минчева, 203 (серб. рук.); плачь и слезы обидимыхъ, там же 204; рыдайте обидимии. не себе. нъ обидѣвъшиихъ васъ. не бо васъ врѣдиша. нъ сами сѧ погоубиша Изб. 1073 г.; василѣа не обидьте. ни о землѣ. ни о водѣ. ни о животѣ Дух. Новг. и Двин. гр. XIV—XV вв., 2 (Срезн. II, 506).

Значение 'вред, ущерб, урон' в глубокой древности претворилось в собственное имя языческой богини — девы Обиды. Дева Обида — олицетворение зла, беды, несчастий. В «Слове о полку Игореве» она — символ народных бедствий, которые обрушились на Русь после нашествия половцев: *въстала Обида въ силахъ Дажьбога внука, вступила дѣвою на землю Трояню.* Дева Обида соответствует также Антибогородице у Ефрема Сирина, одиве погибельной в одной сербской легенде [16].

Заметим, что непосредственно с древним значением сущ. *обида* 'вред' связаны современные болг. *безобиден* и рус. *безобидный* в своих ныне второстепенных употреблениях типа *безобидно лекарство* и *безобидное средство.*

В связи с семантическим ядром 'вред, ущерб' должна быть рассмотрена и синонимическая группа *-щет-*. Глаголы отъщетити и отъщещати сравнительно широко употребляются в древних южно- и восточнославянских текстах различного содержания и происхождения. Ограничимся одним примером: . . . обидимоу быти а не обидѣти. отъштетити сѧ. а не отъштетити Сб. 1076 г., 106а 2—4. Ср. СЯС II, 622; Срезн. II, 824—825.

Сущ. обида 'вред, ущерб, урон (имуществу, чести)' уже в древнейших южно- и восточнославянских рукописях употребляется как юридический термин. Аналогично применяются и производные от него [17]. Например: ꙗко да по законоу изищетъ сѧ. и испытаѥтъ сѧ обида ѥго Зак. Судн. (Уст. крм. 59а 1, то же 59а 3); аще митрополитъ соупьра боудетъ. то к ѥксархомъ ли цѣсаревомъ ѥпископъ. обида ѥго да оустроитъ сѧ Ном. Уст. 8б 23 (СЯС II, 465); аче кто кона погоубитъ, или оружье, или портъ. . . а за обиду платити ему 3 гривны Р. Пр., ст. 28; аже кто ударитъ мечемъ, не вынезъ его, или рукоѧтию, то 12 гривенъ продажи за обиду там же, ст. 18; и своимъ тиоуномъ приказываю ц(е)рк(о)вного соуда не обидѣти Устав кн. Владимира, ст. 8; иже соудъ наводитъ на обидьникы Изб. 1073 г., 192 (Срезн. II, 504); престоупьникомъ и обидьникомъ томлениꙗ и моукы Никон. Панд., сл. 18 (там же); обидьникъ и грабитель там же, сл. 36; хищникъ и обидникъ Жит. Андр. Юр. (там же); — ; *а ког митрополит обвинит, ино емоу обиднов отдат* Ряз. гр. № 55; *а сребро за нихъ 75 рублевъ поплативъ обиднымъ людѣмъ* Пск. лет. (т. е. истцам, Дювернуа,

114); *обида есть вред, приключаемый чести или имуществу* (Фонвизин. Опыт российского сословника). Ср. в более поздних или диалектных источниках русские выражения *обидная грамота* 'жалоба, прошение', *обидное имущество* 'имущество, отнятое несправедливо', *обидное платье* 'траурная одежда', *обидная цена* 'убыточная цена' (Сл. рус. яз. АН IX, вып. 2, 269—285).

Таковы основные значения слов лексико-семантической группы *-обид-* в древних славянских языках. Здесь не была представлена вся многообразная гамма оттенков значений, не были отмечены семантические нюансы на их стыке; опущены данные такого важного косвенного источника, каким являются греческие соответствия славянских слов в списках переводных памятников, до минимума сокращены сведения из других косвенных источников. Однако и приведенные материалы показывают, что группа *-обид-* глубоко архаична. Некогда общеславянская и полисемантичная, она уже в первые века славянской письменности постепенно утрачивала свой былой диапазон и в семантике, и в ареале. Лексемы этой группы рано перестали употребляться в древнечешском языке. В современных южно- и восточнославянских языках мотивирующее *обида* означает 'несправедливое огорчение' или 'чувство, вызванное таким огорчением'. Таким образом, из области обозначения определенных реалий, поступков наблюдается переход в сферу выражения чувств, душевных переживаний. Ср. типичные современные русские сочетания *обидеть словом*, *шуткой*. Реликты древних значений находятся на периферии и характеризуются ограниченной сочетаемостью (типа рус. *бог обидел* или *безобидное средство*).

Как было указано выше, анализом одной лексико-семантической группы не решаются и в принципе не могут решаться вопросы лексикологии, но именно с исследования одной группы начинает выделяться та микросистема, которая и является непосредственным объектом лексикологии (в том числе и сравнительной лексикологии). Так, на примере лексем группы *-обид-* очевидно, что утраченные ими значения стали выражаться словами других лексико-семантических групп (часто различно функционирующими в разных славянских языках). Таковы группы с семантическим ядром 'зрение'; например, слова групп *-вид-*, *-вист-*, *-зрак(ч)-/зорок(ч)-*, *-зьр-*, *-зор-*, *-див-* и некот. др. Таковы группы с семантическим ядром 'непрямой; несправедливый'; например, слова групп *-крив-*, *-лжк-*, *-не(прав)-*, -klam-. Таковы группы с семантическим ядром 'вред, урон, ущерб'; например, слова групп *-врѣд-*, *-цет-*, -škod-.

Мы назвали лишь отдельные лексико-семантические группы, связанные прямо или опосредствованно, в плане синонимии или антонимии со словами группы *-обид-*. Мы опускаем (из-за недостатка места) все материалы по аффиксальным группам (типа *не-*, *мимо-* или *-ьливъ*, *-ьство*). Их анализ существенно уточняет наши знания о слове в системе, о модификации его значений и сфере употребления.

Несомненно, что чем большее количество данных будет привлечено для исследования, чем большее число лексико-семантических групп различных типов будет выявлено и изучено в составе определенных микросистем, тем полнее и точнее может быть описана как лексическая система изучаемого ареала в целом, так и особенности конкретных слов, ее составляющих.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Заданный объем доклада не позволяет нам иллюстрировать каждое его положение примерами из рукописей, а потому в конце доклада излагаются результаты анализа одной лексико-семантической группы (-обид-) по материалам древних славянских языков. Здесь суммарно иллюстрируются различные аспекты подхода к слову при решении поставленных задач.

[2] *Винокур Г. О.* Об изучении языка литературных произведений. — В кн.: Винокур Г. О. Избранные работы по русскому языку. М., 1959, с. 256.

[3] *Цейтлин Р. М.* Лексика старославянского языка. М., 1977, с. 7—15; см. также: *Филин Ф. П.* Истоки и судьбы русского литературного языка. М., 1981, с. 24 и след.

[4] Многие современные ученые относят Киевские листки не к X в., а непосредственно ко времени моравской миссии Кирилла и Мефодия. Мы придерживаемся традиционной точки зрения и относим эту рукопись к X в.

[5] *Винокур Г. О.* Введение в изучение филологических наук. — В кн.: Проблемы структурной лингвистики. 1978, М., 1981, с. 36 и след.

[6] *Ельмслев Л.* Можно ли считать, что значения слов образуют структуру? — В кн.: Новое в лингвистике, вып. II. М., 1962, с. 136.

[7] *Винокур Г. О.* Заметки по русскому словообразованию. — В кн.: Г. О. Винокур. Избранные работы по русскому языку. М., 1959, с. 425.

[8] Характерно его раннее отмежевание от корня -mat-, хотя и с ним известны пейоративные значения слов (ср. в русских говорах *матуха* 'лихорадка').

[9] Восстановление утраченного в лексических системах древних языков на базе известного по первоисточникам того времени корпуса слов — важная специальная проблема лексикологии любого древнего языка.

[10] *Цейтлин Р. М.* О старославянских словах, которых нет в рукописях старославянского языка. — В кн.: Этимология. 1975. М., 1977.

[11] *Sadnik L., Aitzetmüller R.* Handwörterbuch zu den altkirchenslavischen Texten. Heidelberg, 1955.

[12] Примеры приводятся в следующей последовательности по группам языков: южно-, восточно-, западнославянские. Они отделяются друг от друга точкой с запятой. Данные косвенных источников отделяются от прямых знаком тире. Списки условных сокращений прилагаются (кроме сокращений в цитируемых словарях). В выдержках из текстов приняты отдельные графические упрощения. Так, например, четыре *и* (и, ѝ, ї, і) передаются одной буквой и, два *о* (о, ѡ) — одной буквой о и т. п. Надстрочные буквы даются в строке, все виды знаков препинания заменяются точкой, все виды скобок — круглыми скобками. Все диакритические знаки, кроме паерка и знака мягкости, опускаются. В цитатах из поздних источников сохраняется орфография издания.

[13] *Plevačová H.* Záměny sloves *věděti* a *viděti* v st.-sl. textech. — Slavia, 1957, N 2.

[14] *Иллич-Свитыч В. М.* Опыт сравнения ностратических языков. Введение. Сравнительный словарь. М., 1971, с. 255—256.

[15] *Meillet A.* Études sur l'étymologie et le vocabulaire du vieux slave, I—II. Paris, 1902—1905, p. 38; *Dostál A.* Studie o vidovém systému v staroslověnštině. Praha, 1954, s. 289.

[16] *Рыбаков Б. А.* Прикладное искусство. Киевской Руси IX—XI вв. и южнорусских княжеств XII—XIII вв. — В кн.: История русского искусства, т. I. М.—Л., 1953, с. 274 и след.; *Клейн И.* «Слово о полку Игореве» и апо-

калиптическая литература. — В кн.: «Слово о полку Игореве» и памятники древнерусской литературы. Л., 1976 (ТОДР, XXXI).

[17] Ср. антонимичные слова в группах *-сѫд-* и *-прав-* в работах: *Иванов В. В., Топоров В. Н.* О языке древнего славянского права. — В кн.: Славянское языкознание. VIII Международный съезд славистов. Доклады советской делегации. М., 1978; *Цейтлин Р. М.* О значениях старославянских слов с корнем *-прав-*. — В кн.: Этимология. 1978. М., 1980.

ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

Акад. сл. слвц. яз. — Slovník slovenského jazyka, т. II. Bratislava, 1960.
Ас — Ассеманиево евангелие.
Вост. — *Востоков А. Х.* Словарь церковнославянского языка. СПб., т. I, 1958; т. II, 1861.
Врач — Врачанское евангелие.
Вук — Вуканово евангелие.
Выг. сб. — Выголексинский сборник. Под ред. С. И. Коткова. М., 1977.
Гебауэр — *Gebauer J.* Slovník staročeský, díl I—II. Praha, 1970.
Герм. сб. — *Иванова-Мирчева Д., Икономова Ж.* Хомилията на Епифаний за слизането в ада. София. 1975.
Добр. — Добрейшево евангелие.
Добром. — Добромирово евангелие.
Др.-рус. уставы — Древнерусские княжеские уставы XI—XV вв. Изд. подгот. Я. Н. Щапов. М., 1976.
Дювернуа — *Дювернуа А.* Материалы для словаря древнерусского языка. М., 1894.
Евх — Синайский Евхологий.
Зак. Судн. — Закон Судный людем краткой редакции. Под ред. М. Н. Тихомирова. М., 1961.
Зогр — Зографское евангелие.
Ив-Ал — Четвероевангелие царя Ивана Александра.
Иуд. война — *Мещерский Н. А.* История иудейской войны Иосифа Флавия в древнерусском переводе. М.—Л., 1958.
Кир. Тур. — Еремин И. П. Литературное наследие Кирилла Туровского. — В кн.: Труды отдела древнерусской литературы, т. XII. М.—Л., 1956.
Клоц — Клоцов сборник.
Мар — Мариинское евангелие.
Минчева — *Минчева А.* Старобългарски кирилски откъслеци. София, 1978.
Остр — Остромирово евангелие.
Р. Пр. — Русская Правда.
Ряз. гр. — Рязанская грамота. — В кн.: Памятники русской письменности XV—XVI вв. Рязанский край. М., 1978.
Сав — Саввина книга.
Сл. рус. яз. АН — Словарь русского языка АН СССР, т. IX, вып. 2. Л., 1930.
Сравн. сл. — *Sadnik L., Aitzetmüller R.* Vergleichendes Wörterbuch der slavischen Sprachen, Lief. 4. Wiesbaden, 1968.
Срезн. — *Срезневский И. И.* Материалы для словаря древнерусского языка. СПб., т. I, 1893; т. II., 1902; т. III, 1912.
Ст.-чеш. библия — Staročeská bible Drážďanská a Olomoucká. I. Evangelia. Vyd. Vl. Kyas. Praha, 1981.
Ст.-чеш. сл. — Staročeský slovník ČSAV, sv. 8. Praha, 1976.
Супр — Супрасльская рукопись.
СЯС — Slovník jazyka staroslověnského ČSAV. Praha, t. I, 1968; t. II, 1973; t. III, 1982.
Усп. сб. — Успенский сборник XII—XIII вв. Изд. подгот. О. А. Князевская, В. Г. Демьянов, М. В. Ляпон. М., 1971.
Филин — Словарь русских народных говоров. Гл. ред. Ф. П. Филин. Вып. 4. Л., 1969.

Хрв апр — *Vrana J.* Najstariji hrvatski glagoljski evanđelistar. Beograd, 1975.
Цамблак — *Русев П., Гълъбов И., Давидов А., Данчев Г.* Похвално слово за Евтимий от Григорий Цамблак. София, 1971.
Ягич — *Jagič V.* Entstehungsgeschichte der kirchenslavischen Sprache. Berlin, 1913.

Н. Ю. Шведова

ЛЕКСИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ РУССКОГО ГЛАГОЛА
(на фоне чешской семантико-компонентной классификации)

1. Систематизация слов — это систематизация языковых единиц, находящихся в состоянии постоянной рабочей активности.

Знаменательное слово обладает разнообразными сочлененными в нем свойствами и потенциями, принадлежащими ему как единице, с одной стороны, называющей, а с другой стороны — непосредственно участвующей в построении сообщения. Эта насыщенность слова активными и разнонаправленными свойствами, сконцентрированными в нем самом и в то же самое время обращенными вовне, подкрепляет тезис, согласно которому слово является центральной единицей языковой системы.

Слово — самая сложная единица языка. Суммируя в самом общем виде то, что уже сказано в разное время разными исследователями по поводу этой сложности, можно назвать следующие факторы: в слове соединены черты единицы современной, живой, и единицы, своими корнями уходящей в историю, причем бывшее, ушедшее оставляет в слове свой неизгладимый след; в слове сочленены означающее и означаемое; при этом одному означающему, как правило, соответствуют несколько означаемых; слово относится одновременно к мышлению, к реальному миру вещей, понятий, отношений и к другим единицам языка; таким образом, в нем репрезентированы одновременно мысль, реальная действительность и язык; в слове слиты три структуры: звуковая, морфологическая и структура значения; каждая из этих структур имеет внутри слова свое собственное членение, а две последние — асимметрическую организацию; таким образом, слово обращено одновременно к разным уровням языка; слово одновременно есть единица двух систем — лексической и грамматической, и в то же время оно — непосредственный участник коммуникативной деятельности; в акте коммуникации слово в одно и то же время и знаменует (означивает и обозначает) и служит, т. е. выполняет разнообразные грамматические и связующие функции; слово всегда входит в межсловные отношения: оно всегда — член не-

коего лексического множества; следовательно, на нем всегда лежит печать отношения к данному множеству и через него — к другим лексическим множествам [1].

Эти признаки слова должны быть дополнены еще одним — и очень важным — пунктом: слово и в системе языка, и в акте сообщения является разнонаправленно и активно работающей единицей. Работа слова осуществляется как реализация двух заключенных в нем потенциалов: во-первых, его центростремительного потенциала; это — работа, направленная к самому слову, все действия активного словесного притяжения, «вбирания в себя», т. е. работа концентрации, конденсации; и, во-вторых, его центробежного потенциала; это — работа, направленная от слова, все его избирательные действия, т. е. работа выбора, работа отдачи. Сочлененность в слове этих двух активно действующих потенциалов делает его единицей, уникальной по семантической нагруженности и конструктивной силе.

Центростремительные свойства слова составляют его характеристику как единицы, принадлежащей лексической системе языка. Эти свойства формируются в слове в результате притягивания к нему (с последующим стягиванием, конденсацией и, следовательно, приобретением качества собственных свойств слова) языковых характеристик тех контекстов, в среде которых оно существует. Контекстные условия существования слова имеют тройственный характер. Это, во-первых, условия существования слова в кругу его смысловых партнеров и антиподов, т. е. в рамках лексического множества и одновременно в условиях смысловых противопоставлений, разнообразных семантических оппозиций и отталкиваний. Во-вторых, это условия разнообразных синтагматических связей слова, непосредственных линейных окружений, — как закрепившихся (системных, стабильных), так и новых, становящихся, поначалу индивидуальных или окказиональных. В-третьих, это условия бытования слова в принципиально неочерченных пределах содержательных целостностей, в контексте таких характерных для слова речевых ситуаций, собственные языковые границы которых, в отличие от целостностей синтагматических и парадигматических, не могут быть четко определены. Иными словами, лексическая единица всегда существует одновременно в условиях текстовой последовательности (линейные контексты, синтагматика), в контексте класса («лексическая парадигматика») и в содержательном контексте речевой ситуации (обстановочные, «фоновые» контексты).

Синтагматический контекст наиболее близок к употреблению, наиболее очевиден: он отражает линейные, цепочечные связи слова как непосредственно воспринимаемые и постоянно повторяющиеся данности. Контекст класса не может быть выявлен синтагматически: это есть абстракция не от непосредственных употреблений, а от осуществляемой самим языком систематизации своих ресурсов, т. е. от отношений лексических единиц друг к другу. Контекст класса устанавливается путем определения места слова

в границах одного из тех множеств, которые можно называть лексико-семантическим классом, подклассом, разрядом, группой, парадигмой, лексическим рядом и т. д., отвлекается от отношения слова к другим членам этого множества и от его противопоставленности единицам других лексических множеств. Именно контекст класса нужен для характеристики значения слова: оно определяется на трех основаниях: во-первых, на основании межклассных связей, во-вторых, на основании того места, которое принадлежит слову в данном множестве и опирается на его семантические связи с другими членами этого множества, и, следовательно, в-третьих, на основании возможностей синонимических замен и тех результатов, которые получаются в результате этих замен.

Слово как называющая единица обладает способностью конденсировать и преобразовывать в себе самом работающие на него признаки всех названных видов контекстных окружений: их свойства притягиваются словом, абстрагируются в нем и отливаются уже в его собственные качества. Таким образом слово — это своеобразный генератор своих классных, линейных и узуально-речевых связей и отношений. Значения и свойства, вырабатывающиеся в слове средствами такой генерации, являются конечной объективацией его центростремительного потенциала.

Работа концентрации отражается в слове двояко: с одной стороны, как концентрированность свойств, т. е. как результат; это — все стабильные, устоявшиеся характеристики слова; с другой стороны, как концентрирование свойств, т. е. как процесс; это — постоянно осуществляющиеся в слове выработка и закрепление в нем новых черт значения, сочетаемости, отношения к лексическим партнерам, стилистических смещений. Центростремительная работа концентрации приводит к сконцентрированности новых связей и отношений в такие данности, которые становятся абстрагированными качествами самого слова.

С точки зрения строгой синхронии, по отношению к условно остановленному моменту развития, к условно взятой точке, центростремительный потенциал слова находится в состоянии покоя. По отношению к диахронии, движению, живому, постоянно совершающемуся на наших глазах, или глубокому, отливающемуся в длительные исторические процессы, — центростремительный потенциал слова находится в состоянии постоянной работы.

Сконцентрированность в слове всех его связей и отношений служит предметом его описания в словаре.

В грамматике знаменательное слово предстает как единица, характеристики которой, релевантные для данного языкового уровня, складываются прежде всего на основе его центробежного потенциала. Вступая в контакт с грамматическим законом (образцом, правилом), слово приводит в действие и обращает вовне свои внутренние качества: классную принадлежность, лексическое значение, сочетаемостные свойства, индивидуальные семантические

характеристики. В своих отношениях с грамматическим законом (образцом, правилом) слово осуществляет работу выбора, работу отдачи: оно здесь разнонаправленно и уверенно диктует, разрешает или запрещает (см. об этом ниже, с. 320).

Центробежный потенциал слова действует и внутри самой лексической системы. Формирование в слове нового значения не безразлично для той лексической группировки (ряда), которая открывает для него свои границы: этот ряд пополняется новой единицей, тем самым функции его компонентов дифференцируются, перераспределяются внутрирядные отношения. Эти изменения производны от того семантического наращения, которое осуществилось в слове, стимулированы этим наращением. Изменяясь само, слово влияет и на ту среду, в которую его вовлекают эти изменения. Таким образом, в появлении нового значения слова заложено обязательное последствие — воздействие на состав и качество тех единиц, которые становятся его функциональными партнерами. Если считать, что образование в слове новой номинации предшествует появлению у него новой семантической сочетаемости, то действие центробежных сил слова можно видеть и в появлении такой сочетаемости. Однако эти процессы нерасторжимы ни в самом слове, ни во времени.

Из сказанного следует, что, классифицируя слова на основе их лексических характеристик, значений, мы выявляем систему тех активных единиц, которые в пределах определенных лексических множеств постоянно работают в направлении развития как своих собственных потенций, так и состава и организации соответствующих множеств.

2. Как средство идеализации мира, язык воспроизводит его картину в целом и именует разные ее участки [2]. Лексическая система глагола представляет собой один из важнейших сегментов номинационной системы языка [3]. В литературе существует большое количество классификационных описаний отдельно взятых групп русского глагола, так же, как и глаголов других языков [4].

Можно ли и нужно ли пытаться строить такую классификацию глагола, которая будет иметь единое основание, полно отразит реально существующую систему и верно покажет ее внутреннюю организацию? Такая задача трудна, но выполнима. В то же время она очень важна. Познавательное значение такой построенной б е з о с т а т к а классификации велико. Базируясь на собственно языковых основаниях (см. ниже с. 311), она воспроизводит картину всех видов активных деятельностей и пассивных жизненных процессов и состояний, протекающих во времени и пространстве. Эта картина раскрывается перед нами не на плоскости, а в углубленной перспективе, поскольку полная классификация глагола (как и слов любой другой знаменательной части речи) может строиться только по принципу ступенчатой инклюзии. Эта картина, далее, строится не «из головы» лексиколога, а фиксирует в словах объективно существующие связи, предстающие во внутренней организации большого массива лексики. Таким образом,

чистая и полная языковая таксономия, без всяких «отклонений» в сторону заранее созданной теории, приводит к воспроизведению одной из важнейших сторон картины мира и к показу реально существующего соотношения ее сегментов. Это соотношение оказывается весьма показательным. Так, русская глагольная лексика — сама по себе, только средствами своей устроенности, показывает, что сфера действий, активности в жизни значительно шире, разветвленнее, чем сфера пассивно протекающих (или пассивно воспринимаемых) состояний; что в то же время действие далеко не всегда может быть противопоставлено состоянию, отделено от него; что в сфере активной деятельности практически нет чистого противопоставления действий интеллектуальных, интеллектуально-эмоциональных и конкретно-физических, а в большинстве действий есть лишь различное соотношение соответствующих компонентов; что есть жизненные сферы, с которыми связан богатейший и разветвленный круг действий и состояний, и жизненные сферы, с которыми связан ограниченный, сравнительно узкий круг действий и состояний; само соотношение таких сфер оказывается весьма сложным.

В собственно, языковедческом аспекте полная, без остатка классификация глагола нужна лексикологам, лексикографам и грамматистам. Она поможет уяснить вопрос о разных видах семного состава глаголов и о влиянии этих видов на устройство глагольной лексики в целом; выявит организующую эту лексику систему противопоставлений и покажет обязательную сопоставленность тех ее расходящихся ветвей, которые расположены на общей ступени. Такая классификация даст объективные основания для более точного, чем мы располагаем пока, ответа на вопросы о том, каковы реальные признаки лексического класса (и шире — вообще как-то ограничиваемого лексического множества) и что же такое «системность лексики». Лексикографу такая классификация даст надежное основание для того, чтобы слова, по своей природе требующие сходных описаний, наконец их получили. Очевидна также та практическая польза, которую, имея такую классификацию, получит грамматист; эта классификация открывает, в частности, некоторые новые аспекты синтаксических характеристик слов и целых конструкций (см. с. 317, 320 о способах выражения семантического субъекта).

В то же время полная классификация глагола должна быть по возможности свободна от недостатков, грозящих ей в силу принципиальной неисчислимости классифицируемых единиц: она должна быть обозрима, постигаема; количество ее рубрик не может исчисляться ни тысячами, ни многими сотнями, и при этом отобранный (и отвечающий требованиям полноты) материал должен охватываться ею без остатка. Обязательным свойством такой классификации должно быть то, что она не только даст верное представление о специфике классифицируемого лексического класса, но и будет построена на единых основаниях, диктуемых самой этой спецификой.

3. Классификация русского глагола, послужившая основанием для настоящего доклада, построена на материале 35 000 глагольных единиц (значений), отраженных в однотомном толковом «Словаре русского языка» С. И. Ожегова (начиная с 9-го, 1972 г., посмертного издания, пополняемого и редактируемого автором этого доклада). Разбиения на множества произведены по общности лексических сем, на одной ступени составляющих лексическую оппозицию (см. ниже, с. 312). Глагольная сема в настоящей работе понимается как такой компонент лексического значения, который выступает как единственно или неединственно сочетающийся с основной семой любого глагола — лексическим значением процесса (действия или процессуального состояния). Единственность так сочетающейся семы может быть проиллюстрирована фазовыми глаголами (где с семой процесса сочетается сема начинания, окончания или продолжения) или собственно квалифицирующими глаголами (где с семой процесса сочетается сема оценки). Неединственность сем, сочетающихся с основной лексической семой любого глагола, может быть проиллюстрирована собственно называющим глаголом, например, *идти*: лексическая сема процесса (действия) сочетается здесь с семами движения, движения посредством собственных органов перемещения, движения неубыстренного, неразнонаправленного; *шептать*: сема процесса (действия) сочетается здесь с семами информации, говорения, и говорения тихого, без участия голоса; подробнее об этом см. с. 318. Следовательно, строящаяся здесь классификация глагола является собственно лексической (лексико-семантической) классификацией глагольных единиц (значений), располагающихся по признаку нарастания вокруг основной глагольной семы дифференцирующих сем, сужающих (конкретизирующих) основное глагольное значение. Таким образом, эта классификация имеет целиком и только языковые основания. Как показал специальный анализ, тезис об изоморфизме между грамматикой и лексической семантикой слова не подтверждается: формальные валентностные свойства слов, входящих в те или иные множества и подмножества, не могут служить основанием для лексической классификации глаголов [5]. Лексические единицы, входящие в одну и ту же группу, очень часто имеют разную формальную (хотя при этом возможно и общую смысловую) интенцию.

Предлагаемая лексико-семантическая классификация русского глагола может рассматриваться на фоне компонентно-семантической классификации чешского глагола, разработанной Фр. Данешем на базе гавранковой дихотомии «глаголы действия — глаголы состояния» [6]. Анализ структуры значения глагола здесь берется как основание для изучения семантической структуры глагольного предложения. Классификация глаголов строится как синтаксически релевантная: показывается, что каждое глагольное значение содержит в своем ядре определенную структуру семантических элементов, которые потенциально могут быть синтаксически значимы. Глагольные значения делятся первоначально на

статические (ситуативные) и динамические (глаголы действия). Первые выражают двухместные отношения (например, существование, положение в пространстве, принадлежность, обладание, сходство, уподобление и др.), вторые — простые процессы (не события) и сложные события. Динамические (процессуальные) глаголы, называющие простые процессы, представляют их как активные (без участника или с участником), неактивные либо нечленимые (безличные). Динамические глаголы, называющие сложные события, выражают разные типы переходов от исхода события к его завершению (по характеру исхода или завершения; по типу перехода; по типу события и др.).В целом эта классификация, демонстрирующая строгое понимание компонентного анализа, опирается на лексические глагольные семы разной степени обобщенности и может служить непосредственным основанием для анализа семантического строения предложения: установление семантической формулы глагольного значения оказывается необходимой предпосылкой для классификации глагольных предложений по признаку их семантической структуры. В то же время эта классификация открывает хорошие исходные позиции и для изучения собственно лексических значений глаголов.

4. Лексическая классификация русского глагола на основании его ступенчатой семной организации показана в прилагаемых схемах. Эти схемы, подтверждающие иерархический характер упорядоченности лексики [7], требуют многостороннего комментирования, касающегося организации и самого состава глагольных множеств, группировки составляющих их единиц и иерархии их дифференциальных признаков. (Схемы см. в конце книги.)

а) Почти аксиоматическим считается тезис об открытости, незамкнутости словаря — свойстве, определяемом как внутриязыковыми факторами, так и постоянными взаимодействиями с внешней средой [8]. Однако фронтальный анализ современной русской глагольной лексики заставляет внести в этот тезис то существенное уточнение, что степень открытости разных участков в лексике далеко не одинакова: в ней есть множества, «отмыкающиеся» с большой неохотой. Ни о каком «бесконечном разрастании за счет новых слов и новых значений» (Ульман) по отношению к таким лексическим участкам не может быть и речи. В этом смысле ясную картину дает противопоставление глаголов связующих (ассоциирующих) и называющих (см. ниже): первые во многих своих подмножествах демонстрируют лексические организации, весьма стабильные на протяжении длительных исторических периодов.

б) Глагольная лексика организуется в сложную и разветвленную систему противопоставлений: противопоставленность лексических множеств конструирует всю эту сферу словаря.

Первым является безусловное противопоставление глаголов действия глаголам состояния (см. схемы I—II). И те и другие называют процессы, но первые представляют процесс как деятельность, исходящую от субъекта и им активно и

непосредственно стимулируемую: субъект при них является производителем действия; вторые представляют процесс как состояние, направленное на воспринимающий субъект как на его пассивного носителя: субъект при них является носителем состояния как неактивного признака, свойства, качества. Это противопоставление не снимается и в таких случаях реализации глагольных значений как *лихорадка меня измучила*, *сомнение одолевает кого-н.* и под.: реально недеятельный субъект представлен здесь глаголом как субъект деятельный, активный.

Вторым является противопоставление «глаголы означающие: связующие и квалифицирующие — глаголы значащие, называющие». Термины эти условны: можно говорить о первых как о глаголах с абстрактной значимостью, с собственно сигнификативной семантикой, с несамостоятельной номинацией, в широком смысле дейктических, по своей лексической природе характеризующихся недетализированным (однокомпонентным) гносеологически пассивным значением, а о вторых — как о глаголах с индивидуальной значимостью, с денотативно-сигнификативной семантикой, с самостоятельной номинацией, в широком смысле недейктических, с детализированной (неоднокомпонентной) семантикой, с гносеологически активными значениями [9]. Однако при этом остается бесспорным основное различие этих двух классов слов, заключающееся в том, что первые «связуют», ассоциируют или абстрактно квалифицируют, а вторые собственно именуют. Это противопоставление, помимо собственно лексико-семантической оппозиции, подтверждается следующими языковыми факторами. Во-первых: глаголы означающие не организуются в разветвляющиеся подмножества (для этого нужна многосемность значений), а глаголы называющие организуются в такие подмножества и инклюзивно выстраиваются в разветвленные ступенчатые классификации многосемных единиц. Разбиения означающих глаголов (например, фазовых или модальных) принципиально отличаются от разбиений глаголов называющих: первые классифицируются непосредственно на основании своих лексических значений (например, фазовые глаголы со значением начала, продолжения, конца), а вторые — на основании уточнений, конкретизации, сужения значений. Во-вторых: по отношению к связующим и ассоциирующим (но не квалифицирующим!) глаголам правомерна постановка вопроса о наличии у них значения процессуального признака как одного из двух компонентов частеречного глагольного значения. В самом по себе полузнаменательном, модальном, фазовом, ассоциирующем, собственно связующем глаголе трудно обнаружить признаковость в обычном понимании этого слова. Признаковость присуща не им, а конструируемым с их участием синтаксическим блокам типа *начал работать*, *надлежит согласиться*, *стал поэтом*, *зависит от нас* и под. Показательно, что наречие как «признак признака» принимается именно таким блоком, но никогда не самим отдельным глаголом. В-третьих: глаголы с абстрактной значимостью и гла-

голы называющие расходятся в своих синтаксических характеристиках. Помимо всем известных явлений в различии сочетаемости, здесь следует обратить внимание на то, что эти два подкласса по-разному относятся к линейным и нелинейным единицам сообщения: глаголы первого подкласса имеют свой собственный круг функций в сфере парадигматических и реализационных модификаций грамматического предложения и в сфере организации его формально-семантических параллелей. В-четвертых, наконец: в отличие от глаголов называющих, глаголы с абстрактной значимостью не знают противопоставлений в обозначении действий или состояний физических (и физиологических), интеллектуальных и эмоциональных: это противопоставление (часто снимаемое нерасчлененностью соответствующих значений) принадлежит только глаголам второго подкласса (называющим).

Противопоставление третье. Считается как бы само собой разумеющимся, что все глаголы делятся на глаголы со значением действий (и состояний) физических, интеллектуальных и эмоциональных. Но такая трихотомия существует только как частный случай (см. схемы). В огромном же большинстве случаев называемое интеллектуальное действие (и состояние) неотделимо от физического либо эмоционального или от того и другого одновременно. Поэтому для называющих глаголов реальным является противопоставление «глаголы со значением интеллектуально-эмоционального или интеллектуально-эмоционально-физического действия (состояния) — глаголы со значением физиологического или механического действия (физического состояния)». Это противопоставление принадлежит только глаголам недейктическим (с самостоятельной номинацией).

Противопоставление четвертое лежит в сфере регулярных оппозиций глаголов I и II классов типов *начать—начаться*, *родить—родиться*, *организовать—организоваться*, *нагревать—нагреваться*, *лечь—лежать*, *слушать—слышать* и мн. др. под. Характер и самая организация этих межклассных оппозиций требуют специальных углубленных изучений.

Противопоставление пятое строится антонимией (*спешить—медлить*, *ухудшать—улучшать*, *помогать—мешать* и т. д.). Абсолютно регулярна в языке антонимия всех глаголов по признаку негирования: она или выражена специальными лексемами (и тогда она отражается словарями, например, *полюбить—невзлюбить*, *информировать—дезинформировать*) или — всегда — приставкой *не*, орфографически представляемой как отдельная частица (*идти—не идти*, *любить—не любить*, *ходить—не ходить*).

в) Множества и подмножества, в которые организуются глаголы, различаются как собственно количественно, так и по составу, по своей внутренней организации, по самим системам своих признаков. К сфере такой организации относятся вопросы о сравнительной сложности множеств, о языковых признаках класса (и подкласса) в его противопоставлении лексико-семантической

группе (и подгруппе); о конечном подмножестве классификации — лексическом ряде слов; о тематических классах слов и о «семантических парадигмах» и соответственно — об организующих их «семантических темах», «архисемах» и «архилексемах» (гиперонимах); о количестве и иерархии дифференциальных признаков слова (его лексических сем) [10]. Все эти вопросы в настоящем докладе в теоретическом аспекте не рассматриваются. Однако намечающиеся пути их решения можно увидеть в следующем ниже относительно подробном рассмотрении одного из подмножеств класса II — глаголов со значением бытия в разных его фазах.

5. Глаголы со значением бытия—небытия составляют одну из ветвей класса глаголов, называющих состояние. Всего в эту ветвь в русском языке входит около двух тысяч глаголов (глагольных значений). Их иерархия показана в схеме III. Здесь приведем примеры, иллюстрирующие глаголы каждого из показанных подмножеств (в необходимых случаях иллюстрации даются в сочетаниях): бытие: *быть*, *существовать*; небытие: собственно небытие: (сведения *отсутствуют*); отсутствие предстоявшего (беду *пронесло*, отпуск *отменился*, премия *улыбнулась*). Разные фазы бытия: предбытие: *предстоять*, *зарождаться*, *близиться*; возникновение: собственно появление (*начаться*, *возникнуть*); появление в добавление к существующему (*добавиться*, *прибавиться*); появление в соотнесенности со временем (*подоспеть*, *опоздать*, *упредить*); появление вновь (*возродиться*); обнаружение и самообнаружение (*обнаружиться*, *завиднеться*); становление (*становиться*, *делаться*); осуществление (*осуществиться*, *сделаться*); существование: без количественных, локальных или темпоральных характеристик — собственно существование (*жить*, *быть*, *существовать*), с качественными характеристиками: с недифференцированной семой качественности (*житься*), со значением интенсивности, полноты (*бушует* гроза, *валит* снег), прочности, стабильности (*коренится* порок), вольности, плавности, торжественности (*реет* свобода), слабости, неясности, вялости (*брезжит* рассвет), нестабильности, беспорядочности (*мигает* огонек), тайности, скрытности (*кроется* ошибка), затрудненности, неудовлетворительности (*влачатся* дни; в нищете *прозябать*); существование самовыявляющееся и воспринимаемо общее или недифференцированное значение самовыявления (*проявляться*), воспринимаемости (*замечаться*, *наблюдаться*), самовыявления и восприятия органами чувств (*алеть*, *серебриться*; *греметь*, *звенеть*; *нестись* [о запахе]; *нащупываться*, *прощупываться*); с количественными, локальными или темпоральными характеристиками: с количественной характеристикой (*наполнять*, *насчитываться*); с локальной характеристикой ('быть где-то': *обитать*, *пролегать*), в сочетании с качественной характеристикой ('быть где-то и как-то': *виться*, *возвышаться*, *заваляться*), в узком локальном

отношении к чему-н. (*вдаваться в*, *нагромождаться на*); с темпоральной характеристикой — без каких-л. осложнений (*зимовать*, *дневать*) или с дополнительными темпоральными характеристиками (*тянутся* дни; *лететь* [о времени]; *бывать*, *случаться*; *частить*; *подгадывать*, *подоспевать*); в темпоральном отношении к чему-н. (*предшествовать*, *сопутствовать*, *следовать за*, *чередоваться*, *повторяться*). На разбиении тех фаз бытия, которые следуют за собственно существованием (от приостановки к исходу), мы здесь не останавливаемся.

Раскрываемая русским глаголом картина бытия уже в самом своем схематическом виде дает основания для того, чтобы сформулировать некоторые важные положения.

1) Самими лексическими значениями глаголов бытие представлено как такое состояние, которое протекает во времени и пространстве. Специальные иерархически организованные множества предназначены для именования разных видов отнесенности бытийного состояния к какому-л. моменту, периоду, к другому состоянию, действию, либо для именования локальной отнесенности бытийного состояния к чему-л. Глаголы, именующие бытие в его темпоральной отнесенности к чему-л., объединяются в такие подмножества, которые репрезентируют разные фазы и подфазы существования в их отношении друг к другу.

2) Глагол показывает бытие как такое состояние, которое обязательно связано с другими состояниями или действиями отношениями сменяемости, временно́й преемственности. Фазе собственно существования предшествуют фазы предстояния (пребытия), возникновения, становления и осуществления; за ней следует ряд других фаз, завершающийся фазой конца. Внутри отдельных фаз темпоральные связи и отношения фиксируются специальными лексемами, группирующимися в те или иные множества.

3) Именование бытия в глаголе в очень многих случаях неотделимо от качественной характеристики, оценки бытийного состояния. Соответствующая сема практически пронизывает весь массив экзистенциальных глаголов; она представлена в большинстве его группировок. Это делает глагольный ряд (т. е. последний сегмент классификации, последнюю ступень последовательно сужающихся подмножеств) гибкой и чуткой организацией, которая во всех необходимых случаях легко реагирует на возникающую потребность не просто именовать состояние бытия, но с разных позиций оценить его. Поэтому, например, наличие *музыки* может быть обозначено не только с позиции безразличного слушателя (музыка *играет*, *звучит*, *раздается*, *слышится*, *доносится*), но и с позиции того, кто небезразличен к ее звучанию (музыка *течет*, *плывет*, *льется*, *разливается*, *разносится*, *раскатывается*, *катится*, *заливается*, *звенит*, *гремит*, *грохочет*, *надрывается*, *громыхает*, *бухает*, *бабахает*, *барабанит*, *бренчит*, *дребезжит*, *пиликает*, *тенькает*, *тренькает*, *дзенькает*, *лязгает*, *хрипит*); уходящая вдаль *дорога* может *лежать*, *идти*, *бежать*, *ползти*, *нырять*, *удаляться*, *уходить*, *убегать*, *уползать*; *человек*, прохо-

дящий свой жизненный путь или какие-то этапы, *живет* (ему как-то *живется*), но также и *существует*, *прозябает*, *пробивается*, *перебивается*, *коптит*, *скрипит*, *тянет*, либо как-то *поживает*, *здравствует* и *процветает*. Оценивающие возможности глагола необычайно широки, и сама гамма оценок показывает их соотношение так, как оно исторически складывается в сознании носителей языка.

4) Бытие представлено глаголом как такое состояние, субъект которого (субъект бытия, существования) взаимодействует с субъектами, это бытие воспринимающими, к нему так или иначе относящимися. Эти отношения очень различны (см. с. 320). Например, в случаях типа *алеет* закат, *синеет* море, *розовеет* восход бытие представлено как состояние, кем-то воспринимаемое: такие глаголы по своей семантике двусубъектны: для обозначения субъекта бытия предоставлена позиция подлежащего, а субъект воспринимающий (заключенный в самом значении глагола: *алеть* 'об алом: быть видимым' и т. д.) либо не назван, либо прямо или косвенно обозначается распространителем (*вдали перед нами синеет море*, *перед глазами алеет закат*). Значения бытийного состояния субъекта существующего и субъекта воспринимающего могут быть сочленены в одном и том же глаголе. Так, например, в глаголе *близиться* (предстояние) в условиях разной сочетаемости выявляются значения приближения самого субъекта бытия (*близятся события*, *холода*) и приближения уже существующего субъекта для того, кто, приближаясь сам, это существование воспринимает (*близятся горы*, *лес*, *море*); это противопоставление может нейтрализоваться, ср. *близятся звуки*, *голоса*, *смех*, *песня*, *шум*, *огонь*, *свет*.

Одно из явлений двусубъектности — случаи типа *ссоре предшествовал разговор*, *за письмом последовала встреча*: субъект названного бытийного состояния (предшествования: *разговор* либо последования: *встреча*) соединен отношением темпорально-следственной связи с названным субъектом неназванного бытийного состояния ([была] *ссора*, [было] *письмо*).

6. Глаголы, называющие бытийное состояние, представляют собой лексическую систему и обнаруживают признаки системы.

О том, что такое система (и системные отношения) в лексике написано очень много. Однако в большинстве случаев признаки системности формулируются достаточно неопределенно, часто неконкретно. Так, например, указывается, что «структура лексической системы может быть описана в терминах смысловых отношений, имеющих место между ее членами» [11]; что «лексика является системой, т. е. такой организацией, единицы которой взаимообусловлены и взаимозависимы в содержательном плане» [12]. П. Н. Денисов пишет о лексической системе так: «Обычно для системы характерно следующее: 1) система — целостный комплекс взаимосвязанных элементов; 2) она образует особое единство со средой; 3) как правило, любая исследуемая система представляет собой элемент системы более высокого порядка; 4) элементы любой

исследуемой системы в свою очередь обычно выступают как системы более низкого порядка» [13]. Кроме того, в очень многих случаях исследователи ставят знак равенства между понятиями лексической системы и поля [14], что, на наш взгляд, неверно. Прав Ю. Н. Караулов, утверждающий, что многие пытаются «изучать систему несистемно», не принимая во внимание «стабильность ее структуры», «неизменность структурных отношений внутри блока» и «интенсивность внутренних связей между составляющими данного фрагмента» [15].

Здесь мы попытаемся установить конкретные языковые признаки лексической системы, опираясь на анализ вполне определенного и достаточно большого участка словаря — глаголов со значением бытия в разных его фазах. В чем обнаруживается цельность и внутренняя организованность этого множества, взаимная связанность его единиц, специфический характер их взаимодействия друг с другом, общность тех признаков — лексических и сочетаемостных, — по которым они характеризуются и объединяются в более частные группировки? Можно назвать следующие факторы, служащие к такому обнаружению.

1) Все глаголы, входящие в данное множество, имеют общий компонент лексического значения: 'существовать, находиться в состоянии бытия'; этой семой формируется инвариантное значение любого из таких глаголов. В подмножествах (подсистемах) и их дальнейших членениях эта сема комбинируется с дополнительными, дифференцирующими компонентами значений: 'быть в предстоянии' (предбытие, добытийность); 'начать быть' (возникновение); 'осуществлять или осуществить состояние своего бытия' (становление и осуществление); 'собственно быть, наличествовать' (существование); 'клониться к концу бытия, приостанавливаться или останавливаться в бытии' (затухание, приостановка, остановка); 'возникнуть и исчезнуть' (мгновенность бытия); 'прекратить свое бытие' (конец, исчезновение). На эти варианты далее наслаиваются, с ними комбинируются уточняющие, сужающие семы, вокруг которых группируются более частные подмножества. Однако сема 'быть, существовать, наличествовать' присутствует в любом глаголе, относящемся к данной лексической целостности.

2) Бытие в очень многих случаях именуется глаголом при участии модифицирующих, ассоциирующих сем, создающих образную картину бытийных состояний. Эти модифицирующие семы исчислимы и проходят через разные подмножества, создавая их общий «фонд ассоциаций». Таковы семы движения, перемещения или положения в пространстве (*закрадывается* мысль, *бежит* струя, *подкатывает* дурнота, *падает* снег, *сваливается* беда, *несется* грохот, *хлынул* свет, *виляет* тропа, *засела* мысль, *пролегла* дорога); конкретного активного действия, воздействия (*стучится* старость, *ударил* гром, *хлещет* дождь, *метет* метель, *нападает* тоска, *рвет* ветер, *окутывает* мрак, *захватывает* чувство, *одолевают* заботы); волевого акта или интеллектуально-эмоционального состояния (*грозит* беда, *ждет* сюрприз, *просится* сравнение,

упорствует болезнь, *ярится* злоба); состояния как результата целенаправленного действия (*копятся* обиды, *заваривается* дельце, *вводятся* перемены, *играется* свадьба, *практикуется* метод, *чинится* расправа); физического состояния (*закипает* обида, *нависает* угроза, *дрожит* огонек, *клокочет* злоба, *пылают* страсти, *теплится* надежда); физиологического состояния или действия (*вынашивается* план, *роятся* облака, *зреет* решение, *родится* идея, *плодятся* проекты). Этот перечень здесь по условиям места является максимально обобщенным и недифференцированным. Не все эти семы одинаково активны (или даже представлены) на всех фазах, во всех подмножествах. Однако наличие у распределенных по разным фазам глаголов бытия общего образного фонда модифицирующих сем — один из важных признаков целостности данного множества, наличия у него общих собственно языковых характеристик.

3) Бытийные глаголы имеют общий фонд качественно-оценочных значений. Почти на всех фазах состояние бытия может быть представлено как оцениваемое положительно (*веет свобода*), или отрицательно (*влачатся* дни, *грозит* беда, *подкрадывается* старость, *наваливаются* обязанности); интенсивно или вяло, слабо, постепенно (*клокочут* страсти, *закипает* вражда, *прошибает* слеза; *копится* неприязнь, *обозначаются* перемены, *дрожит* звук); стабильно или нестабильно (*сидит* мысль, *угнездился* страх; *скачет* температура); вольно, свободно или с трудом (*играет* улыбка, *плывут* доходы; *вершатся* дела, старик еще *тянет*); открыто, явно или тайно (*бьет* запах, *кричит* безвкусица; *дремлет* чувство, *кроется* тайна).

4) Конечным вычленяемым подмножеством в классификации является функционально ориентированный лексический ряд, обращенный к определенному классу субъектов. Ряды бытийных глаголов имеют свою типологию, свои наборы характеристик (по составу, по семантическим потенциям, по сочетаемости оценочных сем), а вхождение или невхождение глагола в тот или другой ряд, его семантическая сочетаемость или несочетаемость с другими глаголами в составе ряда является одной из характеристик самого этого глагола (ср., например, на фазе начала: *дождь*, *ливень* — *начаться*, *полить*, *налететь*, *ударить*, *припустить*, *хлынуть*, *хватить*, *захлестать*, *захлобыстать*, *забушевать*, *зазвенеть*, *застучать*, *забарабанить*, *защелкать*, *загудеть*; но *пойти*, *брызнуть*, *зарядить*, *закапать*, *закрапать*, *заморосить*, *посыпаться* — только о дожде; *улыбка*, *усмешка*, *ухмылка* — *явиться*, *появиться*, *изобразиться*, *проглянуть*, *проступить*, но *блеснуть*, *сверкнуть*, *заиграть*, *засиять*, *засветиться*, *просиять* — только об улыбке). Лексический ряд обнаруживает свойства блока, «вставленного» на свое место в более крупной ячейке и занимающего в ней свое вполне определенное положение.

5) Глаголы, называющие разные фазы бытия, имеют общие тенденции в своем взаимодействии друг с другом. Здесь обнаруживаются разные виды представленной в одной лексеме размы-

тости границ между некоторыми фазами бытия (начала и становления, начала и осуществленности, предстояния и начала, возникновения и исчезновения и др.).

6) Глаголы бытия имеют важные объединяющие их синтаксические характеристики. Сюда относятся специфические явления, во-первых, из сферы облигаторных связей (формальных и семантических), во-вторых, из сферы необлигаторных распространителей, в-третьих, из сферы облигаторного отсутствия связей. Здесь назовем некоторые из таких характерных явлений.

В сфере облигаторных связей для ряда глаголов бытия характерно семантическое осложнение падежных форм, образование с их участием осложненных семантических категорий в составе предложения. Так, бытийное значение (при ослаблении значения действия) в сочетании с определенным кругом субъектов характерно для таких глаголов как *завладевать*, *охватывать*, *наполнять*, *одолевать* и под.; субъект бытия здесь синтаксически представлен как действователь, а зависимая форма (вин. п.) называет носителя того состояния, которое обозначается подлежащно-сказуемостной группой в целом: *снег укрывает поля*, *седина тронула виски*, *страх наполняет душу*, *горе посетило семью*, *морщины изрезали лицо*, *смерть настигла путника* и т. д. Для глаголов при этом характерна разная степень отхода от их прямых номинативных значений. Во всех таких конструкциях присутствуют два семантических субъекта: субъект бытия (в подлежащем) и субъект-носитель бытийной ситуации в целом (в зависимой форме): *дождь омыл сады* значит и 'дождь — излился на сады' и 'сады — омылись дождем'. Аналогичное осложнение падежной семантики имеет место и в других случаях, таких как *нас ожидает беда*, *ему угрожает болезнь* ('будет беда — у нас' и 'мы — ждем беды'), *у слушателей возникли замечания* ('слушатели — сделали замечания' и 'возникли — замечания слушателей'), *в документ вкралась ошибка* ('документ — содержит ошибку' и 'вкралась ошибка в документе'), *на нас пахну́ло сыростью* ('сырость пахнула на нас' и 'мы — ощутили сырость'). В других случаях двусубъектность реализуется как наличие существующего субъекта и возникновение рядом другого, с ним сочленяющегося, например: *к обиде прибавилась тоска* ('была обида'+'возникла тоска').

Формально необлигаторные распространители могут косвенно указывать на характер субъекта, тем самым одновременно конкретизируя самую фазу бытия. Так, в случаях типа *в дверях появился незнакомец*, *перед глазами возникли горы*, *за окнами вагона потянулись леса*, *вдали встали очертания зданий* необлигаторные распространители с локальным значением сигнализируют о том, что в ситуации присутствует субъект воспринимающий, а возникновение имеет характер обнаружения или самовыявления. Аналогичную функцию выполняют формально необлигаторные, но семантически обязательные атрибутивные формы в таких случаях как *нарастает непонятное чувство*, *предстоит невеселая жизнь*.

Облигаторность отсутствия зависимой формы (тв. п.) имеет

место в тех случаях, когда бытийное значение развилось в глаголе на основе значения страдательности, например: *вынашиваются планы*, *задумываются перемены*, *готовится выставка*, *произносятся речи*, *творятся беззакония*, *допускаются ошибки*.

Итак, признаками лексической системы можно считать: наличие у всех слов, объединенных в данное множество, общего, инвариантного лексического значения, вокруг которого, в границах отдельных подмножеств, организуются дополнительные, дифференцирующие компоненты значений; наличие общего фонда ассоциативных, образных обозначений и общего фонда качественно-оценочных дифференциальных компонентов значения; общность типологии функционально-ориентированных лексических рядов; общность тенденций к ограничению семантической сочетаемости и к взаимодействию с другими участками лексики; общность синтаксических характеристик. Этим комплексом взаимодействующих признаков обусловливается то, что можно определить как стабильное функциональное и семантическое партнерство объединенных в систему глаголов, их внутреннюю организованность, сочлененность в целое вполне конкретными языковыми свойствами и отношениями.

В докладе была сделана попытка показать, что классификация глагольной лексики на собственно семантических основаниях позволяет подойти к отдельным ее участкам с таким мерилом, которое служит к установлению многих их важных признаков, в том числе — к установлению признаков системности их организации.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] См.: *Шмелев Д. Н.* Проблемы семантического анализа лексики. М., 1973; Языковая номинация. Общие вопросы. М., 1977, гл. I—VII; Языковая номинация. Виды наименований. М., 1977, гл. I; Аспекты семантических исследований. М., 1980.

[2] «Характерной чертой языков является то, что они налагают на реальный мир некую лексическую категоризацию» (*Лайонз Д.* Введение в теоретическую лингвистику. М., 1978, с. 450). См. также: *Караулов Ю. Н.* Общая и русская идеография. М., 1976; *Он же.* Лингвистическое конструирование и тезаурус литературного языка. М., 1981. О соотношении тематических групп слов и их структурно-семантических разрядов и о языковых основаниях для выделения тематических групп слов см.: *Шмелев Д. Н.* Проблемы семантического анализа лексики. М., 1973, с. 103—107.

[3] Номинацию здесь и далее будем понимать не как любое означивание любого сигнификата и конкретного денотата, включая целую ситуацию (см. «Языковая номинация. Общие вопросы и Виды наименований». М., 1977), а в старом, виноградовском смысле, т. е. как называние в его отличии от сообщения. Такое, традиционное, понимание не позволяет забывать о глубоком различии в самой природе языковых единиц; при новом, широком понимании номинации все «номинанты» сначала объединяются (все они — «номинующие единицы»), а потом — если исследователь (что бывает далеко не всегда) не чувствует себя вправе уклониться от изучения их кардинальных языковых различий — снова разделяются.

[4] См., напр.: *Мартынов В. В., Шуба П. П., Ярмош М. И.* Опит за семантична класификация на русския глагол. — В кн.: Език и литература. София, 1965, № 3; работы Э. В. Кузнецовой, в частности: *Кузнецова Э. В.* Категория типичных идентификаторов как основа для выделения лексико-семантических групп глагола. — В кн.: Актуальные проблемы лексикологии, ч. 1. Томск, 1971; *Она же.* О принципах и методах выделения объема семантических классов русских глаголов. — В кн.: Классы слов и их взаимодействие. Свердловск, 1979 (здесь — обзор литературы); сб. «Классы слов и их взаимодействие». Свердловск, 1979. Ю. Н. Караулов справедливо называет предрассудком реализуемую во многих частных классификациях мысль, «будто систему можно изучать несистемно, когда в качестве объекта исследования выбирается некоторый изолированный фрагмент словарного состава» (в числе примеров — «слова, выражающие понятия *помнить*, *думать*, *дрожать*, или глаголы движения, говорения, знания, зрительного восприятия»; добавим еще: «глаголы удара», «глаголы положения тела» и мн. др. под.) «по принципам „замкнутости“ и „естественной (легкой) выделимости“, и изучаются взаимоотношения составляющих его единиц. При этом результаты подобного анализа не поддаются точной формулировке, их, как правило, трудно бывает использовать другим исследователям, и ценность они представляют только для автора, способствуя расширению его представлений об изучаемом материале» (*Караулов Ю. Н.* Лингвистическое конструирование и тезаурус литературного языка. М., 1981, с. 172). Отметим здесь, что так выделенный обширный (и тем самым в значительной степени размытый в своих границах) материал охвачен в работе: *Васильев Л. М.* Семантические классы глаголов чувства, мысли и речи. — Учен. зап. Башкирского гос. ун-та, 1971, вып. 43.

[5] См.: *Апресян Ю. Д.* Дистрибутивный анализ значений и структурные семантические поля. — В кн.: Лексикографический сборник, V. М., 1962. См. здесь выделение отдельных «структурно-семантических полей» глагола. См. также выделение лексических классов глаголов в гл. «Лексические синонимы» в кн.: *Апресян Ю. Д.* Лексическая семантика. Синонимические средства языка. М., 1974. По существу синтаксическим (причем максимально обобщенным) является и одно из оснований классификации глагола, развиваемое в работах А. А. Уфимцевой, — «по типу смысловых моделей, раскрывающих направленность и члены внутренних семантических отношений, выражаемых глагольной лексемой, а именно: отношение признака к определенному предмету, который может быть субъектом или объек-

том, которому придается данный признак» (Языковая номинация. Виды наименований, с. 72).

[6] *Daneš Fr.* Pokus o strukturní analýzu slovesných významů. — Slovo a slovesnost, 1971, 3, XXXII, s. 193—207.

[7] См.: *Залевская А. А.* Проблемы организации внутреннего лексикона человека. Калинин, 1977; *Караулов Ю. Н.* Лингвистическое конструирование и тезаурус литературного языка, с. 190 и след.

[8] См. соответствующие обобщения в кн.: *Шмелев Д. Н.* Проблемы семантического анализа лексики, с. 18 и след.

[9] См. Языковая номинация. Общие вопросы, гл. VII; Языковая номинация. Виды наименований, гл. I.

[10] См. в кн.: Языковая номинация. Общие вопросы, гл. VI требующий проверки и как будто бы не подтверждающийся нашими материалами тезис о том, что «иерархия дифференциальных признаков включает не более 4—5 ступеней» (с. 250).

[11] *Лайонз Д.* Введение в теоретическую лингвистику, с. 457.

[12] *Слесарева И. П.* Проблемы описания и преподавания русской лексики. М., 1980, с. 13.

[13] *Денисов П. Н.* Лексика русского языка и принципы ее описания. М., 1980, с. 53. См. также: *Соколовская Ж. П.* Система в лексической семантике. Киев, 1979.

[14] Из последних работ см., например: *Бородина М. А., Гак В. А.* К типологии и методике историко-семантических исследований (на материале лексики французского языка). Л., 1979, с. 51.

[15] *Караулов Ю. Н.* Лингвистическое конструирование, с. 172—173.

СХЕМА I

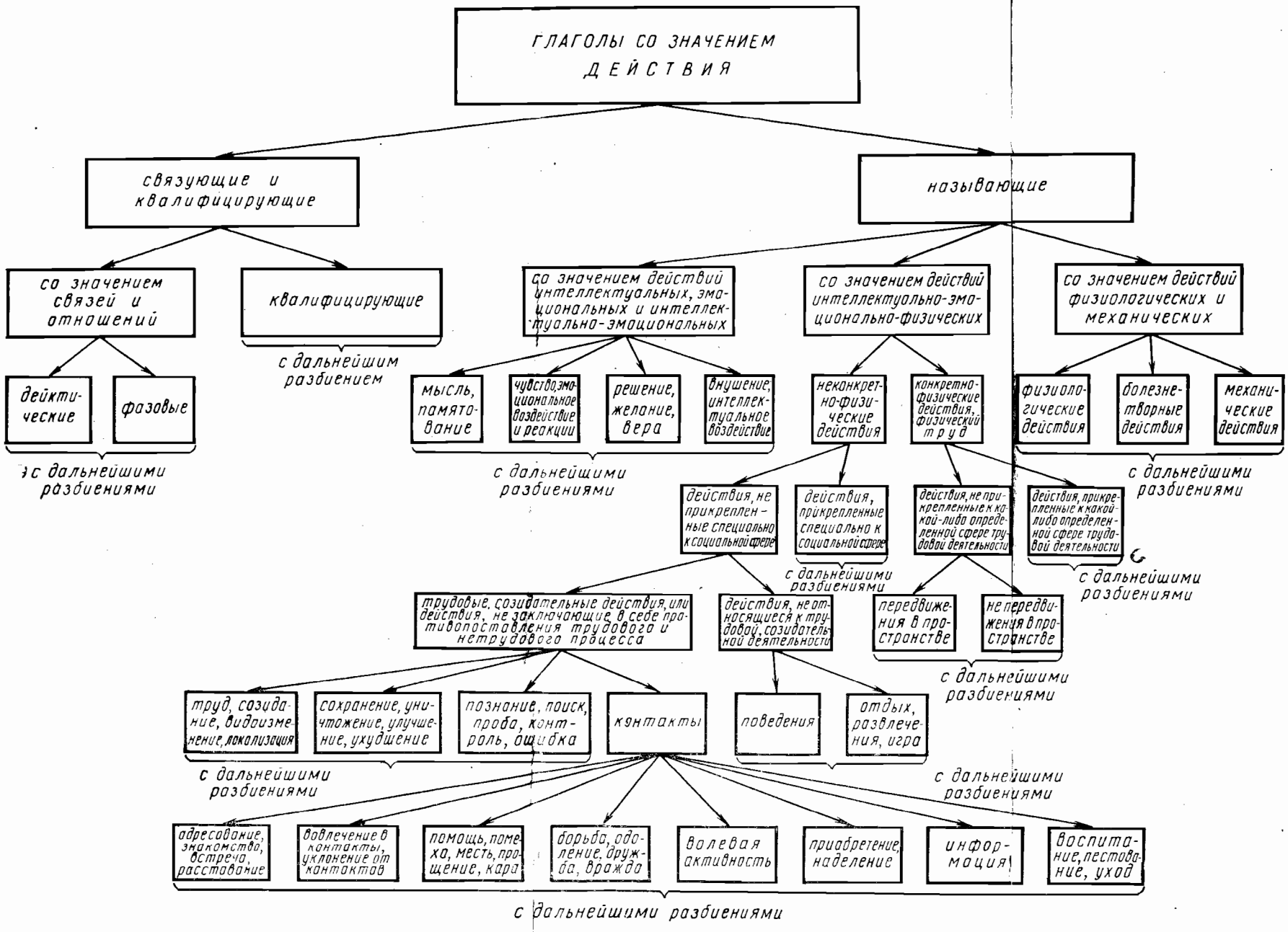


СХЕМА II

СХЕМА II

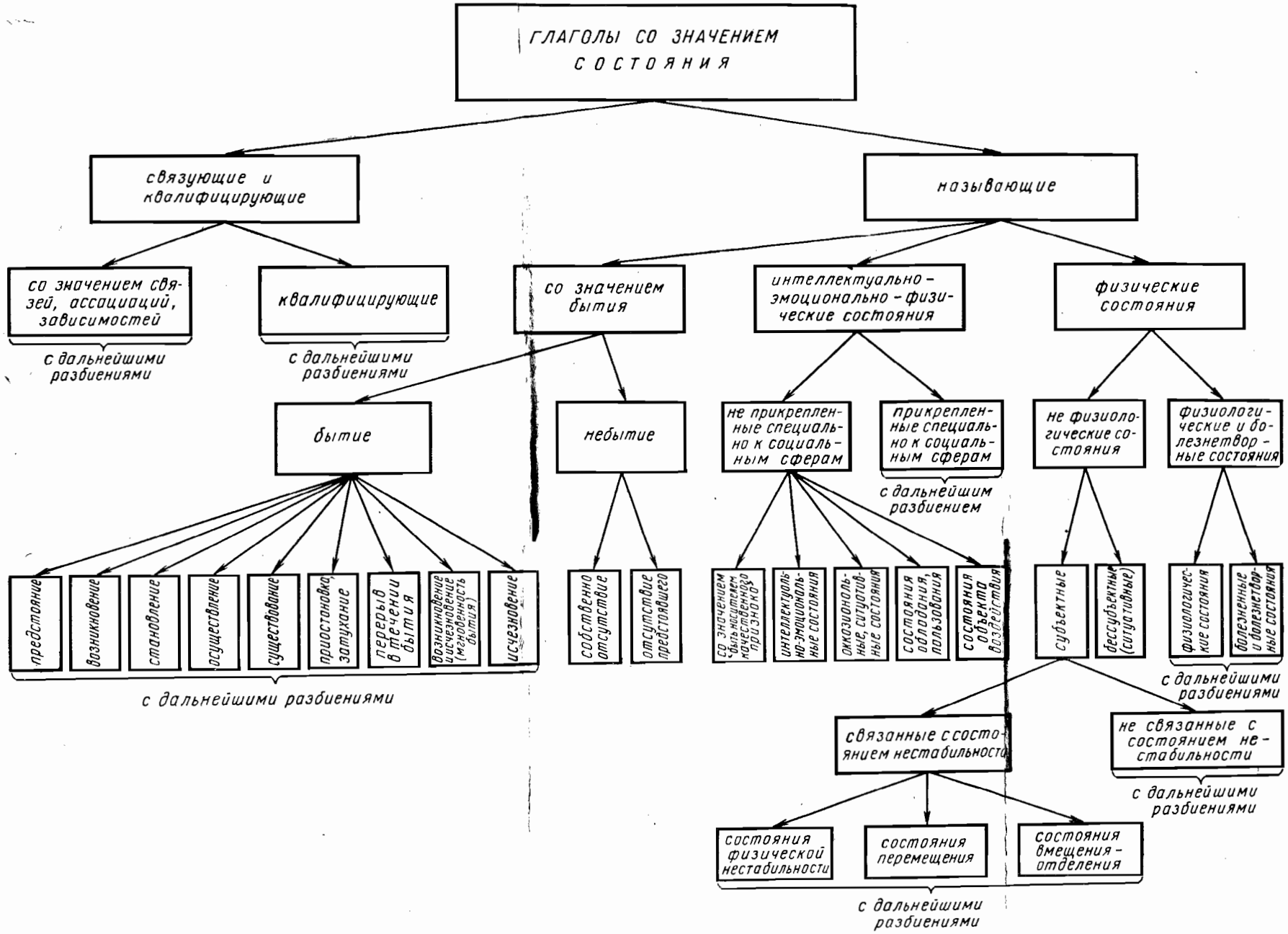
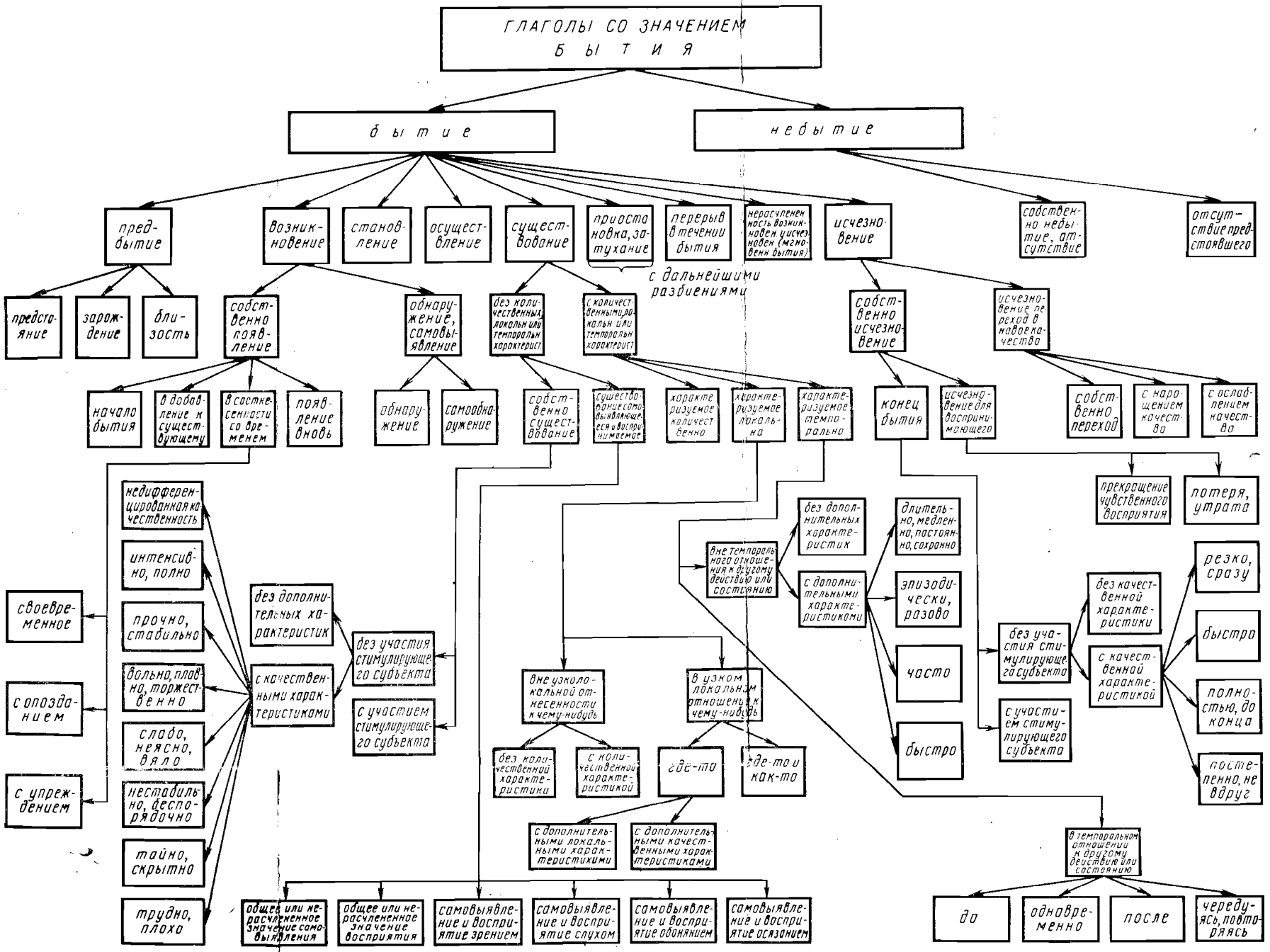

ГЛАГОЛЫ СО ЗНАЧЕНИЕМ СОСТОЯНИЯ
связующие и квалифицирующие
называющие
со значением связей, ассоциаций, зависимостей
квалифицирующие
с дальнейшими разбиениями
с дальнейшими разбиениями
со значением бытия
интеллектуально-эмоционально-физические состояния
физические состояния
бытие
небытие
не прикрепленные специально к социальным сферам
прикрепленные специально к социальным сферам
с дальнейшим разбиением
не физиологические состояния
физиологические и болезнетворные состояния
предстояние
возникновение
становление
осуществление
существование
приостановка, затухание
перерыв в течении бытия
возникновение и исчезновение (мгновенность бытия)
исчезновение
с дальнейшими разбиениями
собственно отсутствие
отсутствие предстоявшего
со значением быть носителем качественного признака
интеллектуально-эмоциональные состояния
окказиональные, ситуативные состояния
состояния обладания, пользования
состояния объекта воздействия
субъектные
бессубъектные (ситуативные)
физиологические состояния
болезненные и болезнетворные состояния
с дальнейшими разбиениями
связанные с состоянием нестабильности
не связанные с состоянием нестабильности
с дальнейшими разбиениями
состояния физической нестабильности
состояния перемещения
состояния вмещения-отделения
с дальнейшими разбиениями

СХЕМА III


ГЛАГОЛЫ СО ЗНАЧЕНИЕМ БЫТИЯ
бытие
небытие
предбытие
возникновение
становление
осуществление
существование
приостановка, затухание
перерыв в течении бытия
нерасчлененность возникновен. (исчезновен. (мгновенн. бытия))
с дальнейшими разбиениями
исчезновение
собственно небытие, отсутствие
отсутствие предстоявшего
предстояние
зарождение
близость
собственно появление
обнаружение, самовыявление
без количественных, локальн. или темпоральн. характерист.
с количественными, локальн. или темпоральн. характерист.
собственно исчезновение
исчезновение, переход в новое качество
начало бытия
в добавление к существующему
в соотнесенности со временем
появление вновь
обнаружение
самообнаружение
собственно существование
существование самовыявляющееся и воспринимаемое
характеризуемое количественно
характеризуемое локально
характеризуемое темпорально
конец бытия
исчезновение для воспринимающего
собственно переход
с нарощением качества
с ослаблением качества
прекращение чувственного восприятия
потеря, утрата
недифференцированная качественность
интенсивно, полно
прочно, стабильно
вольно, плавно, торжественно
слабо, неясно, вяло
нестабильно, беспорядочно
тайно, скрытно
трудно, плохо
своевременное
с опозданием
с упреждением
без дополнительных характеристик
с качественными характеристиками
без участия стимулирующего субъекта
с участием стимулирующего субъекта
вне темпорального отношения к другому действию или состоянию
без дополнительных характеристик
с дополнительными характеристиками
длительно, медленно, постоянно, сохранно
эпизодически, разово
часто
быстро
без участия стимулирующего субъекта
с участием стимулирующего субъекта
без качественной характеристики
с качественной характеристикой
резко, сразу
быстро
полностью, до конца
постепенно, не вдруг
вне узколокальной отнесенности к чему-нибудь
в узком локальном отношении к чему-нибудь
без количественной характеристики
с количественной характеристикой
где-то
где-то и как-то
с дополнительными локальными характеристиками
с дополнительными качественными характеристиками
общее или нерасчлененное значение самовыявления
общее или нерасчлененное значение восприятия
самовыявление и восприятие зрением
самовыявление и восприятие слухом
самовыявление и восприятие обонянием
самовыявление и восприятие осязанием
в темпоральном отношении к другому действию или состоянию
до
одновременно
после
чередуясь, повторяясь

СОДЕРЖАНИЕ

С. Б. Бернштейн, Л. А. Гиндин, Г. П. Клепикова. «Общекарпатский диалектологический атлас» и некоторые проблемы южнославянского этногенеза 3

Г. А. Богатова, В. Я. Дерягин, Г. Я. Романова. Славянская историческая лексикография и проблемы региональной характеристики слова 18

А. В. Бондарко. Проблемы и методы сопоставительного изучения грамматических категорий в славянских языках 34

Р. В. Булатова, В. А. Дыбо, А. А. Зализняк. Теоретические основы праславянского акцентологического словаря 47

Ж. Ж. Варбот. Место основ настоящего времени в системе отглагольного словообразования праславянского языка 60

А. В. Десницкая. К вопросу о раннеисторических языковых связях восточных славян с балканским лингвистическим ареалом 76

М. И. Ермакова, Л. Э. Калнынь, Л. И. Масленникова, Т. В. Попова. Сопоставительная модель фонологической системы славянских диалектов как способ их синхронной структурной классификации 95

Л. П. Жуковская. Текстологическое и лингвистическое исследование Пролога (избранные византийские, русские и инославянские статьи) 110

В. К. Журавлев. Относительная хронология праславянских процессов по данным внешней и внутренней реконструкции 120

Е. А. Земская. Общее и различное в структуре разговорной речи ряда славянских и неславянских языков 135

Вяч. Вс. Иванов, В. Н. Топоров. Лингвистические вопросы славянского этногенеза (в связи с реконструкцией праславянских текстов) 152

В. В. Лопатин, И. С. Улуханов. Сходства и различия в словообразовательных системах славянских языков 169

Л. Н. Смирнов. Проблемы и задачи сопоставительной славянской аспектологии 184

Т. М. Судник, Т. В. Цивьян. К типологическому сопоставлению механизмов двуязычия (балто-славянский и балканский языковые союзы) 199

Н. И. и *С. М. Толстые.* Принципы, задачи и возможности составления этнолингвистического словаря славянских древностей 213

О. Н. Трубачев. Языкознание и этногенез славян. Древние славяне по данным этимологии и ономастики 231

Ф. П. Филин. Проблемы исторической лексикологии русского языка (древний период) 271

Р. М. Цейтлин. Сравнительная лексикология славянских языков X-XI — XIV-XV вв. (проблемы и методы) 288

Н. Ю. Шведова. Лексическая классификация русского глагола (на фоне чешской семантико-компонентной классификации) 306

СЛАВЯНСКОЕ ЯЗЫКОЗНАНИЕ
IX Международный съезд славистов
(Киев, сентябрь 1983 г.)
Доклады советской делегации

Утверждено к печати
Советским комитетом славистов

Редактор издательства *Н. Н. Барская*
Художественный редактор *Т. П. Поленова*
Технический редактор *Т. А. Калинина*
Корректоры *Ю. Л. Косоргин, Г. Н. Лащ*

Сдано в набор 28.12.82
Подписано к печати 27.06.83
Формат $60 \times 90^1/_{16}$
Бумага для глубокой печати
Гарнитура обыкновенная
Печать высокая
Усл. печ. л. 21,75. Уч.-изд. л. 26.8
Тираж 1360 экз. Тип. зак. 2113
Бесплатно. Заказное

Издательство «Наука»
117864, ГСП-7, Москва, В-485, Профсоюзная ул., 90

Ордена Трудового Красного Знамени
Первая типография издательства «Наука»
199034, Ленинград, В-34, 9 линия, 12

ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»

ВЫШЛИ ИЗ ПЕЧАТИ КНИГИ:

СЛАВЯНСКОЕ И БАЛКАНСКОЕ ЯЗЫКОЗНАНИЕ. ПРОБЛЕМЫ ЛЕКСИКОЛОГИИ

20 л. 2 р. 50 к.

В сборнике на новом обширном материале славянских и балканских языков и диалектов освещаются закономерности становления и развития словарного состава формирующихся национальных литературных языков западных и южных славян, процессы взаимовлияния литературных языков и диалектов в различных сферах лексики, решается широкий круг вопросов исторической семантики и этимологии.

Книга рассчитана на лингвистов-лексикологов, а также историков, этнографов, специалистов по сравнительно-историческому языкознанию.

СЛАВЯНСКОЕ И БАЛКАНСКОЕ ЯЗЫКОЗНАНИЕ. ТЕКСТ: СЕМАНТИКА И СТРУКТУРА

22 л. 2 р. 60 к.

В сборнике представлены работы в области лингвистики, мифологии и фольклора славянских и балканских народов, посвященные рассмотрению текстов языков балкано-балтийского региона.

Книга предназначена для широкого круга славистов — языковедов, историков, археологов и др.

ГОТОВЯТСЯ К ПЕЧАТИ:

СЛАВЯНСКОЕ И БАЛКАНСКОЕ ЯЗЫКОЗНАНИЕ. ЯЗЫК В ЭТНОКУЛЬТУРНОМ АСПЕКТЕ

20 л. 2 р. 50 к.

В статьях сборника рассматриваются вопросы языковых контактов как древних, так и современных балканских языков на Балканском полуострове и за его пределами, вопросы этимологии, топономастики Балкан и смежных ареалов, актуальные проблемы исследования грамматической структуры балканских языков в аспекте балканского языкового союза, статьи по этногенезу. Широко представлены результаты собственных полевых наблюдений авторов, в частности диалектный полесский материал.

Книга рассчитана на специалистов в области славистики и балканистики, этнографов, историков.

Иванов Вяч. Вс.

ИСТОРИЯ СЛАВЯНСКИХ И БАЛКАНСКИХ НАЗВАНИЙ МЕТАЛЛОВ

10 л. 1 р.

Работа включает общий обзор проблематики истории металлургии в связи с историей названий разных типов металлов, сравнительный очерк культурной истории славянских, балтийских и древнебалканских названий металлов, сопоставление древнебалканского и эгейско-малоазийского центров металлургии и соответствующей ареальной лексики.

Монография рассчитана на широкий круг лингвистов, историков, археологов.

Книги можно предварительно заказать в магазинах Центральной конторы «Академкнига», в местных магазинах книготоргов или потребительской кооперации.

Для получения книг почтой заказы просим направлять по адресу: 117192 Москва, Мичуринский проспект, 12, магазин «Книга — почтой» Центральной конторы «Академкнига»; 197345 Ленинград, Петрозаводская, ул., 7, магазин «Книга — почтой» Северо-Западной конторы «Академкнига» или в ближайший магазин «Академкнига», имеющий отдел «Книга — почтой».

480091 Алма-Ата, ул. Фурманова, 91/97 («Книга — почтой»);
370005 Баку, ул. Джапаридзе, 13 («Книга — почтой»);
320093 Днепропетровск, проспект Гагарина, 24 («Книга — почтой»);
734001 Душанбе, проспект Ленина, 95 («Книга — почтой»);
375002 Ереван, ул. Туманяна, 31;
664033 Иркутск, ул. Лермонтова, 289;
252030 Киев, ул. Ленина, 42;
252030 Киев, ул. Пирогова, 2;
252142 Киев, проспект Вернадского, 79;
252030 Киев, ул. Пирогова, 4 («Книга — почтой»);
277012 Кишинев, проспект Ленина, 148 («Книга — почтой»);
343900 Краматорск Донецкой обл., ул. Марата, 1;
660049 Красноярск, проспект Мира, 84;
443002 Куйбышев, проспект Ленина, 2 («Книга — почтой»);
191104 Ленинград, Литейный проспект, 57;
199164 Ленинград, Таможенный пер., 2;
196034 Ленинград, В/О, 9 линия, 16;
220012 Минск, Ленинский проспект, 72 («Книга — почтой»);
103009 Москва, ул. Горького, 19а;
117312 Москва, ул. Вавилова, 55/7;
630076 Новосибирск, Красный проспект, 51;
630090 Новосибирск, Академгородок, Морской проспект, 22 («Книга — почтой»);
142292 Пущино, Московская обл., МР, «В», 1;
620151 Свердловск, ул. Мамина-Сибиряка, 137 («Книга — почтой»);
700029 Ташкент, ул. Ленина, 73;
700100 Ташкент, ул. Шота Руставели, 43;
700187 Ташкент, ул. Дружбы народов, 6 («Книга — почтой»);
634050 Томск, наб. реки Ушайки, 18;
450059 Уфа, ул. Р. Зорге, 10 («Книга — почтой»);
450025 Уфа, ул. Коммунистическая, 49;
720001 Фрунзе, бульвар Дзержинского, 42 («Книга — почтой»);
310078 Харьков, ул. Чернышевского, 87 («Книга — почтой»).

IX МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЪЕЗД СЛАВИСТОВ